

В.Г.
КОРОЛЕНКО

Владимир Галактионович Короленко

**Том 8. Статьи, рецензии,
очерки**

(Собрание сочинений в десяти томах #8)

Восьмой том составляют литературно-критические статьи и воспоминания, рецензии и литературные заметки, исторические очерки.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Литературно-критические статьи	0006
Памяти Белинского *	0006
О Глебе Ивановиче Успенском Черты из личных воспоминаний *	0015
Воспоминания о Чернышевском *	0083
«Гражданская казнь Чернышевского» * . .	0142
Лев Николаевич Толстой. Статья первая *	0152
Лев Николаевич Толстой. Статья вторая *	0198
Великий пилигрим (Три встречи с Л.Н. Толстым) *	0208
Разговор с Толстым * Максимализм и государственность	0233
Умер *	0243
Ангел Иванович Богданович Черты из личных воспоминаний *	0245
Трагедия великого юмориста Несколько мыслей о Гоголе *	0272
Всеволод Михайлович Гаршин. Литературный портрет *	0389
Памяти замечательного русского человека * . . .	0456
И.А. Гончаров и «молодое поколение» * . .	0466
Третий элемент Памяти Николая Федоровича Анненского *	0490
О Щедрина *	0526

Две картины *	0539
Я. Конторович. — Средневековые процессы о ведьмах *	0564
Житейский задачник для детей. — Мандрыки *	0571
А. Серафимович — Очерки и рассказы *	0578
Станислав Пшибышевский. — Homo sapiens *	0583
В.П. Буренин. — Театр *	0598
Георгий Чулков. — «Тайга» *	0609
Северные сборники *	0616
Стереотипное в жизни русского писателя *	0626
Старец Федор Кузьмич *	0632
Процесс редактора «Русского богатства» *	0647
Суммистские ребусы *	0679
Котляревский и Мазепа *	0691
Исторические очерки	0704
К истории отживших учреждений *	0704
«Божий городок» *	0739
Отголоски политических переворотов в уездном городе XVIII века *	0757
Колечко *	0781
Пугачевская легенда на Урале *	0796
Полтавские празднества *	0836
Комментарии	0851

**Владимир Галактионович
Короленко
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 8.
Статьи, рецензии, очерки**

Литературно-критические статьи

Памяти Белинского*

В нынешнем месяце истекает ровно пятьдесят лет со дня смерти Виссариона Григорьевича Белинского. Прошло полвека с тех пор, как перестало биться одно из самых чутких сердец и угас самый подвижной, беспокойный, пламенный ум, страстно, мучительно и искренно искавший истины, никогда не боявшийся расстаться с тем, что он признавал заблуждением, и пуститься в новый путь для новых исканий. Полвека! Это, как известно, более, чем средняя продолжительность жизни. Как мало осталось людей, которые жили и думали одновременно с Белинским! Как много родившихся в год его смерти тоже сошли уже со сцены! Целая человеческая жизнь, целое поколение, масса жизней, своего рода биологический пласт залег между последним вздохом Белинского и настоящей минутой, когда, благодаря этому юбилею, его

образ оживает в нашем воспоминании. И, однако, оживает светлый и ясный, как будто ничто не отделяло нас от него, как будто он жил с нами все время, не переставая стремиться и пламенеть, спорить и отрекаться, как во время своей недолгой жизни.

Да, пятьдесят лет много времени. Мы давно уже не читаем большинства из тех книг, которые разбирал Белинский, о многих только и знаем потому, что их Белинский разбирал. Нужно сказать правду: часть его собственных писаний отошла уже в область истории литературы, многие страницы его сочинений читаются все реже той массой публики, для которой главным образом и назначены книги, и тревожатся чаще рукой специалистов-историков. Но эти же пятьдесят лет показали ясно, что для сочинений Белинского в целом уже не будет смерти в обычном значении этого слова. Некоторые из них останутся всегда живыми, как и те творения, которым они были посвящены, которые они объяснили и осветили раз навсегда. «Нет, весь я не умру», — мог бы сказать Белинский вместе с великим поэтом, и пока будет звучать рус-

ская речь, до тех пор, наряду с именами Пушкина, Лермонтова и Гоголя, каждое новое поколение будет вновь и вновь слышать имя Виссариона Белинского и перечитывать его пророческие страницы.

Но и помимо этой формы посмертной жизни писателя в умах последующих поколений, помимо существования его книг, возобновляемого в целом или частью на печатном станке, — есть еще другие формы этой жизни. Мы не говорим уже о том, что в каждом новом творении литературы, в каждой живой статье, стихотворении, рассказе и философском трактате, во всем этом многоголосом хоре, который мы называем своей литературой, — возобновляются и звучат давно смолкшие голоса и оживают давно угасшие мысли людей, думавших и писавших ранее, «их же имена ты, господи, веси!» Это все-таки мы называем смертью. Ведь и над каждой могилой зарождается новая жизнь — в аромате цветка, в колыпании травы, в шопоте буйной листвы на могильного дерева мы слышим веяние жизни, истлевшей под могильным дерном, растворившейся безлично, но не бесследно в об-

цем никогда не останавливаемся жизненным потоке.

Белинский живет для нас, будет жить всегда не только этой безличной жизнью. Кроме той массы идей, которые он в течение своей недолгой карьеры пустил в обращение, которыми мы и за нами наши дети будут пользоваться, не всегда даже связывая их с первоисточником, — кроме стольких-то печатных томов и страниц, Белинский завещал нам еще цельный, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов.

Этот образ — он сам, с его страстной жаждой истины, с его исканиями и искренностью.

Искренность была главная черта Белинского, и притом искренность в лучшем, самом глубоком значении этого слова. Знаете ли вы, что такое искренность, — спрашивал, помнится, Помяловский. Это то свойство человека, когда он не способен к тени обмана, не только перед другими, но и перед самим собою. Мы так склонны держать истину, всю истину, в собственном обладании, мы так рады этому обладанию, что готовы пожертво-

вать многим для того, чтобы не расстаться со своей уверенностью, порой даже с ее иллюзией. Как часто случается, что человек уверяет себя и других, что он обладает истиной, когда она давно уже подточена в его душе темными сомнениями, как часто мы продолжаем курить фимиамы перед алтарями, которые давно уже покинуты божеством, или начинаем курить их перед такими, где божества никогда не было. Нет, — чутко прислушиваться к голосу, хотя бы самому тихому, самому робкому голосу сомнения, не заглушать его в темных углах души, а вызвать из этой глубины на свет сознания, прислушаться к нему, как к тихому лепету ребенка, устами которого, быть может, скоро заговорит твердый голос новой истины, — и не успокоиться, не примириться с собой до тех пор, пока в уме останется хоть тень неуверенности, пока она не смолкнет, побежденная, или не даст новой истины на место старой — вот что такое искренность мыслителя и писателя.

«Неистовый Виссарион», как его называли друзья, останется для нас навсегда лучшим воплощением такой искренности. Всю жизнь

он горел этой жаждой, вся его жизнь — это неустанное стремление к такой чистой истине, не омраченное ни тенью сделок с собой, ни тенью компромисса с ложью. Он пламенел восторгами уверенности более, чем кто-либо другой, когда считал, что нашел ее, он страдал, когда являлось сомнение, глубже всех своих сверстников, и, однако, он скорее всех готов был отречься от того, что перестало быть истиной в его глазах. Кто знает, быть может, он именно оттого сторел так быстро. К нему более, чем к кому бы то ни было, приложимо скорбное восклицание поэта:

*Братья-писатели, в вашей судьбе
Что-то лежит роковое...*

Жизнь Пушкина и Лермонтова прекращена случайностью выстрела, Писарев утонул, Помяловский, Левитов и многое множество других писателей сами сокращали свою жизнь недугом, который еще Гоголь назвал «недугом талантливых людей»... Целая масса причин усложняла явление, в среднем выводе называемое «роковой судьбой» русского писателя. Только в жизни Белинского оно яв-

ляется в чистом виде, в виде ничем не затемненной и не усложненной борьбы духа, того пламенного сгорания нервов среди окружающей тьмы, которого и одного достаточно для объяснения, «почему он так скоро сгорел». Это был истинный рыцарь духа, без страха и упрека, и русская литература всегда с гордостью будет обращать на него взгляды, как на своего подвижника и святого!

И это — быть может, самая бессмертная доля того, что нам осталось от Белинского. Поэзия дала нам идеальные образы, — но мы не можем забыть, что настоящий Дон-Карлос был только хилый и слабый волею отпрыск вырождающегося дома, что маркиз Поза жил только в воображении Шиллера, что действительная Мария Стюарт и жила, и умерла совсем не так, как в бессмертной драме. Между тем, кристально-чистый образ Белинского не разрушит уже никакая самая придирчивая историческая критика. Он был именно таков, и его жизнь, скристаллизовавшаяся в его творениях, письмах, поступках, выдерживает сравнение с самыми идеальными творениями фантазии, с несомненным преимуще-

ством полной реальности.

Около четверти века назад Некрасов вздыхал о том времени, когда народ

*Не генерала строгого
И не милорда глупого, —
Белинского и Гоголя
С базара понесет.*

С тех пор прошло почти три десятилетия, в которые российский прогресс двигался своим неторопливым и неровным ходом, а мы все еще далеки от этого времени. Правда, газеты приносят то и дело известия, что в том или другом городе думы или просветительные общества собираются чествовать память великого русского критика. В Саратове инициатива принадлежит литературно-художественному обществу, в Самаре вопрос внесен в думу; в то время, когда читатель будет пробежать эти строки, родина Белинского, Пенза, — соберет у себя много интеллигентных людей в память Белинского. Но народ еще не знает его имени, к нему оно достигает разве отдаленными, смутными отголосками. Вскоре после смерти Белинского многомиллионная масса русского народа получила свободу и

(теоретическое, правда) равенство перед законом. Предстоит еще длинный путь до того исторического пункта, в котором исчезнет великое неравенство перед образованием. Белинский верил, что оно, наконец, исчезнет; для нас это уже не только вера, а убеждение, оправдываемое хотя бы и тихим, но несомненным направлением общественного движения.

А если так, то несомненно, что и мечта Некрасова сбудется, потому что, сколько бы ни понадобилось для этого времени, — образ Белинского уже не померкнет. Он пережил свой период испытания и остался нетленным, в ожидании, когда к нему проложится и уже

...не зарастет народная тропа.

1898

О Глебе Ивановиче Успенском

Черты из личных воспоминаний*

Есть люди, подобные монетам, на которых чеканится одно и то же изображение. Другие похожи на медали, выбиваемые только для данного случая.
Гофман

I

Глеб Иванович Успенский был именно такой медалью. Он был один, сам по себе, ни на кого не был похож, и никто не был похож на него. Это был уник человеческой породы, редкой красоты и редкого нравственного достоинства.

Нужно с грустью признать, что реальная личность писателя, художника, артиста — редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем по их произведениям. Во время творчества идей, звуков, образов мы становимся несколько выше нашей средней личности. Мы как бы уходим в маленькую горную часовенку, отгороженную от наших будней. А затем, «когда не требует поэта к свя-

ценной жертве Аполлон», мы опять спускаемся с этих вершин, которые — велики они или малы — все-таки составляют высшие точки нашего личного существования. Иной раз этот обычный уровень очень удален от вершин, и вот почему так часто первое впечатление при встрече с писателем — бывает легкое движение разочарования: нам трудно связать в одно целое наше идеальное представление с реальной личностью.

Но бывают дорогие и редкие исключения, когда оба эти представления совпадают вполне и нераздельно. Таким именно исключением был Глеб Иванович Успенский.

Во второй половине 80-х годов я жил в Нижнем Новгороде, и среди моих близких знакомых был провинциальный писатель, который в то время вел литературный отдел в одной из приволжских газет. Всякий, кто жил уже сознательной жизнью в то смутное и туманное время, помнит общий тон тогдашнего настроения. У так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора (о которой последний, впрочем, по обыкновению, даже не знал). Хо-

тя Успенский никогда не идеализировал мужика, наоборот, с большой горечью и силой говорил о «мужицком свинстве» и о расправской темноте даже в период наибольшего увлечения «устоями» и тайнами «народной правды», тем не менее в это время он всей силой своего огромного таланта продолжал призывать внимание общества ко всем вопросам народной жизни, со всеми ее болящими противоречиями и во всей ее связи с интеллигентною совестью и мыслью. Так что с реакцией против мужика начиналась реакция и против Успенского: к нему обращались запросы, упреки, письма. В одной из своих статей в «Отечественных записках» Глеб Иванович с большим остроумием отмечал и отражал это настроение при самом его возникновении. Он характеризовал его словами: «Надо и нам». Что в самом деле: мужик заполнил всю литературу. Мужик да мужик, народ да народ. «Мы тоже хотим... Надо и нам...» Нет сомнения, что у этого настроения были свои причины, пожалуй, далеко не безосновательные. Еще недавно многие требовавшие «и себе» красоты, мечты, ярких красок или

внимания, не только не требовали этого, но даже, забывая о себе, отдавали все личное меньшему брату. Но жизнь, обманутые ожидания завели их в тупой переулок, из которого как будто не было выхода... Началось самоуглубление, самоусовершенствование, решение вопросов изолированной личности, вне связи с общественными вопросами, до тех пор властно занимавшими умы и сердца. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя», — с обычной меткостью характеризовал Глеб Иванович одну сторону этого настроения. Огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы.

Отчасти это настроение переживал и мой приятель. Кроме того, он был хорошо знаком с иностранными литературами, относительно же русской в его чтении были пробелы. В том числе и Успенского в целом он не знал и разделял предубеждение против его настоячивых призывов «все-таки смотреть на мужика».

Однажды он вошел в мою гостиную, когда за чайным столом, в кружке моей семьи и знакомых, сидел Глеб Иванович, только что приехавший в Нижний Новгород. Он говорил о чем-то своим обычным тоном, в котором проглядывала какая-то сдержанная, глубокая печаль, по временам вдруг уступавшая место вспышкам особенного, только Успенскому присущего, тихого юмора. Я представил своего приятеля. Успенский встал, пожал ему руку, невнятно пробормотал свою фамилию и опять обратился к занимавшей его теме, которая уже овладела вниманием слушателей. Взглянув случайно на своего приятеля, я заметил на его лице напряженное внимание, смешанное с чрезвычайным изумлением. Через четверть часа он поднялся с своего места и, выйдя в соседнюю комнату, поманил меня за собою.

— Кто это у вас? — спросил он с величайшим любопытством. — Я не расслышал его фамилии.

— А что? Почему вы спрашиваете таким тоном?

— Это какой-то необыкновенный человек.

От него... веет гениальностью.

— Поздравляю вас, — ответил я, смеясь, — вы познакомились с Глебом Ивановичем Успенским.

После этого мой приятель несколько недель запоем изучал Успенского, все более и более увлекаясь, и в приволжских газетах появились статьи нового страстного поклонника Глеба Ивановича. Он был завоеван навсегда, и притом не писатель предрасположил его к личности, а, наоборот, необыкновенное обаяние личности обратило скептика к изучению произведений писателя.

Глеб Иванович Успенский не сказался в своих произведениях со всею силой своей необыкновенной личности и своего таланта. Чистый образ, тщательно выношенный в душе и выплавленный из однородного художественного материала, вообще легче привлекает внимание и живет дольше, чем та смесь образа и публицистики, посредством которой работал Успенский. Ему нужна была не красота, не цельность впечатления, не самый образ. С лихорадочной страстностью среди обломков старого он искал материалов для со-

зидания новой совести, правил для новой жизни или хотя бы для новых исканий этой жизни. То, что он предполагал известным, общим у себя и читателя, над тем он не останавливался для детальной отделки, то отмечал только беглым штрихом, заполнял кое-как, лишь бы не оставить пустоты. Наоборот, то, что еще только мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды, — за тем он гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в душе в ясный, самодовлеющий образ. Он пытался обрисовать его поскорее для насущных надобностей данной исторической минуты теми словами, какие первые приходили на ум. От этого он часто повторялся, все усиливая находимые идеи, заставляя читателя переживать с ним вместе и его поиски, и его разочарования, и всю подготовительную работу, пускал жильцов, когда у постройки еще не были убраны леса. Все это искупалось важностью и насущностью занимавших Успенского вопросов, а общность настроений писателя и его читателей заполняла пробелы в этой торопливой работе. Теперь, когда настроение изме-

нилось, пробелы выступают яснее, и, в целом, Успенский становится «труден». Однако всякий, кто не побоится лесов и видимого беспорядка в этой огромной работе, наткнется здесь и на замечательные образы, носящие печать более чем крупного таланта, и на глубокие, прямо «проникновенные» мысли (например, во «Власти земли», этой философии и эпопее земледельческого труда)... Но особенно интересна во всем этом — самая личность автора, с ее своеобразной глубиной, с ее необыкновенной чуткостью к вопросам совести, с ее смятением и болью...

И всякий, кто знал Успенского лично, кто помнит это обаяние и значительность основного душевного тона, который сразу чувствовался во всяком слове, движении, взгляде задумчивых глаз, в самом даже молчании Успенского, — согласится с отзывом моего приятеля: от этой своеобразной, единственной в своем роде личности «веяло гениальностью»...

II

С Глебом Ивановичем Успенским я познакомился лично в марте или апреле 1887 года.

В одну трудную эпоху моей жизни я получил от него через третьи или четвертые руки несколько слов приветия и одобрения по поводу моих первых литературных опытов. Это внимание любимого писателя к неизвестному и затерянному в ссылке молодому человеку и та заботливость, с которой он старался переслать свой привет через разные посредствующие инстанции, — меня глубоко тронули и залегли в моей душе чувством особой благодарности не только к писателю, но и к человеку. С этим чувством я подымался в пятый (кажется) этаж большого дома на Васильевском острове, где в те годы жил Успенский. В то время портреты писателей не были так распространены, как теперь, и я не имел ни малейшего понятия о наружности Успенского. В передней, куда я вошел, меня встретил кто-то из молодежи, наполнявшей соседние комнаты. Был, помнится, какой-то семейный праздник, в квартире было весело и шумно. Над семьей тогда не чувствовалось еще приближение грозы, которая уже готовилась в близком будущем, и молодежь беззаботно веселилась, наполняя шумом всю квар-

тиру. Я назвал свою фамилию и через несколько минут очутился в объятиях человека, которого в первое время не успел хорошенько рассмотреть. Только когда он отодвинулся, чтобы взглянуть мне в лицо, я увидел в первый раз его удивительные глаза, широко расставленные и глубокие. В них было что-то ласковое и печальное в то же время; лицо показалось мне усталым. Помню, однако, что оно как-то сразу, без всякого промежуточного впечатления и разлада, слилось со всем лучшим, что отлагалось в душе от его произведений. Мне казалось только, что лицо и взгляд автора «Будки», «Разоренья» и стольких картин, полных яркого и своеобразного юмора, должны бы быть несколько веселее. Однако я чувствовал, что от этого оно не стало бы лучше, чем с этой грустью, сосредоточенной, вдумчивой и как будто бы давно отложившейся на самом дне этой глубокой души.

Наскоро познакомив со своей семьей, Глеб Иванович увел меня в свою маленькую рабочую комнатку налево от входа. Усадив меня, он сел сам и закурил папиросу. Первую минуту оба мы молчали, но от этого молчания мне

совсем не было неловко. Наоборот, с первой же минуты я почувствовал себя близким к этому человеку с печальными глазами и ласковой улыбкой, как будто мы были давно знакомы. Он курил и прислушивался к веселому шуму молодежи, доносившемуся из соседних комнат. Когда взрывы веселья становились особенно ярки, лицо Глеба Ивановича как-то внезапно светлело, и он глядел на меня смягченным взглядом, будто приглашая принять участие в этой общей радости. Потом, как бы продолжая давно начатый разговор, он рассказал мне о своих детях, об их характерах и о причине семейного праздника.

Подробностей этого первого разговора я почему-то не помню так ясно, как запомнились мне впоследствии многие другие наши беседы. Помню только, что уже в середине вечера разговор коснулся Достоевского.

— Вы его любите? — спросил Глеб Иванович.

Я ответил, что не люблю, но некоторые вещи его, например «Преступление и наказание», перечитываю с величайшим интересом.

— Перечитываете? — переспросил меня

Успенский с удивлением и потом, следя за дымом папиросы своими задумчивыми глазами, сказал:

— А я не могу... Знаете ли... у меня особенное ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя... самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо... прррямо за горло хочет схватить... или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться.

Он говорил это так выразительно и так глядел своими большими глазами, что я, как бы под внушением, сам почувствовал легкое веяние этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского.

— А все-таки есть много правды, — возразил я.

— Правды?..

Глеб Иванович задумался и потом, указывая двумя пальцами в тесное пространство между открытой дверью кабинета и сте-

ной, — сказал:

— Посмотрите вот сюда... Много ли тут за дверью уставится?

— Конечно, немного, — ответил я, еще не понимая этого перехода мысли.

— Пара калош...

— Пожалуй.

— Положительно: пара калош. Ничего больше...

И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь, он закончил:

— А он сюда столько набьет... человеческого страдания, горя... подлости человеческой... что прямо на четыре каменных дома хватит.

Я невольно улыбнулся. Впоследствии мне пришлось не раз встречаться с этим изумительным умением Успенского — двумя-тремя словами, комбинацией первых попавшихся на глаза предметов — объяснить и иллюстрировать сложные явления, для которых другим нужны длинные рассуждения и множество слов... Его суждения всегда бывали кратки, образны, били в самую сущность явления и часто освещали его с неожиданной стороны. И никогда в них не было того легкого остро-

умия, в котором чувствуется равнодушие к предмету и безразличная игра ума. До сих пор я помню выражение лица, с каким он произносил эти слова: «страдание», «горе», «подлость человеческая» — в приведенном отзыве о Достоевском. Для него это не были простые понятия: каждое из них отражалось болью на его выразительном лице...

Может быть, в этой особенной чуткости сказывалась уже близкая болезнь... Но в то время мне это не приходило в голову, тем более что и эта печаль, и эта чуткость сливались в цельный образ, слишком привлекательный, чтобы казаться болезненным. Во время разговора он страшно много курил, и здесь опять у него был свой особенный, оригинальный прием: докурив папиросу до половины, он вынимал из нее своими тонкими, нервными пальцами картонный мундштук и как-то особенно ловко надевал не докуренную папиросу на другую, новую. С этой последней через некоторое время он проделывал то же самое, и таким образом его папироса не уменьшалась, а, наоборот, достигала иногда необычайных размеров...

Впоследствии много раз приходилось мне проводить время с Глебом Ивановичем, и почти всегда при этом я видел у него во рту эту длинную составную папиросу, которую он все дополнял с привычной ловкостью. Нередко также около него стояла бутылка вина или пива... Очень может быть, даже наверное, что и это неумеренное куренье, и вино оказали свое вредное влияние и ускорили наступление болезни. Но меня всегда коробит и оскорбляет, когда я слышу или читаю об алкоголизме или «обычном пороке талантливых людей» в применении к Глебу Ивановичу Успенскому. Я лично пьяным его никогда не видел... Мне кажется, что у него не было любви ни к вину, ни к вызываемому вином изменению личности. Да такого изменения и не было: он оставался все тем же, с тем же грустно-задумчивым взглядом и той же улыбкой... Вообще, когда теперь я вспоминаю эту папиросу и вино и то, что я без привычки тоже курил и пил в присутствии Глеба Ивановича и что ни куренье, ни вино не оказывали на меня никакого действия, — то мне кажется, что это было какое-то ровное, беспрестанное и

чрезвычайно интенсивное горение мозга и нервов, заразительное, вовлекавшее тотчас же и других в свою сферу. И в этом горении совершенно утонуло впечатление наркотиков. Это были просто капли, шипевшие на раскаленной плите. Но плита раскалялась не ими...

Разговор Успенского тоже был совершенно особенный. Рассказывая что-нибудь, он глядел на собеседника своим глубоким, мерцающим взглядом, говорил тихо, как будто сквозь слегка сжатые зубы, и при этом жестикулировал как-то особенно, то и дело прикладывая два пальца к груди, как будто указывая на какую-то боль, которую он чувствовал от собственных рассказов где-то в области сердца. Его речь была отрывиста, без закругленных периодов, полная причудливых изгибов и неожиданных определений, часто вспыхивала своеобразным юмором. И никогда она не производила впечатления простой болтовни на досуге, среди которой так хорошо иногда отдохнуть от работы и от мыслей. Его молчание было отмечено теми же чертами, как и его разговор. В его отрывистых замечаниях и

в его молчании чувствовалась какая-то неразрывная связь. В одном из своих очерков он говорит, что иногда можно «молчать о многом». Действительно, бывают разговоры, в которых содержания меньше, чем в полном молчании, и бывает молчание, в котором ход мысли чувствуется яснее, чем в ином, даже умном разговоре. Такое именно значительное молчание чувствовалось в паузах Успенского. Его речь и его паузы продолжали друг друга. Мысль его шла, как река, которая то течет на поверхности, то исчезает под землю, чтобы через некоторое время опять сверкнуть уже в другом месте. Раз вслушавшись в основное содержание занимавшей его мысли, вы уже были во власти этого течения, во время самых пауз уже чувствовали это «молчание о многом» и невольно ждали, где эта неотдыхающая мысль опять сверкнет на поверхности каким-нибудь неожиданным поворотом, образом, картиной, иногда в одной короткой фразе или даже в одном только слове.

Я думаю, что эта манера молчать так же утомительна, как и напряженная работа. А между тем это было нормальное состояние

Успенского, по крайней мере в том периоде его жизни, когда я знал его. Для него почти не существовало тех минут полного безразличия организма, когда в нем совершаются, не задевая сознания, одни только растительные, восстанавливающие процессы. Некоторые «жития» рисуют нам подвижников, никогда не расстававшихся с молитвой, которая входила даже в их забытие и сон. Совершенно так же некоторые вопросы совести и мысли никогда не засыпали в Успенском. И это-то, я думаю, придавало такую выделяющую значительность его лицу, его словам, его взгляду, самому его молчанию...

Но это же и сжигало его неустанным огнем...

Все это, разумеется, сложилось для меня в полное, сознательное впечатление только впоследствии, при ближайшем знакомстве с Успенским, и даже продолжает выясняться теперь, когда я вглядываюсь в свои воспоминания. Помню, однако, что в этот первый вечер, выйдя на пустынную линию Васильевского острова, я очень удивился, взглянув на часы, — как уже поздно и как скоро прошло

время. И я долго шел пешком, останавливаясь то на набережной, то на мосту, и ловил себя на этих невольных остановках, во время которых, глядя на Неву, на дома, на ночное небо, я, в сущности, был занят только переполнявшим меня впечатлением от этой своеобразной личности, с ее совершенно особенным душевным складом, значительным, глубоким и обаятельным.

III

В последующие годы мы встречались много раз то в Петербурге (во время моих приездов), то в Москве, а затем несколько раз он гостил у нас в Нижнем. Одно из этих посещений осталось в моей памяти с особенной ясностью, может быть оттого, что некоторые поразившие меня черточки я тогда же, под первым впечатлением, набросал в своей записной книжке, а может быть, и потому еще, что от него осталось воспоминание, еще не омраченное тенью роковой болезни.

Это было в 1887 году, если не ошибаюсь, в конце июля или начале августа. Приехал Успенский в Нижний Новгород среди чудесных дней ранней осени, ласковых и теплых. В

первые минуты он показался мне как-то особенно веселым, радостным, оживленным. Отделавшись от срочной работы, он приехал на пароходе и на следующий день собирался ехать дальше, вниз по Волге. В план его поездки входили; Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Царицын. Из Царицына он должен был проехать в Калач, на Дон, и затем куда-то по железным дорогам, с намеченными остановками. Он чувствовал себя отлично, и от него веяло свежестью и впечатлениями Волги.

Однако у него никогда не было такого времени, когда бы он был совершенно свободен от какой-нибудь «господствующей идеи», служившей центром его настроения. И действительно, после первых радостных приветствий он посмотрел на меня своими выразительными глазами, с притаившейся в них тревожной печалью, и спросил:

— Читали вы лекцию госпожи NN?

Я лекции не читал, но встречал кое-что об ней в газетах. Это было время сильного увлечения теориями Ломброзо и антропологической школы. Лекция была первоначально прочитана, кажется в пользу высших жен-

ских курсов, женщиной-врачом и касалась среднего типа проститутки. Лекторша, на основании ряда исследований, приходила к заключению, что «тип этих женщин» — ниже среднего женского. Между прочим, Глеба Ивановича остановила одна подробность: оказалось, что нижняя челюсть проститутки выступает на какие-то полтора миллиметра больше, чем у средней добродетельной женщины.

Вся эта физиолого-анатомическая статистика, в которой утопает столько живого, личного, индивидуального горя, страдания и позора, это рассечение живого и болящего явления на предопределяющие особенности физиолого-анатомического свойства глубоко оскорбили Глеба Ивановича и приводили его в негодование. Он знал «жертвы», и притом именно жертвы общественных условий и «общественного неустройства». А здесь выдвигался «низший тип», осужденный фатально несовершенствами собственной организации. Центр тяжести всей вины, тревожившей совесть и взывавшей к справедливости, переносился из ответственной социальной среды

в фатальные условия природных предопределений. То обстоятельство, что лекцию читала женщина-врач в пользу высших женских курсов, перед аудиторией, в значительной части состоявшей из курсисток, которые проводили лекторшу аплодисментами, — особенно огорчило Успенского. В его чутком воображении за этой статистикой встал коллективный образ интеллигентной женщины, пробивающей себе дорогу к знанию и свету, а за ним — тысячи помраченных существований. И ему показалось, что добродетельная женщина с холодным пренебрежением закрывает глаза на горе своей погибающей сестры, слишком легко принимая теорию «низшего типа».

Я, повторяю, не читал самой лекции (напечатанной, кажется, в каком-то журнале), но попробовал было заступиться за цифры, допуская, что в массе гибнущих есть и «жертвы органических предрасположений», ослабляющих устойчивость в жизненной борьбе. Этот контингент может влиять на средний вывод, не устраняя вопроса о влиянии социального неустройства в огромном большинстве остальных случаев. Весь вопрос — в перспек-

тиве и выделении факторов общественных от чисто антропологических.

Глеб Иванович сначала смотрел на меня с печальным недоумением и укором, а затем, дослушав, сказал:

— Ну, вот-вот! Так где же оно, самое-то главное? В челюсти-то оно разве выражено? Нет, не защищайте, Владимир Галактионович: есть оно, это бездушное особенное... женское... добродетельное!.. Челюсть, и больше ничего! Полтора миллиметра, и кончено!..

И, сразу обидевшись за «недобродетельную» сестру, он стал беспощаден к добродетельной. По обыкновению, с паузами, со своим особенным молчанием «все о том же предмете», он стал прослеживать примеры «женского бездушия», иной раз удивляя нас кажущейся неожиданностью и как бы бессвязностью своих вылазок.

— Вот теперь в (таком-то журнале) мочалка пойдет... — сказал он, вдруг улыбнувшись. — Приходит в редакцию господин... Мрачный... Грива диаконская... под мышкой рукопись... «Вот, о производстве мочалок! В N-ской волости, такой-то губернии...» — «То

есть позвольте... каких мочалок?» — «А просто: мочалка! Которая в бане... или, например, рогожа...» — «Ах, вот что! Скажите пожалуйста: ма-а-чалка! В N-ской волости... Непременно, непременно напечатаем! Мочалка!.. Ах, как интересно».

Все мы хохотали над этой маленькой жанровой картинкой, хотя не понимали еще, какая связь между мочалкой и лекцией... Но вдруг он замолк, посмотрел на нас печальными глазами и, с особенной силой прижимая два пальца правой руки к левому лацкану пиджака, закончил внезапно изменившимся тоном:

— Да, вот: мочалка! А заступиться за женщин... за несчастных... за погибающих... Этого вот нет! Помилуйте: у нее вот челюсть на полтора миллиметра... Что тут поделаешь... Нет! Сделайте одолжение: вымеряйте получше. Может, у нее челюсть-то поаккуратнее вашей...

И он продолжал развивать эту тему своей обычной отрывистой речью, с паузами и неожиданными вспышками юмора. За женщиной-редактором последовали женщи-

ны-писательницы. Глеб Иванович находил, что и они повинны в пренебрежении и холодности к этому чисто женскому вопросу...

— Он и она... при луне... Любовь... На это вот мастерицы; чай влюбленная героиня разливает, так у нее любовь-то эта... даже в носке чайника... так вот и вьется... Или вот у другой: ребеночек умирает... Так она обои, на которые он смотрел, взяла и выдрала. Понимаете: *свой* ребеночек-то смотрел. Святыня!.. А вот у кого ни ребеночка, никого нет! Почему о них не напишут? Кому бы, кажется, за свою-то сестру заступиться... Написать всю правду... до конца!.. А не полтора миллиметра!..

Он опять помолчал и, грустно покачивая головой, прибавил:

— И аплодируют... Молодые, хорошие... счастливые...

Глаза его становились все глубже, печальнее, веселье начинало исчезать, папироса все вырастала и вырастала...

После обеда мы решили отправиться на так называемый в Нижнем «откос». Я надеялся, что эта прогулка, чудесный день и волжские пейзажи рассеют Глеба Ивановича и

вернут ему то радостное оживление, с каким он к нам явился в первые минуты после приезда. Несколько знакомых отправились вперед, а я с Успенским — за ними на извозчике. В одной из улиц верхнего города (значительно пустеющего во время ярмарки) навстречу нам, заполняя всю улицу стуком копыт и шуршанием скачущих по мостовой резиновых шин, промчалась коляска, в которой, развалясь, сидел молодой купец. У него было круглое, как луна, красное лицо, лоснящиеся русые кудри лезли из-под блестящего узкого цилиндра...

Глеб Иванович, до сих пор молчавший, повернулся в сидении и проводил его внимательным, изучающим взглядом.

— Видели? — спросил он. — Ну, что скажете?

— Да, фигура, — ответил я, не поняв вопроса.

— Нет... Этаким вот господин захочет вдруг себе удовольствие... Как вы думаете — скажет он: подавай мне, чтобы именно челюсть на полтора миллиметра?..

Я невольно засмеялся, а Успенский со сво-

им печально-сосредоточенным видом закончил:

— Нет... Никаких денег не пожалеет, сотню подлого народа на поиски разошлет, а уж достанет... И чтобы все как можно лучше... чтобы и челюсть в самую пропорцию...

И он опять замолчал, но теперь я уже чувствовал, что это молчание заполнено все тем же волнующим его вопросом о падших и о виновных в этом падении.

Нижегородский откос, на высоком берегу, над Волгой воспет и прозой, и стихами в тысячах фельетонов и даже в серьезных повестях и рассказах. Действительно, вид с этого горного обреза на заволжские луга, на мреющее в золоте заката слияние двух рек, на тихо рокочущую далеко на «стрелке» ярмарку способен захватить в свои бездумные, ласкающие объятия самого угрюмого человека. Мы ходили по аллеям, садились на скамейки, любовались видами, болтали и смеялись, а через полчаса уселись на полукруглой площадке у ресторана.

Под нами расстилались, уходя вниз, зеленые вершины лип. Между зеленью ветвей, в

промежутках, сверкала далеко внизу река, проходили баржи и пароходы... Целые часы можно было бы просидеть здесь, ни о чем не думая, даже ничего в особенности не выделяя в сознании, а только глядя на это небо, на эти синеющие дали, на реку, залитую косыми лучами солнца, и прислушиваясь к ласковому веянию ветра, доносившего снизу смягченный шум людской суеты...

— Ну, вот и посмотрите, — услышал я голос сидевшего рядом Глеба Ивановича, — ну, вот там, на балконе... Какие же тут полтора миллиметра?..

Я оглянулся по направлению его взгляда и увидел вверху, на балкончике ресторана, женскую фигуру. Это была красивая брюнетка кавказского типа, с широкими бровями и огромными черными глазами. Еще довольно свежее лицо выделялось своей белизной на фоне синевато-черных волос.

В этом ресторане пел хор певиц, начиная после обеда и до глубокой ночи. Это была наемная регентша хора, молодая грузинка или осетинка. Было еще рано, посетителей было мало, и девушки бродили по дорожкам, а ре-

гентша задумчиво смотрела вдаль, отдаваясь этой минуте отдыха и покоя под ласкающим ветром, шевелившим завитки ее буйных волос.

Глеб Иванович смотрел на нее, и на его лице рисовалась глубокая симпатия.

— Да, вот вам и полтора миллиметра, — говорил он с укором, — подите вот... Расспросите ее: как она сюда попала... А челюсть-то, сделайте одолжение: поаккуратнее многих...

В это время девушка с балкона кинула случайно взгляд на нашу группу и, очевидно, заметила, что мы на нее смотрим и говорим о ней. Для нее это было сигналом «начала работы». Она еще раз, как будто с сожалением, посмотрела на далекие луга и, приняв профессионально-ласковое выражение лица, обратилась к нам с приглашением войти внутрь ресторана и послушать пение.

Живя в Нижнем, я много раз бывал и на откосе, слушал «певиц» и на ярмарке, в первоклассных гостиницах, и в самых ужасных вертепах. Компании, с которыми мне пришлось посещать эти места, тоже бывали разнообразными; но впечатления все-таки походи-

ли друг на друга: всегда оставался какой-то осадок, неприятный и тяжелый. Только этот случай, когда я слушал ресторанных «певиц» с Глебом Ивановичем, оставил во мне совершенно особенное впечатление, так как, повторяю, человек этот был тоже совершенно особенный...

Мы поднялись наверх. В небольшой комнатке ресторана, с дощатыми подмостками для хора, стоял рояль. По зову регентши, девушки входили из сада и со скучающим видом подымались на эстраду... Потом спели какую-то песню... Вяло, лениво. Потом подошли со сбором «на ноты»...

Однако скоро это совершенно изменилось. Молодая осетинка, которая приняла наше приглашение присесть к столу, по-видимому, инстинктивно угадала, кто служит центром нашей, не совсем, быть может, обычной в ресторане, компании... И, когда подошел следующий номер, — она установила свой хор на эстраде, но сама вышла вперед и совершенно неожиданно запела одна, под аккомпанемент рояля, очень красивым задушевым контраalto:

Не говори, что молодость сгубила...

Я пишу свои воспоминания, ничего в них не прибавляя, а только восстанавливая то, что было, и несколько человек, бывших с нами в то время, без сомнения, помнят еще этот маленький эпизод. Я не знаю, чему приписать эту «отгадку» молодой певицы, так как до тех пор у нас шел самый обыденный разговор, полшуточный и легкий. Однако она именно угадала, что лучше всего спеть в данную минуту, и, стоя на эстраде, глядела на Успенского, как бы назначая именно ему свою песню. Пела она хорошо и с чувством...

Глеб Иванович был глубоко растроган, сидел, опустив голову, и по временам шептал, полуоборачиваясь к соседу:

— Д-да... да... Болен Некрасов. Умирает... Скоро... «холодный мрак могилы»... «Не говори, что молодость сгубила»... Да, да... вот именно так.

В это время, пока певица вела к концу свой романс, увлекаая нас и, по-видимому, увлекаясь сама, — снизу, из люка с лесенкой, которая вела в этот зал с нижней веранды, появи-

лась плотная, пьяная фигура. Какой-то ярмарочный посетитель, закутивший «на Стрелке» и приехавший докучивать на откос, в сером пальто, с котелком на затылке, хмельной и довольно безобразный, поднялся, привлеченный пением, и стал прямо между нами и эстрадой. Широкая фигура с расставленными ногами и палкой в руках совершенно закрыла певицу. Он был, видимо, недоволен выбором песни и только что отпустил какую-то пошлость, как Успенский протянул свою палку и тронул его концом в плечо.

Это было так неожиданно, что я с удивлением посмотрел на Глеба Ивановича и не мог не улыбнуться.

На его лице не было ни гнева, ни возбуждения, а только легкая досада и желание устранить препятствие, мешавшее ему спокойно слушать. Так мы устраняем с дороги не на месте усевшуюся собаку, кошку или даже просто какой-нибудь обрубок. Разумеется, пьяный господин не мог на это смотреть так же философски. Он повернул к нам свое разъяренное лицо, и, вероятно, романс закончился бы большим шумом, если бы, к счастью,

находчивый Н. Ф. Анненский не подошел к освирепевшему посетителю и, весело и добродушно говоря что-то, отвел его в сторону. Озадаченный и сбитый с толку посетитель попал затем в руки официантов, которые усадили его за стол, а Глеб Иванович дослушивал последние звуки романса, как будто даже не заметив всего этого эпизода...

Когда после этого одна из певиц опять подошла «с нотами», Глеб Иванович вынул из правого кармана своего серого пальто бумажку и положил ее, не глядя. При следующем номере повторилось то же. Деньги он вынимал, как спички для закуривания папиросы или предмет совершенно неинтересный и не стоящий внимания. Я пробовал указать ему, что, в сущности, он дает не певицам и что все это поступит не *хору*, а только хищнице-хозяйке. Молодая осетинка, сидевшая по нашему приглашению за столом, оглянувшись и тихо, чуть слышно, сказала: «Да, хозяйке... мы на жалованье»... Но это на Глеба Ивановича не оказало задерживающего действия. Он так же, не глядя, механически вынимал деньги и клал их «на ноты». Когда один раз я захотел оста-

новить его, указав, что мы уже положили и что этого достаточно, — он посмотрел на меня с выражением укора и легкой досады и опять вынул наудачу то, что первое попало под руку.

Видно было, что, и слушая, и внимательно глядя на певиц, и вынимая бумажку, он занят каким-то одним предметом, от которого как будто и не хочет, и не может отвлечься для таких пустяков, как деньги и их значение. После этого я уже не останавливал его. Мы просидели до заката солнца, потом, попрощавшись с певицами, вышли в аллеи сада.

Здесь нас ждал новый маленький эпизод. В то время, когда мы сидели еще на площадке снаружи, к нам подходил маленький итальянец с каким-то инструментом вроде гармони. На нем была остроконечная черная шляпа, из-под которой выразительно глядели большие черные глаза. Играл он недурно, просил глазами еще лучше и, по-видимому отчасти благодаря нашей компании, сделал необычный сбор. Ввиду этого он позволил себе некоторую роскошь: подойдя к деревянному киоску на видной аллее, важно уселся на

стул, положил у ног калабрийскую шляпу и гармонию и потребовал себе стакан мороженого.

Случилось, что в это время злой рок привел в сад его старшую сестру-нищенку, хромую девушку лет восемнадцати-двадцати на костылях. У нее было такое же смуглое лицо, такие же черные волосы и такие же выразительные глаза. Только лицо было болезненное, а глаза злые. Она быстро ковыляла по аллее на своем костыле, и так как мы подымались по дорожке к этому киоску, то маленькая драма завершилась на наших глазах: разъяренная девушка схватила беспечного музыканта за ухо как раз в то время, когда он подносил ко рту ложечку с мороженым.

Вышла маленькая жанровая сценка в очень красивой обстановке и, в сущности, очень благодарная для художника. Есть такие счастливые художники-олимпийцы, которые даже в самой казни видят благодарную «натуру». Глеб Иванович по своему темпераменту находился на противоположном полюсе. В своей автобиографии он пишет, что был в Париже после коммуны и видел, «как пригова-

ривали к смерти сапожников и каменщиков». Но он сравнительно мало останавливался на этих картинах, и, я думаю, это не случайно: они подавляли его, он не мог овладеть ими, потому что его мозг и его нервы не вмещали всего их ужаса. Хорошо это для художника или дурно — я здесь этого вопроса не касаюсь: по отношению к Успенскому это был факт, входивший одним из составных элементов его личности. И теперь, при виде этого небольшого конфликта между братом и сестрой, пока мы еще успели вникнуть в смысл разыгравшейся перед нами сценки, — Глеб Иванович с страдающим и искаженным лицом кинулся к девушке и схватил ее за руку.

— Что ты делаешь... За что ты его бьешь?.. Какая ты скверная, — говорил он, сжимая руку озадаченной Немезиды своей нервной рукой. Та невольно разжала пальцы, и молодой кутила, вырвавшись, стрелой сбежал с небольшого откоса на нижнюю дорожку. Там он остановился без шляпы и гармонии и, чувствуя себя сравнительно в безопасности, наблюдал происходящее своими темными, как

чернослив, простодушными глазами.

Девушка, сначала испуганная, скоро, однако, оправилась и, всхлипывая и грозя брату кулаком, стала рассказывать нам о его ужасном преступлении и о причинах своего гнева. И вот, благодаря вмешательству Глеба Ивановича, в этом прелестном уголке, где для нас все было отдыхом, радостью и весельем, — перед нашими глазами вдруг развернулась, вместо комического интермеццо, целая драма. Оказалось, что в Нижний, на ярмарку, приехала семья итальянцев. Отец был музыкант, мать — певица, маленький сын — гармонист, вообще, кажется, вся семья готовилась исполнять на ярмарке что-то увеселительное. Но вдруг отец заболел и теперь лежал в каком-то вертепе Миллионной улицы, расстилавшейся внизу, под нашими ногами. Мать не могла оставить больного и маленьких детей. В качестве кормильцев оставались только — знакомый нам гармонист и она — хромая нищенка. Но ей подают мало, хоть она ходит целые дни, несмотря на больную ногу... Он должен бы играть и играть, чтобы собрать побольше денег... А он ест мороженое

в то время, когда у родных нет куска хлеба для маленьких детей...

И она опять заплакала и погрозила кулаком злополучному кутиле, все еще державшемуся в почтительном отдалении. Мы постарались ее успокоить, кидая в поднятую ею шляпу мальчика серебряные деньги. Глеб Иванович сунул руку в карман пальто, вынул оставшуюся там единственную пятирублевку и подал ее удивленной девушке. Потом полез в другой карман, пошарил там, но в кармане уже ничего не было. Тогда, с несколько растерянным видом, он повернулся и очутился лицом к лицу с незнакомой дамой, с пышным бюстом и в роскошной шелковой накидке. Она и еще два-три любопытных фланера были привлечены маленькой трагикомедией и неожиданным вмешательством странного господина. Успенского, по-видимому, нимало не смутило то обстоятельство, что перед ним очутились люди, совершенно ему незнакомые. Он посмотрел в лицо дамы ласковым и доверчивым взглядом и сказал просто, как сказал бы хорошему знакомому:

— Вот видите, какое тут дело. Отец болен,

мать с детьми... в труппе, У меня больше нет. Дайте вы сколько-нибудь, вот они тоже... Ведь целая семья...

Дама высокомерно взглянула на неожиданного сборщика, пожалала плечами и, повернувшись, поплыла по аллее. Остальные любопытные тоже нашли, что самый интересный момент миновал и что сбора, сделанного уже в пользу итальянцев, слишком достаточно для «бедного семейства». Глеб Иванович остался на дорожке один, провожая расходившихся внимательным взглядом. Я видел его лицо в эту минуту и очень жалел, что не мог снять его с этим выражением: проникновенность художника и простодушное удивление ребенка... Это почти детское простодушие и растерянность перед самым обычным проявлением черствости, и притом со стороны художника, который так понимал и так умел рисовать эти свойства среднего человека, составляли тоже особенную черту этого своеобразного и сложного характера.

Утром, тотчас после приезда к нам, Успенский говорил, что ночью спал мало и хочет лечь пораньше, чтобы отдохнуть перед даль-

нейшим путешествием. Ввиду этого я настаивал, чтобы не ходить уже никуда и чтобы Глеб Иванович ложился. Он покорно соглашался, но при этом как-то лукаво улыбался. Придя домой, он пошарил в чемодане и с торжеством вынул портмоне, из которого стал перегружать бумажки опять в левый карман.

— Да, вот! — сказал он, улыбаясь с веселым лукавством. — Я ведь человек предусмотрительный: сразу всего не взял. Видите: оставил про запас!

Я сильно подозреваю, что «предусмотрительность» принадлежала собственно жене Успенского, которая едва ли ожидала, что к «запасу» Глеб Иванович прибегнет уже в Нижнем.

Улеглись мы действительно довольно рано, в моей маленькой комнатке, в нижнем этаже дома, выходявшего в густой сад. Летом окно в этот сад я оставлял открытым и на ночь, и листья деревьев почти лезли в комнату.

Среди ночи я проснулся под впечатлением совершенно фантастических видений и, раскрыв глаза, некоторое время чувствовал себя

все еще как будто во власти сна: в окно тихо, с осторожностью пробирался из сада Глеб Иванович, а за окном, освещенная прорывающимися лучами месяца, виднелась фигура одного из наших общих друзей, очевидно, участвовавшего в заговоре и указывавшего Глебу Ивановичу этот путь для незаметного выхода и возвращения. Когда путешествие это совершилось благополучно, Глеб Иванович с лукавым видом послал фигуре за окном воздушный поцелуй и тихо сказал:

— Спит!..

Фигура за окном исчезла. Я окончательно пришел в себя и сообразил, что Глеб Иванович опять совершил экскурсию на откос.

— Вот вы как, Глеб Иванович, — сказал я. — А обещали лечь пораньше.

— Д-да... вот видите... Грешный человек... в окно... Ничего! Я сейчас лягу. Спите... Хотелось поговорить еще кое о чем. Удивительная девушка.

Однако сам он лег не сразу. Он сообщил мне, что у осетинки в Сызрани ребенок, и она своим пением зарабатывает на его содержание... Говорил он тихо, как будто про себя, и я

начал дремать. Сквозь дремоту долго еще я видел фигуру Глеба Ивановича, сидевшего на постели с папиросой. Папироса все удлинялась; огонек ее, вспыхивая, освещал глубокие, сосредоточенные глаза и выразительное лицо Успенского.

— Да... Вот... Ребеночек... А она тут поет, до самой зари... Человека захватит какая-нибудь такая шестерня... И ломает, и ломает всего... Что же тут челюсть? А я вот думаю: челюсть-то... она иной раз еще спасет... Будь эта вот, хромая, итальянка-то, поаккуратнее... Да тут, в этом аду... Господи боже!.. Давно бы ее закрутило...

Я зажег спичку и посмотрел на часы.

— Глеб Иванович, голубчик! Ведь уже три часа. А завтра на пароход в девять.

— Сейчас, сию минуту... лягу... непременно... Я только говорю: челюсть-то эта пустяки!.. Подлость тут наша, а не челюсть... И это надо понимать, писать, говорить... Общество... все мы... а не челюсть... не челюсть... Нет, не челюсть...

И долго еще в темной комнате виднелся вспыхивающий огонек его папиросы и слы-

шались отрывочные горькие замечания.

IV

На следующее утро мы приехали на пристань рано. Утро опять было чудесное, свежее. Пароход стоял у пристани, но свистка еще не было. Когда пришлось брать билеты, Глеб Иванович пошарил в карманах, заглянул в кошелек и, как-то виновато улыбнувшись, сказал с легким удивлением:

— А ведь у меня денег-то... уже и нет.

Мы это предвидели, и потому, не ожидая этого признания, Н. Ф. уже стоял у кассы, чтобы взять Глебу Ивановичу пароходный билет. Такие истории должны были случаться с Успенским очень часто. В следующем году он писал мне, между прочим: «Были у меня и двести рублей, и еще двести, и еще триста, но все исчезло в тот момент, как только появлялось в руках. Долгов в деревне накопилась тьма — едва выбрался оттуда... Говорят, есть какие-то новые бумажки и будто бы они были у меня в руках, но я решительно не видал их — знаю, что мелькало что-то синее или красное...» Он сознавал в себе эту черту и иной раз отзывался о ней с легким юмором,

как будто говорил о другом человеке. Но это было, так сказать, — вообще. В частности же, каждый раз, когда у него бывали деньги, он относился к ним с самым непосредственным равнодушием; и это ставило его нередко в невозможные, порой очень тяжелые положения.

— Ну, вот и отлично! — весело сказал он, получив от Н. Ф. билет. — Просто превосходно. Я вам непременно вышлю из Петербурга... А теперь мне бы еще... десять рублей.

— Мало, Глеб Иванович, — сказал я. — Ведь далеко.

— Нет! десять ровно. Я знаю... Я дам телеграмму, мне вышлют туда-то.

Мы не спорили, но вместо десяти рублей сунули Глебу Ивановичу в карман столько, сколько, по нашему мнению, должно было бы хватить на обычные путевые расходы.

На верхней палубе парохода ожидали уже две певицы из вчерашнего хора: осетинка и молодая девушка, почти ребенок, которую регентша, по-видимому, взяла под свое особое покровительство. Обе были одеты скромно и производили очень приятное впечатление. К

Глебу Ивановичу они относились с какой-то особенной почтительностью, и радость, сверкнувшую в их глазах, когда он подходил к ним, можно понять, если представить себе обычный тон обращения публики с этими бедными созданиями... Хор был сравнительно приличный, но существование женщины даже в самом «приличном» хоре представляет только тщетные усилия удержаться на наклонной плоскости. Ежегодно ярмарочная хроника отмечает не одну трагедию из этой области, которые мелькают и исчезают на общем фоне ярмарочной жизни. И те самые люди, которые вчера еще проводили вечер с певицами, забывая всякие «условности», — сегодня не решаются подойти к ним днем и на глазах у публики...

Глеб Иванович поздоровался с ними просто и радушно. То, что составляло их жизнь, — являлось его болью, его страданием, предметом его неутомимой мысли, и это давало какой-то особенный тон их взаимным отношениям. Обычные расспросы равнодушных людей, бередящих и без того болящие раны, — без сомнения, являются для этих бед-

ных девушек новым источником нравственных страданий, и они защищаются от них по-своему: никогда они не говорят своих настоящих имен, друг друга называют вымышленными и каждому любопытному допросчику рассказывают новую свою биографию. Но для Глеба Ивановича это были «настоящие» люди, он уже знал их «настоящую» жизнь и теперь с серьезным сочувствием записывал адрес какой-то сызранской мещанки, у которой находился на воспитании ребенок осетинки. Для них это было как бы свидание с добрым земляком, случайно встреченным в шумном городе...

Никаких денег они, разумеется, не ждали, и никому бы не пришло в голову предложить их. Мы позвали официанта и, устроившись в уголке, велели принести чайный прибор, так как все приехали сюда без чаю.

Публика прибывала, прогудел первый свисток.

К столику, за которым сидела наша небольшая компания, подошла какая-то старушка, маленькая, худая, с колющими бегающими глазами, в черном платье и темном

платке, повязанном по-скитски, в роспуск. Она поклонилась нам всем и, называя девушек красавицами-принцессами, стала просить денег. Она едет к Иоанну Кронштадтскому и просит на дорогу. Голос у нее был ханжески-фальшивый и неприятный. В словах «красавицы» и «принцессы», которые она адресовала певицам, слышалась скрытая двусмысленность и осуждение.

Глеб Иванович как-то особенно насторожился и торопливо сунул ей серебряную монету. Она быстро схватила ее и отошла к другой группе, но в это время младшая певица засмеялась: у старухи из-под темной короткой юбки мелькнули желтые туфельки на высоких каблуках. Эти туфли, при костюме черницы-богомолки, производили действительно странное впечатление. Вероятно, кто-нибудь просто подарил их старухе, но молодая девушка с наивной бестактностью сказала:

— Господи! Точно у танцовщицы!

Старушка повернулась, смерила девушек пристальным, колющим взглядом и стала опять приближаться к столу, не спуская с юных грешниц своих строгих маленьких гла-

зок. Девушки сразу притихли, а она не знала, которая из них оскорбила ее своим замечанием. Наконец она почему-то остановилась на осетинке.

— Нет, принцесса моя, — сказала она зло-вещим голосом, — я не танцовщица, я бого-молка. А тебе, миленькая, я скажу судьбу. Де-нег ты наживешь ох много! А прожить-то вот, прожить... и не успеешь...

Осетинка сразу побледнела. Старушка хо-тела сказать еще что-то, но в это время Глеб Иванович, до тех пор смотревший на всю сце-ну со вниманием художника, — понял ее зна-чение и поднялся с места.

— Вот ведь какая ты злая старушонка, — сказал он, заступая богомолке дорогу, — денег тебе мало дали? На вот, возьми, возьми... вот! И иди себе... куда тебе надо...

Он сунул ей бумажку с таким видом, как будто это было орудие казни. Старушонка быстро схватила деньги и скрылась...

Перед самым отходом парохода к нам по-дошел какой-то субъект мещанского вида, в картузе и порыжевшем старом суконном пальто. Он вчера приехал в Нижний вместе с

Глебом Ивановичем, между ними завязались уже какие-то нам непонятные отношения, и, по-видимому, встреча на этой пристани была не случайна. Мещанин ехал в третьем классе и очень обрадовался, разыскав Успенского в нашем уютном уголке.

— Вот и отлично, — говорил ему Успенский, — вот и превосходно. Мы с вами, значит, еще потолкуем дорогой. А теперь я вот тут... со знакомыми людьми.

Незнакомец, успокоенный, удалился.

— Превосходный человек, — объяснил мне Глеб Иванович. — Просто замечательный... И какую над ним устроили подлость...

Последний свисток прервал рассказ об этой подлости, и через несколько минут пароход отошел от пристани, унося от нас Глеба Ивановича. Помню, я тогда заметил какое-то особенное изящество всей его фигуры.

Рассеянный, не от мира сего, не думающий о себе — он как-то всегда инстинктивно, произвольно умел сохранить это прирожденное изящество во всем, что к нему относилось.

Когда пароход повернулся, я еще раз уви-

дел Успенского, сходившего вниз по лесенке. И мне показалось, что с ним шел человек, над которым «была сделана большая подлость»... На пристани, долго глядя вслед пароходу, стояли мы все, и среди нас две певички с откоса. Знали ли они, с кем свели знакомство, имели ли представление о том, что этого человека знала и любила вся образованная Россия? Не думаю. Это были простые, необразованные девушки, которых жизненные невзгоды, собственная незащитность и красота (челюсти у них обеих действительно были, как говорил Глеб Иванович, вполне «аккуратные») кинули на этот путь, покатый и скользкий. Обе они пытались еще удержаться и надеялись, что удержатся на наклонной плоскости. И я уверен, что, как бы ни сложилась их дальнейшая судьба, — эта встреча с человеком, у которого были такие глубокие и любящие глаза, такая странная речь, к которому все относились с таким, может быть, не вполне понятным для них уважением и которого они провожали, как своего доброго знакомого, в это утро, — осталась в их памяти светлым пятнышком, совершенно особенным в обстанов-

ке их нерадостной жизни...

V

История этого дня имела некоторое своеобразное продолжение.

Я знаю, что Глеб Иванович путешествовал много и всегда один; значит, он как-то справлялся со всеми условиями путешествия. Но меня всегда это удивляет, когда я вспоминаю его младенческую непрактичность и его отношение к деньгам, как к безразличному сору...

Во всяком случае, данное путешествие закончилось не совсем обычным образом. Денег ему не хватило. Имел ли на это обстоятельство какое-нибудь влияние человек, над которым была «сделана подлость», или опять встречались другие люди, другие итальянские мальчишки и зловещие старухи, которых нужно было наказывать подачками денег, только уже в Калаче (или Царицыне — не помню) случилась катастрофа: нужно было взять билет, а денег не оказалось ни копейки... Глеб Иванович сам рассказывал мне впоследствии об этом эпизоде, причем его рассказ, юмористический и простодушный вме-

сте, удивлял меня опять смесью детской наивности и тонкой улыбки над ней, совмещавшихся странным образом в одном и том же лице.

— Да... вот... Так как-то вышло. Смотрю: нет! Окончательно ничего! А тут один поезд уже ушел, пока я сводил свой бюджет... Другой, пожалуй, уйдет.

— И что же?

— Да вот видите: свет не без добрых людей... Сторож выручил.

Оказалось, что, когда бюджет был сведен, Глеб Иванович не нашел сделать ничего лучшего, как поставить свой чемодан к стене, усесться на него и ждать событий или вдохновения. Так он просидел отход одного поезда. Когда народ начал набираться к другому, он все сидел на чемодане, наблюдая вокзальную толпу, чем обратил внимание служащего, стоявшего у двери. Его обязанность состояла в том, чтобы открывать и закрывать двери и по пути наблюдать за публикой, чтобы не случилось каких-нибудь неблагоприятий. Мало ли всякого народу в толпе! Среди этих наблюдений он не мог, разумеется, не заметить

странного изящного господина, в коричневом пальто и серой поярковой шляпе, неподвижно сидевшего на чемодане.

— Что вы, господин, сидите? Ведь поезд-то опять уйдет, — сказал он.

— Уйдет, — ответил Глеб Иванович с фаталистической уверенностью.

— Так что же вы?

— Ничего, брат, не поделаешь! Денег нет...

— Украли?.. Так вам бы заявить...

— Нет... не то чтобы украли... Просто нет... нету, понимаешь... Не хватило.

— А сколько не хватает-то?

— Да рублей десять бы нужно... Да, десять рублей (почему-то эта цифра легче всего приходила в голову Глебу Ивановичу).

— А куда ехать?

— Еду я в N.

— А сколько же у вас есть?

— Да вот видишь: ничего нету... Окончательно, ни копейки, ни одной...

Сторож смерил его удивленным взглядом и сказал, переходя на «ты»:

— Чудак! Как же ты до N. доедешь на десять рублей, когда билет стоит пятнадцать?

Да, скажем, хоть три рубля на харч, да на извозчика. Прямо говори: тебе нужно восемнадцать серебра.

— Да, да... именно выходит, что восемнадцать...

— Ну, вот что я тебе скажу...

Бывали ли уже такие случаи с этим наблюдательным человеком, много лет изучавшим людскую толпу у своей двери, или опять это нужно приписать особому впечатлению наружности Успенского, только сторож самым деятельным образом вошел в интересы странного незнакомца. Он взял ему билет и дал на руки три рубля. Справедливость требует сказать, что к сумме долга он прибавил два рубля вознаграждения за свои хлопоты и в обеспечение уплаты оставил себе чемодан. Они условились, что Глеб Иванович пошлет ему деньги, в том числе и на пересылку чемодана, а сторож пришлет чемодан багажом на нижегородский вокзал, так как Успенский опять предполагал побывать в Нижнем. Конечно, всего проще было бы прислать чемодан на мое имя, но Глеб Иванович как-то «не догадался».

Деньги он послал вскоре же из Москвы, где мы с ним встретились, а поездку в Нижний отменил.

— Ну, Глеб Иванович, пропал ваш чемодан, — сказал я. — Сторож, разумеется, оставит у себя и восемнадцать рублей, и чемодан.

— Нет! — с уверенностью сказал Успенский. — Не такой человек... Просто превосходный человек. Наверное уже выслал, и накладная, пожалуй, уже на почте. Получите, пожалуйста!

И действительно, вернувшись в Нижний, я справился на почте и узнал, что есть заказное письмо на имя Глеба Ивановича из Калача или Царицына, но... мне его не могли выдать без доверенности. На вокзале оказался чемодан, которого опять я не мог получить без квитанции. А Глеб Иванович и по возвращении из своего путешествия все не посылал доверенности. По моей просьбе удержали письмо, и лично, при свидании в Петербурге, я получил от Успенского обещание: «Пришлю, непременно! Вот увидите». Только в январе следующего (1888-го) года пришла наконец нотариальная доверенность от «домашнего

учителя» Успенского. «Сегодня, — писал мне Глеб Иванович 18 января, — послал я вам доверенность на получение моего хоботья, но, кажется, переврал адрес... Посылаю это письмо наудачу... Хламье мое пусть лежит у вас столько, сколько оно захочет...»

Однако когда я опять справился на почте, то оказалось, что письма уже нет, а на вокзале «неизвестно кому принадлежавший чемодан с бельем, носильным платьем и пальто» — был продан с аукциона.

На Глеба Ивановича печальная судьба чемодана не произвела ни малейшего впечатления. Несколько раз он вспоминал только, что остался должен нам за билет... «Неприменно пришлю», — прибавлял он при этом... От одного человека, говорившего о слабостях Глеба Ивановича, я слышал, между прочим, что он был не всегда аккуратен в уплате долгов... Фактически это, может быть, было верно, как и то, что Успенский пил вино... Но этот упрек показывает только, что говоривший не имел ни малейшего понятия об Успенском. Быть всегда аккуратным в уплате всех этих маленьких долгов для него было так же трудно,

как не отдать всего, что у него было, первому встречному. И это так же мало касается оценки этого человека, как и толки об алкоголизме...

Но что эта черта — пренебрежение к деньгам и нерасчетливость — страшно вредила Успенскому, вынуждая к труду для заработка, — это, к сожалению, верно.

VI

Описанный выше приезд Успенского остался в моей памяти самым светлым воспоминанием, свободным еще от жутких опасений последующих годов. Правда, в нем была уже и тогда эта тревожная печаль, эта неотвязность болящих и грустных мыслей, эта особенная чуткость, которая даже общим понятиям придавала для него силу и боль реальных ощутительных явлений. Но я не знал его иным, и все это казалось почти нормальным состоянием человека, уже в юности плакавшего без видимых причин и содрогавшегося при всяком напоминании о прежней до-реформенной среде и прежней жизни... Правда, к чувству умиления, вызываемому этой удивительной человеческой особью, уже по-

рой присоединялось смутное опасение, как бы предчувствие, что такая впечатлительность и такая жизнь не может быть прочной. Но это было именно только смутное предчувствие, делавшее симпатию к нему близко знавших его людей чуткой и опасливой. Но сам он бывал еще оживлен, остроумен, весел, много работал, и наши тревоги смолкали.

В следующий приезд в Нижний зловещие признаки выступали уже заметнее. Выражение лица было более страдальческое; он жаловался на галлюцинации обоняния и потерю вкуса.

— Ничего не ощущаю... точно шапку солдатскую жуешь, — по-своему причудливо выражал он это ощущение. Его особенный юмор, которым природа наделила его в таком изобилии и который, быть может, один долго служил противоядием печали, разъедавшей эту чуткую душу, — вспыхивал все реже, а печаль выступала все острее и ощутительнее. Впечатлительность как будто еще обострялась, или сила сопротивления слабела...

Из этого периода мне вспоминается один небольшой эпизод. Войдя в мой кабинет, он

увидел над столом большой литографированный портрет Л. Н. Толстого.

— Что это значит? — спросил он, указывая глазами на портрет. Это был период, когда великий писатель находился в полемическом фазисе «непротивления», когда из-под его пера появилась сказка об Иване-дураке и другие рассказы той же серии, из-за которых еще не развернулась новая эволюция этого беспокойного и могучего духа.

Я ответил Глебу Ивановичу — перед чем именно я преклоняюсь в этом человеке. Он долго и задумчиво смотрел своими печальными глазами в суровые черты портрета и потом сказал:

— Да! Я вот давно собираюсь к нему... Поговорить... о многом...

И потом, улыбнувшись, прибавил:

— Боюсь все. Огромный он... А все-таки соберусь, непременно... Вот укреплюсь и поеду поговорить... о многом.

Сколько мне известно, он так и не собрался. Всю свою жизнь он отдал на служение любви и правде, не теоретизируя об их конечном источнике... Однако в последний период

в его речах и писаниях слова «бог», «нет бога в душе» попадались часто, и мне кажется, что в них было больше, чем простая форма выражения известной мысли. Может быть, уже тогда в взволнованной душе Успенского вставляли мысли и образы, которые впоследствии отлились в определенные представления инокини Маргариты, ангелов, бога... И в содрогании чуткой души перед огромностью этих вопросов уже чувствовалась, может быть, надломленность и страдание надвигавшейся болезни...

Свои статьи этого времени он буквально писал соком уже больных нервов, а не писать не мог. Он все равно переживал их всем своим существом, страдал и мучился своими темами.

Помню, однажды, войдя к Н. К. Михайловскому, жившему тогда в «Палероаль», на Пушкинской, — я застал в его номере Глеба Ивановича. Он сидел на кушетке с папиросой в руках. Лицо у него было искаженное внутренней болью, одна бровь поднялась значительно выше, в глазах душевная тревога. Это было время, когда он писал рассказ «Взбрело

в башку». Сюжет рассказа разыгрывался у него на глазах в Чудове, и на некоторое время всех нас, своих друзей, он втянул в эту печальную историю, все фазы которой он переживал, как мы переживаем разве опасную болезнь самых близких людей. В этот раз он уговорил меня ехать с ним в Чудово, желая показать этого человека:

— Может, вы ему что-нибудь скажете... Вы не можете себе представить, что это за человек... Какая душа! Просто замечательная! И как его всего перевернуло... Вот вы увидите сами... вот увидите!

Человек этот был местный крестьянин, занимавшийся извозом, и, приехав в Чудово, Глеб Иванович тотчас же кинулся к перилам деревянного вокзального перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочем, забыл) среди ожидавших на площади извозчиков. Теперь каждый раз, когда я проезжаю мимо Чудова, мне кажется, что я вижу фигуру Глеба Ивановича, перегнувшегося через перила и всматривающегося с выражением такой тревоги и опасения, как будто он ждал вести об опасно заболевшем собственном ребенке.

Герасима не оказалось, и вместо него нас повез другой извозчик, мужичонко неприятного вида, болтливый, с фальшивыми нотами в голосе. Глеб Иванович спросил у него о Герасиме, и затем, при разглагольствовании нашего возницы, какие-то тени внутренней боли проходили по его лицу.

— Вот... вот видите... — сказал он мне, при какой-то особенной резнувшей ухо фразе извозчика... — Никогда Герасим не скажет такого. Ник-когда! Просто удивительно деликатный человек.

Приехав к своему дому, он отдал извозчику деньги и сказал:

— Пожалуйста, теперь пришли мне Герасима. Через два часа опять на вокзал...

— Да что вам, Глеб Иванович, Герасим? — сказал извозчик. — Я сам доставлю.

— Герасима... Герасима мне... Понимаешь. Мне нужно...

— Да на что же Герасима, когда я...

Глеб Иванович, собравшийся уходить, вдруг повернулся, пристально всмотрелся в мужика и, вынув бумажку, сунул ему в руки.

— Вот... возьми. Тебе непременно денег хо-

чется. Вот, вот... вот тебе, вот! Теперь пришли Герасима, а сам не приходи, пожалуйста... Сделай ты мне одолжение, не приходи...

На лице его было то же выражение, как в сцене со старухой на пароходе: гнев, презрение к деньгам и к человеку, которому только они и были нужны, и страдание за него и за себя. На этот раз мне показалось еще, что он откупается от этой мучительной для него неискренности. Однако Герасима все-таки не оказалось, и нас на вокзал повез другой извозчик.

Это настроение непереносности обычных житейских лжи и фальши, неправды и страдания, мимо которых мы, люди с более грубыми нервами, проходим довольно равнодушно, которую прежде Успенскому помогала переносить смягчающая юмористическая складка, — теперь усиливалось быстро из года в год. Прежде он любил приезжать в Москву и иной раз, остановившись в гостинице, кончал здесь статьи для «Русских ведомостей» или «Русской мысли». Со временем, однако, ему становилась невыносима обстановка гостиниц и меблированных комнат.

— Знаете! — радостно сообщил он мне однажды, при встрече в Москве. — Нашел-таки! Просто превосходно!

— Что вы нашли, Глеб Иванович?

— Гостиницу нашел... Таковую, в которой можно жить... Просто рай. Номерки новые, еще не подернулись всей этой подлостью... Прислуга веселая, приветливая... должно быть, платят хозяева по-божески. Просто превосходно. Вот приходите, увидите сами...

Не помню, в этот ли приезд или в другой я разыскал-таки Глеба Ивановича в этом хваленом его рае. И первое, что мне бросилось в глаза при входе на лестницу, это было лицо самого Успенского, склонившееся с верхней площадки. Бровь опять была высоко поднята, на лице опять выражение боли...

— Что с вами, Глеб Иванович?

Он еще не ответил, как в коридоре затрещал электрический звонок. Где-то хлопнула дверь. Женщина с усталым лицом понеслась кверху по лестнице. Из какой-то каморки слышался плач ребенка. Все это я помню так ясно, как будто слышал и видел только вчера. Но все это я воспринял через Глеба Ивановича.

ча, так как и звонок, и суетливая беготня, и плач ребенка отражались на его исстрадавшемся лице.

— Вот... вот видите. Не прошло и пяти минут — четвертый раз... Ну, вот еще...

Новый треск электрического звонка прошел по его лицу новой волной нервной боли...

— Так и знал! Четырнадцатый номер, — сказал он, указывая на электрический счетчик. — Второй раз... Это он, негодяй, сидит на своей постели... подай ему со стола стакан воды... Вот... вот опять... Господи боже!

И этот его недавний рай уже был отравлен для него навсегда. Кто из нас замечал эти стороны гостиничной жизни? Кому из нас было бы интересно узнавать, сколько раз звонил четырнадцатый номер и почему хлопает внизу дверь, заглушая крик «собственного ребенка» гостиничной прислуги. А между тем вся эта прозаическая изнанка жизни непроизвольно раскрывалась перед Успенским, со всем, что в ней было нехорошего и тяжелого, — и мучила его чужой усталостью и чужой болью...

Помню, что после этого в некоторых из статей Глеба Ивановича фигурировали и полтора миллиметра, и звонки, и четырнадцатый номер, и статистические дроби, и «живые цифры»... И во всем этом уже чувствовалась развязка этой трагической жизни. Юмор постепенно исчезал, как меркнут краски живого пейзажа под надвигающейся грозовой тучей. Помню, что одного из этих рассказов («Квитанция») я уже не мог дочитать громко до конца: это был сплошной вопль лучшей человеческой души, вконец истерзанной чужими страданиями и неправдой жизни, в которой она-то менее всех была повинна.

VII

Кажется, в 1893 году Глеб Иванович приехал в последний раз в Нижний Новгород. На вокзале мы встретили его той же компанией, с которой когда-то он бродил по откосу, большинство членов которой он уже знал и любил. Но сам Успенский был уже не тот. Не было того оживления, той улыбки, которая так часто сверкала тогда сквозь привычную печаль его глаз. На лице его лежала беспросветная грусть.

Когда мы переехали через Оку и стали на извозчике подыматься по въезду, я в первый раз увидел, как он закрыл всей ладонью лицо, начиная от лба до подбородка; глаза тоже были закрыты, и под этим прикрытием он шептал что-то тихо и умиленно, как будто говорил с кем-то невидимым и молился...

Это уже начиналась другая, таинственная жизнь омраченного духа, другое, параллельное существование... Через минуту он очнулся, оглянулся на светлый день, на Оку, на уступы гор, и взгляд его упал на ехавшего впереди, на извозчике, сына.

— Вы... — сказал он, — и Сашечка... Хорошо-Около двух недель прожил он тогда в Нижнем Новгороде, то у С. Я. Елпатьевского, то у меня... Часто, среди разговора, даже в многочисленном обществе, он вдруг закрывал глаза ладонью исхудавшей тонкой руки и начинал шептать. Мне он говорил несколько раз просто и задушевно о том, что он беседует в эти минуты с «инокиней Маргаритой», чистейшим существом («женщина — чистейшее существо»), в котором странным образом сливаются несколько лиц, в том числе — боров-

шиеся и пострадавшие в борьбе. И она говорит ему хорошие речи, иногда горько упрекает его, а иногда ободряет. И что он делается легкий... и скоро полетит... А затем — он совершенно просто переходил к житейским темам и несколько раз, помню, повторил:

— Смотрите на мужика... Все-таки надо... надо смотреть на мужика...

После этого он уехал и уже навсегда ушел от нас — внешним образом в Колмово, внутренним — в свои видения.

Все, что могла сделать наука, согретая личной привязанностью и любовью, — все, кажется, было сделано. Но... мне иногда приходит в голову, что, живи мы в другое время, все это, может быть, и сложилось бы по-иному. Может быть, гораздо хуже и жесточе, а может быть, и лучше... Несомненно, что в этом исстрадавшемся чужими страданиями подвижнике литературы в последний период жизни проснулся обычный тип подвижника, знакомый нашей русской, порою жестокой, порою умиляющей родной старине. И, может быть, в другие времена его бы оставили на свободе, и он бродил бы по деревням, или

жил бы в какой-нибудь обители, и говорил бы людям о своей инокине Маргарите, которая учит побеждать в человеке зверя и помогает святому Глебу бороться с животным Иваннычем, и раскрывает светлое небо... И его слушали бы темные люди и ловили бы в темных речах мерцание небесной правды...

Впрочем, едва ли это было бы лучше. Всю жизнь — он стремился к одной только правде, хотя бы и болящей, но истинной...

1902

Воспоминания о Чернышевском*

I

Я помню, еще в раннем детстве мне попался фантастический польский рассказ. Герой его молодым человеком пробрался потаенным ходом в погребок, где хранилось чудесное старое вино, лежавшее в земле, в неведомом тайнике, несколько столетий. Молодой человек выпил стакан и заснул. Заснул так крепко, что, пока он спал в своем убежище, на земле бежали года, события сменялись, XVIII столетие отошло в вечность, Польшу разделили между собою враги. И вот, в

один прекрасный день, на улице русской уже Варшавы, с вывесками на двух языках и с городскими на каждом углу, — появляется какая-то архаическая фигура в старопольском одеянии, с «карабеллой» у пояса, с кармазиновыми отворотами рукавов и с страшной седой бородой.

Дальнейшая часть рассказа посвящена развитию этого совершенно исключительного и, по-видимому, невозможного положения.

Такое именно невозможное и фантастическое явление совершилось почти на наших глазах с Чернышевским. Правда, над его головой промчалось не столетие, а всего двадцать лет, но эти двадцать лет стоили целого века. В эти двадцать лет физиономия России изменилась, пожалуй, более чем за целое предшествовавшее столетие. В остальном параллель тоже очень близка. Опьяненный захватывающим, одуряющим потоком событий, надежд и ожиданий только что начавшейся реформы, — он попадает в далекие казематы Кадаинского и Александровского рудников, Акатуя, потом на Вилюй. Разве все, что он там видел, в этих глухих углах, отставших на целое

столетие даже от дореформенной России — не могло показаться странным сном, под далекие отголоски оставленной жизни, гул которой катился над его головой, как гул и выстрелы в осажденной Варшаве над головой спящего в подземелье поляка.

Без сомнения, когда этот поляк исчез неведомо куда, — его искали; быть может, даже догадывались, что он недалеко, может быть, рылись и стучали в нескольких саженях от погреба. А потом стали забывать, и, наконец, те, кто искал, перемерли, а в среде оставшихся потомков повторялась только легенда, — что был еще один человек, и даже хороший был человек, но исчез без следа.

Чернышевского тоже искали... Его потеря была очень чувствительна для передовой части общества, и примириться с нею было трудно. Уже в деле каракозовцев есть упоминание о намерении освободить Чернышевского. Известны затем попытки Г. А. Лопатина и Ипполита Мышкина. Последний 12 июля 1875 года явился даже в Вилюйск под видом жандармского офицера Мещеринова и предъявил предписание о немедленной выдаче

Чернышевского для препровождения из Вилюйска в Благовещенск. У исправника возникло подозрение — говорили, что у Мышкина аксельбант был повешен на левом плече, вместо правого, но это не верно. Важнее было то обстоятельство, что мнимый Мещеринов не представил предписания от якутского губернатора, как это требовалось по инструкции. Исправник отказался выдать Чернышевского. Мышкин пытался бежать, был арестован, судился по так называемому «большому процессу» (и впоследствии погиб в Шлиссельбурге). Чернышевский обратился с убедительной просьбой не делать более таких попыток, и письмо его в таком смысле было напечатано в 70-х годах в заграничных изданиях. В последующие годы о Чернышевском говорили все меньше и меньше, а в печати самая его фамилия признавалась «нецензурной». Его «Что делать?» читалось и комментировалось в кружках молодежи, но лучшие его произведения, вся его яркая, кипучая и благородная деятельность постепенно забывалась по мере того, как истрепывались и становились библиографической редкостью книжки «Совре-

менника». О самом Чернышевском доходили до нас смутные, сбивчивые слухи. Возникнув еще в 70-х годах, когда в очень известном тогда стихотворении А. А. Ольхина («На смерть Мезенцова») говорилось:

*...Угасает в далекой якутской
тайге
Яркий светоч науки опальной —*

один из этих слухов проводил Чернышевского в могилу. Говорили, что умственные способности его угасли и даже — что он помешанный. Что он до конца сохранил силу своего могучего мозга — это он, впрочем, доказал в последние годы невероятно энергической работой по переводам. Но что у него не «все в порядке» — об этом я слышал еще за несколько недель до его смерти и от людей, которые имели случай видеть его и говорить с ним лично.

Самостоятельные статьи его не имели уже особенного значения и не были даже замечены. Во всяком случае, и они вызывали покачивание головами необычностью в наше время и странностью тона. Однако все эти слухи

совершенно неверны и легко объясняются двумя обстоятельствами: Чернышевский всегда был немножко чужак, это во-первых. А во-вторых, все, на кого он производил такое странное впечатление, не читали, вероятно, того рассказа, о котором я упомянул вначале, и не принимали в соображение, что Чернышевский вернулся к нам из глубины пятидесятих и начала шестидесятих годов. Беда состояла не в том, что он «изменился»... Нет, дело, наоборот, в том, что он остался прежним, с прежними приемами мысли, с прежней верой в один только всеустроительный разум, с прежним «пренебрежением к авторитетам», тогда как мы пережили за это время целое столетие опыта, разочарований, разбитых утопий и пришли к излишнему неверию в тот самый разум, перед которым преклонялись вначале[1].

Чернышевский явился к нам, как архаическая фигура поляка XVIII века на макадамовой мостовой русской Варшавы. Нас он не знал вовсе, а его мы успели забыть, и его облик — прежний облик — казался нам уже странным.

Впрочем, кажется, я позволил себе уже слишком длинное отступление от прямой задачи настоящего небольшого очерка. Задача эта — сообщить те (очень немногие, к сожалению) сведения о Чернышевском после его ссылки, которые мне удалось собрать во время странствий в соседних с ним местах, частью от лиц, живших вместе с ним, частью же — от самого Чернышевского, которого я видел и с которым познакомился в августе 1889 года, за два месяца до его смерти.

II

В 1881 году судьба закинула меня в далекую Сибирь, в ту самую Якутскую область, где в это время уже находился Чернышевский. Когда я был в Иркутске, меня опять встретили здесь постоянно ходившие слухи: говорили, что Чернышевский умер и что за несколько лет до смерти он уже был сумасшедшим. Объясняли даже причину: могучий ум, истомленный бездеятельностью, не находил исхода. Чернышевский будто бы постоянно писал с утра до ночи, но, боясь, что рукописи (как бывало прежде) будут отобраны, сжигал их в камине. Это будто бы и стало исходной точ-

кой помешательства еще до перевода в Якутскую область.

По приезде на место, — в слободе Амге, в 200-х верстах от Якутска, — я узнал, что слух о смерти положительно неверен, а слух о помешательстве опровергался за все время пребывания его в Забайкалье. Оказалось, что частью в слободе, где я жил, частью не в дальних расстояниях от нее находились товарищи Чернышевского по заключению. Это были «каракозовцы» и ссыльные по делу о воскресных школах, делу еще более раннему, о котором теперь почти уже исчезли самые воспоминания, как о первых наивных еще проблесках начинавшегося движения, впоследствии в семидесятые и восьмидесятые годы наводившего Сибирь целыми отрядами политических ссыльных.

От них я узнал, что все тревожные слухи о болезни Чернышевского не имели ни малейшего основания. Будучи выслан сначала в Кадаю (на монгольской границе), а потом в Нерчинские рудники, Чернышевский жил одно время вместе с партией поляков. Двор, обнесенный деревянным частоколом с заострен-

ными концами, внутри — деревянные домики казенной упрощенной донельзя архитектуры, кордегардия с конвойными солдатами, полосатая будка у ворот, и из-за частокола кругом вдалеке туманные высокие горы Забайкалья, — такова обычная обстановка этих казематов. Поляки были по большей части люди простого звания, которые каждый день уходили на работы в разрез. Тогда во дворе, обнесенном частоколом, и в серых домах с решетками становилось пусто и тихо, и только в одной камерке сидел над своими книгами Чернышевский. Я встретил впоследствии одного из этих поляков. Он рассказывал мне, что все они очень уважали и любили Чернышевского. Его добродушие, постоянная серьезность и умение при случае говорить просто с простыми людьми приобрели ему общую симпатию, и они привыкли обращаться к нему за разрешением своих споров и недоразумений, которые так часты в этих тесных норах, где люди от тоски готовы нередко съесть друг друга, как мыши, попавшие в стеклянную банку, откуда нет выхода. И Чернышевский всегда с необычайным терпением вхо-

дил во все мелочи подобных разбирательств. До него, говорил мне этот поляк, дело доходило до того, что однажды, по общему приговору, поляки высекли одного из своих товарищей. При нем не повторялось ничего подобного.

К этому времени относится один рассказ, слышанный мною тоже от очевидца.

«Вообще, говорил мне один интеллигентный поляк[2], тоже живший вместе с Чернышевским, мы никогда не видели его унывающим или печальным. О причинах своей ссылки он говорить не любил. „Вероятно они там знают, за что сослали, а я не знаю“, — и затем отделялся каким-нибудь анекдотом или шуткой. Только один раз мы видели, как он заплакал. Мы сидели с ним на дворе, когда принесли письма и журналы. Чернышевский надел очки, развернул книгу, перелистовал ее, потом книга выскользнула у него из рук, он встал и быстро ушел к себе. Мы заметили у него на глазах слезы». В журнале были напечатаны известные стихи Некрасова Муравьеву (те самые, по поводу которых прислано Некрасову стихотворение: «Не может быть»).

Когда я передавал этот эпизод современникам и знакомым Некрасова и Чернышевского, — они выразили основательные сомнения в точности самого рассказа или моей передачи. Помнится, что действительно стихи Некрасова Муравьеву были прочитаны на торжественном обеде, но напечатаны не были, и на вопрос поэта Муравьев будто бы сам ответил: «Мой совет не печатать». Я привожу этот рассказ потому, во-первых, что все-таки далеко не уверен, что, хотя бы и по какому-нибудь другому случаю, не было подобного эпизода, а во-вторых, он до известной степени рисует настроение, которое приходилось переживать Чернышевскому в далеком Забайкалье, когда до него доходили вести о жестокостях с одной, и отступничествах с другой стороны в эти первые годы, последовавшие за его ссылкой...[3]

Не знаю — в Нерчинске, или уже по переводе в Акатуй в тюрьму, где содержался Чернышевский, стали присылать русских политических ссыльных. Таким образом, составилось целое общество, в котором были также интеллигентные поляки и даже два итальян-

да-гарибальдийца, участвовавшие в польском восстании, вскоре, впрочем, помилованные и высланные на родину.

Вся эта компания жила одним кружком, и только Чернышевский по-прежнему держался несколько в стороне. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он удалялся сознательно от товарищей по заключению, — нет, он был знаком со всеми, а с некоторыми даже довольно дружен; но все-таки он стоял по возрасту и по интересам вне кружка, не участвуя в его интимностях, маленьких партиях, ссорах и примирениях.

Порой в общей камере устраивались чтения или рефераты. В кружке были свои поэты, политико-экономы, критики и публицисты. Чернышевский тоже слушал эти чтения, а иногда и участвовал в них очень оригинальным образом. Он приходил с толстой тетрадью, садился, раскрывал ее и читал свои повести, длинные аллегории и т. д. Чтение это продолжалось иногда два-три вечера. Один из слушателей (г. Шаганов) записал впоследствии содержание некоторых из этих произведений.

Я не стану повторять их здесь, тем более, что большая часть деталей, полученных уже мною из вторых рук, исчезли из моей памяти. Скажу только, что один из таких рассказов представлял целую повесть, с очень сложным действием, с массой приключений, отступлений научного свойства, психологическим и даже физиологическим анализом. Читал Чернышевский неторопливо, но спокойно и плавно. Каково же было удивление слушателей, когда один из них, заглянув через плечо лектора, увидел, что он самым серьезным образом смотрит в чистую тетрадь и перевертывает не записанные страницы.

Впоследствии и мой брат, хорошо знавший покойного, а отчасти и я сам, имели случай убедиться в этой удивительной способности к импровизации, которая чрезвычайно походила на чтение хорошо написанного и в совершенстве отделанного литературного рассказа. Здесь выступает также и другая черта покойного, которую я узнал в нем при личном знакомстве: это какое-то особое добродушное лукавство, с которым он порой любил мистифицировать собеседника. Разговаривая

с ним, никогда не мешало держать ухо востро, чтобы не принять всерьез какую-либо шутку. Кроме того, он часто, развивая какую-нибудь сложную мысль — отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая все логические мостики, облегчающие слушателю возможность легко и без труда следовать за ним, и вам приходилось делать самые неожиданные скачки, чтобы не отстать и не потерять из виду общей связи. Но зато, если вы понимали его шутку и не теряли нити, в его добродушно-лукавых глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения[4].

Таким я увидел его в 1889 году, незадолго до кончины, таким же рисует его и приведенный только что рассказ. С этой оговоркой я могу, пожалуй, привести и содержание самой повести, прося помнить, что мы не имеем данных для суждения, насколько мысли, в ней высказанные, следует принимать серьезно или считать простой шуткой, упражнением могучего и несколько юмористически в то время направленного ума среди казематной скуки и казематного безделья. Замечу, что за-

главие повести было «Не для всех» (или «Другим нельзя»).

Действующие лица: русская девушка и два ее поклонника. Оба умны, оба хороши собой, оба влюблены в нее. У обоих есть, конечно, свои особенности ума и характера, есть и недостатки; но все это природа распределила между ними так, что черты одного дополняют черты другого. Девушка и любит их обоих. Когда порой она решается отдать предпочтение одному из искателей, то чувствует также, что другой образ ей приходится с болью отрывать от сердца, что те свойства души, которые приходится отвергнуть, тоже привлекают ее, и ей трудно от них отказаться. Тогда два друга-соперника решаются кинуть жребий, и один уступает с пути, исчезая куда-то без вести и навсегда.

Молодая женщина сильно чувствует все-таки потерю: любовь мужа не может дать ей полного успокоения. Она чахнет, и доктора советуют путешествие. На Великом океане их застают шторм. Корабль носится по волнам, без руля, с изорванными парусами, приблизительно так, как это происходит во многих ро-

манах с «захватывающей» фабулой, которые с большим юмором пародируются в этой части рассказа. Конец бури застаёт молодого человека и его жену погибающими в волнах вблизи неведомого острова. В последние мгновения, когда истощены все силы, — кто-то кидается к ним с острова на помощь, и они спасены.

Но тут оказывается, что спасенные от ярости стихий, — они становятся жертвами насмешливой судьбы. Их спаситель — не кто иной, как все тот же, навсегда исчезнувший друг и соперник, и вопрос возникает вновь в форме, тем более трагической, что остров совершенно необитаем и они на нем единственные жители, окруженные со всех сторон насмешливо ревушим океаном. Разыгрывается целый роман со сценами мучений, ревности и безысходного отчаяния. Наконец, когда положение обостряется до последней степени, кому-то (кажется, именно молодой женщине) приходит в голову исход из невыразимо-запутанного положения и притом исход, который если и грешит чем-нибудь, то именно излишней простотой. Зачем все эти муче-

ния, ведущие к ненависти, к возможности убийства, к очевидной гибели всех троих, когда все дело в том, чтобы жить всем троим, то есть... втроем. Дело так ясно... Пробуют, — и после легкой победы над некоторыми укоренившимися чувствами — все устраивается прекрасно. Наступает мир, согласие, и вместо ада на необитаемом острове водворяется рай.

Далее — опять, как в романах с приключениями, — тоска по родине, печальные взгляды на необозримую даль океана, парус на горизонте, смена надежды, отчаяние, опять надежды... Они на корабле, они в Европе.

И именно в Англии. Они считают ее страной свободы, а скрываться они не желают, так как не признают в своем необычном союзе ничего противообщественного. Оказывается, однако, что именно в Англии, этой стране традиций и семейного романа, где разврат терпится при условии пуританского соблюдения внешности и рутины, но величайшая добродетель не спасает от наказания за нарушение этой внешности, — их союз производят соблазн, начинаются соседские сплетни, общественное мнение вынуждает власти к

вмешательству, и три наши героя оказываются на скамье подсудимых. Суд, публика, речи прокуроров, защиты, судей и подсудимых — все это описывалось чрезвычайно подробно. В последнем слове один из подсудимых (кажется, именно женщина) произносит блестящую речь, где отстаивает право каждого устраивать свою жизнь по указаниям своей совести. Она рассказывает о своих попытках устроить ее на основании общественного кодекса, о том, к каким результатам чуть не привели они всех троих; как их выход спас от ненависти и убийства. Присяжные их оправдывают, и они уезжают в Америку, где, среди брожения новых форм жизни, и их союз находит терпимость и законное место.

Повторяю, — я не могу сказать, была ли это простая шутка, или тут отразилась обычная черта времен «бури и натиска», когда подвергаются пересмотру все «общепринятые положения»... Во всяком случае, некоторый элемент шутки и лукавого юмора присутствовал в этом эпизоде несомненно[5].

Кроме этой повести, в записках, о которых я говорю, приводилось еще содержание шу-

точно-аллегорической комедии, написанной Чернышевским и даже разыгранной в каземе. Содержание этой шутки, юмор которой весь испарился уже в первой передаче, я пересказывать не берусь (теперь она уже напечатана).

III

Большая часть товарищей Чернышевского были разосланы на поселение ранее его. Он проводил их добрыми пожеланиями и напутствиями, а затем и сам был переведен на север, в Якутскую область, на Вилюй.

В город Вилюйск, расположенный в нескольких сотнях верст на запад от Якутска, на реке того же имени, — не высылали русских политических ссыльных. В шестидесятых годах там была выстроена особая тюрьма для польских «повстанцев». Сначала в ней поместили д-ра Дворжачека, потом поляка Иосафата Огрызко, знаменитого в свое время тем, что, занимая в Петербурге очень важный пост в министерстве финансов, он держал в своих руках вместе с тем многие нити восстания. В передовицах «Московских ведомостей» много раз имя Огрызко употреблялось, как

нарицательное для воплощения «польского коварства». Когда по манифестам, следовавшим поочередно одни за другими, очередь помилования дошла до Огрызко, который получил право свободных переездов по Сибири и занял видное место по присковому делу, — его тюрьма осталась пустой, и туда перевели Чернышевского.

Об этом периоде его сибирской жизни известно еще менее. «Теперь встревоженная мысль летит к нему туда, на Вилюй, в холодную могилу, где он томится один, в мрачном одиночном заключении», — приблизительно так кончались записки г. Шаганова. Те самые люди, которые опровергли привезенные мной из России слухи насчет помешательства Чернышевского в Забайкалье, — повторяли эти тревожные опасения, перенося их на Вилюй. Жизнь его там, действительно, окружена была тайной, которая так редко возможна в России.

Однажды к нам в слободу приехал новый писарь. Скромный, отягченный многочисленным семейством и потому вынужденный иногда на некоторые сделки с совестью, он

все-таки производил впечатление человека, далеко не погрязшего в тине глухих сибирских углов. Он явился к нам, познакомился и попросил книжек, предлагая, в свою очередь, пользоваться своими.

В числе последних мне попалась одна с надписью: «Такому-то от Чернышевского». Теперь я не помню уже, какая это была книга. Оказалось, что писарь служил ранее в Виллюйске и был хорошо знаком с Чернышевским. Он рассказал мне, что тюрьма Чернышевского может быть названа тюрьмой только наполовину. С ним вместе жила стража: жандармы и казаки; но у него была своя отдельная комната, и он мог выходить из нее, когда угодно. Он был знаком в городе с исправником, кое с кем из чиновников и купцов. Но выходил в гости все-таки редко и не засиживался долго. Его стесняло то обстоятельство, что жандарм должен был издали следить за ним и дожидаться, пока он выйдет, что, при редкой деликатности Чернышевского, совершенно отравляло для него всякое удовольствие этих посещений. «Что его, беднягу, заставлять дожидаться... Нет, уж лучше про-

щайте», — говорил он и уходил в свою комнату-тюрьму.

Раз в месяц небольшой городок, похожий скорее на среднюю нашу деревню, оглашался звоном почтового колокольчика; приходила почта, привозившая Чернышевскому письма, газеты и книги. Он тотчас же разносил книги по городу, принаровляясь ко вкусам читателей. Когда его спрашивали, отчего он так мало оставляет себе, он лукаво улыбался и говорил:

— А вы не поняли: расчет! Ведь я обжора: накинусь, сразу все и поглочу. А так, по партиям, мне и хватит на целый месяц.

Он очень любил, когда у него просили книг, и охотно занимался со своими тюремщиками. Мне пришлось встретиться на Лене с молодым жандармом, который приятно поразил меня некоторыми оборотами речи и начитанностью. Оказалось, что он в течение года был приставлен к Чернышевскому и говорил мне, что охотно принял бы еще на год эту командировку, несмотря на скуку почти тюремной жизни.

Эти сведения вновь рассеяли мои опасе-

ния. Было очевидно, что этот человек удивительно владеет собой, держит себя в руках и не дает тяжелому и безжизненному отупению далекого захолустья победить свой могучий ум и здравый смысл, который всегда отличал его и прежде, служа главным орудием его в полемике «с псевдоучеными авторитетами». Но сколько силы растрачено в этом пустом пространстве на бесплодную борьбу с мертвым болотом! Я видел людей, которые прожили в сибирской глуши гораздо меньше Чернышевского и не в таких условиях, и на них подчас не оставалось человеческого облика. Однажды, на Оби, к пароходу, который вез новую партию ссыльных и пристал к обрыву берега, чтобы набрать дров, вышли из ближайших остяцких чумов несколько остяков и остячек с детьми. Один из этих дикарей, одетый, как и другие, в звериные шкуры, с лицом, покрытым целым слоем жиру и дыма, увидев на барже «политических», заговорил с ними по-русски. Оказалось, что это тоже политический ссыльный, поселенный среди остяков. Одна из остячек, бессмысленно глядевшая на чуждых людей, была его жена, а

маленькие дикари, прижимавшиеся к ней, его дети. Со слезами на глазах он прощался с незнакомыми товарищами, когда баржа тихо отчаливала от кручи, чтобы пуститься далее по широкой и пустынной Оби, и в его речи слышалось, что он уже разучивается говорить по-русски.

Да, нужно было обладать могучим умом Чернышевского, чтобы не поддаться одиночеству долгой сибирской ссылки, без товарищей и друзей. Он не поддался и, насколько среда была к этому способна, подымал ее до себя. Но и ссылка взяла у него все, что могла. Отняв непосредственное общение с живыми фактами интеллектуальной жизни, она лишила сильный ум его естественной пищи, необходимой для того, чтобы идти наряду с этой жизнью. Могучим усилием он удержался на высоте прежних способностей, но только удержался и именно на той ступени, на какой его застигла ссылка. Он вернулся к нам тем, чем был в шестидесятых годах, а время, к худу ли, к добру ли, — ушло далеко от этого места. Правда, столкновение опьяняющих надежд и каземата, борьбы за передовые рефор-

мы и допотопных порядков Сибири, — это столкновение не могло не отразиться на нем. И оно отразилось оттенком скептического юмора и некоторым недоверием к прежним «путям прогресса». Но и только. В остальном, повторяю, он не изменился.

В 1883 году весной опять пронесся у нас, в Якутской области, слух о смерти Чернышевского, но тотчас же этот слух заменился радостным известием: Чернышевского возвращают, Чернышевский в Якутске.

Действительно, Чернышевского привезли с Вилюя. Привезли с жандармами прямо к губернатору, который его угостил завтраком, и тотчас же, не дав переночевать и отдохнуть, — повезли в Россию, тщательно скрывая имя и не прописывая фамилии на станциях. Чернышевский, сначала принявший завтрак у губернатора, как любезное гостеприимство, вскоре убедился в истинном значении этой губернаторской любезности, когда ему не позволяли остаться в городе для отдыха и покупок. Провожатые заехали только на несколько минут, и то, кажется, украдкой, к одному знакомому обывателю, который впо-

следствии, покачивая головой, говорил мне:

— Отличный, образованный господин, а, кажется, того... не совсем в порядке.

— А что?

— Да как же, помилуйте. Ну, хотел сначала остановиться у меня отдохнуть. Жандармы говорят: «Нельзя, строго наказал губернатор, чтобы отнюдь не останавливаться». Вот стали садиться в повозку, он, и говорит жандарму; «Надо бы хоть к губернатору-то вернуться. Рубль, что ли, ему за завтрак отдать». Помилуйте, — на что же это похоже! Неужто губернатору его рубль нужен!

Впоследствии, когда я ехал назад, мне рассказывали курьезный эпизод, связанный с этим «секретом полишинеля», каким окружали отъезд Чернышевского из Сибири, о чем в то время известно было всей России из газет.

За несколько часов до выезда Чернышевского, по Лене из Якутска отправилась почта. Почтальон, как и все в городе, конечно, знал, что Чернышевский поедет вслед за ним, и, желая поусердствовать, — предупреждал всехсмотрителей. Таким образом, подъезжая к станции в лодке, небольшой отряд с важным

пересыльным заставлял уже на берегу готовые новую лодку, лошадей для лямки и ямщиков в парадных (по возможности) костюмах. Это, наконец, обратило на себя внимание жандарма Машкова, расторопного служаки, с которым и мне пришлось познакомиться впоследствии, имевшего несколько преувеличенное понятие о своей миссии.

— Что за чорт, — удивился он. — Откуда вы знаете, что мы будем?

— От почтальона такого-то. Проехал с почтой и говорит: готовьтесь, Чернышевского везут.

— А, вот что! Он не обязан даже и знать-то, кого мы везем.

Машков усмотрел в усердии бедняги-почтальона разоблачение государственной тайны. Это, конечно, неудивительно. Гораздо удивительнее то, что усердный почтальон потерял место за сообщение того, что знал весь город, и за то, что он оказал жандармам действительную услугу, так как по всей Лене их ждали на берегу готовые лодки, лошади и ямщики.

Теперь, минуя то, что известно из газет, я прямо перейду к описанию личного свидания моего с Чернышевским.

17 августа 1889 года, часов около шести вечера, я, позвонил у дверей деревянного флигеля во дворе, против общественного сада, в Саратове. В этом домике жил Чернышевский.

В Саратове мне рассказывали, что он и здесь, как в Астрахани, живет отшельником, ни с кем не видится, и доступ к нему очень труден, почти невозможен. Говорили даже, будто на дверях вывешено объявление: «Никого не принимают».

Объявления, конечно, не было. Что же касается трудности доступа, то я это испытал на себе, хотя имел полное основание рассчитывать, что буду принят. С Николаем Гавриловичем заочно я давно уже был знаком через брата, в последний же год мы с ним немного переписывались. Он звал меня повидаться, и, что еще важнее в данном отношении, — такое же приглашение получил я от Ольги Сократовны, его жены. Года два перед тем я писал брату, когда он жил в Астрахани, что летом очень бы хотел приехать туда и поознако-

миться с Николаем Гавриловичем, но тогда последний ответил:

— Нет, уж это не надо. Мы с В. Г. как два гнилых яблока. Положи вместе — хуже загниют. — Намек, очевидно, на то, что у нас обеих репутация значительно в глазах начальства попорчена.

Но в последние годы этот строгий режим сам Чернышевский значительно ослабил (я думаю, — у него и тут, как с чтением в Виллюйске, была известная система), — но Ольга Сократовна продолжала держаться его до конца. Таким образом, как я узнал впоследствии, в отсутствие Ольги Сократовны Чернышевский иногда принимал кого попало, и к нему проникали совершенно случайные посетители. В другое время не принимали никого, кроме тех, кто знал секрет, открытый при свидании и мне. Нужно было, не звоня у парадного входа, обойти кругом и войти через кухню.

Я не знал секрета, и ко мне через несколько минут вышла кухарка. Не отворяя вполне двери, она оглядела меня, как будто вспоминая, не видела ли меня прежде, потом загородила вход и, улыбаясь мне в лицо, сказала,

что Николая Гавриловича нет дома.

— А барыня?

— Уехали в гости.

Мне казалось, что барин дома и что кухарка именно этому и смеется. Но делать было нечего. Я вынул визитную карточку, написал, что зайду еще завтра, и отдал кухарке, не обозначив своего адреса.

Утром, вместе с женой, мы ушли из номера «Татарской гостиницы», где остановились, в гостиный двор, за покупками. Вернувшись около половины десятого домой, мы получили от номерного записку на клочке бумаги. На ней было написано характерным крупным почерком Чернышевского: «Приходил. Буду между десятью и четвертью одиннадцатого. Н. Чернышевский».

Действительно, мы только что уселись за самовар, как в назначенный срок скрипнула дверь, и кто-то, не видный из-за перегородки, заговорил:

— А-а, дома. Ну, вот и отлично, вот и пришел. А, вот вы какой, Владимир Галактионович... Ну, каково поживаете, каково поживаете? Ну, очень рад.

К концу этой речи Чернышевский был уже около стола, протягивая мне руку, точно мы с ним старые знакомые и виделись лишь несколько дней назад.

— А это кто у вас? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень рад, голубушка, очень рад. Ну, вот и пришел.

Я видел портреты Чернышевского. Один из них был снят в Астрахани, кажется, за год до отъезда в Саратов. На нем Чернышевский совсем не похож на того, несколько мечтательного, молодого человека с сильно выдавшимися скулами и резко суженной нижней частью лица, с почти прямым носом и очень тонкими губами, каким он изображен на портрете, который мы все знали с семидесятых годов. Но теперь я по первому взгляду тоже не узнал бы Чернышевского. Последний его портрет, находящийся в обращении, изображает мужественного человека, с крупными чертами лица, очень мало напоминающими литератора. Густые длинные волосы по-русски, как у Гоголя, обрамляют это лицо и свешиваются на лоб. Выражение серьезное, и в нем совсем не заметно оттенка добродушной

улыбки и отчасти стариковского чудачества, которое оживляло лицо вошедшего к нам человека.

Голос, который мы слышали еще из-за перегородки, был старческий, слегка приглушенный, но фигура сначала показалась мне совсем молодой. Эту иллюзию производили в особенности его каштановые волосы, длинные, кудрявившиеся внизу, без малейших признаков седины.

Но когда я взглянул ему в лицо, у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным под этой прекрасной молодой шевелюрой. В сущности он был похож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были теперь мельче, миниатюрнее, — по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый.

Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело.

Поляки, с которыми я встречался и жил в Якутской области, сделали интересное наблюдение. Один из них рассказывал мне, что по-

что все, возвращавшиеся по манифестам прямо на родину после того, как много лет прожили в холодном якутском климате, — умирали неожиданно быстро. Поэтому, кто мог, — старался смягчить переход, останавливаясь на год, на два или на три в южных областях Сибири или в северо-восточных Европейской России.

Верно это наблюдение, или эти смерти — простые случайности, но только на Чернышевском оно подтвердилось. Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знойную Астрахань здоровым. Мой брат видел его там таким, каков он на портрете. Из Астрахани он переехал в Саратов уже таким, каким мы его увидели, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который уже вел его к могиле.

Это чувство внезапного и какого-то острого сожаления возвращалось ко мне несколько раз в течение разговора, который завязался у нас как-то сразу, точно мы были с Н. Г. родные, свидевшиеся после долгой разлуки.

Он говорил оживленно и даже весело. Он всегда отлично владел собою, и если стра-

дал, — а мог ли он не страдать очень жестоко, — то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью.

По истечении некоторого времени, среди разговоров, он взял руку А. С. и, глядя на нее, сказал:

— Ну, вот, очень рад, милая вы моя. Это отлично, право. Это очень хорошо. Я очень рад, что узнал вас. — И неожиданно поцеловал у нее руку. Она также неожиданно наклонилась и ответила поцелуем в лоб, но он отстранился, как будто испугавшись этого внезапного излияния.

— Нет, не надо. Сожаление?.. не надо этого! Я ведь, знаете, как поцеловал у вас руку — из галантности! А-а, а вы не знали: я ведь галантнейший кавалер.

И он с шутливой манерностью поднес вторично ее руку к губам.

— Да-с. И вот он — тоже галантнейший кавалер, — указал он на меня. — Утонченнейшая вежливость! Пришел вчера, не застал и оставил карточку, а адреса на карточке не написал. Понимаю, понимаю, — не объясняйте. Я отлично понимаю: значит, не трудитесь,

Николай Гаврилович, отдавать визит, долгом сочту явиться вторично. Деликатность!.. А я из-за этой деликатности сегодня, высуня язык, весь город обегал, все разыскивал. На пристанях был, в полиции был, наконец догадался купить газету. Они тут отмечают всех приезжих, останавливающихся в гостиницах; вот и нашел.

Уже в это первое свидание мне вспомнился тот рассказ, который я привел в начале моего очерка, — о поляке, вышедшем из-под земли, — и впечатление определилось. «Тот самый, тот самый», думалось с грустью. Какая это, в сущности, страшная трагедия остаться тем же, когда жизнь так изменилась. Мы слышим часто, что тот или другой человек «остался тем же хорошим, честным и с теми же убеждениями, каким мы его знали двадцать лет назад». Но это нужно понимать условно. Это значит только, что человек остался в том же отношении к разным сторонам жизни. Если вся жизнь передвинулась куда бы то ни было, и мы с нею, и с нею же наш знакомый, — то ясно, что мы не заметили никакой перемены в положении. Но Чер-

нышевского наша жизнь даже не задела. Она вся прошла вдали от него, промчалась мимо, не увлекая его за собой, не оставляя на его душе тех черт и рубцов, которые река оставляет хотя бы на неподвижном берегу и которые свидетельствуют о столкновениях и борьбе.

— Публицистика!.. — сказал однажды Чернышевский на вопрос моего брата, отчего он опять не возьмется за нее. — Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вот у вас теперь на очереди вопрос о нападении на земство, на новые суды... Что я напишу об них: во всю мою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании.

Ни разу! Конечно: ведь его увезли до открытия новых учреждений, а привезли обратно, когда их собирались уничтожить. И эта судьба постигла человека, все помыслы сердца которого, все стремления, вся жизнь — были жизнью, помыслами, стремлениями русского писателя-гражданина, и ничем более. У него все эти годы не было ничего, кроме литературы: ни семья, ни профессия — ничто не смягчало для него горечи ссылки, не могло смягчить и горечи возвращения. В Сибири он

стоял, как старый камень вдали от берега изменившей русло реки. Она катится где-то далеко, где-то шумят ее живые волны, — но они уже не обмывают его, одинокого, печального.

Его разговор обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над которым он работал теперь, уже не поддавался его приемам. Он остался по-прежнему крайним рационалистом по приемам мысли, экономистом по ее основаниям.

Позволяя себе вторгнуться в чужие пределы, я попробую очертить главные основания прежнего умственного склада Чернышевского и его сподвижников. Вера в силу устроительного разума, по Конту. Вся история — есть не что иное, как смена разных силлогизмов, смена, происходящая по схеме Гегеля, «Докажите мне, что это не так, что положение, антитеза и синтез Гегеля не имеют места в истории, — и я уступлю вам по всем пунктам нашей полемики», писал он, помнится, Вернадскому. Далее: главный материал, над которым оперирует разум, творящий социальные формы, — эгоистические и прежде

всего материальные интересы. Сделать подсчет этих интересов, поставить наибольшее благо наибольшего числа людей в качестве цели, показать эту таблицу с ее противоположными итогами громадным массам, которые теперь, по неумению рассчитать, допускают существование неправильной социальной арифметики, остальное уже можно легко предсказать и предвидеть.

Таковы были, по-моему, взгляды, такова, по-моему, была вера.

И вот — казематы Александровска, Нерчинска, Акатуя, которые не могли, конечно, разбить основных взглядов, — очень удачно справлялись с верой, обломав ей крылья и оципав перья. Основные философские взгляды остались, но вера в непосредственное творческое действие рациональных идей утратилась. Для нас, оставшихся среди жизни, этот процесс совершился посредством вторжения, постепенного и незаметного, новых элементов мировоззрения. Вместе с народнической литературой наше поколение изучало народ, которому приходилось показывать социальную арифметику; оно изучало

его также практически, целым опытом народническо-пропагандистского движения. И мы были поражены сложностью, противоречиями, неожиданностями, которые при этом встретились. Но эти разочарования, причиняемые столкновениями с живою жизнью, имеют особое свойство: их и исцеляет сама жизнь. Противоречие, неожиданность разрушает прежний взгляд, но тотчас же оно захватывает внимание, и незаметно зарождается в душе возможность новых воззрений. Вся литературная биография Успенского, все, за что мы его так любим, весь захватывающий интерес его деятельности, художественной и публицистической, объясняется этой историей интеллигентной чуткой души, натыкающейся в поисках правды и жизненной гармонии на противоречия и диссонансы и все-таки не теряющей веры.

Перестав быть «рационалистическими экономистами», мы тоже не остановились на месте. Вместо схем чисто экономических, литературное направление, главным представителем которого является Н. К. Михайловский, раскрыло перед нами целую перспективу за-

конов и параллелей биологического характера, а игре экономических интересов отводилось надлежащее место. Все это лишало прежнюю постановку вопросов ее прозрачной ясности, усложняло их, запутывало, но все мы чувствовали, что нам необходимо войти в этот сложный лабиринт, и при этом мы прощали исследователям отступления, ошибки, противоречия.

Чернышевский остался при прежних взглядах: от художественного произведения, как от критической или публицистической статьи, он требовал ясного, простого, непосредственного вывода, который покрывал бы все содержание. Вот пример, иллюстрирующий его отношение к Глебу Успенскому.

— Ну, вот вам рассказ: живет мужик, в нужде да в работе, как конь ломовой. Вдруг господа помогают, или там... урожай. Разбогател на время, отдыхает. Полезли в голову мысли во время отдыха, стал пьянствовать, бить бабу, чуть не погиб. Вывод очевиден: не нужно мужику жить богаче и иметь отдых, чтобы не избаловался.

Я вспомнил действительно два рассказа

Глеба Ивановича приблизительно такого содержания. Один следовал вскоре после радостной картины урожая, где Успенский описал, как понемногу «выпрямляется» мужицкая душа от благодати урожая, и в ней исчезает злоба и зверство. Но вот, через некоторое время, он видит факт, послуживший поводом к рассказу «Взбрело в башку», и, не заботясь о полной стройности всех выводов из всех своих рассказов, — взволнованный и расстроенный до глубины души (я видел его, когда он собирался писать этот рассказ), кинул нам этот живой факт, так сказать, еще тёплый, во всей его правде и со всеми заключенными в нем противоречиями. Мы, сами давно уже бьющиеся среди сложности и противоречий жизни, ускользающей от нашего «устроения», любим и ценим в писателе эту чуткую нервность и тонкую правдивую восприимчивость к таким фактам.

Чернышевский, у которого жизнь тоже утянула, как и у нас, много прежних надежд, не хотел все-таки, да и не мог считаться с этой сложностью и требовал по-прежнему ясных, прямых, непосредственных выводов.

О всяком писателе он спрашивал прежде всего: умный он человек или нет? И далеко не за всеми известностями признавал это качество. За Михайловским, например, признавал, хотя совершенно отвергал его биолого-социологические параллели.

С особенной резкостью говорил он о Толстом, и это понятно, потому что оба они имеют общую точку соприкосновения в рационализме, хотя в выводах стоят на противоположных полюсах.

— А Толстым увлекаетесь? — спросил он, лукаво смотря на мою жену. — Превосходный писатель, не правда ли?

Жена сказала свое мнение и спросила об его собственном отношении к последним для того времени произведениям Толстого.

Чернышевский вынул платок и высморкался.

— Что, хорошо? — спросил он, к великому нашему удивлению. — Хорошо я сморкаюсь? Так себе, не правда ли? Если бы у вас кто спросил: хорошо ли Чернышевский сморкается, вы бы ответили: без всяких манер, да и где же какому-то бурсаку иметь хорошие мане-

ры. А что, если бы я вдруг представил неопровержимые доказательства, что я не бурсак, а герцог, и получил самое настоящее герцогское воспитание. Вот тогда бы вы тотчас же подумали: А-а, нет-с, это он не плохо высморкался, — это и есть настоящая, самая редкостная герцогская манера... Правда ведь? А?

— Пожалуй.

— Ну, вот то же и с Толстым. Если бы другой написал сказку об Иване-дураке, — ни в одной редакции, пожалуй, и не напечатали бы. А вот, подпишет граф Толстой — все и ахают. Ах, Толстой, великий романист! Не может быть, чтоб была глупость. Это только необычно и гениально! По-графски сморкается!..

V

Вообще к движению, обозначенному Толстым, но имевшему и другие родственные разветвления, он относился очень насмешливо и рассказывал некоторые, сюда относящиеся, эпизоды с большим юмором. Я приведу один из подобных эпизодов, но, чтобы он мог сказать все, что с ним связано относительно характеристики Чернышевского, я должен прибавить еще несколько слов.

В квартире Чернышевского, во второе мое свидание с ним, я встретил, кроме его жены и секретаря, еще молодую девушку, племянницу Чернышевского, знакомую моему брату. Она очень сердилась на последнего за то, что он не ответил на ее письмо, и часто возвращалась к этому вопросу.

— Ах, милая вы моя, — полушутя, полусерьезно сказал ей Чернышевский. — Разве кто-нибудь из серьезных людей отвечает на письма. Никогда! Да и не нужно. Положительно не нужно! Вот я вам случай расскажу из своей практики: как-то раз Ольги Сократовны не было дома, хожу себе по комнатам, вдруг звонок. Отворяю дверь, — какой-то незнакомый господин. — Что угодно?

— Николая Гавриловича Чернышевского угодно.

— А это я самый.

— Вы — Николай Гаврилович?

— Да, я Николай Гаврилович.

Он стоит, смотрит на меня, и я на него смотрю. Потом вижу, что ведь так нельзя, позвал в гостиную. Сел, облокотился на стол, опять смотрит в лицо.

— Так вот это вы — Николай Гаврилович Чернышевский.

— Да, говорю, я Николай Гаврилович Чернышевский.

— А я, говорит, приехал на пароходе, а поезд уходит через пять часов. Я и думаю: надо зайти к Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

— А-а, это, конечно, уважительная причина. Однако вот и моя жена пришла. Позвольте вас представить, как вас зовут?

— А это, говорит, вовсе и не нужно.

«Вот оно что, — подумал я: — какой-нибудь важный конспиратор». — Увел его к себе в кабинет, посадил и говорю: — Если при других вам нельзя высказаться, то, может, мне одному скажете?

— Ах, нет, говорит, это не то вовсе. Моя фамилия такая-то, доктор Х. Еду теперь в Петербург по своим делам.

И опять сидит, смотрит.

— Так вот... Вы — Николай Гаврилович Чернышевский!

— Я Николай Гаврилович Чернышевский. Однако, знаете, до поезда все-таки еще долго.

Давайте о чем-нибудь говорить.

— Ну, хорошо, давайте.

— О чем же?

— О чем хотите, Николай Гаврилович Чернышевский, о том и говорите.

Посмотрел я на него и думаю: давай попробую с ним о Толстом заговорить. Взял да и обругал Толстого. Смотрю, — ничего, никакого впечатления.

— Послушайте, говорю, — а может быть, вам это неприятно, что я тут о таком великом человеке так отзываюсь.

— Нет, говорит, ничего. Продолжайте. Несколько месяцев назад, может быть, я и очень бы огорчился. А теперь ничего, теперь я уже свою веру выдумал, собственную.

— А, вот это интересно. Расскажите, какую вы это выдумали веру. Может, и хорошая вера.

— Конечно, хорошая. — Начал рассказывать что-то, я слушаю. Должно быть, уж очень что-то умное, — ничего нельзя понять.

— Постойте, говорит. Я вам письмо с дороги пришлю. Адрес тоже пришлю, и вы мне непременно ответьте. А теперь пойдем лучше

пройдемся по городу, да и на пароход.

Мне тоже показалось, что это самое лучшее. Вера у него какая-то очень скучная, да и не граф он ни в каком смысле... Не интересно. Проводил я его на пароход, пароход отчаливает, а он все кричит: — Напишу, отвечайте непременно, что думаете.

Отлично. Он уехал, а я забыл. Только через некоторое время опять я один, опять звонок. Отворяю. Опять незнакомец, на этот раз молодой.

— Вы — Николай Гаврилович Чернышевский?

— Я Николай Гаврилович Чернышевский.

— Я от доктора Х. — А-а, думаю себе, пророк Андрей Первозванный. Прислан меня в новую веру обращать.

— Милости просим, говорю.

— Письмо к вам, длинное. Просит ответа. Я с ним увижусь!

— А вы кто?

Оказался ветеринар и человек отличный. Проездом... Устраивал свои дела, а теперь едет в университет. Планы все простые, хорошие, как у всякого порядочного молодого че-

ловека. Учиться собирается, ну и прочее... Все хорошо.

Думаю: нет, должно быть, не этой веры. И действительно, — с доктором он встретился совсем случайно.

— Ну, отлично, говорю. Вы хотите ответа?

— Просил Х. непременно привезти. Уж вы, пожалуйста, Николай Гаврилович.

— Ах ты господи! А содержание письма вам известно?

— Нет, не знаю.

Ну, думаю, так, может, еще освободит. — Давайте-ка, прочтем вместе. — Усадил его в кабинете, вскрыл письмо, читаю. Прочитал несколько, — все так же, как в изустной речи: или уже слишком умно, или просто глупо, ничего не понимаю. Посмотрел на молодого человека. У него глаза удивленные...

— Ну, что, говорю, читать далее, или о чем другом поговорим?

— О другом, говорит, лучше.

— А отвечать надо?

— Помилуйте, говорит, что тут отвечать. Невозможно и ответить ничего толком.

— Так вот, видите, — улыбаясь, закончил

он рассказ, обращаясь к племяннице. — О важных делах, о новой вере и то не отвечают, а вы тут о своих пустяках пишете и требуете ответа... Предрассудок!..

Девушка, смеясь, вышла из комнаты... Тогда, оглянувшись конспиративно на дверь, Чернышевский наклонился ко мне и сказал:

— Если передадите брату ее слова, скажите, пусть не сердится. Видите, она девушка хорошая, честная, сирота. Жизнь вся прошла серо, сестер и братьев выводила в люди, сама не видела ничего, никакой радости. Ну, а в тот год, когда встретились с вашим братом, — свалила с себя главное-то бремя, стала жить на свой счет, по Волге вот поехала... Все это — понимаете, и радостно ей, и кажется значительно очень. Свобода, встреча с хорошими интеллигентными людьми после глухого угла. Вот она и не может себе представить, что эта случайная встреча важна и значительна только для нее одной, а не для других, и вот почему ее так волнует неполучение ответа от случайно встреченного тогда человека.

Эта внимательность к окружающим, это тонкое понимание чужого настроения добав-

ляет, по-моему, очень важную черту к нравственному облику самого Чернышевского.

Поздним вечером Чернышевский проводил меня до ворот, мы обнялись на прощание, и я не подозревал, что обнимаю его последний раз...

VI

Теперь еще несколько слов об его отношении к своему прошлому.

Мой брат передавал мне одну импровизацию Чернышевского. Эту легенду-аллегорию он слышал, к сожалению, из вторых уже рук: ему рассказывала племянница Чернышевского, под свежим впечатлением очень яркого, живого юмористического рассказа самого Николая Гавриловича. Брат передавал ее мне тогда же, но теперь мы оба восстановили в памяти лишь некоторые черты, один остов этой аллегии. Я привожу ее все-таки, так как в ней есть характерные черты и проглядывают отчасти взгляды Чернышевского в последнее время на свою прошлую деятельность.

Когда-то, во время кавказской войны, Шамиль спросил одного прорицателя об исходе своего предприятия. Прорицатель дал ответ

очень неблагоприятный. Шамиль рассердился и велел посадить пророка в темницу, а затем приговорил его к казни, ввиду того, что его предсказание вносило уныние в среду мюридов. Перед казнью пророк попросил выслушать его в последний раз и сказал: «В эту ночь я видел вещий сон: есть где-то на свете дом, в этом доме ученый человек сидит много лет над рукописями и книгами. Он придумает вскоре такую машину, от которой перевернется не только Кавказ и Константинополь, но и вся Европа. А будет это тогда, когда бараны станут кричать козлами».

Шамиль задумался и хотел помиловать пророка, но мюриды возмутились еще больше: не ясно ли, что пророк сеет, в рядах правоверных напрасное уныние, — где же видано, чтобы бараны кричали козлами?

И пророка казнили. Но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну по казненному, то один из баранов, назначенный к закланию, вырвался из рук черкеса и, вскочив на крышу шамилевой сакли, закричал три раза козлом.

Тогда Шамиль ужаснулся и, призвав само-

го верного из своих адъютантов, дал ему денег и велел ехать по свету, во что бы то ни стало разыскать неизвестного ученого и убить его прежде, чем он успеет окончить свою работу.

К сожалению, я совсем не знаю подробностей путешествия адъютанта по разным странам. Слышавшие этот рассказ говорили, что описание этих поисков представляло настоящую юмористическую поэму. Теперь приходится ограничиться тем, что адъютант действительно разыскал ученого и, кажется, именно в Петербурге. Он застал его, окруженного книгами, в кабинете, в котором топился камин. Ученый сидел против огня и размышлял. Когда адъютант Шамиля объявил ему, что он долго его разыскивал, чтобы убить, ученый ответил, что он готов умереть, но просил дать немного времени, чтобы покончить свои дела и планы.

— Ты хочешь привести в исполнение то, что у тебя здесь написано и начерчено? — спросил его мюрид.

— Нет, я хочу все это сжечь в камине, чтобы никто не вздумал выполнить то, над чем я

так долго трудился, считая, что работаю для блага людей. Теперь я пришел к заключению, что я ошибался!..

— Вы были этот ученый? — спросила Чернышевского одна из слушательниц.

— Нет, я — тот баран, который хотел кричать козлом, — ответил он с добродушной иронией, с которой часто говорил о себе. В дальнейшие комментарии он не пускался, предоставляя, по своему обыкновению, слушателям делать самим те или другие заключения.

Конечно, очень трудно по приведенным мною обломкам судить о целом этой аллегории. Однако на основании того, что я слышал впоследствии отчасти от других, отчасти же лично от Чернышевского, я позволю себе сделать некоторые комментарии. Мне кажется, что Чернышевский имел здесь в виду себя (а может быть, также и других) как теоретика и мыслителя, который вообразил себя практическим деятелем. Вероятно, на это именно указывает сравнение себя самого с кротким по природе бараном, которому вздумалось кричать по-козлиному. Мне доводилось слы-

шать эту же мысль, выраженную ясно и без всяких аллегорий.

— Ах, Владимир Галактионович, — говорил мне покойный при личном свидании, когда мы стали перебирать прошлое и заговорили о Сибири. — Знаете ли: попал я в Акатуе в среду сосланных за революционные дела... Кого только там не было: поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помогать полякам, наши каракозовцы!.. И все — народ хороший, но все — зеленая молодежь. Одному мне под пятьдесят. Оглянулся я на себя и говорю: ах, старый дурак, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало...

Правда, все эти нападки на прошлое, иногда высказываемые в очень резкой форме самообличения, не отзывались ни унылым разочарованием, ни слабодушным покаянием в прошлых «грехах». Наоборот, после таких выходов Чернышевский встряхивал своими густыми волосами, глядел исподлобья улыбающимся взглядом и прибавлял:

— А ведь все-таки, сказать правду: не все же только худое было... Было кое-что и хоро-

шее. Пожалуй, не мало было хорошего, да, не мало.

Указанием на это обстоятельство я отклоняю вместе с тем упрек в кажущемся противоречии, которое можно бы, пожалуй, усмотреть в том, что я говорил выше о Чернышевском, оставшемся прежним Чернышевским шестидесятих годов, с его насмешками над своим прошлым. Нет, он не смеялся над прошлым и остался в основных своих взглядах тем же революционером в области мысли, со всеми прежними приемами умственной борьбы. Он смеялся только над своими попытками практической деятельности и, пожалуй, не верил в близость и плодотворность общественного катаклизма.

Это факт, и, как таковой, я привожу его для характеристики этого крупного человека в последний период его жизни.

VII

В заключение приведу здесь легенду, которая сложилась о Чернышевском еще при его жизни в далекой Сибири, на Лене.

Чернышевского привезли в Россию летом, а я ехал тем же путем осенью того же года.

Трудно представить себе что-либо более угрюмое, печальное и неприветное, чем приленская природа. Голые скалы, иногда каменная стена на десятки верст, и наверху, над вашей головой, только лиственничный лес да порой кресты якутских могил. И так почти на три тысячи верст. Русское население Лены — это ямщики, поселенные здесь с давних времен правительством и живущие у государства на жалованье. Это своего рода сколок старинных «ямов», почтовая служба для государственных целей, среди дикой природы и полудикого местного населения, среди тяжелой нужды. «Мы пеструю столбу караулим, — говорил мне с горькой жалобой один из ямщиков своим испорченным полурусским жаргоном: — пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу». В этой фразе излилась вся горькая жизнь русского мужика, потерявшего совершенно смысл существования. «Столбы для дому бей в камень, паши камень и камень кушай... и слеза наша на камень этот падет», — говорил другой.

Эти люди, которые, как все люди, все ждут чего-то и на что-то надеются, везли Черны-

шевского, когда его отправляли на Виллюй. Они заметили, что этого арестанта провожают с особенным вниманием, и долго в юртах этих мужиков, забывающих родной язык, но хранящих воспоминание о далекой родине, толковали о «важном генерале», попавшем в опалу. Затем его провезли обратно и опять с необычными предосторожностями.

В сентябре 1884 года, через несколько месяцев после проезда Чернышевского по Лене в Россию, мне пришлось провести несколько часов на пустынном острове Лены в ожидании, пока пронесется снеговая туча. Мы с ямщиками развели огонь, и они рассказывали о своем житьишке.

— Вот разве от Чернышевского не будет ли нам чего? — сказал один из них, задумчиво поправляя костер.

— Что такое? от какого Чернышевского? — удивился я.

— Ты разве не знаешь Чернышевского, Николай Гавриловича?

И он рассказал мне следующее:

«Чернышевский был у покойного царя (Александра II) важный генерал и самый пер-

вейший сенатор. Вот однажды созвал государь всех сенаторов и говорит: — «Слышу я — плохо у меня в моем государстве: людишки больно жалуются. Что скажете, как сделать лучше? Ну, сенаторы... один одно, другой другое... Известно уж, как всегда заведено. А Чернышевский молчит. Вот, когда все сказали свое, царь говорит: — „Что же ты молчишь, мой сенатор Чернышевский? Говори и ты“. — Все хорошо, твои сенаторы говорят, — отвечает Чернышевский, — и хитро, да все, вишь, ето. А дело-то, батюшка-государь, просто... Посмотри на нас: сколько на нас золота да серебра навешано, а много ли мы работаем? Да, пожалуй, что меньше всех! А которые у тебя в государстве больше всех работают — те вовсе, почитай, без рубах. И все так идет наыворот. А надо вот как: нам бы поменьше маленько богатства, а работы бы прибавить, а прочему народу убавить тягостей.

Вот услышали это сенаторы и осердились. Самый из них старший и говорит: — „Это, знать, последние времена настают, что волк волка съест хочет“. — Да один за одним и ушли.

И сидят за столом — царь да Чернышевский — одни.

Вот царь и говорит: — „Ну, брат Чернышевский, люблю я тебя, а делать нечего, надо тебя в дальние места сослать, потому с тобой с одним мне делами не управиться“.

Заплакал, да и отправил Чернышевского в самое гиблое место, на Вилюй. А в Петербурге осталось у Чернышевского семь сынов, и все выросли, обучились, и все стали генералы. И вот, пришли они к новому царю и говорят: — „Вели, государь, вернуть нашего родителя, потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет, — мы все с ним, семь генералов“.

Царь и вернул его в Россию, теперь, чай, будет спрашивать, как в Сибири, в отдаленных местах народ живет... Он и расскажет...

Привез я его в лодке на станок, да как жандармы-то сошли на берег, — я поклонился в пояс и говорю:

— Николай Гаврилович! Видел наше житьишко?

— Видел, — говорит.

— Ну, видел, так и слава-те господи».

Так закончил рассказчик, в полной уверенности, что в ответе Чернышевского заключался залог лучшего будущего и для них, приставленных караулить «пеструю столбу да серый камень».

Я рассказал эту легенду Чернышевскому. Он с добродушной иронией покачал головой и сказал:

— А-а. Похоже на правду, именно похоже! Умные парни эти ямщики.

1904

«Гражданская казнь Чернышевского»*

(По рассказу очевидца)

В Нижнем-Новгороде в конце прошлого века умер врач А. В. Венский, «человек шестидесятих годов», школьный товарищ П. Д. Боборыкина и даже герой одного из романов этого писателя. Было известно, что он присутствовал в качестве очевидца при «гражданской казни» Чернышевского. В первую годовщину смерти Чернышевского кружок ниже-

городской интеллигенции решил устроить поминки и рядом сообщений восстановить в памяти младшего поколения этот яркий, значительный и страдальческий образ. Известный земский деятель А. А. Савельев предложил и Венскому сделать сообщение о событии, которого он был очевидцем. В то время собрание в память гонимого писателя не могло, разумеется, состояться вполне «легально», и Венский отказался в нем участвовать. Но он согласился дать письменные ответы на точно поставленные вопросы, которые и были прочитаны на нашем собрании. Листок этот остался у меня, и я восстановил ответы Венского в первом издании моей книжки («Отошедшие»).

Потом, в декабрьской книжке «Русского богатства» (1909 года) была напечатана заметка М. П. Сажина о том же событии. Пользуясь этой последней заметкой, как основанием, и дополняя ее некоторыми чертами из ответов А. В. Венского, — мы можем теперь восстановить с значительной полнотой этот поистине символический эпизод из истории русской оппозиционной мысли и русской интелли-

генции.

Гражданская казнь Н. Г. Чернышевского происходила, как известно, 19 мая 1864 года.

«О времени экзекуции, — говорит М. П. Сажин, — было объявлено в газетах за несколько дней. Я с двумя своими товарищами студентами-технологами в назначенный день рано утром отправился на Конную площадь. Здесь, на середине площади, стоял эшафот — четырехугольный помост высотой аршина полтора-два от земли, выкрашенный черною краскою. На помосте высился черный столб, и на нем, на высоте приблизительно одной сажени, висела железная цепь. На каждом конце цепи находилось кольцо, настолько большое, что через него свободно могла пройти рука человека, одетого в пальто. Середина этой цепи была надета на крюк, вбитый в столб. Две-три сажени отступя от помоста, стояли в две или три шеренги солдаты с ружьями, образуя сплошное карре с широким выходом против лицевой стороны эшафота. Затем, отступя еще пятнадцать-двадцать сажен от солдат, стояли конные жандармы, довольно редко, а в промежутке между ними

и несколько назад — городовые. Непосредственно за городовыми расположилась публика ряда в четыре-пять, по преимуществу интеллигентная. Я с товарищами стоял на правой стороне площади, если встать лицом к ступеням эшафота. Рядом с нами стояли писатели: С. Максимов, автор известной книги „Год на Севере“, Павел Иванович Якушкин, этнограф-народник, и А. Н. Моригеровский, сотрудник „Русского слова“ и „Дела“. Всех троих я знал лично.

Утро было хмурое, пасмурное (шел мелкий дождь). После довольно долгого ожидания появилась карета, въехавшая внутрь карре к эшафоту. В публике произошло легкое движение: думали, что это Н. Г. Чернышевский, но из кареты вышли и поднялись на эшафот два палача. Прошло еще несколько минут. Показалась другая карета, окруженная конными жандармами с офицером впереди. Карета эта также въехала в карре, и вскоре мы увидели, как на эшафот поднялся Н. Г. Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке и в мундире в сопровожд-

дении, сколько помнится, двух лиц в штатском платье. Чиновник встал к нам лицом, а Чернышевский повернулся спиной. Над затихшей площадью послышалось чтение приговора. До нас, впрочем, долетали лишь отдельные слова. Когда чтение кончилось, палач взял Н. Г. Чернышевского за плечо, подвел к столбу и просунул его руки в кольцо цепи. Так, сложивши руки на груди, Чернышевский простоял у столба около четверти часа.

В этот промежуток времени около нас разыгрался следующий эпизод: Павел Иванович Якушкин (одетый по своему обыкновению в красной кумачной рубахе, в плисовых шароварах, заправленных в простые смазные сапоги, в крестьянском армяке из грубого коричневого сукна с плисовой оторочкой и в золотых очках) вдруг быстро проскочил мимо городских и жандармов и направился к эшафоту. Городовые и конный жандарм бросились за ним и остановили его. Он стал горячо объяснять им, что Чернышевский близкий ему человек и что он желает с ним проститься. Жандарм, оставив Якушкина с городовыми, поскакал к полицейскому начальству,

стоявшему у эшафота. Навстречу ему уже шел жандармский офицер, который, дойдя до Якушкина, стал убеждать его: „Павел Иванович, Павел Иванович, это невозможно“. Он обещал ему дать свидание с Николаем Гавриловичем после.

На эшафоте в это время палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского принудил встать на колени; затем взял шпагу, переломил ее над головою Н. Г. и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел ее на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота.

Через несколько мгновений карета, окруженная жандармами, выехала из карре. Публика бросилась за ней, но карета умчалась. На мгновение она остановилась уже в улице и затем быстро поехала дальше.

Когда карета отъезжала от эшафота, несколько молодых девушек на извозчиках поехали вперед. В тот момент, когда карета нагнала одного из этих извозчиков, в Н. Г.

Чернышевского полетел букет цветов. Извозчика тотчас же остановили полицейские агенты, четырех барышень арестовали и отправили в канцелярию генерал-губернатора князя Суворова. Бросившая букет, как тогда передавали, была Михаэлис, родственница жены Н. В. Шелгунова. Рассказ о цветах я слышал от одной из четырех барышень, которая тоже была арестована и препровождена к Суворову.

Последний, впрочем, ограничился выговором. Дальнейших последствий история, кажется, не имела».

К этому описанию «ответы Венского» прибавляют характерную черту, рисующую поведение Чернышевского на эшафоте и отношение к нему разных категорий зрителей.

«Вокруг эшафота расположились кольцом конные жандармы, сзади них публика, одетая прилично (много было литературной братии и женщин, — в общем не менее четырехсот человек)[6]. Позади этой публики — простой народ, фабричные и вообще рабочие. „Помню, — говорит Венский, — что рабочие расположились за забором не то фабрики, не то

строящегося дома, и головы их высывались из-за забора“. Во время чтения чиновником длинного акта, листов в десять, — публика за забором выражала неодобрение виновнику и его злокозненным умыслам. Неодобрение казалось также его соумышленников и выражалось громко. Публика, стоявшая ближе к эшафоту, позади жандармов, только оборачивалась на роптавших.

Чернышевский, — блондин, невысокого роста, худощавый, бледный (по природе), с небольшой клинообразной бородкой, — стоял на эшафоте без шапки, в очках, в осеннем пальто с бобровым воротником. Во время чтения акта оставался совершенно спокойным; неодобрения заборной публики он, вероятно, не слышал, так же как, в свою очередь, и ближайшая к эшафоту публика не слышала громкого чтения чиновника. У позорного столба Чернышевский смотрел все время на публику, раза два-три снимая и протирая пальцами очки, смоченные дождем».

Эпизод с цветами Венский рассказывает следующим образом:

«Когда Чернышевский был сведен с эшафо-

та и посажен в карету, то из среды интеллигентной публики полетели букеты цветов; часть их попала в карету, а большая часть мимо. Произошло легкое движение публики вперед. Лошади тронулись. Дальнейших комментариев со стороны толпы не было слышно... Дождь пошел сильнее»...

Наконец, г. Захарьин-Якунин в «Руси» говорит об одном венке, который был брошен на эшафот в то время, когда палач ломал над головой Чернышевского шпагу. Бросила этот букет девушка, которая тут же была арестована. Очень может быть, что тут нет противоречия, и каждый из трех рассказчиков передает лишь разные ими замеченные моменты.

Это было сорок лет назад[7]. Народ, только что освобожденный от крепостной зависимости, считал, вероятно, Чернышевского представителем «господ», недовольных освобождением. Как бы то ни было, история старушки, в святой простоте принесшей вязанку хвороста на костер Гуса, повторилась, и картина, нарисованная бесхитростными рассказами «очевидцев», вероятно, еще не раз остановит на себе внимательный взгляд художника и

историка... Это пасмурное утро с мелким петербургским дождиком... черный помост с цепями на позорном столбе... фигура бледного человека, протирающего очки, чтобы взглянуть глазами философа на мир, как он представляется с эшафота... Затем узкое кольцо интеллигентных единомышленников, сжатое между цепью жандармов и полиции, с одной стороны, и враждебно настроенным народом — с другой, и... букеты, невинные символы сочувственного исповедничества. Да, это настоящий символ судеб и роли русской интеллигенции в тот период нашей общественности...

Едва ли можно сомневаться, что теперь отношение даже простой публики к гражданской казни автора «Писем без адреса» было бы много сложнее...

1904

Лев Николаевич Толстой. Статья первая*

I

Среди смуты, в хаосе творения новой русской жизни, наступает восьмидесятилетняя годовщина великого русского художника и истинно замечательного человека, вызывающего удивление и восторг во всем читающем и мыслящем человечестве. Нет угла на земном шаре, в который только проникает газета, на каком бы языке она ни издавалась, куда бы теперь не проникало и это имя. И всюду оно вызывает известное движение мысли и чувства, ума и совести, начиная с простого любопытства или радостного сочувствия и кончая напряженным столкновением религиозных, нравственных, политических мнений.

Последнее — особенно в нашем отечестве. Здесь около этой сложной, удивительной и величавой фигуры бушует теперь настоящий водоворот разнообразных течений, происходит столкновение не одних взглядов, но и

страстей. Наша жизнь всколыхнулась до глубины в трагическом усилии возрождения — но и среди этого огромного движения, быть может, в органической с ним связи — праздник литературы, праздник свободной мысли и слова составляет один из выдающихся эпизодов, которому суждено остаться в биографии великого писателя и в истории нашей общественности характерным пятном на своеобразном фоне... Какой величаво яркий закат... какая тревожная, бурная обстановка...

Толстой — великий художник. Это истина, уже признанная читающим миром и, кажется, нигде и никем серьезно не оспариваемая. И если порой все-таки поднимаются голоса, вроде Белавенека в венском рейхстаге или епископа Гермогена в Саратове, утверждавшего еще недавно, что образы Толстого-художника «красивы, но не действуют благотворно ни на ум, ни на сердце», то судьба таких сведущих критиков — только оттенять торжественный хор общего восхищения и признания...

Да, Толстой действительно огромный художник, какие рождаются веками, и творче-

ство его кристально чисто, светло и прекрасно. Кто-то из крупных французских писателей, если не ошибаюсь, Гюи де Мопассан, сказал, что каждый художник изображает нам свою «иллюзию мира». Обыкновенно принято сравнивать художественное произведение с зеркалом, отражающим мир явлений. Мне кажется, можно принять в известной комбинации оба определения. Художник — зеркало, но зеркало живое. Он воспринимает из мира явлений то, что подлежит непосредственному восприятию. Но затем в живой глубине его воображения воспринятые впечатления вступают в известное взаимодействие, сочетаются в новые комбинации, соответственно с лежащей в душе художника общей концепцией мира. И вот в конце процесса зеркало дает свое отражение, свою «иллюзию мира», где мы получаем знакомые элементы действительности в новых, доселе неизвестных нам сочетаниях. Достоинство этого сложного отражения находится в зависимости от двух главных факторов: зеркало должно быть ровно, прозрачно и чисто, чтобы явления внешнего мира проникали в его глубину не изло-

манные, не извращенные и не тусклые. Процесс новых сочетаний и комбинаций, происходящий в творящей глубине, должен соответствовать тем органическим законам, по которым явления сочетаются в жизни. Тогда, и только тогда, мы чувствуем в «вымысле» художника живую художественную правду...

Иллюзия мира... Да, конечно. И эти иллюзии сложны и разнообразны, как и сам воспринимаемый мир. Одно и то же лицо может быть отражено в зеркале плоском, или вогнутом, или выпуклом. Ни одно из этих зеркал не солжет — элементарные процессы природы лгать не могут (кажется, в этом смысле софисты доказывали, что лжи совсем нет). Но если вы отразите все эти изображения на экране и измерите их очертания, то увидите, что только прямое зеркало дало вам отражение, размеры и пропорции которого объективно совпадают с размерами и пропорциями предмета в натуре. Отражение того же лица на поверхности самовара — конечно, не «ложь»: оно и движется, и изменяет выражение, оно, значит, отражает действительное, живое лицо. Но между этим лицом и види-

мым нами отражением легли искажающие свойства выпуклой поверхности. А ведь порой на этой поверхности есть еще ржавчина, или плесень, или она изъедена кавернами, или окрашена случайными реактивами, изменяющими живую окраску... И тогда, вглядываясь в чуть мерцающее отражение живого лица, мы едва узнаем знакомые нам черты: они растянуты, обезображены, искажены; на месте глаз — ржавые пятна, вместо живого тела — цвет разложения, вместо «иллюзии живого явления» — «иллюзия» призрака.

Конечно, может случиться, что и при такой отражающей поверхности внутренний процесс творчества будет обладать свойствами органически правильного и оригинального сочетания, как это было, например, у больного Достоевского. И тогда в искаженных отражениях местами, как клочки неба в черных лесных озерах, будут сверкать откровения изумительной глубины и силы. Они будут и драгоценны, и поучительны, но всегда односторонни. Они вскроют нам почти недоступные глубины больного духа, но не ищите в них ни законов здоровой жизни, ни ее широ-

ких перспектив. Продолжая ранее взятое сравнение, я скажу, что по прямому отражению пейзажа, зарисованного с птичьего полета на бумаге, вы можете ориентироваться в природе, легко найдете свою дорогу и рассчитаете усилия, необходимые для достижения цели. Попробуйте сделать то же по рисунку, отраженному неправильной зеркальной поверхностью, и, конечно, вы собьетесь с пути.

Нынешний период литературы особенно богат такими иллюзиями призраков, то есть иллюзиями вдвойне. Отчего бы это ни происходило, как бы «натурально» ни объяснялось и как бы «законно» ни было, факт все же остается фактом: воспринимающая поверхность нашего художественного зеркала за последние годы как будто искривилась, покрылась ржавыми пятнами, извратилась на разные лады и в разных направлениях. Я не говорю, конечно, о том, что на ней появляются то и дело искаженные ужасом лица, расширенные и застывшие зрачки, стоящие дыбом волосы: ужас составляет значительный момент самой современности. Я говорю о тех извращениях, которые не зависят прямо от явлений жизни,

а только от зеркала... Болезненные искривления линий, невероятные и нежизненные положения и поступки, преувеличенно приапическое выражение, сплошь разлитое на средних человеческих лицах, в средней, по-видимому, обстановке... При виде этих веренищ диких образов, точно в фантастическом вихре несущихся перед современным читателем, мы уже не спрашиваем вместе с «старым» поэтом:

*С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?*

На сходство с действительностью, на простоту и естественность они и сами не претендуют... Нет, при созерцании фантастической метели модернизма приходит на ум парафраз из другого поэта:

*Сколько их, куда их гонят?
Что фальшиво так поют?*

II

Когда после этого обращаешься к Толстому, то чувствуешь, точно с Брокена и вальпургиевой ночи попал на свет дня и солнца. Мир Толстого — это мир, залитый солнечным

светом, простым и ярким, мир, в котором все отражения по размерам, пропорциям и светотени соответствуют явлениям действительности, а творческие сочетания совершаются в соответствии с органическими законами природы... Над его пейзажем светит солнце, несутся облачные пятна, есть людская радость и печаль, есть грехи, преступления и добродетели... И все эти образы, трепещущие жизнью, движением, кипящие человеческими страстями, человеческой мыслью, стремлениями ввысь и глубокими падениями, созданы в полном соответствии с творчеством жизни, их размеры, их окраска, пропорции их взаимного распределения отражают точно и ясно, как экран под прямым зеркалом, взаимоотношения и светотени действительности. И все это отмечено печатью духа, светится внутренним светом необыкновенного воображения и никогда не устающей бодрой мысли.

Но, кроме этой верности, чистоты и прозрачности образов, поразительна еще и ширина творческого захвата, огромность художественного горизонта Толстого. Мы, люди, работающие в нижних слоях той же области,

над которой высится и парит Толстой, особенно живо чувствуем почти титаническую силу его художественного подъема. Средний художник считает себя счастливым, если ему удастся выхватить из бесформенного хаоса явлений одну освещенную тропу, в лучшем случае пробить просеку, по которой движется последовательное развитие данного образа, освещая кое-что и по сторонам главной дорожки. Художественный захват Толстого — это не тропа, не просека, не лента дороги. Это огромный, далеко и широко раскинувшийся кругозор, лежащий перед нами во всем своем неизмеримом просторе, с изгибами рек, пятнами лесов, дальними селами. Подойдите ближе в любом месте, и перед вами зашумит многоголосый, живой говор толпы. Еще ближе — и вы видите из нее отдельных людей. И все это живет собственной, полной, настоящей жизнью, кипучей, своеобразной и многообразной...

Размеры статьи и ее назначение не позволяют мне привести для иллюстрации примеры и сравнения. Я позволю себе, однако, одно беглое указание. Золя в своем «Debaacle»[8]

разработал ту же тему, что и Толстой в «Войне и мире». Золя — крупный художник и мыслитель, однако сравните его картины с картинами Толстого. Вот, например, движение отрядов. У Золя — это «боевые единицы». Вы их видите, слышите гул их движения, наблюдаете действие их в общем столкновении. Но это именно коллективные единицы, которые движутся, точно пятна на плане. В лучшем случае вы разглядите среди них главного героя и отдельные группы, близкие к основной нити рассказа. У Толстого проходящий на параде или идущий в сражение полк — не коллективная единица, а человеческая масса, кишущая отдельными жизнями. Перед вами выступают то и дело множество живых лиц — генералы, офицеры, солдаты, со своими личными особенностями, со своими случайными ощущениями данной минуты, — и когда это изумительное движение пронеслось и исчезло, вы еще чувствуете этот клубок человеческих жизней, прокатившийся в общей массе...

Выражаясь грубо фигурально, можно сказать, что средний художник поднимает в во-

ображении двух, трех, наконец, десятков-другой лиц. И чем больше расширит он свой захват, тем тусклее становятся образы. Воображение Толстого поднимает сотни и несет их с изумительной легкостью, как могучая река свои караваны и флотилии... В своем «Разгроме» Золя — архитектор, отлично владеющий материалом и распределяющий его, как математик, по закону: необходимо и достаточно. Порой в его строго рассчитанной картине чувствуется чертеж и подстриженная аллея. Творческое воображение Толстого не знает удержу: поле его фантазии засеяно могучей порослью, буйно разрастающейся за всякие ограды намеченного плана. У него нет главного героя. Его герой целая страна, борющаяся с нашествием врага. В его картине сотни лиц, и каждое, даже случайно, мимоходом выпущенное на арену, тотчас же заявляет о своей яркой *особности*, насильно захватывает ваше внимание для своей собственной личной жизни, не хочет уйти из вашей памяти... И все это вместе растекается вширь, как наводнение, грозя выхлестнуть из рамы с стихийной силой самостоятельного, непокорно-

го ничьему велению явления жизни. При меньшей силе художественного кругозора эта буйная плодovitость воображения могла бы стать роковым недостатком: столпление образов могло бы превратиться в настоящий хаос конкретных явлений, то есть потерять значение обобщающего художественного творения. Порой кажется, что еще немного, и художник должен изнемочь под бременем своих образов, как атлет, поднявший чрезмерную тяжесть, и тогда разросшееся творение падет опять в хаос явлений, сольется с беспорядком, из которого пыталось его выхватить художественное творчество. Но Толстому по силам то, под чем упал бы всякий другой. Своим истинно орлиным взглядом он все время обозревает огромное поле своего действия, не теряя из виду ни одного лица в отдельности и не позволяя им закрывать перед собой целое... В конце концов неудержимый напор стихийно возникающих образов введен в границы. В заключении романа вы видите, как буйный разлив вошел в свои берега, грандиозная эпопея заканчивается плавно, величаво и спокойно...

Да, это почти нечеловеческая сила воображения и почти магическая власть над кипящими отраженьями жизни. Можно сказать смело, что по непосредственной силе творческой фантазии, по богатству и яркости художественного материала нет равного Толстому из современных художников. Всемирно известный Ибсен не может и отдаленно сравниться с Толстым в этом отношении: его порой очень глубокая мысль далеко не всегда покрывается слишком для нее скудными образами, и художнику то и дело приходится прибегать к заплатам сухого, отвлеченного и бескровного символизма.

III

Теперь от художественной области, в которой величие Толстого очевидно и неоспоримо, мы переходим к области более спорной, около которой и в настоящую минуту возникают разногласия, вскипают страсти.

Толстой публицист, моралист и мыслитель не всегда был достаточно благодарен Толстому-художнику. А между тем если бы художник не поднялся на высоту, откуда он виден и слышен всему миру, едва ли мир с таким вни-

манием прислушивался бы к словам мыслителя. И кроме того, Толстой-мыслитель весь и целиком заключен в Толстом-художнике. Здесь все его крупные достоинства и не менее крупные недостатки.

Давно уже отмечено, что в произведениях Толстого-художника нашла отражение вся наша жизнь, начиная от царя и кончая крестьянином. Эти полюсы намечены верно: действительно, в «Войне и мире», например, есть поразительно яркий и реальный образ царя в лице Александра I. Это с одной стороны. На другой — мы имеем почти бессловесных солдата Каратаева и мужика Акима (из «Власти тьмы»). Между этими крайностями располагается множество персонажей — аристократия, деревенские дворяне — много деревенских дворян, — крепостные, дворовые, мужики — много мужиков... Однако есть в этой необыкновенно богатой коллекции и один существенный пробел: вы напрасно станете искать в ней «среднего сословия», интеллигента, человека свободных профессий, горожанина, — будь то чиновник на жаловании, конторщик, бухгалтер, кассир частного банка, ре-

месленник, заводский рабочий, газетный сотрудник, технолог, инженер, архитектор... Родовитое дворянство в произведениях Толстого подает руку мужику через головы людей среднего состояния, которые в этом богатом собрании персонажей почти отсутствуют или являются только мельком, без существенных особенностей своего положения, своей психологии и быта.

Город для Толстого — это место, где влюбляется Левин, где Стива Облонский видит во сне своих дамочек и рюмочки, куда деревенские ходоки приходят с своими ходатайствами за разоренных Стивой и его братьями однодеревенцев, куда, наконец, идут на скорую гибель детски беспомощные деревенские парни и девицы. Но горожанина, как такового, и городской жизни, независимой от деревни, с ее особенной самостоятельной ролью в общей жизни великой страны не знает художественное внимание Толстого. В нем всего устойчивее отразились два полюса крепостной России: деревенский дворянин и деревенский мужик. Нашего брата, горожанина-разночинца, чья жизнь вращается между

этими полюсами, великий художник не видит, не хочет знать и не желает с нами считаться.

Не знаю, попадалось ли уже это замечание в огромной критической литературе о Толстом. Во всяком случае, оно принадлежит не мне: впервые я слышал его от одного из моих друзей, и оно поразило меня своей меткостью. Разумеется, было бы странно ставить это обстоятельство на счет «недостатков» в художественном творчестве Толстого. Пожалуй, наоборот — оно подчеркивает огромный захват этого творчества: в то время как у других художников мы указываем, что именно, какой угол жизни они изобразили, у Толстого легче отметить то, что он пропустил. Но для Толстого-мыслителя и публициста этот пробел имел очень существенное, почти роковое значение.

Дело именно в том, что Толстой-мыслитель — целиком порождение Толстого-художника. Конечно, Толстой — человек очень образованный, много читавший и много изучавший. Для своих религиозных изысканий он изучал даже древнееврейский язык. Но его

публицистические и моральные схемы никогда не истекали из этого изучения, как самостоятельный вывод из накопленных знаний. Наоборот, изучение являлось служебным орудием для готовой схемы, которая рождалась из художественной интуиции.

В комплексе душевных свойств этого замечательного человека есть одна черта, заслуживающая более пристального и обстоятельного анализа. Может быть, я остановлюсь еще на ней в другой раз, а пока отмечу ее лишь общими чертами. В недавно опубликованных господином Чертковым материалах из семейной хроники и переписки Толстых есть одно письмо старшего брата писателя, а в письме есть характерная фраза: «Левушка все юфанит». В примечаниях к письму говорится, что Юфан был работник в имении Толстых, который очень нравился Льву Николаевичу. Нравился до такой степени, что он подражал его движениям, его манере держать соху и т. д. И это было далеко уже не в детском и даже, кажется, не в юношеском возрасте.

Таких примеров можно было бы привести очень много и из произведений, и из биогра-

фии великого писателя. Эта способность увлекаться чужой личностью, вовлекаться, так сказать, в ее сферу составляет парадоксальную, на первый взгляд, но очень заметную черту нравственной физиономии Толстого. И, наверное, этот Юфан ничем особенным не выделялся из ряда. Здесь не нужно ни особенной глубины, ни оригинальности, ни богатства душевного строя. Нужна только *непосредственность* и *цельность*. Солдат Каратаев не умеет связать трех последовательных фраз, Аким закрывает свое туманное мирозерцание магической и почти нечленораздельной формулой: таё-таё. Убогость душевного мира несомненная. Мало слов, мало понятий, мало образов и мало ощущений. Зато эта убогая душевная меблировка расставлена удивительно просто и гармонично: тут нет места разным душевным беспорядкам — вроде столкновения различных противоречивых понятий, — нет места рефлексии и сомнениям. Отсюда спокойная уверенность в своей правоте, отсюда непосредственность и цельность. А этого достаточно, чтобы великий художник, обуреваемый целым миром образов,

идей, понятий, которые вечно волнуются, сталкиваются в душе и не позволяют ей окончательно сложиться в каком-нибудь прочном и гармоническом «стиле», — остановился перед Каратаевым, перед Акимом, перед Юфаном, зачарованный почти до гипноза их простую и убогую цельностью. И в своем увлечении он силою таланта заставит и нас преклоняться перед этой цельностью и верить, что в солдате Каратаеве мерцает какая-то необыкновенная мистическая мудрость, которую не дано разгадать даже гениальному художнику.

Вся многообразная история толстовских душевных переживаний сводится, по моему мнению, к жадному исканию цельности и гармонии духа. Если это возможно только при душевном и умственном обеднении, то — за борт душевное и умственное богатство! Для Толстого наступает период общения с Юфанами, Каратаевыми и Акими в «простой народной вере», «у одной чаши», у одного обряда... Вместе со своим Левиным он идет тогда в деревенский храм и с сердечным сокрушением раскрывает перед немудрым деревенским попиком свою гениальную душу.

Он вовлечен в душевную сферу Юфанов и Каратаевых, и ему кажется, что он «научился» верить так же бездумно, просто и «правильно», как правильно, «по-юфановски», научился держать соху. Он задул свой диогеновский фонарь и с наслаждением погружается в океан непосредственной веры, без критики, с подавленным анализом в душе.

Но, конечно, это только иллюзия. «Научиться» Акимовой вере нельзя, во-первых, а во-вторых, не стоит, потому именно, что невозможно *научиться непосредственности*, а только она одна и влекла Толстого. Между тем кипучая, богатая красками и мыслью натура художника протестует против обеднения. Наступает кризис. Анализ сух и безрадостен, но ведь он тоже стихия, живущая своей непосредственной жизнью... А «народная вера — глупа» и полна нехристианских суеверий... Гармония исчезает. Период нерассуждающей ортодоксии закончен. Вечный искатель пускается в новый путь.

IV

Толстой говорит (если не ошибаюсь, в «Исповеди»), что в это время он был близок к са-

моубийству. Но вот, на безрадостном распутий, Толстой-художник протягивает руку помощи растерявшемуся Толстому-мыслителю, и богатая фантазия восстанавливает перед ним картину новой душевной непосредственности и гармонии. Он спит и видит сон. Песчаная, выжженная пустыня. Кучка неведомых людей в простых одеждах древности стоит под солнечными лучами и ждет. Сам он стоит вместе с ними, со своим теперешним ощущением духовной жажды, но он одет, как они. Он тоже простой иудей первого века, ожидающий в знойной пустыне слова великого Учителя жизни...

И вот *Он*, этот учитель, всходит на песчаный холм и начинает говорить. Говорит он простые слова евангельского учения, и они тотчас же водворяют свой мир в смятенные и жаждущие души.

Это было. Значит, это прежде всего можно себе представить воображением. А подвижное и яркое воображение великого художника к его услугам. *Он сам* стоял у холма, сам *видел* Учителя, сам вместе с другими иудеями первого века испытал очарование этой боже-

ственной проповеди. Теперь он сохранит этот душевный строй, в сферу которого кинул его вещей художественный сон, и развернет его перед людьми. И это будет благодатная новая вера Толстого, в сущности старая христианская вера, которую нужно добыть в Евангелии из-под позднейших наслоений, как золото из-под шлака. Толстой читает Евангелие, вдумывается в подлинные тексты вульгаты, изучает древнееврейский язык... Но это изучение — не исследование объективного учебного, готового признать выводы из фактов, каковы бы они ни оказались. Это страстное стремление художника во что бы то ни стало восстановить душевный строй первых христиан и гармонию простой, неусложненной христианской веры, которые он пережил в воображении. В то время, когда на него в вещем сновидении сошло ощущение благодати и покоя, он был иудеем первого века. Ну что ж — он им и останется до конца. Это ему нетрудно: к услугам богатое воображение, придающее сну силу действительности. Это во-первых. А во-вторых, к услугам еще и тот пробел в его художественном кругозоре, о ко-

тором мы говорили выше.

Толстой-художник знает, чувствует, видит только два полюса земледельческой России. Его художественный мир — это мир богачей земледельческого строя и его бедных Лазарей. Тут есть и добродетельные Во-озы, и бедные Руфи, и неправедные цари, отымающие у крестьянина его виноградник, но совсем нет ни самостоятельной городской жизни, ни фабрик, ни заводов, ни капитала, оторванного от труда, ни труда, лишённого не только виноградника, но и собственного крова, ни трестов, ни союзов рабочих, ни политических требований, ни классовой борьбы, ни забастовок... Значит — ничего этого для единственного блага на земле — душевной гармонии — и не нужно. Нужна любовь. Добрый богач Во-оз допустил бедную Руфь собирать колосья на своей богатой ниве. Вдовица смиренно подбирала колосья... И бог устроил все ко благу их обоих... Нужна любовь, а не союзы и стачки... Пусть все полюбят друг друга... Не ясно ли, что тогда рай водворится на этой смятенной земле.

Толстой — великий художник, и Толстой

же — мыслитель, указывающий человечеству пути к новой жизни. Не странно ли, что он никогда не пытался написать свою «утопию», то есть изобразить в конкретных, видимых формах будущее общество, построенное на проповедуемых им началах. Мне кажется, что эта видимая странность объясняется довольно просто. Для своего будущего общества Толстой не требует никаких новых общественных форм. Его утопия — частью назад: простой сельский быт, которому остается только проникнуться началами первобытного христианства. Все усложнения и надстройки позднейших веков должны исчезнуть сами собой. Взыскуемый град Толстого по своему устройству ничем не отличался бы от того, что мы видим теперь. Это была бы простая русская деревня, такие же избы, те же бревенчатые стены, той же соломой были бы покрыты крыши, и те же порядки царствовали бы внутри деревенского мира. Только все любили бы друг друга. Поэтому не было бы бедных вдовиц, никто бы не обижал сирот, не грабило бы начальство... Избы были бы просторны и чисты, закрома широки и полны, скотина

сильна и сыта, отцы мудры и благосклонны, дети добры и послушны. Фабрик и заводов, университетов и гимназий не было бы вовсе. Не было бы «союзов», не было бы политики, не было бы болезней, не было бы врачей и, уж конечно, не было бы губернаторов, исправников, урядников и вообще «начальства».

Так могло бы быть на этом свете, если бы люди захотели послушаться иудея первого века нашей эры, который сам слышал слова великого Учителя с холма среди песчаной пустыни... Слышал так ясно, хотя бы только в вещем сне!

V

Мне кажется, я не ошибаюсь: в этом образе, который Толстой-художник подарил Толстому-мыслителю, и в стремлении мыслителя развернуть в конкретных формах навеянное сном ощущение благодатной душевной гармонии, приобщив к ней всех людей, — в этом весь закон и пророки Толстого-мыслителя и моралиста. Здесь его поразительная временами сила и не менее поразительная слабость.

Сила — в критике нашего строя с точки

зрения якобы признаваемых этим строем христианских начал. Слабость — в неумении самому ориентироваться в запутанностях этого строя, из которого он желает нам указать выход. Если бы действительно иудей первого века, слышавший живую речь Христа, каким-нибудь чудом очутился теперь среди нас, то очень вероятно, что, ошеломленный сложностью нашей жизни и ее ужасами, он сказал бы нам приблизительно то же, что и Толстой: братья, уйдем отсюда в пустыню, где жизнь проще и добрее, и, когда на холм взойдет великий Учитель, ваша скорбь и ваше смятение стихнет. Увы! — он не знал бы, что этот холм существует уже только в сновидении, что в действительности от него уже не осталось и следа, что по тому месту проложены, быть может, рельсы и поезд несет туда за деньги людей, каждый шаг которых в святой земле должен быть оплачен теми же деньгами... Так как каждый клочок святой земли служит источником алчного дохода...

Когда сам Толстой со своей мечтой, навеянной чудным сновидением, выходит на городскую улицу XX века, — он беспомощен и

наивен совершенно в той же степени, как наш предполагаемый выходец из первого века. Иллюстраций сколько угодно — мы возьмем одну из области борьбы великого писателя с деньгами...

Тот, кто в знойной пустыне водворил простыми словами мир в его душу, охваченную отчаянием и смятением, сказал, между прочим, великие слова: «просящему дай» и «если имеешь две одежды, одну отдай нищему». Заповедь простая, которую, по-видимому, нужно только *пожелать* исполнить, а программа исполнения ясна: «иди и раздай имение нищим».

Что же? У Толстого не хватило желания? Как известно, этот пункт является одним из наиболее благодарных для личных нападок на тему притчи о богатом юноше и об игольном ухе. Чужая душа, разумеется, потемки, но мне кажется, что та точка зрения, какую я пытаюсь установить в этой, быть может, слишком беглой и торопливой заметке, исключает в очень значительной степени мелкое зоильство и злорадное торжество при виде «противоречия между словом и делом» в практике

этого прямого и искреннего человека.

Дело в том, что наш иудей первого века замечательный психолог и наблюдатель. Было время: он пытался исполнить заповедь. Всем известен эпизод во время переписи, когда Толстой сделал довольно широкую попытку помогать деньгами, и что из этого вышло: вышло не благо. На деньги «простого графа» потянулась (положим, в Хитровом рынке) дикая алчность, лицемерие, ложь и зависть. И результатами такой упрощенной раздачи явилось не улучшение людей, не благодатные просветы в душах приемлющих, а только сгущенная тьма алчности, пьянства, цинизма.

«Рука дающего не оскудевает». На этом основании «простой» обыватель наменивает каждую субботу копеечек и раздает их в воскресенье нищим на паперти приходского храма. Толстой не знает *таких* раздач и такой крохоборной благотворительности. Все или ничего! *Все* — когда из этого истекает прямо и непосредственно добро в его смысле. Что же значит, что исполнение простой заповеди дало такие странные результаты? Мы, приглядывающиеся к жизненной сутолоке с дру-

гой, более современной и более сложной точки зрения, знаем, что и благотворительность в современных условиях требует большого внимания, сложной системы и даже искусства. Но иудей первого века не хочет знать никаких сложностей. От раздачи денег истекло зло. Откуда оно? Очевидно, не от внутреннего побуждения дающего. Алчное тяготение обездоленного к протянутой руке тоже естественно. Зло в самых деньгах, этом изобретении лукавого города. Христос не помогал деньгами, апостолы тоже. Это оттого, что деньги зло. А значит, дающий деньги — дает зло. Деньгами помогать ближнему не следует. Можно помогать только любовью. А уже любовь найдет свои пути и свои способы помощи.

Такова теория, и она установлена прочно. Но вот наступает тяжелый 1891–1892 год. На огромном пространстве России люди — взрослые, женщины, дети — болеют от голода, страдают и умирают. Один «петербургский житель» пишет Толстому письмо, в котором изображает свое положение: он желал бы помочь голодающим, но он малосостоятельный

горожанин, живущий на свой городской заработок. Единственная форма помощи ближнему, которая ему доступна, — это ежемесячное отчисление от своего заработка. Но... деньги зло! Что ему делать?

Был ли это действительно простодушный вопрос искреннего толстовца, или это, наоборот, была форма полемики с толстовскими идеями, это неважно. Вопрос был поставлен ребром, и ответ на него, несомненно, имел большое значение для искренних последователей Толстого. Вопрос состоял в том, как заурядному современному человеку сделать хоть маленькое дело любви и помощи в современных условиях разделения труда и денежного хозяйства.

Л. Н. Толстой ответил на запрос целой статьей, которая, кажется, не была напечатана, но в то время ходила по рукам, литографировалась, читалась в собраниях и всюду оставляла чувство неудовлетворения. Из нее мы, разночинные представители междуполярных общественных слоев — не богатые деревенские помещики и не нищие деревенские пахари — должны были еще раз убедиться, до

какой степени и мы сами, и наше положение чужды и Толстому-художнику, и Толстому-моралисту. В статье подтверждалось все-таки, что «деньги зло» и помощь деньгами — не настоящая помощь. Помогать надо любовью. Любовь требует близости. Пусть же господа горожане при наступлении лета едут — «вместо дорогих петербургских дач» — в голодающие деревни. Там непосредственное созерцание умирающих с голоду братьев укажет им, что делать. Вместо холодной и формальной денежной помощи, горожанин «отрежет краюху от собственного хлеба», и это будет делом любви.

Да, только гениальному человеку можно простить такие советы, говорил мне один «горожанин», прочитавший статью... Беда в том, что вопрошатель Толстого едва ли выезжал на дачи. А если выезжал, то ему были доступны, только дощатые сооружения в Шувалове, Парголово, Перкьярви, откуда каждый день с портфелем под мышкой он должен ездить на работу в канцелярию, контору или редакцию... «Уехать на дачу» в голодающие губернии!.. Но тогда он немедленно очутится с се-

мьей в положении того же «голодающего», так как у него нет ни богатого поместья, ни мужичьего надела, а только «образование», гонорар, построчная плата... Он продает свой труд за деньги... и отдать он может только деньги, столько-то рублей в месяц. А столько-то рублей — это, по условиям хлебного рынка, столько-то пудов хлеба... То есть столько-то накормленных людей.

Толстой — честь и слава его живому чувству — сам, по-видимому, не удовлетворился своим ответом, отступил от своей схемы, стал принимать денежные пожертвования и менять деньги на хлеб. И он сделал в голодный год большое и важное благотворительное дело...

А затем... Можно было думать, что этот резкий эпизод, это бьющее в глаза противоречие теории с неизбежной практикой (вред от раздачи денег — деньги зло; необходимость денежной помощи — деньги благо) заставит Толстого остановиться в новом раздумье и что отсюда начнется новое отрицание. Но на этот раз он удержался все-таки в занятой позиции, в атмосфере волшебного сновидения

об иудее первого века. Хотя — кто знает — даже и теперь, покончит ли на этом неутомимый искатель, или мы услышим еще раз о новых сомнениях этого вечно бодрого ума... Паломник в страну непосредственности и гармонии духа опять, быть может, возьмет свой страннический посох, чтобы отправиться в новый путь, и самый поздний закат застанет его среди этого неусыпного вечного стремления...[9]

VI

Итак, Толстой-мыслитель — весь в Толстом-художнике, и изъяны его построений почти целиком вытекают из указанного выше пробела в области его художественных наблюдений. Его прекрасная мечта о водворении первых веков христианства может сильно действовать на простые, непосредственные или на уставшие души. Но мы, люди из просмотренного художником междуполярного мира, не можем последовать за ним в эту измечтанную страну. Для этого у нас нет ни достаточно воображения, ни достаточно досуга и, наконец, настроения. Жизнь, усложненная, запутанная современная жизнь с ее усло-

виями обдает нас, междуполярных жителей, бурными вихрями от обоих полюсов. Мы тоже еще недавно верили в близкое царство божие на земле и так же, как Лев Николаевич, признавали формулу: все или ничего. Но суровая история борьбы нескольких поколений напомнила нам старую истину, что «царство божие нудится», что одной проповеди недостаточно даже для воспитания, что формы общественной жизни являются в свою очередь могучими факторами совершенствования личности и что необходимо шаг за шагом разрушать и перестраивать эти формы. В одной из статей Толстого приведены слова Генри Джорджа, которого Лев Николаевич ставит очень высоко. «Я знаю, — говорит Генри Джордж, — что предлагаемая мною реформа не водворит еще царства справедливости на земле. Для этого и сами люди должны стать лучше. Но эта реформа *создаст условия*, при которых людям легче совершенствоваться...» В этой совершенно правильной мысли — узел того спора, который разделяет порой так резко настроение Толстого-мыслителя и чтущей великого художника передовой части русско-

го общества. Никто не отрицает, что человек должен стремиться стать и внутренне достойным свободы. Дело только в том, что между внутренней и внешней свободой есть органическая связь и для возможности самой проповеди о внутреннем совершенствовании необходимы лучшие, *более нравственные* формы общественных отношений. И вот почему идет эта тяжкая борьба, которая потребовала уже столько жертв из той именно сферы жизни, которую проглядел Толстой-художник и с которой не желает считаться Толстой-мыслитель и моралист. И потребует еще много. И не для «всего», не для водворения сразу царства божия на земле, которое кажется таким простым, *если бы все захотели* и могли поверить озаренному светлomu сну о первом веке христианской эры, а только для того, чтобы ступень за ступенью, ряд за рядом класть основы, на которых будет построен храм будущей свободы. И когда среди этой тяжелой борьбы, порой идущей среди тьмы и тумана, иудей первого века смотрит с пренебрежительной усмешкой или с тяжким упреком на эти усилия, осуждая не только средства, которые раз-

нообразны, но и цели, за которые люди (а теперь уже массы людей) отдают свою жизнь, — то становится понятным чувство ответной горечи, которое являлось временами по адресу Толстого среди передовых слоев борющегося общества и народа... И порой невольно приходит в голову, что только благодаря тому, что Толстой знает, видит, чувствует лишь самые низы и самые высоты социального строя, — ему так легко требовать «все или ничего», так легко отказываться от «односторонних» улучшений, вроде конституционного строя и ограничения законом внешнего произвола во всех его видах. Низы долго страдали и безропотно, смиренно терпели... До высот, особенно до той высоты, на которой стоит гениальный художник, — не может доплеснуть волна никакого утеснения. А нам, людям из неведомой и непризнанной области, нам нужен от времени до времени хоть глоток свежего воздуха, чтобы не задохнуться в этом царстве гнета и безграничного произвола...

А теперь уже не мы одни, междуполярные жители, но самые низы готовы, по-видимому,

отказаться от «внутренней свободы» безропотного и безграничного терпения... И пока будет устроен на земле *рай полной* свободы — они хотели бы раздвинуть и расширить свое теперешнее помещение, сломать ненужные, сгнившие постройки и — главное — почувствовать себя хоть до известной степени хозяевами в собственном доме.

VII

Я пишу не панегирик к юбилейному дню, а стараюсь только дать посильную характеристику гениального художника и крупного, искреннего, смелого человека. Толстой не нуждается в дифирамбах, а характеризовать его правильно, со всеми свойствами его выдающейся личности — значит дать образ, вызывающий восторг и удивление. Без указания же на отмеченные выше черты характеристика была бы не полна...

Но в той же толстовской мечте есть также источник его силы как беспощадного критика современного строя. Мы не можем последовать за Толстым в измечтанную им область. Но искренняя мечта всегда была отличным критерием действительности. Где те-

перь было бы человечество, если бы по временам действительность не вынуждалась стать перед судом мечты. Притом же нельзя забывать, что простые истины, вынесенные из первого века нашей эры, являются признанными, официально освещенными и закрепленными основами нашего строя. Это та формальная почва, которая является для современного государства источником его показной официальной морали. И в этой области выходец из первого века, со всей своей наивностью и даже благодаря ей, может сказать с большим авторитетом много живого и интересного.

И вот под влиянием своего чудного сновидения, в котором он *сам слышал* слова Учителя, — Толстой смотрит на нашу действительность и в изумлении протирает глаза при виде всего того, с чем когда-то так страстно мечтал примириться. Как? Так это христианство? Как? Это — общество, основанное на заветах Христа!.. Иудей первого века глубоко изумлен, а всякая изумленная фигура среди сутолоки будничной жизни невольно привлекает общее внимание, возбуждает и заражает...

Отсюда изумительное искусство Толстого говорить общеизвестные истины. Да, именно общеизвестные истины говорить очень трудно, то есть говорить так, чтобы они приобретали свежесть, оригинальность и жизнь, а именно в этом особенно нуждается наша современность. Мы, образованные люди, знаем очень много, но в нашей жизни сделано очень мало из того, что для нас стало уже избитой, азбучной истиной. Отсюда — многое в нашей современной литературе и, между прочим, стремление к тому, «чего никогда не бывало». У нас — секут мужиков вповалку, иногда женщин и детей и старых почтенных стариков. Это позорно. И это незаконно. И об этом говорилось много раз. И говорилось как о вопиющем и позорном нарушении человеческого права, но... господа губернаторы продолжают свои упражнения давно — и в «мирное время» столь же свободно, как и во время смуты, любой петербургский пшют, очутившийся, благодаря протекции, в роли помпадур, приказывает разложить почтенного старика, который годится ему в прадеды, а в своем деле во сто раз умнее, чем помпадур в сво-

ем, и... в воздухе свищет лоза. Мы узнаем это и, если сможем, напечатаем негодующую статью, в стиле которой, однако, звучит скрытое уныние и скука: и погромче нас были витии... Ни для кого это, увы! — не новость.

Но вот в один прекрасный день в конце 80-х годов такой легковесный администратор в Орле отправляется в экспедицию и производит экзекуцию над мужиками. Конечно, все это сойдет ему благополучно... Однако через некоторое время откуда-то налетает вихрь, и карьера орловского помпадур разбита. Что же случилось? Ничего особенного. Только иудей первого века узнал об этом эпизоде и изумленно вскрикнул, что это не по-христиански. Но разве мы все, сверху донизу, этого не знали? Разве это не общеизвестная истина? Да. Но Толстой, из глубины своего настроения иудея первого века, сумел сказать эту истину так, что она вновь потрясает не только готовое к негодованию «общество», но и тех, кто терпел, поощрял, даже награждал ретивых помпадуров за такие же мероприятия. Сказал Толстой... Это много. Но еще — сказал «иудей первого века христианской эры», — а

это, пожалуй, еще больше.

И дело, конечно, не в том, что один администратор, легкомысленный и жестокий, потерял карьеру. Придут другие, не менее легкомысленные и жестокие. Это мы знаем лучше и тверже, чем иудей первого века... Но дело в том, что под пером Толстого такие «общеизвестные истины» теряют свою тусклость и избитость, сверкают опять всеми красками жизни, будят новое негодование, тревожат, вновь заставляют искать выхода... И еще: они перестают быть мертвым капиталом, лежавшим на сохранении до лучших времен, а расходятся широко, проникая и захватывая такие слои, где раньше царила тупая непосредственность, жалкая покорность или слепое безразличие.

В такие моменты преграда между Толстым-проповедником и его принципиальными противниками из среды междуполярных жителей рушится. Потому что в его речах слышится глубокая искренность. И когда он говорит о непротивлении злу насиланием, то он не похож на тех фарисеев, которые обращаются с своей проповедью исключительно к

стороне слабейшей. Толстой уже раньше бесстрашно и резко осудил тех, кто обладает властью и силой и кто пытается обосновать эту власть на авторитете христианства и его морали...

И в ту минуту, когда я пишу эти строки, весь образованный мир читает опять одну из «общеизвестных истин» в освещении Толстого: его простые слова на азбучную тему о смертной казни опять потрясают людские сердца... И, конечно, все, что может сделать человеческое слово в прямом смысле и еще более — что оно может сделать косвенно, освещая мрачные бездны нашего порядка, — все это сделает слово гениального мечтателя, которому приснилось однажды, что он слышит в знойной пустыне слова любви и мира из уст самого великого Учителя...

VIII

Есть еще одна сторона в огромной и сложной личности Толстого-писателя, которая заставляет нас, междуполярных жителей, сочувствовать Толстому-мыслителю и восхищаться им даже в тех случаях, когда мы принципиально далеко не во всем с ним согласны:

он поднял печатное слово на высоту, недостижимую для преследования.

Правда, для самого Толстого тут есть источник своеобразного нравственного страдания. Около двадцати лет назад я, еще молодым человеком, только что вернувшись из отдаленной ссылки, в первый раз посетил Толстого, и первые его слова при этой встрече были:

— Какой вы счастливый: вы пострадали за свои убеждения. Мне бог не посылает этого. За меня ссылают. На меня не обращают внимания.

Это понятно: запечатлеть свою проповедь жертвой за исповедуемые идеи — стремление всякого проповедника, и Толстой много раз после этого печатно бросал русскому правительству упрек в непоследовательности и несправедливости: почему гонят, сажают в тюрьмы, преследуют тех, кто увлечен его проповедью, и оставляют в покое самого проповедника?

Еще недавно, полемизируя с Толстым, официальный орган «конституционного» министерства отвечал между прочим и на этот

упрек. Что делать, говорит «Россия», Толстой — плохой мыслитель, но он же и великий художник. Его проповедь (например, против смертной казни?) очень вредна, но злая судьба создала правительству специальное затруднение в пресечении этого вреда: приходилось бы преследовать великого художника, к которому чувствуешь «невольную нежность», которого необходимо беречь...

Внушить «невольную нежность» людям, защищающим применение смертной казни как повседневное, широкое, бытовое явление, — уже это, если принять *a la lettre*[10] заявление официоза, является, конечно, огромным нравственным завоеванием. «Другие», не столь официозные, но одинаково во многом настроенные люди такой нежности не испытывают: по всей России идет теперь иступленный поход против великого писателя и против его чествования благодарным русским обществом, а известному кронштадтскому иерею даже приписывали особую молитву, очень напоминающую доклад по департаменту о необходимости скорейшей административной высылки великого писателя за

пределы этого мира: он будто бы кощунственно просил у бога скорейшей смерти Толстому. О, как далеко это «христианство» от того учения, которое иудеи первого века слышали на берегах озер и с пустынных холмов[11].

Да, нежность к великому русскому художнику ретроградных слоев русского общества, потрясаемого простым и могучим словом «плохого мыслителя», — очень условна. И однако факт остается: Толстого не решились тронуть, хотя никакие запреты не в состоянии остановить распространение его мыслей и его наивно-простых, но ужасных обличений. Толстого это печалит. Мы не можем этому не радоваться.

И не только потому, что нам при всех наших разногласиях дорог этот неутомный великий старец, но и потому, что в нем мы видим первую победу свободы совести и мысли над нетерпимостью и гонением. Да, он поднял свободное слово на такую высоту, перед которой преследование бессильно.

И это он сделал только внутренней силой своего гения. Великий художник создал это положение смелому мыслителю. Мы не вели-

кие художники, и вся остальная литература бредет еще в густой тьме произвола и бесправия. Но впереди, перед нею, возвышаясь светящимся колоссом, стоит над туманами, заволакивающими еще поле русской жизни, могучая фигура, шагнувшая за пределы этой тьмы и этого бесправия. И мы чувствуем с особенной силой, что он все-таки наш, и гордимся, что он достиг этой высоты силою одного только слова. Нас ободряет то, что он вынес свет свободной совести и слова за пределы угнетения. И, глядя на высоко поднятый им факел, мы забываем наши разногласия и шлем восторженный привет этому честному, смелому, часто заблуждавшемуся, но и в самых ошибках глубоко искреннему великому человеку...

1908

Лев Николаевич Толстой. Статья вторая*

Блаженны алчущие и жаждущие правды.

I

Кто-то — если не ошибаюсь, Лессинг — сказал: «Если бы бог протянул мне в одной руке абсолютное знание, а в другой только стремление к истине и сказал: выбирай! — я бы тотчас ответил: „Нет, творец! Возьми себе абсолютное знание, вечное и неподвижное, а мне дай святое недовольство и непрерывное, беззаветное стремление“».

Л. Н. Толстой — яркий представитель такого стремления, беспокойного, бескорыстного, неустанного и заразительного.

Формулы, в которые Толстой от времени до времени заключает это свое стремление, как готовую истину и как мораль для поведения, менялись не один раз, как менялись они у его героев — Пьера Безухова, Левина. Если посмотреть на Толстого с этой точки зрения, то весь он — на протяжении своей долгой и

гениальной работы — одно зыбкое противоречие.

Вот, например, одна из таких формул:

«Благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие люди в этих случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется чувством презрения и жалости...»[12]

Эти слова, в которых чувство «противления» сказалось во всей своей непосредственности и даже крайностях, где даже к побежденному врагу нет другого отношения, кроме жалости, смешанной с презрением... Можно ли поверить, что они написаны той же рукой, которая впоследствии писала другие строки: если бы даже дикие зулусы вторглись в страну, убивая стариков и детей, насилая жен и дочерей, — и тогда христианин не в праве

дать волю «чувству вражды и мести», и тогда он не может силу противопоставить силе...

А между тем это писала действительно одна и та же рука... Этого мало: формула абсолютного непротивления продиктована тем же основным душевным мотивом, из которого вышла жестокая сентенция о благе нерассуждающей вражды и мести...

Этот мотив, единый и никогда не изменявшийся у Толстого, — искание правды, стремление к цельному душевному строю, который дается только глубокой, неразложимой анализом верой в свою истину и непосредственным ее применением к жизни.

II

Тоска по непосредственности и искание веры, дающей цельность душевного строя, — такова основная нота главных героев Толстого-художника, в которых всего полнее отразилась его собственная личность.

Мир раскололся — и трещина прошла по сердцу поэта, — сказал Гейне. Замечательный образ, многое объясняющий в нашем душевном строе. Мир раскололся давно — и одна часть человечества идет по солнечной сторо-

не великой социальной трещины, другая бредет в темноте и тумане. В наше время особенно чувствуется, что трещина приходится по сердцам на одних поэтов, и Толстой с необыкновенной силой таланта и искренности умеет изображать это ощущение душевного разлада людей, оставшихся на солнечной стороне. Вся его жизнь, вся его гениальная работа как художника и мыслителя есть выражение этого душевного разлада, истекающего из сознания великой неправды жизни, и стремление к исцелению в какой-нибудь единой вере, способной примирить противоречия, внести мир и гармонию в смятенные души.

Одно время не только Толстому казалось, что душевная цельность осталась только в простом народе как дар судьбы за тяжкое бремя страдания и труда. Но этот дар стоит всех благ, которые унесли с собой счастливицы, идущие по солнечной стороне жизни. Он драгоценнее даже знания, науки и искусства, потому что в нем заключена цельная всеразрешающая мудрость. Неграмотный солдат Каратаев выше и счастливее образованного Пьера Безухова. И Пьер Безухий старается проник-

нуть в тайну этой цельной мудрости неграмотного солдата, как сам Толстой стремится постичь мудрость простого народа.

Едва ли случайно великий художник взял для самого значительного из своих произведений эпоху, в которой непосредственное чувство народа спасло государство в критическую минуту, когда все «рациональные» организованные силы оказались бессильны и несостоятельны. Гениальность Кутузова как полководца Толстой видит лишь в том, что он один понял силу стихийного народного чувства и отдался этому могучему течению, не рассуждая, слепо, с закрытыми глазами. Сам Толстой, как его Кутузов, в этот период тоже был во власти великой стихии. Народ, его непосредственное чувство, его взгляды на мир, его вера — все это, как могучая океанская волна, несло с собой душу художника, диктовало ему жестокие сентенции о «первой попавшейся дубине», о презрении к побежденным. Это цельно, и, значит, в этом закон жизни. Вчитайтесь внимательнее в изумительную эпопею народной войны, и вы найдете там, с удивлением, может быть, с душев-

ным содроганием, почти оправдание убийства пленных... Это делал народ, не знающий душевного разлада, обладающий мудростью цельного, безошибающегося непосредственного чувства, более правильного, чем все расчеты... Значит, в этом правда...

III

Однако человек, который умел так изобразить душевный разлад, муку сомнений и исканий, как их изобразил Толстой в Левине, Безухом, Нехлюдове, не может надолго остаться в таком настроении. В силе народного подъема в эпоху освободительной борьбы с внешним нашествием он нашел *непосредственный* порыв и весь поддался гипнозу этого народного порыва, могучего и цельного, непосредственного и нерассуждающего. Искания этой непосредственности и для себя приводят его к жажде такой же цельности. Но эта цельность — все-таки чужая. А сомнения и душевный разлад Пьера, рефлексии Левина, его падения, ошибки, все новые и новые искания, это — *свое*, родное, органически присущее душе самого Толстого. И по мере того как обаяние великой эпопеи, овладевшей душой

писателя, ослабевало, сомнения поднимались снова, анализ начинал подтачивать гипноз «простой веры» Каратаевых... «Власть тьмы», в которой мудрый простой народ изображен на крайних ступенях темноты и порока, наметила новую фазу в эволюции Толстого. Художник оказался способным дать эту картину. Это значило, что мыслитель освободился от подчинения народному мировоззрению, вышел на новый путь для своих неутомимых поисков.

Нужно бы написать целую книгу, чтобы проследить захватывающую историю этих скитаний великого и беспокойного духа в поисках за исцеляющей гармонией истины. В другом месте я попытаюсь с несколько большей подробностью наметить главные этапы этого пилигримства. Здесь скажу только, что, разложив своим анализом все то, чему поклонялся еще недавно в «простой и цельной народной вере», Толстой не нашел успокоения и убежища во всем современном мире. По собственному признанию в «Исповеди», мир в это время казался ему мертвой пустыней. Ум безрадостен и сух, «народная вера» полна

лжи и суеверий... На этом распутье Толстой-художник протянул руку истомленному страннику-мыслителю, и гениальное воображение создало для него мир прекрасной и великой мечты. В эпоху «Войны и мира» перед восхищенным взором Толстого колыхался океан душевной цельности проявляющегося и борющегося народа. И он признал эту цельность борьбы законом жизни. Теперь послушная мечта развернула перед ним картину другой цельности, такой же могучей, такой же стихийной и такой же захватывающей. На него повеяло настроением другого народа, который на заре христианства под грохот разваливающегося старого мира готовился завоевать человечество не чувством вражды и мести, а учением любви и кротости... Обаяние этой мечты охватило его, убаюкало беспокойную мысль, унесло на своих волнах в страну непротивления, к душевной ясности христиан первого века... Через тьму столетий до его слуха донесся призыв Христа, и надолго он остается в своей измечтанной стране, призывая мир, мятущийся и страдающий в сетях непримиримых противоречий, в свое мирное

убежище...

IV

Таковы противоположные полюсы единого душевного стремления, такова в сухих и общих чертах история этой яркой, великой жизни. Сквозь тьму веков из страны своей мечты великий художник и искренний мыслитель смотрит орлиным взглядом на противоречия и несовершенства нашей жизни, и это особенное положение делает такой неотразимой его критику нашего строя, считающего себя тоже основанным на христианских началах.

Правда, мы не можем последовать за Толстым в страну его мечты. Но сладость этой мечты мы чувствуем и глубоко ценим искренность его неустанных исканий правды. И, кроме того, мы понимаем, что если мыслитель порой закрывает глаза на то, что между первым веком христианства и нашей современностью залегли бездорожья и туманы девятнадцати столетий, в течение которых родились новые, сложные и непредвиденные условия, то все же отголоски великих истин, прозвучавших тогда для человечества, отда-

ются порой в голосе художника-мечтателя с такой силой, которая как бы разгоняет туманы веков. На их обаяние отзываются простые сердца, а среди фарисеев великого учения и среди торгующих в храме они порождают смятение и тревогу...

Теперь среди все возрастающего смятения, под мрачными тучами, завесившими наш горизонт, великий художник и смелый искатель правды стоит на величавом закате своей жизни, а вокруг него, проповедующего кротость и непротивление, кипят и волнуются страсти, начиная от восхищения и восторга и кончая темной ненавистью и враждой...

Пройдут еще годы, десятилетия, века... Страсти нашей исторической минуты смолкнут. Быть может, закроется уже и великая трещина, раскалывающая мир на счастливых и обездоленных от рождения; человеческое счастье, человеческое горе и борьба найдут другие, более достойные человека формы, умственные стремления направятся в своем полете к новым целям, теперь недоступным нашему воображению. Но даже и с этого отдаления на рубеже двух давно истекших столетий

еще будет видна величавая фигура, в которой, как в символе, воплотились и самый тяжкий разлад, и лучшие стремления нашего темного времени. Это будет символический образ гениального художника, ходившего за мужицким плутом, и российского графа, надевшего мужицкую сермягу...

1908

Великий пилигрим (Три встречи с Л.Н. Толстым)*

I

Я видел Льва Николаевича Толстого только три раза в жизни. В первый раз это было в 1886 году. Второй — в 1902 и в последний — за три месяца до его смерти. Значит, я видел его в начале последнего периода его жизни, когда Толстой — великий художник, автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» — превратился в анархиста, проповедника новой веры и непротивления; потом я видел его на распутье, когда, казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и что проповедывал: от анархизма и от

непротивления. Наконец, в третий раз я говорил с великим искателем у самого конца его жизненного пути и опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное... Так, по этой дороге вечных сомнений и неустанного движения вперед он неожиданно шагнул в неизвестность, которую всю жизнь старался разгадать и связать с земной жизнью неразрывною связью.

Эти три свидания стоят в моей памяти живо и ярко, как будто они происходили совсем недавно. А между тем их разделяют промежутки в пятнадцать и в семь лет. И когда я оглядываюсь на них, то впечатление у меня такое, как будто на длинном пути, загроможденном всякого рода жизненными впечатлениями, яркими и тусклыми, крупными и мелкими, важными и неважными, — три раза весь этот житейский туман раздвигается, и на расчищенном месте является яркий образ крупного, замечательного человека... Человека, идущего куда-то бодро и без усталости. Каждый раз впечатление другое: точно это три разных снимка, и только в конце они сливаются в один образ великой человеческой лич-

ности.

Это, конечно, потому, что и действительно это были три разных снимка. Менялась жизнь, менялся Толстой, и я тоже менялся: и фон, и предмет, и негативная пластинка каждый раз становились другими.

Теперь я намерен восстановить эти свои впечатления. Но я не хочу сводить их в одно таким образом, чтобы последующие впечатления накладывались на прежние и изменяли их. Я употребляю все усилия, чтобы восстановить каждую встречу со всей полнотой *тогдашнего* моего восприятия. Я был таким-то. Толстой мне представлялся так-то. И если порой для меня лично это будет очень невыгодно, — я все-таки охотно иду на это. Толстой сам не боялся правды. Мы, средние люди, можем и должны подражать Толстому в этом, как и в искренности своего отношения к явлениям жизни... Хотя бы эти явления стояли перед нами в такой стихийно-подавляющей форме и размерах, как то, которое носит имя *Льва Толстого*.

Итак, — я расскажу, как я три раза видел Толстого, каким он мне каждый раз предста-

вился, что я при этом чувствовал, что думал, что я в нем в разное время осуждал и чему удивлялся.

II

В 1880 году я был в административной ссылке в Перми. Там же в то время находился Александр Капитонович Маликов с семьей, которая состояла из жены (Клавдия Степановна Пругавина) и нескольких детей. О Маликове существует, хотя и небольшая, литература; его имя мелькало не раз в мемуарах из того времени, порой в судебных отчетах по политическим делам (Нечаевский процесс, Большой процесс), и, наконец, г. Фаресов посвятил ему систематический очерк. Это была фигура чрезвычайно характерная и яркая, — «вечный бродяга и искатель», кидавшийся по разным областям жизни и веры: начав карьеру судебным следователем на Урале, он пришел в резкое столкновение с властями на почве запутанных заводских отношений и был вынужден выйти в отставку. Потом он попал в ссылку в Архангельскую губернию. Оттуда его кинуло в Америку, в общину коммуниста Фрея, последователя «позитивной религии»

Конта. В то время, когда я его узнал, это был человек лет за сорок, с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом, с гримасой вместо улыбки, с огромным запасом юмора и не меньшим запасом энтузиазма. Все мы хохотали, когда он рассказывал о своих похождениях в Америке, о коммунистической общине, о разных типах русских чудаков, бродивших по свету в поисках новой правды. Но порой эти юмористические рассказы сменялись проповедью. В один из периодов своей бродячей жизни, проживая в Орле с товарищами, Маликов сошелся с кружком «чайковцев». Это была группа людей, желавших политического переворота, но в основу своей «революционной» деятельности положившая начала чистейшей нравственности. Когда кружок был разгромлен и распался, одни участники рассеялись по разным революционным течениям вплоть до террористического. Другие пошли дальше в прежнем направлении. Развивая идею новой нравственности, они пришли к необходимости религиозной веры. Маликов, Аитов, Чайковский и некоторые другие стали проповедывать «бо-

гочеловечество», святость физического труда и... непротивление насилием. Аитов, бывший офицер, оставил службу и с каким-то товарищем отправился пешком по русским дорогам, всюду открыто проповедуя братство людей, отказ от военной службы и довольно туманные основы новой веры. Дело, конечно, кончилось арестом. В журнале «Вперед» была напечатана заметка о новом движении. Редакция предостерегала против этого «беспочвенного» увлечения и звала сектантов вернуться к общему делу на прежних началах.

После этого Маликов и уехал в Америку, чтобы там приобщиться к святости трудовой жизни. Основой ее признавался земледельческий труд.

Община Фрея потерпела неудачу. Маликов вернулся в Россию и поступил на железную дорогу. Семья росла, но неутомимый мечтатель смотрел на свою службу, как на переходную ступень: заработает денег, купит клочок земли и будет жить на ней со всей семьей.

На этом я пока оставляю Маликова и его историю. История эта имела яркое и характерное продолжение, но я упомянул о ней лишь

в связи с Л. Н. Толстым. В кружке Маликова были некто г-н Б. и А-ев; оба познакомились с Л. Н. Толстым; один из них жил довольно долго в Ясной Поляне в качестве учителя. У него часто бывал и Маликов. Едва ли можно сомневаться, что на восприимчивое художественно-чуткое воображение Л. Н. Толстого своеобразные интеллигенты должны были произвести сильное впечатление. С. Н. Кривенко впоследствии в своих очерках («Культурные скиты») сделал ядовитое замечание, что Л. Н. Толстой принялся пахать и шить сапоги «после того, как другие уже отшили и отпахались». Правда состоит в том, что Толстой всегда стремился к опрощению жизни, увлекался всякой непосредственностью (и еще в юности старался пахать именно так, как это делал один из работников, Юфан). Теперь эти инстинктивные стремления углубились и окрепли. И, когда другие отпахались, Толстой остался на брошенной ниве...

О новом толстовском «направлении» я узнал именно от Маликова. Пока это были лишь общие очертания: великий художник, — одна из культурных вершин русского

народа, — обращался к тому, о чем мечтали тогда мы все, брался за сапоги и за соху. Значит, в основе и наших стремлений лежат не одни незрелые юные увлечения. Маликов получал от Б-ва письма и рассказывал по ним о продолжающемся «опрощении» Толстого. Как это бывало часто у этого странного человека, в тоне его порой прорывались юмористические нотки... Но я усваивал главное: Толстой тоже тоскует в нынешних формах жизни, стремится к другим и ищет их в направлении «слияния с народом».

В 1881 году, во время реакции, наступившей после 1-го марта, мне пришлось расстаться с Пермью. «Новое веяние» умчало меня далеко на северо-восток Сибири. В сентябре этого года я уже был в Иркутске, где судьба свела меня с целой партией политических, пересылавшихся на Карийскую каторгу. Тут были, между прочим, «централисты», пересылавшиеся из страшных центральных тюрем, где они провели долгие годы точно заживо погребенными. Одни из них представляли старые течения идеалистического народничества. Другие принадлежали к самым послед-

ним фракциям народовольчества. На меня накинудись, как на свежего человека, с расспросами, и я помню до сих пор тесную группу людей с бритыми головами, в кандалах, жадно прислушивавшихся к моему рассказу. До них уже доходили слухи о душевном перевороте Толстого. И, забывая на время о своих спорах, все жадно ловили известия о том, что знаменитый русский писатель направляется в сторону, куда, несмотря на взаимные разногласия, обращались они все. В сторону отрицания существующих форм во имя опрощения и слияния с народом... И всем казалось, что за этим последуют дальнейшие акты исповедания их общей веры... Трудно представить теперь, с какой жадностью в те годы вся ссыльная Сибирь ловила приходившие из России известия об эволюции толстовских воззрений, пока не определилось, что Толстой проповедует новое христианство и «непротивление злу насилием»... Тогда интерес значительно упал. Рассеянная по каторжным тюрьмам, по глухим деревням и улусам Сибири оппозиционная, боровшаяся Русь охладела к Толстому. Великий писатель про-

шел мимо нее и отправился какой-то своей дорогой. Ему было, очевидно, не по пути с людьми, которые отдавали свободу и жизнь во имя пламенного, страстного «противления».

В 1885 году я вернулся из Якутской области, поселился в Нижнем-Новгороде, начал писать и нередко бывал в Москве. Здесь, между прочим, жила г-жа Дмоховская, мать одного из каторжан, умершего в 1881 году в сибирской тюрьме. Дочь ее была невестой другого каторжанина, К-а. Во время своей остановки в Иркутске я узнал обоих, а с Дмохозским даже сблизился перед его смертью. Узнав об этом, бедная мать, зная мою жену, захотела увидеть меня, и мы оба с женой стали от времени до времени заходить к ней. У нее часто бывал и Толстой.

Однажды она сказала мне, что говорила Толстому о знакомстве со мной. В моей ссыльной карьере была, между прочим, одна черта, которая, пожалуй, могла подать повод к сближению с толстовским исповеданием. Толстой очень заинтересовался и сказал Дмоховской:

— Мне кажется, что я знаю г-на К. Если бы

он захотел придти ко мне, чтобы разрешить какие-нибудь свои сомнения и вопросы, я рад был бы его увидеть и поговорить с ним.

Я тогда уже писал, но еще не был писателем в настоящем значении этого слова, то есть человеком с преобладающим интересом наблюдения. Конечно, я рад был бы повидать Толстого, но, узнав, зачем он зовет меня и чего ждет от моего появления, я как-то оробел, почувствовал обострение присущей мне застенчивости и решил не идти, так как мне казалось, что самым своим приходом я уже солгу. Относиться к Толстому, как к предмету наблюдения, я не смел; и в то же время у меня не было сомнений такого рода, за разрешением которых я мог бы искренно обратиться к нему. Я мог бы пойти только за тем, чтобы спорить. Я никогда не был террористом, но необходимость противления казалась мне до такой степени очевидной, ясной, обязательной, что я не мог бы равнодушно слушать противное. И в то же время преклонение перед художником мешало мне даже представить себе, что я стану с ним спорить.

Толстой в это время был страстным прозе-

литом своего учения и, казалось, успокоился на своей догматике. Рассказывали много о противоречиях в его учении и жизни. Только что он передал свое имущество семье, скинув таким образом «бремя владения», вместе с бременем забот, которые тяжеле всего лежат на плечах обыкновенного среднего человека. Маликов, переживший тяжелый удар и обратившийся тогда (на время) к обрядовому православию, с горечью рассказывал мне о сети противоречий, в которых запутался Толстой. Между прочим, в Москве был тогда некто Орфаню, большой чудака, но человек искренний и прямолинейный. Он исписал много бумаги в опровержение толстовского учения с православной точки зрения, часто являлся в Хамовники и спорил с Толстым. Жил он аскетом, буквально исполняя заветы Христа: случилось нередко, что, встретив по дороге оборванца нищего, он снимал с себя пальто, а однажды, явился домой даже без сюртука. Жалованье свое по службе в какой-то железнодорожной канцелярии он часто раздавал еще по дороге домой и затем жил неведомо как и чем. Когда своих денег уже не было, он с дет-

ской прямолинейностью являлся к Толстому и говорил: «Надо помочь такому-то». Разумеется, нередко профессиональные попрошайки пользовались простодушием Орфано, и его помощь уходила без толку, в пространство. Сегодня он надевал свое пальто на оборванца, дрожавшего от мороза на перекрестке, а завтра тот же оборванец и на том же месте опять старался разжалобить прохожих видом своего голого тела. Это, однако, не смущало самого Орфано. Маликов восхищался им и противопоставлял его Толстому, который после какого-то горячего спора о правоте сказал Орфано: «Нам больше говорить не о чем...» Есть некоторое основание думать, что именно наивная христианская практика Орфано послужила одним из данных, подготовивших вывод Толстого, что «деньги — зло»...

О Толстом в то время говорили уже очень много, и из этих рассказов на меня, по тому моему настроению, особенное впечатление произвели следующие эпизоды. Однажды, кажется, через ту же г-жу Дмоховскую, с Л. Н. познакомилась г-жа У-ская, вдова нечаевца, умершего на Карийской каторге. Бедная жен-

щина, слабая и больная, изнемогала в жизненной борьбе, стараясь вывести в люди единственного сына. Ей приходилось жить в тесной квартирке, без прислуги, самой носить дрова, стряпать и мыть полы. При встрече с нею Толстой посмотрел на нее, покачал головой и сказал растроганным голосом: «Какая вы счастливая! У вас есть настоящая, невыдуманная работа».

Эта фраза повторялась в интеллигентных кружках Москвы с укоризной и насмешкой.

Передавали также один рассказ Толстого, доказывавший универсальность его теории непротивления. Однажды он шел по улице. Рядом ехал мужик в розвальнях. Мальчишка захотел вскочить на розвальни сзади, но нога его провалилась в переплет. Заметив это, мужик погнал лошадь; испуганный мальчик прыгал на одной ноге за санями. Это ли не случай, чтобы кинуться к лошади и силой задержать ее? «У меня, — говорил будто бы Толстой, — проснулись старые инстинкты. Я готов был уже броситься на улицу и схватить лошадь под уздцы, но в это время все разрешилось без моего вмешательства: мальчик

упал, нога выскользнула из переплета, а мужик уехал»...

Во всех этих бесчисленных рассказах, которые реяли, точно мухи, вокруг Толстого-проповедника, мне чуялся какой-то самодовольный догматизм человека, ушедшего от мучительных житейских противоречий и теперь тщательно закрывавшего все щели своей наскоро сооруженной часовенки, чтобы до нее не достигали отголоски живой, смятенной, страдающей и противоречивой жизни. Сам я в то время чувствовал себя на распутье: растеряв много догматов, я искал новых формул. Но толстовское решение казалось мне слишком простым, слишком удобным и легким... А довольство своим решением, которое, казалось, я улавливал в настроении проповедника, мне в то время было органически неприятно.

И я решил, что не пойду к великому художнику, отрицающему искусство, мыслителю, отрицающему науку, искателю истины, успокоившемуся на узкой формуле полухристианского квиетизма. «Если уж евангелие, — ходила по Москве чья-то фраза, — то я предпо-

чел бы евангелие от Иоанна евангелию от Толстого».

Так прошло несколько месяцев. Однажды, приехав в Москву, я застал литературный кружок, группировавшийся около Гольцева и «Русской мысли», занятым идеей какого-то сборника по какому-то особому случаю. Сборник должен был напоминать о чем-то и отчасти носить характер протеста. Составилась редакция, в которую вошел Гольцев, кажется В. С. Пругавин, Н. Н. Златовратский и я. В одном из собраний было решено пригласить к участию в сборнике Л. Н. Толстого, и задачу эту возложили на меня и на Н. Н. Златовратского.

Теперь у меня была, значит, определенная цель, и опасение солгать самым своим появлением у Толстого устранялось. Я решил идти.

Под вечер, если не ошибаюсь, ранней осенью оба мы с Н. Н. Златовратский отправились в Хамовники, и я с невольным волнением поднялся по приглашению доложившего о нас камердинера по лестнице во второй этаж. Мой спутник, кажется, тоже сильно волно-

вался. Н. Н. Златовратский еще недавно напечатал в «Русской мысли» полуаллегорический рассказ «Мои видения», в котором рисовал фигуру «великого мудрого старца», разрешающего все сомнения. Весь рассказ, который велся от лица человека, вышедшего из народа, был проникнут горьким раскаянием и жгучим недовольством: сын народа проклинал культуру, к которой приобщился, и как будто шел навстречу толстовскому отрицанию просвещения. Мне слышалось в этом очерке толстовское влияние, и оно казалось расслабляющим и нездоровым.

Я плохо помню теперь расположение комнат в Хамовниках, где я был только один раз. Может быть, это потому, что сразу же я обратил все внимание на высокого человека с седою бородой, который стоял на верхней площадке лестницы, окруженный группой людей. Прямо перед ним стоял невысокий, слегка сторбленный худощавый человек, лысый, с двумя седыми буклями на висках. У него были круглые глаза, нос с горбанкой. Приятное белое лицо имело выражение ясное, а круглые глаза глядели как-то по-голу-

биному. Когда мы приблизились к ним, большой бородатый человек в блузе поздоровался с Златовратским (они уже были знакомы) и потом, когда я, в свою очередь, назвал себя, взял мою руку и, удержав ее в своей, продолжал или, вернее, закончил свою речь, обращенную к человеку с седыми буклями:

— Да, да... Я действительно нашел истину. И она все мне объясняет: большое и малое... и все детали. Вот... (он слегка притянул к себе мою руку), это вот пришел Короленко... Он был в Сибири... и...

Он сообщил ту подробность моих ссыльных скитаний, которая должна была казаться ему особенно близкой и родственной.

— И теперь вот он пришел ко мне. И я знаю, зачем он пришел, и что ему нужно, и что он хочет у меня спросить.

Я почувствовал, что густо краснею. Вышло все-таки, что я не избег того, чего хотел избежать, и мой приход все-таки оказался некоторой ложью. Как теперь сказать этому подавляющему меня одним своим видом огромному человеку, автору «Войны и мира», что он совершенно ошибается, что в моей душе со-

всем нет того, что он в ней прочитал, и что я пришел лишь по чужому поручению, по делу сборника, которому едва ли даже придется увидеть свет?

— Ну, пойдем ко мне, — сказал Толстой, меняя тон — и слегка взяв меня за руку. Все направились в его кабинет.

— Счастливы вы человек, В. Г., — говорил Толстой на ходу и, заметя мой удивленный и вопросительный взгляд, пояснил: — Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у бога, чтобы дал и мне пострадать за мои убеждения, — нет, не дает этого счастья.

Кабинет Толстого представлял сравнительно просторную, но невысокую комнату, в которую пришлось, помнится, подняться по двум или трем ступенькам. Мне невольно пришло в голову, не поднят ли пол этой комнаты нарочно, чтобы сделать ее несколько ниже других?.. Не помню теперь ее мебелировки, помню только, что всюду виднелись книги, бумаги, а в одном месте лежала сапожная колодка. Теперь эта комната была тесно набита людьми.

Кроме нас с Златовратским и старика с круглыми глазами, который оказался знаменитым художником Николаем Николаевичем Ге, я вспоминаю теперь еще сына Ге, тоже Николая, затем Владимира Федоровича Орлова и еще г-на О-ва. Остальные рисуются в памяти безлично и смутно.

Орлова я немного знал. Это был старый нечаец, переживший разные фазы, русского интеллигентского брожения, прошедший через нигилизм к какой-то странной религии, отчасти напоминавшей богочеловечество. Незадолго перед этим я видел его на вечере у Златовратского. Разговор шел о растерянности и апатии, охватившей молодежь в эти восьмидесятые годы. Двое или трое юношей сидели вокруг какого-то небольшого человека, подвижного, широкоплечего, с быстрыми темными глазами и курчавыми волосами. Я не слышал, о чем шла речь, но все общество, беспорядочно заполнявшее приемную Златовратских, повернулось к этой группе, когда курчавый человек внезапно вскочил со стула, с шумом откинул его, выпрямился и, сверкая глазами, громко крикнул своим молодым со-

беседникам:

— У вас нет бога? Вы не знаете, перед кем вам поклониться? Преклонитесь передо мною! Я — бог...

Я с любопытством подошел к этой группе. Молодые люди с любопытством смотрели на новоявленное божество, видимо, озадаченные его заявлением, а курчавый человек, сверкая глазами, говорил что-то быстро, пламенно и непонятно. Мне показалось в его речи что-то знакомое, и я вспомнил Маликова, когда он проповедывал свое богочеловечество. Только у Маликова все выходило более внушительно. Когда он увлекался, его некрасивое лицо загоралось вдохновением, голос вибрировал, гремел и отзывался глубокими, невольно волнующими нотами. У теперешнего оратора это было как-то мельче. Он как будто сердился. Было, пожалуй, пламенно, но не глубоко. Мне показалось, что опустошенная душа этого бывшего нигилиста случайно наполнилась маликовским содержанием. Вскоре он погас, так же внезапно, как и вспыхнул, только глаза его долго горели огоньком беспредметного гнева.

На мои вопросы Златовратский сказал, что Орлов человек очень хороший, в своем роде замечательный, и еще недавно написал рассказ «Пьяная ночь», который не может быть напечатан по цензурным условиям, но необыкновенный по силе и талантливости. Теперь он как будто толстовец. Лев Николаевич порой ходит к нему в Бутырки, где Орлов живет полунищим, полуфилософом с большой семьей, существующей на случайные заработки отца. Маликов, которого я видел незадолго, тоже много говорил об этом человеке. По его словам, Орлов то преклоняется перед Толстым, то ругает его. Между прочим, приходя в Бутырки, Толстой, как художник, любуется его обстановкой, оборванными и одичалыми детишками и, сидя среди этой мелюзги, повторяет благодушно:

— Как у вас хорошо! Как я вам завидую!

Еще одна фигура осталась в моей памяти. Это был О-в, занимавшийся перепиской религиозных сочинений Льва Николаевича.

Он еще не так давно служил на одной из субсидированных железных дорог и после нескольких лет бросил службу, получив по

выходе крупную награду. На эти деньги он открыл под Москвой молочную ферму, быстро прогорел и теперь переписывает и продает новое евангелие и «В чем моя вера».

Орлов был мрачен. О-в держался как-то настороже, и оба страстно при каждом случае комментировали положения нового толстовского учения.

В кабинете на стенах и на стульях висели, и лежали листы из альбома иллюстраций Гек к небольшим рассказам Толстого. Показывая их, Толстой восхищался рисунком, говорил, что они совершенно точно выражают его замыслы, и потом сказал:

— Хочу вот найти издателя для двух альбомов. Сначала один подороже, для богатых людей. Старик вот без штанов ходит. Надо старику на штаны собрать. Потом издадим подешевле, для народа...

В это время в другом конце комнаты закипел спор. Орлов и О-в спорили с Златовратским.

— Да, литература — та же проституция! — кричал он так же страстно, как вчера, когда объявлял себя ботом. — Все вы не лучше этих

несчастливых падших женщин. Задушевные мысли, лучшие чувства своей души вы выносите на рынок...

— Да! Я с этим совершенно согласен, — вставил О-в. — Это именно проституция... Святыню души продавать за деньги... С точки зрения учения Льва Николаевича...

Златовратский возражал, но его возражения вызывали только новые потоки обличений... Глаза Орлова метали молнии.

— Раз став на эту дорогу, конечно... — говорил он язвительно; — дойдешь до того, что станешь описывать, как некий Остая играет на глупой бандуре...

Я понял, что это кинуть по моему адресу, и мне стало интересно выяснить на этот вопрос взгляд Толстого.

— Позвольте два слова, — сказал я, подходя к группе. — Вы считаете, значит, постыдным получать плату за литературную работу?

— Да, именно постыдно! — крикнул Орлов резко, а О-в тоном человека, развертывающего хорошо усвоенную формулу, прибавил:

— Если писатель искренен, — значит, он оценивает на вес металла свои чувства и

мысли... Если он ремесленник, — тогда, конечно, нечего и говорить. С точки зрения истинного христианина, то есть с той точки зрения, которую устанавливает Лев Николаевич в своих новейших произведениях...

— Позвольте, однако, — оказал я с недоумением, — ведь вот мы только что слышали, что Лев Николаевич проектирует издать альбом Николая Николаевича и продавать его за деньги...

— Это совсем другое дело, — сказал О-в.

— Почему же? Разве картина художника, проводящая задушевные идеи, которые он тоже разделяет, не выражает его лучших чувств и мыслей?

О-в не сдался. Он начал говорить что-то бойко, докторально, закругленно, и все, что он говорил, невыносимо резало ухо. Чувствовалась готовность вести диалектический спор на какую угодно тему, какое-то холодное и неискреннее резонерство. Было заметно, что всем становится неловко. Заметил это, очевидно, и Лев Николаевич. Среди громкой тирады О-ва раздался вдруг его тихий голос:

— Нет... Это не то... Я думаю, что Королен-

ко прав...

Разговор принял другое направление. Н. Н. Златовратский, несколько волнуясь и нервничая, поставил центральные вопросы «учения» о непротивлении. Все слушали с глубоким вниманием. Златовратский обращался к Толстому, но...

Разговор с Толстым*

Максимализм и государственность

В том же 1902 году мне пришлось побывать в Крыму, и я не упустил случая посетить Толстого, который лежал тогда больной в Гаспре. Чехов и Елпатьевский, оба писатели и оба врачи, часто посещали Толстого и рассказывали много любопытного об его настроении.

Чувствую, что мне будет не легко сделать последующее вполне понятным для моих читателей из народа. Толстой в одной черте своего характера отразил с замечательной отчетливостью основную разницу в душевном строе интеллигентных людей и народа, особенно крестьянства. Сам — великий худож-

ник, создавший гениальные произведения мирового значения, переведенные на все языки, — он лично, как человек, легко заражался чужими настроениями, которые могли овладеть его воображением.

Это вообще наша черта, черта интеллигентных людей. Жизнь намеревается сделать из нас, по окончании образования, помещиков, или чиновников, или инженеров, вообще людей, служащих известному строю. Но самый этот строй стоит в слишком разительном противоречии с тем, что порождает в душах честная и просвещенная мысль. От этого у нас сын помещика нередко отрицает право частной собственности на землю, а сын чиновника презирает и ненавидит чиновничество. Отсюда же постоянный разлад между мыслью и жизнью. Мысль — это начало действия, и она влечет молодежь в одну сторону, а жизнь и практические требования выгоды — в другую. В большинстве случаев жизнь берет свое, и, пройдя бурный период молодых увлечений, большинство образованных молодых людей вступают на торную дорогу и по-немногу свыкаются с ней. Но в душе, как луч-

шие воспоминания, навсегда остается след молодых, наивных, полных неопытности, но светлых и бескорыстных неклассовых «ошибок юности».

Толстой в высокой степени умел отражать в своих произведениях эту черту интеллигентной души, ищущей правды среди сознательной неправды жизни. Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», много других лиц в разных рассказах — все это люди мятущиеся, чувствующие душевный разлад, ищущие правды и, как сам Толстой, тоскующие о душевном строе, цельном и без разлада между мыслью и делом. Такой душевный строй мы называем «непосредственностью». У Толстого всю жизнь была тоска о непосредственности.

Такого разлада не знает простой народ. Он жил века в угнетении, долго «все терпел во имя Христа», трудился и надеялся, совсем не задумываясь над причинами общественного неурядиства, все приписывая судьбе. Толстой всегда завидовал этому душевному состоянию простых людей. Еще в молодости он преклонялся перед иными крестьянами до та-

кой степени, что одно время старался подражать работнику Юфану даже в движениях. Потом, уже став великим писателем, угадывал и заражался настроениями простых душ. В «Войне и мире» он изобразил солдатика Каратаева, который совсем не умеет выразить своих мыслей, но который казался ему воплощением глубокой мудрости. Толстой успел внушить это свое преклонение перед народной непосредственностью читателям и критикам, и одно время «каратаевщина» служила выражением глубокой народной мудрости. То же нужно сказать об Акиме Простоте во «Власти тьмы», который не может вылучить своей мысли из корявой оболочки: «таё, таё», но устами которого тоже говорит высшая мудрость народа.

Эта способность заражаться народными настроениями определяла крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого. В «Войне и мире», изучая историю отечественной войны, он проникся настроением борьбы за отечество до такой степени, что почти оправдывал убийства партизанами пленных. Потом его стала привлекать смиренная народная вера,

и от нее он перешел к первобытному христианству. Отсюда его теория о непротивлении. Нельзя противиться злу насилем, хотя бы даже дикари-зулусы начали убивать и резать нас, насиловать женщин, избивать детей. Лучше погибать, чем защищаться силой. Теперь, когда в России происходили события, выдвигавшие предчувствие непосредственных массовых настроений, — мне было чрезвычайно интересно подметить и новые уклоны в этой великой душе, тоскующей о правде жизни. В нем, несомненно, зарождалось опять новое. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, между прочим, что Толстой проявляет огромный интерес к эпизодам террора. А тогда отчаянное сопротивление кучки интеллигенции, лишенной массовой поддержки, могущественному еще правительству принимало характер захватывающей и страстной борьбы. Недавно убили министра внутренних дел Сипягина. Произошло покушение на Лауница. Террористы с удивительным самоотвержением шли на убийство и на верную смерть. Русская интеллигенция, по большей части люди, которым уже самое образование

давало привилегированное положение, как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их головы. В этой борьбе проявилось много настроения, и оно в свою очередь начинало заражать Толстого. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, что когда ему передали о последнем покушении на Лауница, то он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой:

— И, наверное, опять промахнулся.

Я привез ему много свежих известий. Я был в Петербурге во время убийства Сипягина и рассказал, между прочим, отзыв одного встреченного мною сектанта — простого человека:

— Оно, конечно, — убивать грех... Но и осуждать этого человека мы не можем.

— Почему же это? — спросил я.

— Да ты, верно, читал в газете, что он подал министру бумагу в запечатанном пакете?

— Ну, так что же?

— А мы не можем знать, что в ней написано... Министру, брат, легко так обидеть человека, что и не замолишь этой обиды. Нет уж,

видно, не нам судить: бог их рассудит.

Толстой лежал в постели с закрытыми глазами. Тут его глаза раскрылись, и он оказал:

— Да, это правда... Я вот тоже понимаю, что как будто и есть за что осудить террористов... Ну, вы мои взгляды знаете... И все-таки...

Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из-под нависших бровей, и он сказал:

— И все-таки не могу не сказать: это целесообразно.

Я был к этому отчасти подготовлен. В письме, которое Толстой послал Николаю II, уже заметна была перемена настроения: советы, которые он дает Николаю II, проникнуты уже не отвлеченным христианским анархизмом, а известной государственностью и необходимостью уступок движению. Но все-таки я удивился этому полуодобрению террористических убийств, казалось бы, чуждых Толстому. Когда же я перешел к рассказам о «грабжке», то Толстой оказал уже с видимым полным одобрением:

— И молодцы!..

Я спросил:

— С какой точки зрения вы считаете это правильным, Лев Николаевич?

— Мужик берется прямо за то, что для него всего важнее. А вы разве думаете иначе?

Я думал иначе и попытался изложить свою точку зрения. Я никогда не был ни террористом, ни непротивленцем. На все явления общественной жизни я привык смотреть не только с точки зрения целей, к которым стремятся те или другие общественные партии, но и с точки зрения тех средств, которые они считают пригодными для их достижения. Очень часто самые благие конечные намерения приводят общество к противоположным результатам, тогда как правильные средства дают порой больше, чем от них первоначально ожидалось. Это точка зрения, прямо противоположная максимализму, который считается только с конечными целями. А Толстой рассуждал именно, как максималист. Справедливо и нравственно, чтобы земля принадлежала трудящимся. Народ выразил этот взгляд, а какими средствами, для Толсто-

го (непротивленца, отрицающего даже физическую защиту!) — все равно. У него была вера старых народников: у народа готова идея нормального общественного уклада. Марксисты держались такого же взгляда, только для них носителями этого лучшего будущего являлся городской пролетариат.

Лично я давно отрешился от этого двустороннего классового идолопоклонства. Может быть, потому, что жизнь кидала меня таким прихотливым образом, что мне пришлось видеть, и главное — почувствовать все слои русского народа, начиная от полудикарей якутов или жителей таких лесных углов европейского севера, где не знают даже телег, и кончая городскими рабочими. И я знал, что этой таинственной готовой мудрости нельзя найти ни в одном классе. Крестьянин умеет пахать землю, но в земельном вопросе, в широком смысле, разбирается не лучше, а хуже, чем многие из тех, которые не умеют провести борозду плугом. Я уже упоминал, как в Свияжском уезде, Казанской губернии, два огромных крестьянских общества шли друг на друга войной из-за земли. Дело дошло до вмеша-

тельства войск, и вожаки враждующих обществ были приговорены к смертной казни. Значит, у этих крестьян не нашлось общего начала, которое помогло бы им придти к миролюбивому решению вопроса о земле даже друг с другом... Во время «грабижки» в качестве такого общего начала являлось крепостное прошлое. Более нуждающиеся крестьяне устранились от раздела лишь потому, что они не были крепостными данного помещика. Можно ли с такими узкими и темными взглядами на земельный вопрос разрешить удовлетворительно эту самую запутанную и сложную задачу нашей жизни? Не ясно ли, что только государство с общегосударственной возвышенной точки зрения, при напряжении всенародного. Ума и всенародной мысли, может решить задачу широко и справедливо? Конечно, для этого нужно государство преобразованное. Из-за этого преобразования теперь идет борьба и льется кровь... Из-за ограничения самодержавного произвола мы все мятемся, страдаем и ищем выхода.

Все это я постарался по возможности кратко изложить теперь перед больным великим

писателем, в душе которого все злобы и противоречия нашей жизни сплелись в самый больной узел. Он слушал внимательно. Когда я кончил, он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами. Потом глаза опять раскрылись. Он вдумчиво посмотрел на меня и сказал:

— Вы, пожалуй, правы.

На этом мы в тот раз и расстались. Впоследствии, когда революционная волна 1905 года упала, Толстой опять вернулся к христианскому анархизму и непротивлению.

Умер*

Сейчас, в туманный день, на грязной улице провинциального города мне подали телеграмму. Газетчик сказал только одно слово: умер! Двое прохожих остановились, повернувшись к нам. Четверо незнакомых людей знали, о ком можно сказать это роковое слово, не прибавляя, кто умер. Умер человек, приковавший чувства всего мира.

Если был писатель, о котором можно сказать, что его знали все, — это был Толстой, титан современного человечества. Легендарные

титаны громоздили горы на горы. Толстой наяву двигал такими горами человеческого чувства, какие не под силу царям и завоевателям.

Слезы невольно просятся на глаза. Есть что-то детски трогательное в доверчивой беспечности, с какой этот слабый старик пошел навстречу смерти. Но все личные чувства смолкают, поглощенные торжественным величием минуты.

Я стоял с листком в руке, и странное ощущение охватывало душу: представлялось невольно, как электрический ток летит дальше, опоясывая землю и всюду отчеканивая огненной искрой два слова: Толстой умер. И кажется, что за этой искрой несется настоящий циклон душевных движений и что звучит в нем горе об утрате, любовь, высшие вопросы жизни и смерти, искания и сомнения, и предчувствие великих решений.

Наша страна бедна и бесправна, но она дала миру Толстого, смерть которого говорят так внятно о вечной, неумирающей жизни.

Полтава, 7 ноября 1910 г.

Ангел Иванович Богданович

Черты из личных воспоминаний*

В 1885 году, после долгих скитаний, судьба закинула меня в Нижний Новгород. Город для меня был чужой, знакомых вначале не было. Единственное учреждение, родственное, так сказать, по духу всякому российскому интеллигентному скитальцу, — была общественная библиотека, в которой я и проводил не мало часов за книгами и газетами. Однажды, сидя таким образом за читальным столом и подняв глаза, я встретил взгляд сидевшего напротив меня очень молодого человека, в очках. Казалось, он хотел заговорить о чем-то, но затем опять опустил глаза в книгу, а вскоре поднялся и вышел.

Я сразу почувствовал в этом незнакомом молодом человеке что-то родственное, точно мы принадлежали оба к какому-нибудь ордену и угадывали это товарищество по неувидимым признакам.

Дня через два мой брат, тоже вернувшийся из библиотеки, сказал, что там к нему подо-

шел и познакомился с ним молодой человек, бывший киевский студент, живущий в Нижнем под надзором полиции.

Это был Ангел Иванович Богданович.

Поляк по происхождению, католик по исповеданию, А. И. Богданович в детстве попал вместе с семьей в Нижегородскую губернию, где вырос и получил среднее образование. Впечатления Приволжского края окружали, таким образом, его детские годы, русская гимназия дала ему знания и товарищество, русская литература естественно и просто заполнила молодую душу. Не забывая родного языка, он, однако, был русским по главному содержанию чувства и мысли. Это не был переход от «завоеванных» к торжествующим «завоевателям». Какая Россия влекла к себе душу молодого поляка, видно хотя бы из того состояния «поднадзорности», в каком мы с братом застали его в Нижнем. В журнале «Былое» (январь 1907 года) в статье А. Баха сообщаются некоторые сведения о «деле», по которому привлекался в Киеве Богданович. Студентом (кажется, третьего курса медицинского факультета) он принадлежал к одному из круж-

ков, главой которого был Левинский, отставной военный, о котором г. Бах говорит, как о человеке необыкновенно обаятельном. Кажется, никаких еще прямо «преступных» действий кружок совершить не успел. Сближались с молодежью и рабочими, причем дело сводилось главным образом на разговоры. У Левинского были некоторые связи с военными, и он «готовился» открыть тайную типографию, для которой пока у него было припасено только немного шрифта. В одно апрельское утро 1882 г. Левинский вместе с Богдановичем были арестованы на улице, и в их общей квартире была найдена при обыске «81 точка» из типографского шрифта, случайно завалившаяся за сундук в то время, когда шрифт убрали, чтобы перенести в другую квартиру.

Времена были суровые. В Киеве свирепствовал военный прокурор знаменитый Стрельников, терроризировавший даже судей и добивавшийся нередко самых суровых приговоров вплоть до смертной казни по ничтожным поводам. Долго просидев в крепости, Богданович на суде произнес остроумную

речь, в которой указал судьям на фантазмагорическое несоответствие между статьей 249, карающей смертной казнью за деяния, грозящие ниспровергнуть насильственным образом существующий строй, и... «восемьдесят одной точкой», найденной в его квартире. Эта речь, а, может быть, также молодость и симпатичность юного студента способствовали тому, что Богданович даже стрельниковским военным судом был оправдан. Но университетская карьера его была прекращена высылкой из Киева в Нижний.

В то время, к которому относится наше знакомство, А. И. Богданович жил в Нижнем уже третий год, занимаясь частными уроками. Семья его переехала в другой город. Он был одинок, и настроение его было довольно пессимистическое. В свободные часы он усердно штудировал Шопенгауэра, который в то время читался молодежью так же сильно, как в 90-х годах более, впрочем, легкий Ницше. К своей недавней революционной карьере он относился иронически, о «положении вещей» и возможности борьбы за лучшее отзывался с насмешливой горечью, речи его бы-

ли пересыпаны парадоксами и сарказмами. Но под всем этим чувствовалось горячее сердце и беспокойный ум, ищущий все-таки выхода и решений. Вскоре все в нашей семье привязались к молодому пессимисту, и часто в нашей скромной квартирке слышались его желчные, порой остроумные выходки, возражения и споры.

В то время он все еще продолжал мечтать о довершении медицинского образования, и, несмотря на то, что он прошел всего три курса, — он любил давать медицинские советы, обнаруживая при этом познания, значительно превышавшие его университетский ценз. Нам всем казалось тогда, что настоящее призвание Богдановича была медицина. Часто у нас говорили, смеясь, что при некоторой желчности и способности к интуициям и отгадке, — из него когда-нибудь выйдет новый Захарьин...

Судьба, однако, судила иначе.

Я тогда, после почти шестилетнего перерыва пытался опять вернуться к литературе и сразу же начал много работать также в местной приволжской газете «Волжский вестник»

в качестве корреспондента из Нижнего. Время тогда, в половине восьмидесятых годов, было глухое, тяжелое. Общественные интересы во всех областях жизни упали. Общество проявляло совершенное равнодушие даже к близким земским и городским вопросам. Заседания думы и земства происходили при полном отсутствии публики. На весь обширный Нижегородский край был, кажется, единственный постоянный корреспондент, еврейский казенный раввин Б. И. Заходер, посылавший корреспонденцию в несколько газет. Это был человек довольно интеллигентный и доброжелательный, но писал он сухо и протокольно. Кроме того, как официально, а отчасти и неофициально посреднику между еврейским населением и местной администрацией — ему было неудобно восстанав-лять последнюю против себя, и потому многое, что совершалось под покровом «сильной власти» тогдашнего губернатора, Н. М. Баранова, — оставалось совсем без освещения в печати. Между тем, в это глухое время особенно сильно чувствовалась потребность шевелить хоть ближайшую, окружающую среду,

открывать форточки хотя бы и в том помещении, где приходится жить и работать.

Работы оказался непочатый угол, и я стал склонять Богдановича взяться за перо для провинциальной публицистики. Приглашение он это встретил обычными саркастическими выходками. Что может сделать загнанная провинциальная печать и какую пользу принесет подцензурное обличение маленьких воришек и мелких злоупотреблений?.. И так далее. Однако в нем сказалась, очевидно, несознанная внутренняя склонность. Да и дела более крупного не виделось. Через несколько дней со свойственной ему угрюмой застенчивостью, прикрытой обычными сарказмами, он принес мне первую заметку для отсылки в «Волжский вестник». Я теперь уже не помню, что это было и чего касалось. Помню только, что в этом первом произведении сквозила еще большая неопытность и непривычка к перу. Заметка появилась в газете, и через несколько дней, опять с той же небрежной насмешкой, он принес мне другую. За этой последовала третья, четвертая, и через два-три месяца Богданович стал посто-

янным корреспондентом газеты из Нижнего. Очень быстро в его стиле исчезли все следы неопытности; он выработал в себе сжатый, точный язык образцового провинциального корреспондента, в то время по необходимости являвшегося не только репортером текущих явлений, но и моралистом, проводником в застоявшуюся среду известных элементарных общественно-политических взглядов. При этом писания Богдановича не страдали ни банальностью, ни многословием. Необходимую дозу общественной морали он умел сводить на какое-нибудь короткое обобщение, удачную сентенцию, счастливо подобранный афоризм любимого писателя.

Вскоре после этого подошло экстренное уездное земское собрание. До какой степени глуха была тогда общественная жизнь даже в большом провинциальном городе как Нижний, показывает наш первый с Богдановичем корреспондентский дебют в зале уездного земского собрания. О местах для корреспондентов не было и речи. Не было даже мест для публики, и Богданович, пришедший ранее, встретил меня недоумевающим рассказом о

том, что его сначала не пускали в святилище, где господа дворяне с небольшой кучкой покорных волостных писарей и старшин вершили дела уезда чисто келейным образом. В конце концов нас допустили в зал, посадив в уголку на два свободных стула, рядом со скамьей, где сидели самые робкие из деревенских гласных, вскакивающие всякий раз, когда в их сторону обращался строгий взгляд председателя Андреева. Последний, прежде чем открыть собрание, подошел к нам и довольно строго спросил имя, отчество и фамилию. Тогда мужички гласные опасливо отодвинулись от нас сколько можно было подальше... Было похоже, как будто мы проникали в качестве разведчиков какого-то враждебного лагеря, и я видел, что в Богдановиче уже это обстоятельство возбуждало особый интерес. После этого он самым внимательным образом проследил всю сессию. Речь шла между прочим о каком-то земском постановлении, опротестованном губернским присутствием. Богданович написал отчет и заметку, в которой поддерживал земство. Заметка произвела впечатление, и, когда месяца через

два подошла обычная сессия очередного собрания, тот же председатель Андреев встретил Богдановича уже как знакомого. Это был старый хищник, совмещавший звание председателя дворянства с председательством в управе и еще в нескольких учреждениях (в которых впоследствии оказались растраты), — умный, ловкий, лицемерный, угодничавший перед губернатором Барановым и державший в ежовых рукавицах служащих; учителей он преследовал с беспощадной жестокостью мракобеса. К появлению в зале собрания корреспондентов он отнесся сначала с явной недоброжелательностью. Это было, действительно, вторжением нового или, вернее, хорошо забытого фактора местной жизни: с газетной гласностью тогда уже отвыкли считаться, и умный хищник не знал, как ее принять и как обойти в своих видах. Быть может, в нем шевелились уже мрачные предчувствия, которым довольно скоро суждено было осуществиться. Как бы то ни было, — пришлось мириться с фактом, и перед началом очередной сессии Андреев встретил Богдановича уже как знакомого.

— Да, заступайтесь за нас, заступайтесь, — говорил он, пожимая руку «корреспондента». Богданович, человек чрезвычайно прямой и довольно резкий, никогда не отличавшийся «условной» любезностью, — довольно угрюмо и кисло ответил на эти приветствия. Физиономия господина предводителя в то время для нас уже выяснилась в достаточной степени.

Между тем земская оппозиция, предводимая А. С. Гациским и А. А. Савельевым, слабая и бессильная против Андреева, пользовавшегося могущественной поддержкой Баранова, — тоже заметила выступление «корреспондентов» и лучше Андреева оценила это явление. Мы стали получать массу сведений, знакомивших нас со всеми закулисными пружинами местной общественной жизни, и Богданович изучил все эти «соотношения сил» с присущей ему деловой обстоятельностью. Цензура, конечно, ограждала от явных нападения и администрацию, и представителей первенствующего сословия; выступать против них значило явно становиться «неблагонадежным». Но это, конечно, не пугало «со-

сланного студента», а никакая цензурная бдительность не может предусмотреть все хитрости настойчивого и внимательного корреспондента, который вдобавок, как это было в данном случае, вносил в свое маленькое дело всю страсть, которую раньше надеялся вложить в дело более широкое, и всю горечь недавних поражений.

Внимательный историк того глухого времени вообще и в частности историк областной печати должен будет отметить выдающееся значение для развития провинциальной печати российского «неблагонадежного» скитальца. Уже в недавнее время покойный кн. Н. В. Шаховской, объехавший много провинциальных городов для ознакомления с провинциальными органами печати, отмечал в своем докладе (оглашенном отчасти в газетах) то обстоятельство, что по составу сотрудников областная печать состоит больше чем наполовину из поднадзорных и вообще так называемых «неблагонадежных элементов». И это повелось давно. Когда стремления «в народ» и мечты семидесятников о переустройстве общества наткнулись на некуль-

турность и инертность масс с одной стороны и на ничем не сдержанный произвол с другой, — то явилось стремление, во-первых, изучить народ, что повлекло за собой необыкновенный расцвет земской статистики, а во-вторых, воздействовать все-таки на жизнь в доступной степени и доступной форме. А это повлекло за собой расцвет провинциальной прессы. Несмотря на все репрессии и на систематические преследования, провинциальная печать даже в эти годы тяжелого давления, навалившегося на все проявления общественной жизни, — росла, ширилась, привлекая живые силы и таланты, не находившие другого исхода. Сквозь все преграды, сквозь цензуру и административные стеснения всякого рода она прокладывала себе дорогу неудержимо и неуклонно, как не замерзшая вода под тяжелой ледяной корой. «Неблагодетельный» опальный скиталец вносил в нее весь яд своего озлобления и всю идеологию своих задавленных мечтаний. Загнанная и бессильная земская оппозиция находила в ней естественного, хотя порой строптивного союзника, и сама крепла, а широкая город-

ская демократия получала наглядные уроки партизанской борьбы за право с всевозможными угнетателями. И торжествующие «господа положения» нередко ощущали на себе жестокие удары этой задавленной и слабой печати. Какими косвенными порой путями приходилось действовать, какими рикошетами пускать выстрелы, — видно, например, из того, что скромная заметка того же Богдановича, касавшаяся балансов нижегородского дворянского банка, написанная так сухо, что никакой цензор не решился бы ее задержать (особенно, цензор газеты, выходившей в другой губернии), — была в сущности первым выстрелом систематической кампании, раскрывшей огромные хищения, произведенные «цветом нижегородского дворянства». В заметке, рассматривавшей только цифры, балансы и дивиденды, не было еще ни одного прямого указания на сущность дела, которого, конечно, не допустила бы даже иногородняя цензура. Но дворянские заправила поняли, что кто-то проницательный и враждебный уже глядит в самую глубь их таинственных операций и уже улавливает их сущность.

И они сделали самое худшее, что можно было сделать в их положении: в ближайшем дворянском собрании, когда должен был рассматриваться банковский отчет, — они удалили корреспондентов. Я помню, с каким торжеством крамольная кучка корреспондентов встретила эту меру. Из Нижнего полетели телеграммы в несколько газет, и через два-три дня сомнительное положение сословного нижегородского банка стало центром внимания всей русской печати. Первая заметка Богдановича была лишь еле заметным укусом. Телеграммы о закрытии дверей перед гласностью явились уже серьезным ударом, пошатнувшим совершенно, казалось, прочное положение. Через год или полтора банк нижегородского дворянства рухнул и из-под обломков обнаружилась миллионная растрата, совершавшаяся систематически торжествующими «хозяевами жизни», только что призванными спасти отечество...

Это было небольшое, частичное дело, но оно все-таки обладало всеми свойствами «дела», оно давало конкретные, реальные результаты. Кончик острого стального пера яв-

лялся все-таки оружием, способным наносить и отражать удары в этой мелкой, но широкой партизанской битве. А за тем или другим прямым результатом следовали косвенные: с банком потерпели крушение наиболее властные воротилы, в том числе исчез с нижегородского горизонта и Андреев. Соотношение сил изменилось, либеральная оппозиция в земстве сменила крепостников; учителя и «третий элемент» вздохнули свободнее...

От Богдановича и теперь можно было порой слышать желчные парадоксы в шопенгауэровском вкусе; но они реже всего направлялись на роль и значение прессы. И это, конечно, объясняется не тем, чтобы это значение было действительно очень уж велико, или чтобы оно могло вполне заменить жажду более полного, прямого и широкого дела... Конечно нет, и впоследствии до конца жизни даже на более обширной литературной арене Богданович ощущал неустанное недовольство своей работой. Но все-таки именно в литературе он нашел себя, свое призвание, дело своей жизни, куда можно было пристроить целиком его незаурядные способности и си-

лы...

Худо ли это, или хорошо, — но постепенно он стал все меньше интересоваться медициной, мы реже получали от него «любительские» рецепты и медицинские советы, и он все больше уходил в роль обличителя и публициста. Одно время в нашем маленьком кружке шутили, что Богданович ходит точно весь заряженный обличениями, и порой в газете появлялись совершенно неожиданные обличительные выстрелы, поражавшие, так сказать, на лету какое-нибудь мелкое злоупотребление. Кроме корреспонденции, он стал вести в той же газете и нижегородский фельетон, и я вспоминаю, какое волнение поднималось иногда даже в близких Ангелу Ивановичу кружках, так как порой он стрелял и по своим. Фельетоны эти были всегда яркие, остроумны, порой даже поэтичны; но в них сказывалась черта, оставшаяся отчасти и впоследствии. А. И. был человек, так сказать, угловато-прямолинейный. В каждую данную минуту он весь отдавался настроению, и за небольшой промах союзника он готов был тотчас же ответить так стремительно и мет-

ко, что потом сам глубоко сожалел о нанесенной ране. Тогда он брал свое перо в другом настроении и писал о том же лице таким тоном, точно это был человек, совершенно чуждый всяких слабостей, стоящий выше малейших подозрений в способности ошибаться и делать промахи. Так именно случилось однажды с весьма почтенным провинциальным писателем и общественным деятелем, известным А. С. Гациским. Как у многих «историков», у него была страстишка к хронологическим сопоставлениям, порой самого удивительного свойства. По поводу, одного из таких сопоставлений, имевшего в виду годовщину рождения влиятельного купца, бывшего в то время городским головой, — Богданович написал заметку, справедливую по существу, но слишком злую и не вполне верную в перспективе. Когда Гациский прочитал ее, у него на глазах явились слезы обиды... Ангел Иванович был искренно удивлен и опечален эффектом своей вылазки. А так как сердце у него было очень доброе, то в следующем фельетоне он опять вернулся к деятельности того же Гациского, человека, несомненно хорошего и

много сделавшего для края. На этот раз Гациский имел полное основание считать себя удовлетворенным. А так как в том же фельетоне Ангелу Ивановичу пришлось коснуться также и других лиц, то его благодушное настроение распространилось и на них, и некоторые нижегородцы совершенно неожиданно увидели себя красавцами в зеркале местной прессы. Впоследствии Богдановичу пришлось исправлять и эту ошибку, только в другую сторону...

Можно сказать, не боясь ошибиться, что в эти глухие годы только местная печать шевелила, будила, раздражала, сердила и не давала слишком уж зарываться тогдашним хозяевам жизни. Мне вспоминается один случай, когда выведенные из себя постоянным вмешательством прессы местные дворяне сделали попытку удалить с хор земского собрания всю публику, заявляя, что их совесть стеснена и они не могут говорить свободно. Произошло бурное заседание. «Оппозиция» поднялась как один человек, и Гациский, старый земец, говоривший всегда дельно, но довольно вяло, — на этот раз произнес прекрасную

речь, полную истинного одушевления. Богданович, много волновавшийся по поводу этой истории, — написал один из лучших своих фельетонов; между прочим в этом бурном собрании произошло не совсем обычное происшествие. Старый дворянин Лик (курсивом), бессменный с давних пор губернский гласный, никогда не открывавший в заседаниях рта, — на этот раз поднялся со своего стула и заявил, что его совесть тоже стеснена и он тоже не может говорить свободно. Отметив с большим юмором этот небывалый эпизод, Богданович прибавил: «Был мрачен лик его печальный». Этот каламбур сопровождал красноречивого дворянина Лику до самой могилы...

В 1890 году Богданович вместе с другим товарищем, доньне работающим в приволжской прессе Л. Л. Дробыш-Дробышевским, переехал в Казань, где оба принимали сначала близкое участие в редактировании «Волжского вестника» (издаваемого тогда Н. В. Рейнгардтом), а затем перешли в новооткрытые «Казанские вести».

Это было время, когда работа в провинци-

альной прессе являлась настоящим подвигом. Правда, голос печати уже имел большое значение, — относительно, может быть, даже большее, чем теперь, так как газетная трибуна являлась единственной формой прямого обращения к обществу. Номера с какой-нибудь удачной заметкой, выбивавшейся на свет сквозь цензурные ущелья, — ходили по рукам, замусливались и зачитывались в клочки. Официальные сферы провинции были также восприимчивы к тому, что появлялось об них в печати, а стеснения обходились до известной степени тем, что о щекотливых делах, например, Нижегородской губернии — писалось в газете, выходящей в Казани, а казанские злобы находили освещение в Саратове. Однако все эти усердные читатели тогдашней провинциальной газеты подписывались на нее туго: свежий газетный помер еще не вошел тогда в обиход ежедневных обывательских потребностей, и тираж в три тысячи экземпляров считался блестящим. Понятно поэтому, что и труд провинциального публициста оплачивался очень плохо, требуя в то же время огромного напряжения сил. Богдано-

вич и Дробышевский составляли и выпускали номера, писали передовые статьи, заметки, библиографические отзывы, Богданович вел еженедельный общественный фельетон. Его псевдоним «Зритель» скоро приобрел известность по всему Среднему Поволжью, а порой некоторые блески из его фельетонов стали залетать также на столбцы столичной печати. Вообще из него вырабатывался незаурядный фельетонист, и даже в последние годы, когда существование российских журналов становилось проблематическим и непрочным, — он поговаривал часто и не без удовольствия о возможности вернуться к газетному фельетону. За весь этот изумительный труд первое время, если не ошибаюсь, «редакторы» получали рублей по пятидесяти, впоследствии что-то около семидесяти пяти. В одном только эти непритязательные работники были требовательны и неуступчивы до прихотливости. Газета могла говорить не все, но то, что в ней появлялось, должно было точно и полно совпадать с совершенно определенной этической линией. История провинциальной печати того времени полна «проте-

стами» и «коллективными выходами» сотрудников при первых же попытках со стороны издателей к сделкам с совестью, с влиятельными провинциальными воротилами, с местной властью. Тогда «неблагоденные» сотрудники тотчас же отряхали прах от ног своих и искали нового пристанища...

В 1893 году Богданович оставил провинциальную прессу для столичной. Он переехал в Петербург, привезя с собой превосходное знание провинциальной жизни и огромную работоспособность, приобретенную на ежедневной газетной работе. Здесь в течение почти года он вел хронику внутренней жизни в «Русском богатстве». Статьи его появлялись без подписи, и в них мало сказалась его своеобразная литературная физиономия. Рамки чисто хроникерской работы, казалось, связывали до известной степени прихотливое изображение недавнего провинциального фельетониста. Кроме того, подходила полоса марксизма, которому Богданович отдался с присущей ему страстностью.

С 1894 года он перешел в редакцию журнала «Мир божий», которому и отдавал до кон-

ца жизни всю свою поразительную работоспособность и свои незаурядные силы. Работать ему приходилось вместе с Александрой Аркадьевной Давыдовой. Трудно представить себе двух человек с более противоположными темпераментами и вместе — лучше приспособленных для совместного ведения журнального дела. Дама петербургского большого света, сменившая верхи артистического мира на редакционную контору, и бывший поднадзорный студент, резкий, угловатый, часто нелюбезный и иногда слишком прямой, — они скоро поняли и оцепили друг в друге то главное, что было нужно для дела: обоих соединяла глубокая, самоотверженная, трогательная любовь к журналу, его росту, процветанию и моральному значению. Александра Аркадьевна внесла свою женственную мягкость, светский такт и замечательное умение привлекать литературные силы, группировать их и улаживать неизбежные во всяком коллективном деле недоразумения. Богданович дал огромную трудоспособность, знание литературных направлений, умение разобратся в них и свою несколько суровую, но

честную прямолинейность... Это было очень счастливое сочетание разнородных качеств, и если Александре Аркадьевне приходилось порой пускать в ход все ресурсы своего дамского такта, чтобы сгладить угловатую прямо-ту своего сотрудника, то все же она чувствовала, что в лице этого несколько шероховатого человека судьба послала ей настоящий клад. Впоследствии с ростом самого дела разрастались и редакционные силы, привлекались новые сотрудники, вносявшие свой труд и свои индивидуальные черты в общее дело. Но все же можно сказать, не боясь преувеличения, что в основу журнала, каким мы его видим теперь, легли первым определяющим моментом усилия этих двух уже отошедших от нас людей...

С этих пор чисто литературная деятельность Богдановича была уже на виду у широкой читающей публики, которая, конечно, помнит ежемесячные общественно-литературные очерки в «Мире божием», подписанные скромными инициалами А. Б., летучие, живые, порой парадоксальные, но всегда проникнутые живой любовью к русской литера-

туре, ее стремлениям и надеждам. Редакции «Мира божьего» и вдове покойного, Татьяне Александровне Богданович, пришла счастливая мысль выпустить хоть часть обзрений Богдановича отдельным изданием, и эти статьи опять появляются перед читателем, а с ними оживает в памяти и своеобразный облик их автора. Я не имел в виду писать критическую статью, и это освобождает меня от обязанности отмечать здесь пункты нашей общности и наших разногласий, перемешанные в изобилии и в этой книге. Задачей моей настоящей заметки было только восстановить хотя бы и неполно личные черты человека, написавшего эту книгу, в том виде, каким я его встретил в глухое время русской жизни, каким мы, его друзья, успели его полюбить и каким он дошел до своей слишком ранней могилы...

27 марта 1907 года, в сумрачный весенний день на Волковом кладбище толпа русских писателей и читателей присутствовала при не совсем обычном зрелище: на русском православном кладбище у свежей могилы стоял католический священник, и раздавались пе-

Чальные звуки латинского заупокойного напева: «requiem aeternam de ei Domine». Поляка Богдановича хоронили у Литераторских мостков русского Волкова кладбища, так как именно русская литература была настоящей родиной его души. Она дала ему свои радости и напоила своею горечью. Из ее среды он получил также и семью, и короткое личное счастье, она же преждевременно подточила тяжким трудом его силы и привела к могиле... Вокруг раскрытого гроба, в котором виднелось в последний раз худое лицо с сурово обострившимися чертами, высились кресты, памятники и бюсты ранее пришедших товарищей и учителей, русских писателей, принимавших в свою среду нового собрата. Он пришел сюда еще молодым, но уже успевшим много поработать на ниве русской мысли и русского слова, для свободы, солидарности и братства.

Трагедия великого юмориста

Несколько мыслей о Гоголе*

I

Кто не помнит конца веселой Сорочинской ярмарки. Свадьба... «От удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами... Все неслоь, все танцовало...»

Но вот:

«Гром, хохот, песни слышатся все тише и тише, смычок умирает, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо... Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит он уже грусть и пустынно и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности, поодиночке,

один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их... Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему...»

Это написано в 1829 году. Значит, этот крик щемящей тоски вслед за кипучим и бьющим через край весельем вырвался из груди двадцатилетнего юноши!

Таких смен настроения в произведениях Гоголя очень много, и они указывают на глубокую, прирожденную черту темперамента. Именно прирожденную: это было наследство, полученное великим русским юмористом от отца.

Уже биография Василья Афанасьевича Гоголя дает черты таких же смен меланхолии и веселья. Здоровье его с детства было ненадежно. «Васюта, слава богу, по силе своих сил и дарований, успевает, — писал о нем, малолетке, его учитель. — Я его понуждаю к учению, соображался всегда силам его телесным, которые усматриваются невелики». В одном письме к Д. П. Троцинскому сам Василий Афанасьевич объясняет свое отсутствие на службе в почтамте, где он числился, какими-то тягост-

ными и продолжительными припадками. Отголоски этих жалоб звучали даже в письмах к невесте: «Милая Машенька, — слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце»[13].

Во внешних обстоятельствах личной жизни как будто не было никаких причин для такого «лютого отчаяния». Наоборот, судьба щадила хрупкое создание: существование Василия Афанасьевича складывалось спокойно и счастливо. Полюбив Марью Ивановну Косяровскую, он стал ухаживать за нею поэтично и робко. Об этой идиллии сама Марья Ивановна следующим образом рассказывает в своих воспоминаниях:

«Когда я, бывало, гуляю с девушками по реке Пел у, то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома...» Бесхитростное ухаживание увенчалось успехом. Василий Афанасьевич женился, имел детей и жил мирною жизнью украинского помещика. Вопросы высшего порядка, по-видимому, не тре-

вожили простую душу. Он был прекрасный рассказчик, гостей умел смешить анекдотами, легко подмечал смешные черты у людей, но смеялся безобидно и благодушно. Легко сочинял стихи, но никогда не брался за это серьезно. Писал на малорусском языке комедии, в которых являлся смешной украинский черт, дьячок в долгополом хитоне, неповоротливый дядько, лукавая молодлица и т. д. Это был наивный репертуар первоначального украинского театра. «Шутка и песня для приятного провождения времени, — говорит биограф, — вот все, что мог искать тогдашний писатель в родном быту. И Гоголь-отец очень умело и искусно почерпал из него элементы для своей комедии». В мозгу отца роились, очевидно, те же юмористические образы, с которых сын впоследствии начал свою писательскую карьеру...

Так шла жизнь Василья Афанасьевича Гоголя тихо и безмятежно. «Амуры венчали» его семейное счастье в той самой усадьбе, где под звуки «приятной музыки» зародилась его любовь. Простодушные соседи считали его анекдотистом, рассказчиком, весельчаком. Ни

служебное, ни писательское честолюбие не смущали его настроения. Но вместе с тем припадки «странного воображения» и «лютого отчаяния» сменяли веселые шутки. Он был страшно мнителен, часто впадал в меланхолию и умер на сорок пятом году. Гоголь писал впоследствии, что отец его умер не от какой-нибудь определенной болезни, а только единственно «от страха смерти».

Этот «страх смерти» Николай Васильевич Гоголь получил от отца как роковое наследство. Вообще в организации и темпераменте сына Гоголь-отец повторился довольно точно, только в сильно увеличенном и более ярком виде. Так маленькая картинка, запертая в ящик волшебного фонаря, светится увеличенная на огромном экране...

Уже с детства сказываются в темпераменте сына те же неровности и противоречия: он бывал то заразительно весел, остроумен, отлично играл на сцене, то впадал в ипохондрию и отчаяние. «Я почитаюсь загадкой для всех, — писал он матери, — никто не разгадал меня совершенно...» «Под видом иногда для других холодным тайлось у меня желание ки-

пучей веселости», и часто «в часы задумчивости разгадывал я науку веселой счастливой жизни».

Маленький талант Гоголя-отца был бессознателен. Он употреблял его на увеселение соседей и на украшение праздников вельможного родственника Трощинского. Сын уже с детства ощущает в душе присутствие гениальности, которая должна сделать его жизнь не заурядной жизнью простых «существователей». Но наряду с этим его сторожит и отцовский страх смерти, которая может помешать ему выполнить свое «предназначение». «С самых лет почти непонимания, — пишет Гоголь своему дяде Косяровскому, — я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хоть малейшую пользу. Холодный пот проскальзывал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом... Быть в мире и не означить своего существования — это было бы ужасно...»

Впоследствии в своих сочинениях Гоголь

дал поразительные описания этого ощущения, и это чуть не единственные места, которые носят явно автобиографический характер.

Читатель, конечно, помнит смерть Пульхерии Ивановны в «Старосветских помещиках», но я все-таки приведу здесь вкратце эту замечательную картину.

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая почти всегда лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцами по ее шейке, которую балованная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкши ее всегда видеть. Афанасий Иванович часто подшучивал над этой привязанностью, находя, что лучше было бы завести собаку. Но Пульхерия Ивановна отвечала:

— Уж молчите, Афанасий Иванович! Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все. А кошка — тихое творение. Она никому не сделает зла.

За садом старосветских помещиков находился большой запущенный лес. В этом лесу обитали дикие коты, которых не следует смешивать с котами цивилизованными. Это народ большей частью мрачный, ходят они тощие, худые и мяукают грубым, необработанным голосом. Вообще никакие благородные чувства им не известны. Эти-то дикари сманили у Пульхерии Ивановны ее цивилизованную кошечку, как отряд разнузданных солдат-мародеров сманивает глупую крестьянку...

Прошло три дня, и кошка явилась опять, худая, тощая... Пульхерия Ивановна позвала ее в комнату, накормила, хотела погладить, но... кошка выпрыгнула в окно, и никто ее уже не мог поймать.

Это непонятное поведение баловницы, отдавшей предпочтение голодному дикому существованию перед обеспеченностью и сытым покоем, поражает старушку. Ее воображение, давно привыкшее к простоте и, так сказать, полной прозрачности окружающей жизни в ограниченном круге, не может вместить странного явления, и она решает, что

это за нею приходила ее смерть.

Весь день она была скучна... Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела и объявила Афанасию Ивановичу, что она скоро умрет. Эта идея укоренялась все сильнее. Через несколько дней она слегла, не могла уже принимать никакой пищи, а затем «после долгого молчания хотела что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело».

Нужно ли напоминать, что совершенно так же умер и Афанасий Иванович. Однажды он вышел прогуляться по саду. Когда он шел по аллее — ему вдруг показалось, что кто-то позвал его: «Афанасий Иванович!..» Он оборотился, но никого совершенно не было... День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, а потом решил, что «это его зовет Пульхерия Ивановна». «Он весь покорился этому своему убеждению, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас так же, как она,

когда уже ничего не осталось, что могло бы поддержать бедное ее пламя...»

Итак, это уже другая смерть от душевного угнетения. Третью мы знаем: Гоголь-отец тоже умер не от какой-нибудь «соматической болезни», а только от страха смерти.

Наконец, в том же рассказе Гоголь говорит уже прямо о себе: «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, после которого неминуемо следует смерть. Признаюсь, мне всегда был *страшен* этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий настигла меня среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди яс-

ного дня. Я обыкновенно бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню».

Это — не простая работа объективно художественного воображения. Нет, это живое, осязательное ощущение. И замечательно, что оно беспричинно и беспредметно. Оно не вызывается особыми внешними обстоятельствами; наоборот: для него нужно исключительное однообразие существования, полное душевное и внешнее затишье... Ни лист не шелхнется, ни кузнечик не закричит. А внутри сердечная пустыня. И в этой пустыне, лишенной и других внутренних ощущений, и впечатлений внешнего мира, подымается из бессознательной глубины предчувствие какого-то рокового, бессмысленного, непонятного, *беспричинного*, то есть чуждого душевной организации, расстройства, которое будет давить на мозг и звать непонятными голосами мировой тайны...

В самых ранних юношеских письмах Го-

голь выражает убеждение, что жизнь его будет коротка. «Исполнятся ли высокие предначертания? Или неизвестность зарует их в мрачной туче своей?»[14] — спрашивает Гоголь-юноша, еще не выбравший жизненной дороги. «Я дорожу минутами жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна», — пишет он В. А. Жуковскому в 1837 году... «Увы! здоровье мое плохо, а гордые замыслы... О, друг, если бы мне на 5 лет еще здоровья...» Это писано в 1838 году, то есть за 14 лет до смерти. Таких мест можно бы цитировать из переписки Гоголя очень много. И все они доказывают, что «страх смерти» сопровождает гениального писателя от юности до ранней могилы...

В прекрасной работе д-ра Баженова («Болезнь и смерть Гоголя», «Русская мысль», февраль 1902 г.) диагноз этой болезни поставлен научно: Гоголь страдал тем, что в психиатрической медицине называют теперь «депрессивным неврозом». Беспричинное душевное угнетение врачи объясняют физиологически тем, что сосуды, питающие корковое вещество мозга, сжимаются, и часть мозга, именно

та, от которой зависит настроение, становится обескровленной. Причина, так сказать, чисто механическая. Гоголь по наследству получил этот аппарат несколько испорченным. Отсюда склонность к меланхолии, отсюда частая подавленность и печаль... Доктор Баженов, еще не знавший биографии Гоголя-отца, искал наследственности со стороны матери. Мы теперь знаем, что это ошибка: это была точная копия болезни отца, от которой он умер.

Таково научное, почти механическое объяснение. Механизм подавляет душевное настроение. Да. Но мы знаем, что и душевное настроение в свою очередь может побеждать механизм. Представим себе человека, находящегося в состоянии депрессивного невроза, то есть в беспричинно подавленном настроении, которому почталион приносит письмо с каким-нибудь радостным известием. Это — привет от любимой девушки, или от друга, или известие о победе единомышленников по общественному делу, или новое доказательство дорогой человеку отвлеченной идеи. И вот угнетение исчезает, глаза загора-

ются огнем, в лице — радостное оживление. В этом случае чисто психический душевный мотив, очевидно, победил механическую причину угнетения... У Гоголя был именно такой почталион, который постоянно доставлял ему подобные известия и помогал бороться с роковым наследием. Этим постоянным источником радости было творчество.

II

У нас есть одно замечательное в этом отношении признание самого Гоголя.

«Причина той веселости, которую заметили в первых моих сочинениях, — пишет он в „Авторской исповеди“, — заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать самого себя, я... выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, во все не заботясь о том, зачем это, для чего и кому выйдет от этого какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение

тех первых моих произведений, которые одних заставляли смеяться как-то беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости».

Итак, мы видим, что Гоголь бессознательно прибегает к своему таланту для борьбы с угнетением и болезнью. Сначала воображение действует стихийно и безотчетно в направлении непосредственно юмористическом. В августе 1831 года Пушкин писал Воейкову:

«Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами, какая поэзия, какая чувствительность! Мне сказывали, что когда издатель[15] вошел в типографию, где печатались „Вечера“, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщи-

ков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою».

Скоро, однако, тот же Пушкин, обладавший действительно орлиным критическим взглядом, заметил всю сложность гоголевского смеха. «Гоголь — веселый меланхолик», — определил он темперамент своего младшего товарища, а Белинский первый применил к нему в литературе термин «смех сквозь слезы». Гоголь довольно долго еще не понимал всего значения своего смеха. Видя, что он нравится, заражает, доставляет успех, он давал волю стихийной способности. Даже о самом глубоком из своих произведений он вначале писал Пушкину: «Начал „Мертвых душ“. Сюжет... кажется, будет сильно смешон». И его, по-видимому, удивило, что на Пушкина смешной сюжет подействовал иначе.

«Когда я начал читать Пушкину первые главы „Мертвых душ“, — пишет Гоголь в „Авторской исповеди“, — то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении... начал понемногу становиться все сумрачнее-Когда чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“»

Вообще, Пушкин первый заставил Гоголя, по его собственному признанию, «взглянуть на дело серьезно», указал глубокое значение его смеха. И после этого ученик даже преувеличил значение сознательного элемента в своем творчестве: о стихийных произведениях своей юности он стал отзываться с пренебрежением. «Я не издам их („Вечеров на хуторе“), — писал он Погодину в 1838 году. — Я даже позабыл, что я — творец этих вечеров. Да обречутся они неизвестности, пока что-нибудь великое, художническое не изыдет от меня». И не только о «Вечерах», но и о таких произведениях, как «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем», он отзывался впоследствии как о произведениях незрелых, нравящихся только широкому кругу; но истинные ценители (сам автор, Пушкин, Жуковский) не могут не видеть их недостатков.

Это странное пренебрежение к своим молодым произведениям становится, пожалуй, понятным: Гоголь не мог как будто забыть личного узкослужебного, так сказать санитарного значения своих молодых вдохновений. Почему он должен уважать посылного,

которого сам отправляет за «веселыми известиями», как мы посылаем за порошком хины в аптеку?.. Он чувствует только, что, когда приходит смех, бодрый, веселый и светлый, ему становится легче, темные тучи, нависающие неизвестно откуда над его душевным горизонтом, — рассеиваются. Он его любит, пускает часто в ход и таким образом инстинктивно развивает стихийную способность. Но любить не значит еще уважать...

Но вот Пушкин указывает Гоголю, что его веселый посыльный человек не совсем-то простой. С его приходом меняется настроение не одного автора. Все, кого автор знакомит с ним, не только смеются, а порой восторгаются, и грустят, и негодуют, и умиляются, и затем принимаются обсуждать важные вопросы жизни. Около него вспыхивают новые чувства, новые мысли... Он приводит к своему хозяину самых выдающихся людей того времени. Ему навстречу закипает молодой критический талант Белинского. Пушкин испытывает приступы глубокой печали сознательного гражданина несправной и рабской страны...

Беззаботный смех, освобождающий от меланхолии, превращается из простого посылного в благодетельного чародея. Он становится нужным, близким, полезным, интересным для всех... Вся Россия «вперяет в него полные ожидания очи»...

Мы видели, что уже в юности Гоголь с непонятною в заурядном человеке страстностью мечтал «означить чем-нибудь свое существование». Сначала он не связывал этого стремления с литературой и мечтал только о какой-то особенно осмысленной «службе государству»... «Неправосудие, величайшее в свете несчастье, больше всего разрывало его сердце». Теперь работа воображения, доставляющая радость сама по себе, становится средством приносить пользу, «означить свое существование». Он нападет на проявления неправосудия, «собранные в одно место», пронижет их пламенем своего гнева, покроет всенародно раскатами общего смеха...

Это — исполнение мечты, это — элементы великой душевной гармонии. Это — неустающий поток той самой психической силы, которая своим живым напором побеждает

дает враждебные механико-физиологические влияния. Прежде юноша Гоголь для забавы и развлечения пускал в свою душу ручейки весело журчавшего смеха, и они каждый раз прогоняли темную душевную накипь и уныние. Теперь это — могучее течение, выносящее его на вершину общественного признания и славы, дающее надежду на исполнение «великого предназначения». Самое предчувствие этого наполняет его восторгом:

«У ног моих, — пишет он в своем дневнике, — шумит прошедшее. Надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей (хранитель, ангел), мой гений! О, не скрывайся от меня... не отходи от меня весь этот так заманчиво начинающийся для меня год... Я совершу! Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновлены. Над ними будет веять недоступное земле божество!»[16]

Это писано в 1834 году, когда, по мнению д-ра Баженова, роковая болезнь уже определилась. Определились, значит, две противоположные силы, вступающие в борьбу в «хрупком составе писателя»: *радость творчества*

против неблагоприятных органических влияний.

III

24 июля 1829 года, через полгода с небольшим после приезда в Петербург из Полтавской губернии, Гоголь писал своей матери:

«Маменька, не знаю, какие чувства будут волновать вас при чтении этого письма, но знаю только то, что вы будете беспокойны... Перо дрожит в руке моей... непонятная сила нудит и вместе отталкивает высказать всю глубину истерзанной души».

За этим следует целая страница туманных излияний, после которых Гоголь сообщает матери, что он влюблен.

«Я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для меня, не только для меня... Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание печатлется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков... Нет, это не любовь была... В порыве бешенства и ужаснейшей тоски я жаждал, кипел упиться одним только

взглядом... С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужаснейшее состояние... Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хоть тень покоя в мою истерзанную душу».

Впрочем, вслед за этими риторическими излияниями юный Гоголь высказывает мнение, что необыкновенная женщина послана ему Провидением не напрасно: он не должен пресмыкаться по канцеляриям; настоящий его путь — путь новых наблюдений, новых знаний и опыта. Как указание свыше, Провидение и поставило перед ним эту — не женщину, а «божество, Им созданное, часть Его самого». Ему необходимо было бежать. Куда же? За границу. По этой причине, получив деньги для внесения в опекунский совет и узнав, что возможна отсрочка, он денег не внес, а купил пароходный билет и очутился в Любеке.

Письмо это впоследствии вводило в заблуждение биографов... У Петрарки была Лаура, у Данте — Беатриче, у Гете — Фредерика Брион и г-жа фон Штейн, у Гейне, Пушкина, Лермонтова — целый ряд поэтических жен-

ских образов, вдохновлявших воображение и заставлявших сильнее биться сердца... В таинственном божестве, «облеченном слегка в человеческие страсти», взгляда которого «не вынесет ни один из человеков», биографы Гоголя хотели видеть Александру Осиповну Смирнову...

Но Марья Ивановна Гоголь была проницательнее биографов. Она была женщина умная, знала сына и сама любила когда-то своего Василья Афанасьевича. Она помнила, как он играл ей за речкой нежные мелодии и писал любовные письма. Напыщенный, искренний и холодный, стиль в письме сына не мог обмануть ее: это, очевидно, не любовь к живой женщине, а что-то другое. Что же именно? Просто попытка объяснения того обстоятельства, что опекунские деньги самовольно употреблены на поездку за границу. Зачем? Марья Ивановна знала, что за границу ездят лечиться. Петербург — город соблазнительный. Итак, ее сын поехал лечиться от... дурной болезни.

Как это часто случается с умными и практическими людьми, Марья Ивановна превос-

ходно угадала очень многое. Но вывод сделала грубо ошибочный: ответное письмо матери поразило сына, как громом. «В первый раз в жизни, — писал он 24 сентября 1829 года, — и дай бог, чтобы в последний, я получил такое страшное письмо». Упрекая мать за ее предположения, он прибавляет: «Вот вам мое признание: одни только гордые помыслы юности, проистекавшие из пламенного желания быть полезным, завлекли меня слишком далеко...» В своем слишком простом объяснении Марья Ивановна действительно ошиблась: за границу увлекала Гоголя не любовь и не болезнь, а писательский инстинкт.

В 1829 году Гоголь был двадцатилетним юношей. Через три года в письме к школьному товарищу А. С. Данилевскому Гоголь прямо признается, что чувства сильной любви он не испытывал, и радуется этому: сильное чувство «превратило бы в прах» его слабый организм. А еще лет десять позже, почти уже перед смертью, больной, огорченный, усталый, он попытался, по-видимому, сделать предложение А. М. Виельгорской, с которой вел знакомство и дружескую переписку без всяких

намеков на какое-нибудь более нежное чувство. На предложение последовал отказ, не вызвавший, по-видимому, особого огорчения.

И это все: ни Лауры, ни Беатриче, ни Натальи Гончаровой. Ни семьи, ни профессии, ни даже службы в те времена, когда все на Руси служило, не исключая писателей: Державин был губернатором, И. И. Дмитриев — министром, Карамзин и Жуковский — царедворцы. Даже Пушкин с горечью и нетерпением, но напрасно стремился скинуть придворный мундир и сошел в могилу камер-юнкером. Николай I не хотел понять, что можно быть только Пушкиным и ничем более. Гоголь все-таки остался только Гоголем. «Могу сказать, — писал он в 1836 году В. А. Жуковскому, — что никогда не жертвовал свету своим талантом. Никакое развлечение, никакая страсть не могла овладеть моей душою и отвлечь меня от моей обязанности»... «Не писать для меня значило бы не жить», — говорил он позже в «Авторской исповеди».

Гоголь был только писателем и не знал ничего другого в жизни. Вся трагедия его короткого, блестящего и многострадального суще-

ствования была целиком и исключительно трагедией творчества: в нем были его радости, его страдания, с ним связана ранняя гибель...

Тяжелая, запутанная и удручающая трагедия... Перечитать четыре тома его переписки, тщательно собранной В. И. Шенроком, — переписки темной, часто неискренней, как приведенное выше письмо к матери, — значит пережить отраженно настоящую душевную пытку. Задавшись несколько лет назад этой трудной задачей, я помогал себе особым приемом: прочитав ряд писем за известный период, я обращался затем и к Гоголю-художнику и прочитывал то, что он написал в это же время. Точно светлый луч пронизывал мутную мглу, точно струя свежего воздуха врывается в больничную палату, и можно было идти дальше темными закулисными путями этой страдальческой души: они получали объяснение, освещение и оправдание.

Каждое произведение Гоголя является не только художественным перлом, но и победой, вырванной у роковой болезни, победой человеческого духа над болезненным пред-

определением. И эта борьба, и эти победы шли на арене, совершенно расчищенной от всех жизненных условий, которые могли бы усложнить ее. Можно сказать определенно, что это был настоящий поединок гения с роковым недугом, где каждая победа гения отмечалась новым торжеством русской литературы.

IV

Первым замечательным произведением, в котором Гоголь поставил себе (под влиянием Пушкина) определенную общественную задачу, был «Ревизор». «В „Ревизоре“, — пишет он в „Авторской исповеди“, — я решился собрать все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делают в тех местах и тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».

О первом представлении «Ревизора» мы имеем противоречивые свидетельства современников. Одни говорят о колоссальном успехе: театр дрожал от хохота. Другие считают успех далеко не полным и сомнительным. По свидетельству П. В. Анненкова, высокочинов-

ная и аристократическая публика первого представления недоумевала. «Как будто находя успокоение в том, что дается фарс, большинство зрителей остановилось на этом предположении. Раза два или три раздавался общий смех. Но уже к четвертому акту смех становился робким, пропадал. Аплодисментов почти не было. Напряженное внимание к концу четвертого акта переродилось почти во всеобщее негодование... Общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: это невозможность, клевета, фарс...» В огромном большинстве печатных отзывов автора упрекали за то, что в его комедии одни отрицательные типы: нет добродетельного человека, на котором могло бы «успокоиться нравственное чувство». Крепостнический строй требовал от автора своего оправдания, а в комедии чувствовалось одно глубокое художественное отрицание.

Во время первого представления «Женитьбы Фигаро» происходило то же. «Французы, как дети, — сказал один из зрителей, глядя на беснующийся против автора театр, — брыкаются, когда их умывают». И, однако, это не по-

мешало комедии Бомарше стать бессмертной истинно национальной сатирой, до сих пор не утратившей своего значения. Такое же веяние бессмертия можно было угадать и в этом все стихающем смехе, и в напряженном внимании, и в недовольстве «избранной публики», которую «умывал Гоголь».

Были люди, которые сразу поняли великое значение «Ревизора» и отдали автору свои симпатии именно за беспощадность его сатиры. Белинский, тогда малоизвестный критик не особенно распространенной «Молвы», написал восторженный отзыв, в котором с чрезвычайной глубиной оценил значение комедии. «Удивительно, — говорил он, — как это никто не замечает того благородного лица, которого требуют и не находят в пьесе. Оно в ней есть. Это смех, очищающий душу». И меньшинство, которого Белинский был выразителем, с сознательным восторгом приветствовало гениального сатирика. Вокруг комедии кипели страстные споры, она давалась при переполненном театре, актеры вырабатывали все яснее бессмертные гоголевские фигуры, их изречения становились стерео-

типными, как некоторые стихи Грибоедова, и созданные Гоголем образы вращались в понятия... Комедия явно становилась сокровищем русской литературы и русской сцены.

А в это время сам автор чувствовал себя угнетенным и подавленным... неудачей «Ревизора»... Правда, он заметил статью Белинского, и в своем «Театральном разезде», защищаясь против нападок, он приводит в числе других и мысль Белинского о благородном смехе. Но в глубине его души были недовольство и тоска. В письме к Пушкину Гоголь вник в свое настроение «соотечественников»: «Я устал душою и телом. Клянусь, никто не знает и не видит моих страданий». И в другом: «Еду за границу, там размыкать тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен быть подальше от своей родины». Но в материалах Шенрока приведено письмо к «одному литератору», написанное по поводу первого представления, и в нем Гоголь так изображает свое нравственное состояние: «С самого начала... я уже сидел в театре скучный. О востор-

ге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против своей же пьесы, которые заглушали все другие...»

Итак, «единственный судья» осудил пьесу, вокруг которой закипела борьба старой и новой Руси. В споре друзей и врагов своего гениального произведения Гоголь, после некоторых колебаний, склонился... на сторону врагов.[17]

Вскоре после первого представления «Ревизора» Гоголь уезжает за границу. Зачем? Мы видели уже в его письмах, что сам он объясняет это отношением соотечественников, и впоследствии много раз он повторяет этот мотив: «комическому писателю не место на родине».

В действительности, однако, причина была другая. Он увозил с собою начало «Мертвых душ» и для работы над этим величайшим произведением своей жизни вперед уже сосредоточивал все свои жизненные силы. Сознание «недуга» заставляет его быть экономным. Живое, чрезвычайно восприимчивое во-

ображение полно образов. В их разработке и воплощении — задача жизни и средство спасения. На это направляются все усилия гениального человека. Он, по-видимому, совершенно сознательно отстраняет приток разнородных впечатлений, которые, расширяя душу для большей полноты жизни, вместе с тем могли бы ослабить ее сосредоточенную силу. Он рад, что не испытал любви: она взяла бы у него слишком много настроения, нужного для главного дела. Живая, яркая и разнородная реакция общества на его сатиру ему тоже не по силам. За границей он суживает круг новых впечатлений, отдаваясь исключительно обработке художественного материала, вынесенного из отечества. Д. Н. Куликовский в своей работе о Гоголе отмечает, что мимо него за границей проходили захватывающие события и великое движение мысли, совершенно его не задевая. В то время как Пушкин смотрел на современный мир широко и жадно раскрытыми глазами, ловя каждое новое явление и усваивая каждую новую мысль, — Гоголь в своей обширной переписке почти не оставил следов подобной любознательности.

Острая от природы, но мало тронутая культурой, мысль его работала в узком круге.

«Боже! какие есть сюжеты!» — то и дело пишет Гоголь своим друзьям и неизменно прибавляет: «Хватит ли силы!..», «Столько еще жизни, чтобы закончить „Мертвые души“». Больше не прошу у бога ни часу!». «Ничего не пишу тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь, — говорит он в одном из писем к Данилевскому (авг. 1841). — Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, что мне нужно было, я забрал и заключил в себе, в глубину души моей...» «Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня»[18]. Не ясно ли состояние души, устремившей все свои способности к одной цели и не желающей кидать по сторонам ни одного лишнего, бесцельного взгляда. Зачем хватать на лету новые явления и новые мысли, когда все это кажется лежащим вне точно намеченного круга его жизни? Ослабить напряженность воображения, радостно и страстно созерцающего определяющиеся образы далекой родины —

значит сделать вычет в строго рассчитанной экономии сил, от которой зависит выполнение главной задачи жизни и даже продолжение самой жизни.

Во все это время, когда Гоголь, окончательно расставшись с безотчетным творчеством, отдается идее «Мертвых душ», судьба его странным образом вызывает в памяти судьбу Хомя Брута, вернее — историю его всеобщих бдений в заколдованной часовне. Бедный философ очертил около себя круг и весь наполнил его сиянием свечей. В этом кругу все свое внимание и все напряжение воли он направляет на чтение священной книги. Эти слова одни способны прогнать страшные порождения враждебного мира...

Такая же тесная часовня для Гоголя — его заграничная жизнь. Сам он в письме к Уварову говорил, что в ней он «обрек себя на уединение», обратив все способности на создание «Мертвых душ»... Около него тоже тесный круг, освещенное место во тьме обширного мира. Здесь, точно в светлом луче, роятся перед ним яркие образы, летающие в воображении на крыльях оздоравливающего и защищаю-

щего смеха. Это истинные создания дня и света... А по сторонам роились, сгущались и тянулись к нему кошмарные порождения тьмы и страха. И в глубине, скорее угадываемое, чем видимое зрению, неопределенное и страшное, гнездились чудовище — страх смерти, готовое взглянуть, как Вий, на одинокого подвижника своим мертвящим взглядом. Чтобы защититься от этого враждебного мира, Хома Брут читает священную книгу над гробом зачарованной красавицы... А Гоголь все пишет о России, тоже зачарованной рабством.

И пока работало воображение, пока он мог творить — он жил. А мог он творить, пока ложная мысль не связала крылья его гениального, оздоравливающего и целебного смеха...

V

Все время, пока писались за границей «Мертвые души», здоровье Гоголя подвергалось колебаниям. Уже раньше, в Москве, в 1833 году, Гоголь часто впадал в мрачное настроение. Он был мнителен, нередко считал себя неизлечимо больным, хотя по наружности казался свежим и бодрым. Из-за границы

он часто шлет жалобы на свое состояние. «На мозг мой точно надвинулся колпак, который мешает мне думать и туманит мои мысли...» [19] «Голова часто покрыта тяжелым облаком, который (sic) я должен беспрестанно стараться рассеивать» [20]. «Здоровье мое плохо. Занятие самое легкое отяжелевает мою голову. Италия, прекрасная моя ненаглядная Италия продлила мою жизнь, но искоренить совершенно болезнь, деспотически вторгшуюся в состав мой, она не в силах... Что, если я не окончу труда моего?» (Князю Вяземскому, 1838.) «Недуг, который, казалось, было облегчился, теперь усилился вновь... Но я веду свою работу, и она будет окончена» (Погодину, тогда же). В 1840 году в Вене Гоголь подвергся очень бурному нервному припадку, последовавшему за периодом возбуждения. «Я почувствовал, — писал он впоследствии, — то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетающий в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительное приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство

претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки и столбняк...»[21]

Любопытно, что это течение душевной болезни Гоголя было совершенно независимо от его телесного здоровья или чисто физических недугов. В некоторых позднейших письмах Гоголь очень определенно описывает свои болезненные состояния, при которых, однако, чувствует и голову, и мысли совершенно свежими и поэтому не испытывает никакого душевного угнетения... Можно ли вообще установить неуклонное возрастание душевной болезни в течение того времени, когда создавался первый том «Мертвых душ», то есть в десятилетие 1833–1842 года?

Было бы чрезвычайно интересно проследить подробно с этой точки зрения всю переписку Гоголя, это помогло бы установить связь основной болезни Гоголя с успехом или неудачами его работы. Но уже и то, что мы знаем, позволяет, кажется, отвергнуть неуклонную последовательность в росте болезни: в переписке Гоголя за все эти годы жалобы на состояние здоровья то и дело сменя-

ются нотами удовлетворения и торжества. «„Мертвые души“ текут живо, — пишет он Жуковскому в 1836 году из Парижа, — свежее и бодрее, чем в Вене, — и мне совершенно кажется, как будто я в России. Передо мною все наше: наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, — словом, вся наша православная Русь. Мне даже смешно, когда подумаю, что я пишу „Мертвых душ“ в Париже... Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его... Еще восстанут на меня новые сословия и много разных господ... Но что же мне делать? Уже судьба моя враждовать с моими соотечественниками. Терпение! Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом...»

В воспоминаниях Н. В. Берга сохранился рассказ самого Гоголя о том, как в бильярдной одного жалкого трактира между Дженцано и Альбано ему удалось при страшном шуме и среди удушливой атмосферы написать за один присест целую главу «Мертвых душ». В. И. Шенрок относит этот факт к 1838 году. В том же 1838 году Гоголь в письме к Погодину опять делает указания на успех своей работы.

«Вообще, — говорит В. И. Шенрок, — настроение Гоголя в это время (то есть к концу десятилетия) было самое счастливое. Хандра, временами посещавшая его в Париже и Женеве, была забыта надолго, и порой свое настроение он характеризует словами: „В душе моей небо и рай“». «У меня теперь в Риме мало знакомых, вернее почти никого (Репнины во Флоренции), но никогда я не был так весел, так доволен жизнью...» «...Я не скажу, что я здоров, — сообщает Гоголь в письме к Жуковскому уже в 1841 году. — Нет, здоровье, может быть, еще хуже. Но я более, нежели здоров. Я слышу часто чудные минуты, чудной жизнью живу, внутренней, огромной, заключенной во мне самом, и никакого блага и здоровья не взял бы».

Не ясно ли, что последние четыре года (1838, 1839, 1840 и 1841-й) не только нельзя считать периодом особенного усиления «депрессивного невроза», но, наоборот, это необычно долгий период сравнительной душевной бодрости и подъема, лишь отчасти нарушаемого болезнью. А если вспомнить вдобавок, что, по словам самого д-ра Бажено-

ва, уже в начале 30-х годов душевная болезнь Гоголя вырвала у него целый год жизни, то мы должны будем признать, что какая-то сила ворвалась в развитие болезни, ослабляя ее успехи и совершенно нарушая ее «циклическость».

Какая это сила — совершенно ясно. Именно в эти годы Гоголь заканчивал первый том самого важного из своих созданий — «Мертвые души» — течение которого уже совершенно определилось...

Художественная идея, уже нашедшая свой образ, обладает чем-то вроде собственной органической жизни, движется дальше по собственным законам. Созерцание этого стройного движения — процесс почти стихийный, служащий для творца источником высокого удовлетворения. Не забудем, что, по точному показанию Гоголя, первые его юмористические образы даже рождались в минуты душевного угнетения. Теперь, когда окрепшее воображение гения несется в сильной струе живой художественной идеи, его творчество является могучей оздоравливающей силой... Таинственный недуг, все значение которого в

вызываемом им душевном угнетении, отступает перед потоком необыкновенного подъема, плавно стремящимся к намеченной цели...

В это время в Гоголе назревали уже идеи «Переписки». В письмах к великосветским друзьям, к «благодатным» Аннам Михайловнам или «благоуханнейшим» Александрам Осиповнам звучали уже странные мысли; слог писем — деланный, искусственный, то напряженно-учительный, то неприятно смиренный и слащавый... А чудное художественное произведение подвигается глава за главой в собственном цельном стиле, точно светлое здание над болотистой и мгlistой равниной. И нигде в этом создании не заметно ни малейшей трещины. Гениальный смех совершал над туманами свой неудержимый полет. И ни разу его крыло не сделало неверного или слабого взмаха...

VI

И вот победа одержана: в ноябре 1841 года первая часть «Мертвых душ» была закончена. Гоголь почувствовал себя переполненным какой-то возвышенной радостью и придал ей

формы, согласные с укоренявшимися в нем мистическими идеями. «Шлю тебе братский поцелуй, — пишет он Данилевскому, — и молю бога, да снидет на тебя хотя часть той свежести, которою объемлется ныне душа моя, восторжествовавшая над болезнями хворого тела»[22].

Он одержал великую победу духа над слепой силою непонятого недуга, он создал великое творение и веяние спасительного гения считает признаком особенной, лично на него направленной, благодати Провидения. Он допускает даже, что теперь эта благодать непосредственно изливается от него на других. «Я думал о тебе, — пишет он больному Языкову месяца за два до окончания „Мертвых душ“, — и мысли мои были светлы...» «Несокрушимая уверенность насчет тебя задела в мою душу... Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: „верь словам моим“. Есть чудное и непостижимое... Отныне взор твой должен быть светло и бодро устремлен горе: для сего была наша встреча...»[23]. «Теперь самое главное — крепитесь! — советует он художнику Иванову, — идите бод-

ро! Не падайте духом, иначе будет значить, что вы не помните и не любите меня: а *помнящий меня несет силу и крепость в душе*»[24]. По адресу друга своего Данилевского он часто выражается еще решительнее: «Но слушай: теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы *то ни было, не слушающему моего слова...*» «Властью высшего облечено отныне мое слово...»[25] «Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, и при одном уже твоём напоминании *отделится сила в твою душу. Иначе не сильна дружба и вера, обитающая в душе твоей!*»[26] И даже В. А. Жуковскому он обнадеживает: «Ждите меня! Много расскажу вам прекрасного. Если вы смущены чем-нибудь и что-нибудь земное и преходящее вас беспокоит, то *будете отныне тверды и светлы верою в грядущее...*»[27]

Экзальтация Гоголя может быть понята и без предположений о религиозной мании: религиозное настроение было ему присуще с детства, и теперь он только облакает в привычные формы переполняющее его благодат-

ное ощущение «победы духа» над угнетением и страхом смерти. Гордый, радостный, уверенный в своей силе, он едет в Петербург с рукописью «Мертвых душ». В ней, по-видимому, нужно было еще кое-что закончить, а затем печатать ее Гоголь думал в Москве. «Да, другой, я глубоко счастлив!.. — писал он из Рима С. Т. Аксакову, — создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои... Здесь явно видна святая воля бога: подобное внушенье не происходит от человека... О, если бы еще три года с такими свежими минутами...» Теперь ему нужно спокойствие «и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души. Меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович (Щепкин) и Константин Сергеевич (Аксаков)... Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе заключено сокровище»[28].

К сожалению, московская цензура не поцеремонилась с «хрупкой вазой», и на родине

больного писателя, так боязливо оберегавшего свою душу от заграничных впечатлений, ждали более сильные впечатления русской жизни. Письма этого времени из Москвы — это настоящий стон гения, спустившегося с высот творчества на родную землю и терзаемого властным невежеством и самодурством.

«Как только Голохвастов (исполнявший обязанности президента моек. ценз. комитета) услышал название „Мертвые души“, — писал Гоголь П. А. Плетневу в январе 1842 года, — то закричал голосом древнего римлянина: „Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна. Мертвой души не может быть. Автор вооружается против бессмертия!“ В силу, наконец, мог взять в толк умный президент, что дело идет о ревизских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк, вместе с ним, и другие цензора, что „мертвые“ значит ревизские души, произошла еще большая кутерьма. „Нет! — закричал председатель, а с ним и половина цензоров, — этого и подавно нельзя позволить... Это, значит, против крепостного права“. На замечание цензора Снегирева, что в книге „о крепостном праве нет и

намеков, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям“, — последовали новые возражения: „Предприятие Чичикова, — стали кричать все, — есть уже уголовное преступление“. — „Да, впрочем, и автор не оправдывает его“, — замечает опять Снегирев. „Да, не оправдывает, а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души...“ — „Что ни говорите, — сказал молодой цензор Крылов, побывавший недавно за границей, — цена два с полтиной, которую Чичиков дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого; хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это — душа, душа человеческая; она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии, и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет!..“» В одном месте цензуру остановило то обстоятельство, что «один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе». — «Да ведь и государь строит в Москве дворец», — сказал по этому поводу цензор Каченовский.

«Тут... — прибавляет Гоголь, — завязался у цензоров разговор единственный в мире и... дело кончилось тем, что рукопись оказалась запрещенной, хотя комитет прочел только два-три места»[29].

«Невероятная глупость» цензурного синклита так поразила Гоголя, что он предположил какую-то особенную, направленную лично против него интригу. «Цензора не все же глупы до такой степени», — замечает он совершенно справедливо, забывая только, что цензура в целом очень часто бывает глупее своего среднего состава. И это потому, что ее действия определяются не аргументами самых умных из подчиненных (как, например, в данном случае Снегирева), а страхом перед самыми глупыми из власть имущих...

Совершенно понятно, какое действие должно было произвести это бессмысленное запрещение на хрупкую душу писателя. «Принимаюсь за перо писать тебе, — говорит он в письме к В. О. Одоевскому (янв. 1842 г.), — и не в силах... Я очень болен и в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Прodelка и причина запрещения — все смех и комедия... Но у

меня вырывают мое последнее имущество...» [30] «Я был так здоров, когда ехал в Россию, а здесь от всех этих неприятностей стал опять болен такими страшными припадками, каких еще не бывало...» [31] «Припадки, которые было совершенно оставили меня вне России, теперь возвратились» [32]. В письме к М. П. Балабиной, в переписке с которой Гоголь часто прибегал к шутливым формам, он говорит (1842 г.): «Много глупостей, мне самому непонятных, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно — в этой голове нет ни одной мысли, и, если вам нужен болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку, я весь теперь к вашим услугам. Вы можете надеть на меня и шляпку, и все, что хотите, и можете с меня сметать пыль, мести у меня щеткой под носом, и я не чихну, даже не фыркну, не пошевелюсь...» [33]

Из письма к министру народного просвещения Уварову видно, что эти цензурные истязания длились целые месяцы: «Милостивый государь, Сергей Семенович, — говорит великий писатель властному министру. — Все мое имущество и состояние заключено в

труде моем. Для него я пожертвовал всем, обрек себя на строгую бедность, на глубокое уединение, терпел, переносил, *пересиливал, сколько мог, свои болезненные недуги*, в надежде, что, когда совершу его, отечество не лишит меня куска хлеба и просвещенные соотечественники преклонятся ко мне с участием, оценят посильный дар, который стремится всякий русский принести своей отчизне. Я думал, что получу скорее ободрение от правительства, доселе благородно ободрявшего все благородные порывы, и что же?..

Вот уже пять месяцев меня томят мистификации цензуры, то манящей позволением, то грозящей запрещением, и, наконец, я уже сам не могу понять, в чем дело...» «Подумайте: я не предпринимаю дерзости просить воспомоществования и милости, я прошу правосудия... У меня отнимают мой единственный, мой последний кусок хлеба...»[34]

Всесильный министр, снисходивший с своей высоты до прямой вражды к писателю Пушкину, ничего не ответил на письмо Гоголя. Но через Плетнева автор был извещен, что его рукопись передана цензору Никитенке.

Наконец 9 марта 1842 года на «Мертвых душах» поставлена разрешительная помета. В цензурном пленении оставался еще некоторое время один капитан Копейкин, которому Гоголь вынужден был придать черты «дурного характера» и строптивости, чтобы было видно, что, отправив его из столицы с фельдъегерем, «высшее начальство поступило хорошо».

21 марта 1842 года одно из величайших творений русской литературы появилось в свет, и в умственный обиход читателя вошли навсегда бессмертные фигуры Маниловых, Собакевичей, Коробочек, Ноздревых и Чичиковых, чтобы уже никогда не расставаться с воображением всякого грамотного русского человека...

А автор, в процессе великого создания почти исцелившийся от душевного угнетения («припадки было совершенно оставили меня»), увозил опять за границу свой «хрупкий состав», вновь тяжко израненный российской цензурой, чтобы приняться за новую работу, с которой так тесно была связана его личная судьба. Эта работа была вторая часть «Мерт-

ВЫХ ДУШ»...

VII

Здесь критический момент рассматриваемой нами трагедии, ее поворотный пункт... Гоголь, как былинный герой, стоит на распутье перед двумя различными дорогами.

Первую часть своего великого труда он выполнил превосходно. Его книга вся точно отлита из однородного металла, и к концу первого тома (за исключением некоторых страниц) он дошел тем же твердым шагом великого и уверенного художника. Сцена с Ноздревым на балу у губернатора, зловещий проезд по спящим улицам города дребезжащего тарантаса помещицы Коробочки, смятение чиновничьего мира, разговор двух дам, поведение Собакевича при расспросах прокурора о продаже мертвых душ, смерть этого губернского сановника и встреча уезжающего Чичикова с похоронной процессией — все это проникнуто истинно гоголевской силой воображения, а юмор его одновременно звучит и смехом, и небывалой высотой какого-то особенного скорбного раздумья.

Итак, до самого порога дальнейшей своей

работы Гоголь принес все ту же силу таланта, и душевное состояние его, временно, правда, ослабленное терзаннями московской цензуры, было лучше, чем при самом начале работы... Появление книги вновь подняло его настроение, и некоторые самоуверенно благодатные письма, приведенные нами выше (напр<имер>, к Жуковскому), помечены уже маем 1842 года...

Наконец, и в тех обрывках, которые остались нам от второго тома «Мертвых душ», встречаются опять превосходно набросанные фигуры: Петр Петрович Петух, генерал Бетрицев, отчасти предшественник Обломова Тентетников, отчасти также помещик Кашкарев с его бюрократической сельской экономией... Не надо забывать, что это только эскизы и что в окончательной редакции герои первого тома тоже сильно отличались от первоначальных набросков... Павел Иванович Чичиков, заехавший «для познания всякого рода вещей» в новые места и к новым людям и очутившийся в роли устроителя чужого счастья, — сверкает все той же обворожительной разносторонностью и находчивостью.

Наконец, новый пейзаж, среди которого знакомый нам тарантас, «в каких ездят холостяки», с кучером Селифаном и лакеем Петрушкой на козлах, появляется опять в пределах нашего зрения, — набросан смелыми, широкими и совершенно новыми чертами...

Философия первого тома в главных своих чертах являлась тоже здоровой философией смеха, признающего свое право и с горечью отмечающего предрассудки общества. Кто не помнит замечательной параллели между сатириком и «лирическим писателем», который прославляет национальные добродетели и льстит национальному самолюбию: «Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печально своею действительностью, приближается к характерам, являющим высочайшее достоинство человека, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям... Вдвойне завиден прекрасный удел его... далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, со-

крыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека... Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел, другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед глазами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную тину мелочей, опутавших нашу жизнь... Ему не собрать народных рукоплесканий; ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головой и геройским увлечением... ему не избежать, наконец, современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные создания... отнимет у него сердце и душу и божественное пламя таланта. Ибо не признает современный суд, что *высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением...*»

Трудно яснее выставить «права высокого восторженного смеха» по сравнению с «упойтельным куревом» лирической лести. Есть и еще несколько мест, в которых Гоголь высказывает те же мысли. Между прочим, он зло смеется над чисто маниловским спросом на

«добродетельного человека» и сознательно дразнит читателя образом своего «героя»:

«Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям... Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: „Фи, какой гадкий!“ Увы! Все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека...» «И можно даже сказать почему: потому что пора, наконец, дать отдых добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово *добродетельный человек*, потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая кнутом и всем, чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет в нем и тени добродетельного человека, а остались только кости да кожа... Нет, пора, наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!»

Но уже в первом томе рядом с этими взглядами, подсказанными сознанием своего сти-

хийного гения, порой даже в непосредственном соседстве с ними, стоят другие, прямо противоположные взгляды. Так, тотчас же за словами о правах «великого восторженного смеха» следуют такие строки:

«И долго еще определено мне чудною властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадную несущуюся жизнь сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы. И далеко еще то время, когда *иным ключом грозная вьюга вдохновения подыметя из облеченной в священный ужас и блистанье главы и почуют в священном трепете величавый гром других речей...* В дорогу! В дорогу!»

А вслед за сарказмом по адресу «добродетельного героя» какое-то роковое побуждение диктует Гоголю следующие чисто «лирические» обещания:

«...Но, может быть, в сей же самой повести почуются иные, доселе еще не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, *пройдет муж, одаренный божескими доблестями*, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной

красотой женской души, вся из великодушно-го стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все добродетельные люди иных племен, как мертвая книга перед живым словом!»

Итак, на одной и той же странице Гоголь дает всенародное обещание послужить тому, над чем тут же так зло смеется. На пороге новой работы, новой борьбы и, быть может, новой победы в душе великого писателя уже готов роковой разлад между самыми коренными свойствами его таланта и заблудившейся в умственном одиночестве мыслью.

VIII

Есть одно произведение Гоголя, далеко не лучшее в художественном отношении, но чрезвычайно характерное для выяснения некоторых его взглядов на задачи искусства. Оно дает также ключ к уяснению его трагедии как писателя.

Это «Портрет». Написан он еще в 30-х годах, много раз значительно переделывался и появился в окончательном виде в начале 40-х годов, то есть в то самое время, когда Гоголь закончил первую часть «Мертвых душ» и го-

говился ко второй. Таким образом, мы имеем здесь как бы художественную исповедь Гоголя на пороге новой работы. Это — увы! — те же взгляды, которые мелькали в настроении Гоголя уже во время первого представления «Ревизора», определялись с годами и выразились окончательно в «Портрете» и «Переписке с друзьями».

Талантливый молодой художник получает заказ: написать портрет ростовщика, которого все население Коломны считает колдуном, чем-то даже вроде антихриста. Художник соглашается, но по мере работы чувствует непонятную тяжесть, которая мешает ему воспроизводить интересную натуру. Портрет пугает его самого поразительной правдивостью изображения. В конце концов он бросает свою работу, успев вполне закончить одни глаза; зато эти глаза глядят с полотна, тревожат и не дают покоя. Ростовщик с непонятною страстностью умоляет художника закончить его изображение. От этого зависит его жизнь. В портрете он будет жить мистической жизнью. Теперь ему предстоит жить только наполовину. Художник решительно

отказывается, портрет остается незаконченным, и колдун умирает. Но его предсказание исполняется: портрет переходит из рук в руки, принося несчастье и гибель, порождая вокруг себя дурные стремления.

Сознавая, что своей гибельно-правдивой картиной он совершил тяжкий грех, художник удаляется в далекую пустыню и делается монахом. Узнав, что в мире он был живописцем, настоятель предлагает ему написать за престольный образ богоматери. Художник отказывается: *слишком реальным и правдивым изображением зла* он осквернил свой талант и теперь не способен к высокому идеальному творчеству, которое одно является целью искусства. Ему нужно предварительно очиститься от этого великого греха. Только после трудных духовных подвигов он приступает к работе и создает чудное святое произведение, после чего и сам являет все признаки святости... Сыну, тоже художнику, который разыскал его незадолго перед смертью, этот святой старец преподает высшую мораль искусства. Для него нет ничего низкого. «Исследуй, изучай все, что ни увидишь, покори все своей

кисти. Но во всем умеи находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания». Задача искусства в примирении... «Для успокоения и *успокоения* всех нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может *поселить ропота* в душу, но звучащей молитвой стремится вечно к богу... Но есть минуты... темные минуты...»

Инок рассказывает сыну о великом преступлении своей кисти, когда он «насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, *быть верным природе*. Это не было создание искусства, и потому чувства, которые объем лют всех при взгляде на него, суть уже *мятежные чувства*, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем»... Инок заключает свой рассказ просьбой: если сыну случится увидеть этот роковой портрет, при создании которого он старался быть верным природе без мысли о примирении, — он *должен его уничтожить*.

В этом варианте, который, нужно сказать, сильно попортил первоначальную редакцию «Портрета» в художественном отношении, мы видим настроение Гоголя в самый крити-

ческий период его жизни. В «Ревизоре» и в «Мертвых душах» он изобразил тогдашнюю Русь, и она взглянула на всех тем же страшным взглядом, едва прикрытым покровом смеха, каким портрет даже сквозь занавес глядел на бедного Чарткова. И эта страшная правда не несла примирения. Наоборот, она будила в современниках «смятение и мятеж»... Он, как его художник-инок, считает это тяжким грехом. Ему тоже предстоит сначала искупить этот грех покаянием, а затем «высоким произведением искусства» примирить смятенные души своих соотечественников со всем, что он осмелял ранее...

Если же это не удастся, то... он, по завету святого инока, уничтожит собственное произведение.

Таким образом, ко времени работы над вторым томом Гоголь окончательно осудил свои «несовершенные» и грешные произведения, которые могут быть оправданы лишь тогда, когда он сумеет вновь возвеличить Россию в целом. Первая часть «Мертвых душ» должна служить лишь преддверием величественного Пантеона российских добродете-

лей.

К этому глубокому разладу между органическими склонностями сатирического гения и глубоко ошибочным взглядом на задачи искусства присоединился другой, тоже роковой мотив. «Мысль о службе, — писал Гоголь в „Исповеди“, — никогда меня не покидала». Одно время он мечтал, что для него создадут какую-то особую, небывалую должность «примирителя». Но, во-первых, такой должности по штатам не полагалось, а во-вторых, Гоголь пока еще ничем не доказал, что он может занять эту должность с успехом. Гоголь окончательно покидает мысль о «службе» в обычном значении этого слова и приходит к заключению, что его великий дар сам по себе есть тоже вольная служба. И он стал смотреть на себя как на состоящего уже фактически на этой службе.

Кому? Конечно, государству. Идея «общества» и народа как самостоятельных элементов нации тогда еще не определилась. В начале столетия Павел Петрович считал, что самое слово «общество» выражает понятие крамольное, занесенное с Запада и что его мож-

но уничтожить простым изгнанием из лексикона. В дореформенной России были чиновники, военные, были помещики, которые рассматривались как сорок тысяч деревенских полицмейстеров; был, наконец, простой народ, безгласный, безличный и порабощенный. Начиная снизу, где помещик являлся патриархальным владыкой с неограниченным фактически правом над судьбой крестьян, и доверху — Россия представляла огромное поместье, с верховным патриархом-государем на вершине. Служить этому государству значило, в сущности, состоять «на царской службе». Гоголь и считал поэтому, что со своим художественным гением он должен стать чем-то вроде «писателя Его Императорского Величества».

Служба предполагает, конечно, жалование по праву. И действительно, в 1837 году Гоголь, работавший в Риме над «Мертвыми душами», пишет Жуковскому: «Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся при нашей церкви... Найдите случай указать как-

нибудь государю на мои повести: „Старосветские помещики“ и „Тарас Бульба“... Все недостатки, какими они изобилуют, вовсе неприметны для всех, кроме вас, меня и Пушкина... Если бы их прочел государь. Он же так расположен ко всему, где есть теплые чувства...»

Уже в самом выборе повестей, которые Гоголь предлагает вниманию государя, заметна, кроме некоторого пренебрежения к нему как к ценителю, также и система: царь уже знал «Ревизора» и даже очень верно оценил его силу (известна его историческая фраза, сказанная после первого представления: «Досталось всем, а больше всех мне»). И, однако, служебные права свои Гоголь видит не в «Ревизоре» и даже не в «Мертвых душах», над которыми работал, а в теплых, то есть «примиряющих чувствах». Это условие писательской службы, как мы видели, совпадало со взглядами самого Гоголя, которые, быть может, и выработались отчасти под влиянием представления о службе «государству» в лице такого государя, каким был Николай I.

«Шекспиры и Мольеры, — говорит его инок-художник, — процветали под велико-

душным покровительством, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских...» «Государям *нужно отличать поэтов, ибо один только мир и благодатную тишину* низводят они в душу, а не волнение и ропот». Поэтому «ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне. Ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя».

В ноябре того же года Гоголь радостно сообщает, что его обращение услышано, и пять тысяч рублей, жалованные великодушным государем, дадут ему возможность работать полтора года. Через некоторое время по выходе первого тома, когда (вследствие запоздания выхода книги) Гоголь опять чувствовал нужду в деньгах и среди знакомых возникла мысль о новом обращении к государю, — умный Катенин не советовал Гоголю обращаться к этому источнику. «Тут каждая копейка обратится в алтын», — говорил он предостере-

гающе, разумея, конечно, те идейные обязательства, которые заключаются в самом факте обращения. Наоборот, самый близкий Гоголю человек великосветского круга, А. О. Смирнова, горячо рекомендует ему это средство, откровенно подчеркивая его характер. «На эту помощь, — говорит В. И. Шенрок, — Смирнова смотрела как на предоставление Гоголю возможности окончить „Мертвые души“ (в *новом направлении*)». «Мне как-то делается за вас страшно, — писала она, — смотрите, не скройте вашего таланта, то есть того, *настоящего*, вам богом данного не даром. Не оставьте нам только первые плоды незрелые или выходы сатирические огорченного (!) ума...» В другой раз она писала еще резче: «Ваши грехи уже тем наказаны, что вас непорядочно ругают и что вы сами чувствуете, *сколько мерзостей вы пером написали*».

Замечательно, что такого же взгляда держался даже... Жуковский, прекраснодушный поэт, плававший в то время в атмосфере великосветского благоволения. Он только защищал перед высшими кругами «добрые намерения» Гоголя[35].

Итак, очевидно, автор «Ревизора» и «Мертвых душ» в глазах влиятельных и высокопоставленных лиц был все еще только творцом незрелых плодов огорченного ума, написавшим до тех пор почти только «мерзости», требующие искупления. Едва ли можно сомневаться, что эти отзывы придворных кругов были отголосками мнений государя. Николай I был человек цельный. Он готов был признать, что гениальные писатели действительно полагаются по штату в благоустроенном государстве как одна из изящных принадлежностей короны. Ввиду этого он приковал Пушкина к придворному этикету и делал подарки Гоголю. Но писатели — народ недисциплинированный. Когда умер Карамзин, царь осыпал щедротами его семью. Жуковский попросил того же для семьи убитого на дуэли Пушкина. Николай ответил, что тут есть разница: «Карамзин умер, как ангел», а Пушкин и жил, и умер строптивцем. Гоголь тоже не совсем годился в бриллианты. Он все только обещает прославить российскую державу, а пока с его произведений глядят страшно правдивые и мрачные глаза рабской и тем-

ной страны... И потому, когда Гоголь умер, а Тургенев позволил себе в печатном некрологе назвать его великим писателем, то он был арестован, а затем выслан с фельдъегерем в свое имение.

Но это было впоследствии, а пока гениальный сатирик — впрочем, по собственному вызову и согласно своему теоретическому пониманию искусства — принимал своеобразную командировку в страну примиряющего идеализма с целью принести оттуда новые украшения российской короне и российскому «государству»...

А Пушкин, который «чуть не плакал от горя и злости» на представлении «Ревизора» и в этом горе и в этой злости видел великое значение гоголевского смеха, — был уже в могиле. Его погубила та же великосветская среда, которая теперь убеждала Гоголя отречься от своего смеха, то есть от своего гения и от своей жизни.

IX

В «Исповеди» Гоголь говорит прямо, что в продолжении «Мертвых душ» он имел в виду развить в образах те идеи, которые изложены

в переписке с друзьями: «Я имел неосторожность заговорить в ней кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице введенных героев повествовательного сочинения»[36]. Поэтому нам остается хоть немного остановиться на идеях этой книги, которую теперь пытаются вновь реабилитировать и которая в действительности сыграла такую печальную роль в гибели гоголевского таланта...

Борьба с индивидуальными пороками и уважение к самым основам рабского строя — такова, несомненно, общая «гражданская» идея этой книги. Поле борьбы — каждая отдельная человеческая душа. Что же касается до основ самого строя, то здесь все должно остаться неприкосновенным. Начальник и подчиненный, раб и помещик должны стать добрыми христианами — в этом и только в этом решение вопроса. Рабская зависимость хорошего мужика от превосходного помещика не есть зло и не унижает человеческого достоинства в том и другом.

Правда, даже в той уединенной часовне, в какую Гоголь превратил свою жизнь за границей и куда имели доступ не только явные

друзья его «личности», но злейшие враги его таланта, — он не мог не слышать отголосков того, что уже назревало в русской жизни. Атмосфера дореформенной Руси была уже полна смутной тревогой, как это бывает перед грозой, когда на томительно ясном горизонте не видно еще никаких признаков близкой бури, но в воздухе уже разлито беспокойство и напряжение. В «Исповеди» он нашел для этого напряжения очень яркие слова:

«Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным, — говорит он, — все чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, даже не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе... Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении, как себя, так и других, делается общеою... Всяк чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние».

Гоголь, конечно, не может не видеть, что и в общественной, а не только в частной жиз-

ни есть много несовершенств, что в ней господствует тот «вихрь возникших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро». Видит он также «повсеместное помрачение и всеобщее уклонение всех от духа земли своей», «видит бесчестных взяточников и плутов, продавцов правосудия и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело»... Он признает даже больше: «во многих местах незаконный порядок обратился почти в законный», а это уже несомненный признак разложения самого государства, делающий понятным возрастание общего недовольства. Но ему кажется, что все это трагедия не общества, задержанного в своем развитии и начинающего сознавать безнравственность существующих форм жизни, а только драма отдельных душ, лично уклонившихся от добродетели.

Отсюда та глубокая трещина в настроении великого художника, которая обнаружилась после первого представления «Ревизора». Гоголя испугало то, что многие видят в его комедии попытки осмеять не только пороки, но

и лиц и даже (о ужас!) самые должности. «„Ревизор“, — писал Гоголь впоследствии В. А. Жуковскому, — был первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желание осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня намерение было осмеять только самоуправное отступление некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка». «Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной того, что меня не поняли».

Такая сатира совершенно не входила в его сознательные планы. В действительности в России все превосходно, и в письме к занимающему видное место (губернатору, мужу А. О. Смирновой-Россет) Гоголь предостерегает его от стремления к каким бы то ни было переменам. По его мнению, «чем более всматриваешься в организм управления губернией, тем более изумляешься мудрости учредителей. Слышно, что сам бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в

добрых действиях, подавая друг другу руку, и останавливать *только на пути к злоупотреблениям...* Всякое нововведение тут ненужная вставка»[37].

На протяжении всей переписки Гоголь развивает эту мысль о совершенстве, неприкосновенности и святости тогдашнего строя (который сам «бог строил руками государей»). Дворянство есть «сословие в истинно русском ядре прекрасное»... «Дворянство есть как бы сосуд, в котором заключено нравственное благородство». Ему предстоит воспитать крестьянское сословие таким образом, чтобы оно стало «образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не в шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезли повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о *преимуществах нашего крестьянского быта*, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних для их улучшения» (177). Учреждение должности прокурорской тоже приводит Гоголя в умиление, а глава о «сельском суде и расправе» включает в себе совет судить всякого двойным судом.

Один суд должен быть человеческий, другой же суд сделайте божеский (!) «и на нем осудите и правого, и виноватого»... Именно так, как весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городского солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи» (154).

Во многих письмах Гоголь прямо иронизирует над «страхами и ужасами России», стоявшей уже у порога катастрофы. «Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях, — пишет он „губернаторше“ (А. О. Смирновой), — и не знаю, кто чем болен...» «Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то угрожающего в будущем, — поучает он „близорукого приятеля“, мечтающего о каких-то финансовых реформах. — Ты горд, ты самоуверен... Ты думаешь, что все знаешь... Моли бога, чтобы случилась тебе какая-нибудь крупнейшая неприятность (на службе)!..» Она «будет твой истинный избавитель и брат...» [38].

Таким образом, необыкновенно яркая фраза Гоголя о том, что «мир в дороге», является, в сущности, недоразумением. Мир не в дороге, мир должен остаться на месте. В дороге только отдельные пизэтически вздыхающие души, которые должны, однако, заботиться о том, чтобы в своем движении не нарушить как-нибудь предустановленного совершенства существующего строя. Он убежден даже, что самая тревога, которая больше и живее чувствуется именно в рабской России, указывает не на большие грехи русского строя, а лишь на большее совершенство русской души. Вздохи своих знакомых великосветских пизэтистов он принимает за признаки и средства общественного оздоровления. Общее спасение не в отрицании, не в критике, не в его гениальном смехе, не в реформах. Общее спасение в службе существующему строю: «Всяк должен спасать себя в самом сердце государства. На корабле своей должности службы должен всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, должен теперь вступить на службу» (156)[39].

В этой глубокой уверенности Гоголь принимается даже пророчествовать, и в письме к графине С-ой он предсказывает, что еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках.

Х

Гоголь был удивлен действием, какое произвела на всех читателей неожиданная исповедь... Уже из этого болезненного удивления видно, до какой ужасающей степени дошло его отчуждение от истинного движения умов и душ в среде тогдашнего читающего и мыслящего русского общества.

Теперь, по истечении шести десятков лет, мы уже не можем ошибаться в вопросе, что составляло главную причину замеченного и Гоголем настроения и откуда происходило ощущение, что «мир в дороге». Для нас ясно также, куда пролегла эта дорога: первым ее этапом должно было стать *освобождение крепостных* от рабства, а русского общества — от крепостнических форм жизни; что именно в этой стороне лежала *идеальная линия* то-

гдашнего движения — это теперь уже не вопрос взглядов или партий; это *объективная историческая истина*, которую не смеют уже оспаривать даже наши Собакевичи и Маниловы.

С большей или меньшей ясностью это чувствовали современники Гоголя, и в эту именно сторону обращались все взгляды, у одних со страхом, у других с надеждой. Государство объявило институт рабства одним из своих устоев... Очевидно, идеальная линия пролегла также через отрицание современного государственного строя...

Идеалы, вообще говоря, достижимы лишь в бесконечности, то есть реально не достижимы. Но идеальное постоянно просачивается в нашу жизнь, откладываясь в общественных формах. Его «предчувствие» веет на небосклоне каждого поколения, как облачный столб перед Израилем в пустыне. Только легендарный столб был поставлен извне. В действительности он слагается из неопределенных общих желаний и предчувствий, из новых, только рождающихся мыслей лучших умов, из задушевных стремлений лучших сердец.

И все эти атомы общественного творчества невидимо слагаются в идеальный образ, веющий, как знамя, на умственном горизонте поколений...

Для поколения 40-х годов прошлого века эти идеальные формы были не вполне еще определены и ясны. Русское общество не имело никаких форм для их проявления. Литература была задавлена гнетом цензуры и по разным причинам облекала свои стремления в туманные метафизические формулы. Положительное определение освободительных идей было невозможно. С тем больше силой они искали отрицательного выражения... Как иудеи в ассирийском плену, молодая русская интеллигенция заботилась об одном: ни словом, ни намеком не присоединяться к преклонению перед идолами чужой, торжествующей веры. *Отрицание* становилось началом почти религиозным...

Оно стало господствующим настроением всего живого и мыслящего в России. Известен, между прочим, такой факт из биографии В. Г. Белинского. Запутавшись в гегелевской философии, он принял формулу о «ра-

зумности действительного». Под «действительным» по этой терминологии разумелось все, что веками стихийных процессов выросло из почвы, слагаясь коллективным разумом народов как бы без вмешательства чисто рациональных процессов и критики. Перед силой этой «действительности» все умствования отдельных людей и протесты отдельных совестей являются детски легкомысленными и преступными... С этой точки зрения республика Северо-Американских Штатов с ее избираемым президентом — есть «призрак». Только монархия, возникшая в тьме стихийно-исторических процессов, — есть реальная личность. «Образ государя есть личность государства», и подданный не может служить отечеству иначе, как служа государю. Само же государство «не имеет причины в нужде и пользе людей: оно есть самоцель, в самом себе находящая причину»[40].

Как видите, это очень близко к идеям «Переписки», но Белинский жил среди постоянного кипения мысли и споров в просыпавшемся и живом обществе. Впоследствии он не мог без глубокого страдания вспомнить об

этих своих статьях, и с тем большею страстностью обрушился на «Переписку».

Биографы Белинского отмечают следующий характерный эпизод. Около того времени, когда появились эти статьи о преклонении перед действительностью, ему хотели как-то представить в одном обществе молодого инженерного офицера. «Это автор статьи о Бородинской годовщине?» — спросил офицер и, получив утвердительный ответ, сухо отказался от знакомства. Белинский, слышавший этот разговор, сам быстро подошел к молодому человеку и горячо пожал ему руку: «Вы благородный человек, я вас уважаю», — сказал он с обычной своей прямоотой. Теперь в молодом инженере он почувствовал единомышленника по своей новой религии, и эта религия было страстное «отрицание действительности».

В 1846 году Ив. С. Аксаков, объезжавший Россию, писал родным о настроении тогдашнего общества: «Имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни.

„Мы обязаны Белинскому счастьем“, — говорили мне везде молодые, честные люди в провинции». И затем Аксаков прибавляет: «Если вам нужно честного человека, способного страдать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя, *который полез бы на борьбу*, — ищите таковых между последователями Белинского...»

И, наверное, впоследствии на столе у каждого такого молодого человека, наряду с портретом автора «Ревизора» и «Мертвых душ», можно было найти письмо Белинского к автору «Переписки». Гоголь сильно ошибался в оценке современности, когда думал, что «молодой восторг» его современников устремлялся только навстречу «лирическому поэту», окуривающему читателя упоительным куревом лести. Нет, всему молодому, восторженно-героическому в тогдашней России был дорог отрицатель-критик и гениальный поэт-сатирик. Молодой России нужен был именно смех Гоголя, беспощадный до конца. От упоительного курева даже гоголевской идеализации она отвернулась с негодованием.

Теперь нам остается проследить до конца печальный последний акт трагедии, связанной со вторым томом великого произведения...

Перед нами опять дорога, опять знакомый тарантас с Петрушкой и Селифаном на козлах. И в тарантасе все та же благополучная фигура Павла Ивановича Чичикова, отправляющегося «для познания всякого рода мест» в новые страны.

И кругом опять все та же бедность и бедность и несовершенства нашей жизни.

Павел Иванович пережил в уездном городе некоторые тревоги, и, кроме того, он имеет основание чувствовать себя несколько обиженным автором, который сообщил в конце первого тома его биографию.

И в самом деле, даже сторонний читатель чувствует, что в этой биографии Гоголь не вполне справедлив к своему герою: после нее так хорошо знакомое лицо Павла Ивановича как будто слегка изменилось, или, вернее, точно кто-то, к большому вреду Павла Ивановича, подменил его послужной список. Из человека умеренной полноты и приятной на-

ружности он превращен в какого-то мрачного злодея: с самой юности он проявляет совершенно исключительную черствость души по отношению к учителю и благодетелю. А затем пускается в самые рискованные, чисто даже уголовные предприятия... Мы знали только, что Павел Иванович где-то и как-то «пострадал за правду». Теперь мы узнаем, что это было в таможенном ведомстве. В этом ведомстве, как и всюду в те времена, царили известные порядки, которые, впрочем, никто не считал предосудительными. Но вдруг, благодаря «несчастной случайности», был назначен на место начальника «человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой». К тому же этот строгий начальник был совершенно бестолков и не знал порядков гражданского управления. «На другой же день он пугнул всех до одного, увидел на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры (настроенные взяточниками), и пошла переборка...» «Чиновники отставлены, дома красивой гражданской архитектуры поступили в казну», одним словом,

«все распущено в прах!»

И прежде всех пострадал Чичиков. Пострадал глупо, случайно: «Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику... Иногда, — замечает автор, — просто бывает это без причины». И вот Павел Иванович вылетел со службы. И без сомнения, всякий средний чиновник обычной тогда добродетели, то есть как и Павел Иванович, не очень тонкий, но и не то чтобы очень толстый, с величайшим сочувствием выслушал бы историю о том, как человек пострадал за правду, тем более что затем весь поход закончился бестолково и бесплодно. Так как военный человек был, естественно, совершенный невежда в деле гражданском, то через некоторое время очутился «в руках еще больших мошенников, которых он вдобавок не почитал таковыми и даже хвастался не в шутку тонким умением различать способности. Чиновники вдруг постигли дух его и характер, и все, что ни было под его начальством, сделалось страшными гонителями неправды...» И все, конечно, быстро затянулось прежним налетом, как затягивается крыловское болото, в

которое шлепнулся с неба владыка-чурбан... Если бы сюда прибавить еще преследование этой добродетельной шайкой тех немногих людей, которые действительно пытались бороться за закон и правду, то перед нами была бы схема, пригодная, пожалуй, и для нынешних дней...

Но автору было почему-то недостаточно этой умеренно плутовской истории для характеристики своего героя, и он привлекает еще историю с каким-то наследством; для нее требуются уже не только подлоги, но и чрезвычайно рискованные переодевания и тому подобные предприятия, как будто уже не вполне свойственные солидному Павлу Ивановичу. И вдобавок, совершив все это, аккуратный Павел Иванович напивается пьян, ссорится в пьяном виде со своим сообщником, называет его поповичем, чем и вызывает со стороны этого сообщника донос.

Итак, Павел Иванович Чичиков — не только злодей, но и пьяница. И это тот самый Чичиков, вполне благопристойный и приличный, который «никогда не позволял в речи непристойного слова и оскорблялся всегда,

когда в речах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию». Читателю было так приятно «узнать, что он всякие два дня переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день». И каждый раз, «когда Петрушка (со своим запахом) приходил раздевать его, — клал себе в нос гвоздичку»... И этот Павел Иванович пьяный пускается в опасную ссору!.. Нет, положительно, это какой-то другой Павел Иванович, а не тот приятный господин, не то чтобы худой, но и не очень полный во всех смыслах, с которым читатель успел уже сжиться с первого момента его появления.

Наконец, почему же непременно подлец? «Зачем быть так строгу к другим?» — может он спросить у автора его же собственными словами (из первого тома). — Ведь теперь у нас подлецов не бывает: есть люди «благонамеренные и приятные», которые просто стремятся к приобретению. «Зачем он (в самом деле) добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, непрожитое оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы оте-

чувству...»[41] Вот для чего он ухищрялся, вот для чего уподобил свою судьбу судну среди волн, вот для чего странствовал, скупая «мертвые души». А это цели вполне благонамеренные. Спросите кого угодно из средних, не то чтоб очень тонких, но и не очень толстых современников Павла Ивановича: разве это злодейство? Ведь он хотел только взять из ломбарда за мертвые души совершенно так, как бы они были живые. Из ломбарда, то есть из казны, то есть, в сущности, ни у кого...

Для знакомого нам Павла Ивановича именно эта срединность во всех смыслах: это приятная округлость форм и манер, это отсутствие углов не только в фигуре, но и в глубинах совести — являлась самой характерной чертой всего облика. Чичикову биографии как будто более шла бы хищная худоба, беспокойные манеры, настороженная алчность, беспокойно-хищные взгляды... И тогда он, пожалуй, казался бы менее страшен... Пушкин, наверное, потому и говорил: «Боже, как грустна наша Россия», что в этой дореформенной России Чичиковы были не злодеи, а просто люди, близкие к среднему бытовому

типу. Этот средний калибр Павла Ивановича Чичикова есть, быть может, самая страшная черта того «портрета» тогдашней России, которая так неприятно смотрела со страниц первого тома «Мертвых душ».

Мне кажется, что от всей биографии веет некоторой искусственностью и преднамеренностью: Гоголь как будто принижает Чичикова, чтобы подготовить контраст своих добродетельных героев, с которыми он сведет Павла Ивановича. Чичиков едет теперь от Петра Петровича Петуха к помещику Кашкареву. И при этом случайный спутник Платонов предлагает познакомить его со своим зятем... Это человек истинно замечательный, и Платонов говорит о нем, как о «первом хозяине, какой когда-либо бывал на Руси»: «Он в десять лет с небольшим, купивши расстроенное имение, едва дававшее двадцать тысяч, возвел его до того, что теперь получает двести тысяч».

«— А, почтенный человек! — (говорит Павел Иванович). — Вот такого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поучение людям... А как по фамилии?

— Скудронжогло.

— А имя и отчество?

— Константин Федорович.

— Константин Федорович Скудронжогло.

Очень приятно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека...»

Гоголь не описывает выражение лица Чичикова в эту минуту, но читатель, знакомый с Павлом Ивановичем, видит его и без описания. Глазки «будущего родоначальника» сверкают радостным оживлением, в его лице благоволение. В Константине Федоровиче Скудронжогло он чувствует нечто родственное. Это тоже «приобретатель», только на широкую ногу и вполне добродетельный. А теперь, во втором томе, нельзя уже смеяться над добродетельным человеком. Надо уважать добродетельного человека. Даже более: надо перед добродетельным человеком преклоняться. Добродетельный человек — опора общества. Он не увлекается химерами юности, не мечтает о реформах крепостного строя и смеется над умниками, которые заводят для мужиков богоугодные заведения (391), и над донкихотами, которые открывают для них школы, мешающие мужицким детям зани-

маться прямым делом... (стр. 392). Он стоит «на прочном основании». И основание это... приобретение.

Скудронжогло — настоящий идеолог приобретения. Почуввав в Чичикове родственную натуру, он с радостью дает ему десять тысяч, без процентов, без поручительства, просто под одну расписку. *«Так был он готов помогать всякому на пути к приобретению!»*[42] — поучительно заключает Гоголь «Переписки». В стиле его, теперь обесцвеченном и искусственном, находятся для добродетельного человека возвышенные обороты. То «сумрачное облако осеняет его чело», когда он видит плохое хозяйство (406), то, наоборот, изображая картину хозяйства хорошего, он «сияет, как царь в день торжественного венчания своего...» (397). И Павел Иванович Чичиков заслушивается его, как пения райской птички.

«— Сладки ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, — говорит он. — Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму!

Скудронжогло улыбнулся.

— Нет, Павел Иванович, — сказал он, — уж

если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать: умный человек, которого я и подметки не стою...

— Кто это? — с изумлением спросил Чичиков.

— Это наш откупщик Муразов...

— Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия. Десять миллионов, говорят, нажил!

— Какое десять! Перевалило за сорок! *Скоро половина России будет в его руках.*

— Что вы говорите! — вскрикнул Чичиков, оторопев.

— Всенепременно... У кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое против себя... С ним некому тягаться. Какую цену чему назначит, такая и останется: некому перебить.

— ...Скажите, — (произносит Чичиков, мысль которого „каменела“ от страха и благоговения), — ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?..

— Самым безукоризненным путем и самыми безукоризненными средствами... Милли-

онцику незачем прибегать к кривым путям. Прямой таки дорогой так и ступай и *бери все, что ни есть перед тобою...*»

В этом разговоре, в сущности, выступает единственное различие между Чичиковым первого тома и идеальными героями второго. Это прежде всего размеры приобретения и, во-вторых, его источник: у Павла Ивановича он не безгрешен вообще, а Гоголь еще усиливает это различие, без особенной надобности превращая его из «приобретателя» в злодея.

Скудронжогло *честно* пользуется сознательной тогда уже многими неправдой крепостного строя, а Муразов *честно* наживаетея на откупах, освобождение от которых Россия через несколько лет приветствовала как вторую эмансипацию.

Но мы помним, что Гоголь в первом томе защищал Павла Ивановича от названия подлец. Он прямо говорил, что справедливее всего назвать его «*хозяин-приобретатель*». В то время «приобретение» являлось для него *виной всему*: из-за него-то произошли дела, которым свет дает название не очень *чистых*, хотя, как известно, они часто истекают из

благонамереннейших побуждений, например семейных. «Такой (в самом деле) чувствительный предмет!..» Из-за него-то «будущий родоначальник, как осторожный кот, покосился только одним глазом, — не идет ли откуда хозяин, — хватается поспешно все, что к нему поближе».

Вообще в первом томе над этим добродетельным понятием витал гениальный смех. Вспомним замечательную сцену в палате, куда Чичиков и Собакевич являются с купчими крепостями на мертвые души. «Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо, когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. *Несколько минут он смотрел в глаза Чичикову с выражением почти полного удовольствия* и, наконец, сказал: „Так вот как! Таким-то образом, Павел Иванович! Так вот вы приобрели!“

— Приобрел, — сказал Чичиков скромно.

— Благое дело! Право, благое дело!

— Да, я вижу, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не

стал, наконец, твердою стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности».

Да, вот что делает грешный смех! Люди совершенно солидные говорят о предмете благонамеренном: о приобретении. Автор точно воспроизводит разговор, лишь пропустив его сквозь какую-то незаметную призму... И над «приобретением» витает невидимо какое-то особенное осуждение. Это суд не уголовный — это суд смеха... Он совершается во имя какого-то идеального представления об истинном достоинстве человека, при сопоставлении с которым одно только, хотя бы и скрепленное казенной печатью, *приобретение* само по себе является смешным и жалким.

Во втором томе этот смех порой опять готов к услугам автора. Когда Павел Иванович предлагает увековечить «жизнеописанием» добродетельного приобретателя-помещика, читателю так и кажется, что смех уже порхает над расцветшей физиономией Чичикова и готов перепорхнуть с нее на фигуру Константина Федоровича Скудронжогло... «Так вот

как! Этаким-то образом, Константин Федорович! Так вы и приобрели! Рабским трудом?..» — «Приобрел...»

Но бедному смеху нет воли во втором томе: бедный смех лежит со связанными крыльями. Порой, быть может, он пытается напомнить о «так называемых патриотах, которые сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накаплиют себе капиталы, устраивая судьбу свою на счет других» (IV, стр. 276). Или о том, что «миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть кругом себя подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получают от него... но непременно хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть попросят на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик». Или, наконец, о том, что от собственных добродетельных героев не осталось уже ни костей, ни кожи, а торчит из них одно «приобретение» (хотя бы и «законными средствами»). И тогда гениальный сатирик, обладавший все-таки замечательным критическим чутьем, сжигал в тос-

ке свои рукописи с портретами добродетельных Чичиковых. А пока в раздвоенной душе художника происходила эта борьба художественного гения и заблудившейся мысли, роковой недуг рос на просторе, не сдерживаемый по-прежнему целительным потоком свободного, не связанного ложными идеями, сатирического творчества...

Что Гоголь сжигал также и превосходные страницы, которыми дарил его далеко еще не угасший талант, это подтверждается многими несомненными свидетельствами. И, между прочим, тем, что некоторые главы он читал в обществе. А все, что он решался читать в обществе, всегда было окончательно продумано и сделано образцово.

«До сих пор не могу еще прийти в себя, — писал, например, С. Т. Аксаков сыну Ивану Сергеевичу в 1849 году. — Гоголь прочел нам с Константином вторую главу („Мертвых душ“)... вторая глава несравненно выше первой»[43]. Смирновой Гоголь еще раньше читал отрывки из второго тома, в которых, по ее словам, «юмор был возведен до высшей степени художественности». Некоторые эпизоды

были потом восстановлены в передаче лиц, слышавших чтение Гоголя. Особенно подробно излагались сцены у генерала Бетрищева, роман Тентетникова и участие Чичикова в этом романе. С. Т. Аксаков восхищается патетическими сценами, от которых, и по словам Смирновой, захватывало дыхание...

Но и эти главы не избегли общей участи. Гоголь сжег их в разное время. И это понятно: и юмористические, и патетические сцены были *нейтральны*, ничего не вносили в развитие заданной идеи.

XII

Идея же состояла в том, чтобы в крепостнической России найти рычаг, который мог бы вывести ее из тогдашнего ее положения. А так как все зло предполагалось не в порядке, а только в *душах*, то, очевидно, нужен такой рычаг, который, не трогая форм жизни, мог бы чудесным образом сдвинуть с места все русские души, передвинуть в них моральный центр тяжести от зла к добру.

Изобразить в идеальной картине этот переворот и показать в образах его возможность — такова именно была задача второго

и третьего тома «Мертвых душ». Гоголь мечтал, что он, художник, даст в идее тот опыт, по которому затем пойдет вся Россия. Добродетельные герои вроде Скудронжогло должны служить материалом, указывающим, что в русском народе есть силы, готовые для великого движения...

В интересной работе Алексея Ник. Веселовского указывается на основании вполне убедительных материалов, что все герои первого тома, по мысли Гоголя, должны были исправиться. Чичиков, исчезающий во втором томе, после новой катастрофы, должен был явиться в третьем томе уже преображенным. Энергия Чичикова, избытку которой удивляется Муразов, направляется на служение ближним. Только в таком случае будет понятно (и, прибавим, оправдано с точки зрения примиряющего искусства), что «недаром такой человек избран героем». Рядом с Чичиковым предстояло снова явиться и Плюшкину, под своим ли именем или передав свое страшное прошлое другому лицу, которое должно изгладить былое зло благодеяниями. По крайней мере на это есть любопытнейшее

указание в словах самого Гоголя (в письме к Языкову): «О, если бы ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, *если доберусь до третьего тома „М. Душ“*»[44].

Если бы вдобавок, как это тоже следует предполагать, исправились и Собакевич, и Манилов, и все чиновники, и вообще все персонажи первого тома, то, мечтал Гоголь, чудесное преобразование нарисованного им страшного «портрета» тогдашней России было бы достигнуто и смертный грех его смеха заглажен.

Какая же сила произведет это чудо, откуда придет тот толчок, который повернет весь этот мир Плюшкиных и Коробочек, Маниловых, Собакевичей, Чичиковых и Ноздревых около его оси?

Гоголь «Переписки с друзьями» видит эту силу не «в европейских выдумках» и не «в формах», но исключительно — в поучении!

К этой мысли Гоголь возвращается на страницах «Переписки» с особенной настойчивостью. «Конечно, — говорит он в письме к П. А. Толстому, — сказать человеку: не крадите, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и

давайте милостыню, — теперь ничто... Всякий скажет: да ведь это уж известно». Но Гоголю кажется, что это нужно и можно сказать каким-то особенным образом. Для этого следует «приподнять перед грешником завесу», показать ему все последствия его грехов. Тогда он несомненно исправится. «Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только покажешь ему дело, как оно есть. Теперь он подвигнется еще более, чем когда-либо, потому что природа его размягчена...» «Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя...»[45]

Кто же скажет это нужное слово и именно так, как его нужно сказать? Гоголь мучительно ищет людей для этой спасительной проповеди. Церковные проповедники, помещики?.. Да, отвечает Гоголь: «Это относится к церковным проповедникам. То же должен делать и помещик». «Мужика не бей, — советует он одному из своих приятелей-помещиков, — съездить его в рожу еще не большое искусство; это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста... Но умей *пронять его хоро-*

шенько словом, ты же на меткие слова мастер» (132).

Увы! Гоголь-юморист в первом томе уже осмеял эти собственные проекты. Их он вложил тогда в уста Плюшкина:

— Приказные — такие бессовестные, — говорит Плюшкин Чичикову, собираясь совершить не вполне одобрительную сделку. — Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, — такое сребролюбие! Я уж и не знаю, как никто другой не обратит на это вниманья. Ну, ска- зал бы ему как-нибудь душеспасительное сло- во! Ведь словом хоть кого проймешь. Кто что ни говори, а против душеспасительного слова не устоишь...

«Ну, ты-то устоишь», — подумал тогда ум- ный Павел Иванович.

Но иного выхода Гоголь «Переписки» все- таки не видит и потому обращает свои взоры к начальству. Оно первое должно прибегнуть к спасительному средству: «Очень знаю, — пишет он „занимающему важное место“, — что теперь трудно начальствовать в России:

завелись такие лихоимства, которых *истребить нет никаких сил человеческих*. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида...» Но «дело примет совсем другой оборот, если покажешь человеку (в данном случае плуту чиновнику), чем он виноват перед самим собою. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода даже и в плуте...»

В поучении, которое Гоголь диктует знакомому генерал-губернатору, есть совет: «священнику пригрозить архиереем»... Дворянам следует указать на великое дело, которое они могут сделать, «воспитавши сословие крестьян». Вообще, если к поучению приступить с чистой душой, какая была, например, у Карамзина, — «тогда всё тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве»... (V, 63).

XIII

Мы уже видели, что второй том «Мертвых

душ» должен был в «сочинении повествовательном» развить те идеи, которые Гоголь излагал в «Переписке». И действительно, мы находим во втором томе всю эту программу в лицах. «Занимающий важное место» сиятельный князь генерал-губернатор приходит в ужас, когда перед ним раскрылась картина страшных злоупотреблений, каким-то неведомым образом сосредоточившихся около приятной фигуры Павла Ивановича Чичикова (наброски второго тома дошли до нас лишь в отрывках). Чичиков окончательно уличен и валяется в ногах у представителя грозной власти.

«— Ваше сиятельство, — говорит он голосом отчаяния. — Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства... Но — что за бедственные обстоятельства!.. Вся жизнь, точно судно среди морских волн...

Слезы вдруг хлынули из глаз его, и он повалился в ноги князю так, как был в сюртуке

наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете и в чудесно сшитых штанах...» И при этом бедный приобретатель почувствовал удар княжеского сапога «в щеку, в прекрасно выбритый подбородок и зубы».

Злополучное судно приобретательской судьбы опять на мели: Павел Иванович заперт в «промозглom сыром чулане с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат... Не дали даже ему взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мертвые души — все было в руках чиновников...» Одним словом, Павел Иванович погибает, и над его грешной душой, как в старинных драмах, идет спор темных и светлых сил.

Первым является в темницу добродетельный откупщик Муразов. По-видимому, у него есть какой-то план спасения России при помощи откупных денег, которые дадут возможность командировать по всей стране благотворительных проповедников с особыми поручениями. В Чичикове он заметил необычайную энергию и намерен направить ее на выполнение своих благих намерений. Павлу Ивановичу вначале эта программа новой

жизни очень улыбается. Он считает, что, в столь тесных обстоятельствах, ему не остается ничего, кроме добродетели, тем более что она связана с получением обратно шкатулки и нисколько не мешает мечтам об «осуществлении предназначения»: о «бабенке и будущих чичонках» (так ласкательно называл Павел Иванович свою будущую семью). И вот Павел Иванович дает Муразову торжественное обещание исправиться.

Но не успела закрыться дверь за добродетельным откупщиком, как на сцену является темная сила в лице чиновника Самосвитова.

Этот Самосвитов — тип совершенно новый в чиновничьей коллекции Гоголя. «Добрый малый, отличный товарищ, кутила и продувная bestия, в военное время он наделал бы чудес... Но за неимением военного поприща подвизался на штатском и на место подвигов — пакостил и гадил. С товарищами был хорош, никого не продавал никому и, давши, слово держал. Но высшее над собой начальство считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом

и упущением». Дело Чичикова заинтересовало этого своеобразного чиновного анархиста именно возможностью одурачить начальство, и он предлагает Павлу Ивановичу сделку: «Все будем работать за вас, все — ваши слуги. Тридцать пять тысяч на всех — и ничего больше».

Павел Иванович был реалист. Он не мог не чувствовать, что Самосвитов человек живой и его предложение совершенно «реально». Тогда как муразовские добродетельные фантазии — плохая и нежизненная выдумка. Поэтому он тотчас склоняется вновь на сторону порока. И вот «не прошло часу после этого разговора (с Самосвитовым), как к Чичикову принесена была драгоценная его шкатулка: бумаги, деньги, все было в совершенном порядке». Было очевидно, что на слово Самосвитова можно положиться и что «правосудие» непременно останется в дураках...

Между тем Муразов отправляется к негодующему князю и развивает перед ним свою систему борьбы с окружающим злом. Это именно система «Переписки»: он защищает перед генерал-губернатором и чиновников, и Чичи-

кова, убеждая, что «все они люди», что они не так уже виновны и что делу (в котором оказались замешанными все «от губернатора до титулярного советника!») совершенно незачем давать законный ход. Будет гораздо лучше, если генерал-губернатор соберет всех чиновников, исповедается перед ними и... скажет им поучение!..

Грозный представитель власти, напавший на след страшного Komplota чиновных воров, как-то очень быстро соглашается с Муравьевым. Чичикова просто отпускают на все четыре стороны, с его шкатулкой, с его купчими и с его благонамеренными мечтами, а на следующий день в генерал-губернаторском доме происходит торжественная сцена.

«В большом зале собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, ассессоры, Кислоедов, Красноносое, Самосвитов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие, — все ожидало с любопытством, не совсем спокойным, выхода князя. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: спо-

койной твердостью был вооружен его шаг и взор. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, он начал...»

Мы, разумеется, не станем здесь приводить всю эту речь, в которой на страницах второго тома «Мертвых душ» звучат (порой буквально) слова и идеи «Переписки». Князь кается сам («он, может быть, виноват больше всех», «он принял их слишком сурово вначале» и т. д.), а затем, опять по рецепту «Переписки», сильными чертами рисует перед чиновниками положение России, охваченной разложением и неправдой. «Дело в том, что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих, что уже, мимо законного управления, образовалось другое, гораздо сильнее всякого законного... Все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. *И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях чиновников приставлением в надзиратели других чиновников...* Я обращаюсь к тем из

вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей... Я приглашаю вас ближе рассмотреть свой долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно предоставляется и мы едва...»

На этой полуфразе прерываются «Мертвые души». И это очень характерно. Гоголь отлично чувствовал всякую фальшь, всякую надуманность. Критическое чутье подсказало ему, вероятно, что все это мертвые слова, лишённые силы и значения. Может быть, смех Гоголя-сатирика напомнил Гоголю-моралисту саркастическое замечание Павла Ивановича о Плюшкине («ну, ты-то устоишь»). Может быть, он вспомнил грозного начальника из первого тома и подумал, что и тут «все чиновники могут превратиться в страшных гонителей неправды», с теми же последствиями; может быть, он увидел, что сам он преклонился перед миллионами Муразова и потому возлагает на него великие надежды... Как бы то ни было, но поучение оборвалось на полуфразе.

Оставалось еще одно последнее средство. Есть большие основания думать, что, попытавшись в своем воображении превратить в проповедников богатых откупщиков и властных генерал-губернаторов, Гоголь обратил свои последние надежды к царю.

В письме «о лиризме русских поэтов», первую (неизвестную нам) редакцию которого почему-то очень строго осудил Жуковский, Гоголь высказывает свои взгляды на это именно значение монарха. «Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, *скорбя, рыдая, молясь день и ночь (sic)* о страждущем народе своем, государь *приобретет тот всемогущий голос любви*, который один только может внести примирение во все сословия государства».

Но... «чем выше достоинство взятого лица, — пишет Гоголь в „Исповеди“, — тем ощутительнее, тем *осязательнее* нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что данное лицо действительно

жило»... И вот Гоголь требует у Смирновой самых мелочных подробностей из жизни государя и его семьи, настойчиво прибавляя каждый раз, что это ему «очень нужно». Он устанавливает, при помощи той же Смирновой, какой-то особый полумистический надзор за Николаем Павловичем. «Государя я поручаю вам», — отдает он ей решительный приказ после какого-то несчастья в царской семье. И Смирнова от времени до времени пишет точные доклады об исполнении этого, как бы служебного, поручения. Невольно приходит на мысль, что дело идет о каких-нибудь «благодатных» влияниях на Николая Павловича (припомним письма Данилевскому: «отделиться сила в душу твою»), при помощи которых он «приобретет (в будущем времени — значит, еще не приобрел) всемогущий голос любви», нужный, вероятно, для какого-то потрясающего, центрального, с высоты трона исходящего, способного загреметь на всю Россию «поучения»...

Впрочем, это, конечно, только предположение, для которого, однако, есть некоторые основания. Во всяком случае, понятно, что

никакие «религиозные упражнения», никакие влияния через пиэтисток-фрейлин не в силах были повлиять на Николая Павловича и обратить его в желаемого натурщика хотя бы и для гениального писателя. Со стороны Гоголя было слишком самонадеянно предписывать царю, в своих собственных морально-художественных целях: «скорбеть, *рыдать* и молиться день и ночь», чтобы затем потрясти свой народ поучением во вкусе «Переписки».

Для этого фигура Николая Павловича была, во всяком случае, слишком «реальна».

«Мертвые души» остались незаконченными. Гоголь не оправдал возлагаемых на него надежд, он «не совершил». Первая часть поэмы, которая, по мысли своего творца, должна была составлять только крыльцо величественного здания, осталась одна. Во второй части все, что Гоголь хотел выставить как идеальное, было мертво. Жили и светились порой со всей силой гения лишь типы чисто отрицательные. Но Гоголь подавлял свой юмор как преступление против искусства и признал себя бессильным закончить дело

своей жизни. И его «хрупкий состав» не выдержал этого крушения.

Какое трагическое недоразумение! В сущности, первый том был уже тем величественным в художественном смысле зданием, о котором Гоголь мечтал и которое обещал России, «вперившей в него полные ожидания очи». И если бы он понимал мыслью истинное свое назначение, он бы видел, что для «завершения здания» остается сделать не так уж много, во всяком случае не больше, чем уже сделано: быть может, поднять фронтоны и покрыть крышу.

В самом деле, каково могло быть «логическое» продолжение «Мертвых душ»? Было бы, разумеется, верхом самонадеянности навязывать великому художнику свои планы для воплощения его идеи. Это пытались сделать в 60-х годах некоторые авторы, имена которых теперь совершенно забыты, как и их попытки. Но самая идея произведения, достаточно наметившаяся уже в первой части, хотя, быть может, помимо сознания автора, есть общее достояние, и не будет дерзостью попытка угадать ее логическую линию далее того, что сде-

лано самим автором.

В сущности, синтез дореформенной и рабской России — был уже дан. И если бы Гоголь захотел остаться верным до конца своему гениальному смеху, если бы он не истратил силы на отыскание выхода без потрясения основ тогдашней жизни, если бы он признал, что правда не освобождает зло, а, наоборот, убивает его... Если бы он не испугался выводов из своей сатиры и не побоялся осудить не только лица и не только должности, но и самый порядок, сверху донизу пораженный бессилием и маразмом, — то ему оставалось только изобразить свободной кистью сатирика торжество чичиковского идеала.

Мирная помещичья усадьба на новых местах, купленная на деньги из ломбарда. Миловидная хозяйка, не то чтобы худая, но и не очень полная, маленькие Чичиковы, с веселыми, остро и пытливо бегающими отцовскими глазками, рабы, трудящиеся над созданием благополучия нового помещика, и сам Павел Иванович, который смотрит ясными очами «в глаза всякому почтенному отцу семейства», потому что он «приобрел» и, значит, не

даром бременит землю. Таковы общие очертания конца «Мертвых душ», логически продолжающие линию гоголевской сатиры, как ее понимали и друзья, и враги гоголевского таланта. Великое здание было бы завершено последовательно и встало бы пророческим символом страны, зачарованной в безоглядном самодовольстве рабства.

И над этой идиллией, на ее пока безоблачном горизонте чувствовалось бы, может быть, приближение грозовой тучи, которой суждено было потрясти гоголевскую Россию в самых ее основаниях.

Но он испугался «страшной правды»... Под влиянием ложных идей, развившихся в отдалении от жизни, он изменил собственному гению и ослабил полет творческого воображения, направляя его на ложный и органически чуждый ему путь. С этим вместе он подавил в себе всегдашний источник бодрости, помогавший ему бороться с страшным недугом... И «Вий» взглянул на него своим убивающим взглядом.

В мучительных поисках дороги, которая одновременно была бы выходом для него

лично и для его несчастной страны, гениальный писатель метался еще девять лет, то опускаясь в низы русской жизни («Образ величавого русского человека в простом народе»), то возносясь к ее вершинам. Умер он в 1852 году (через десять лет по окончании первого тома), не от определенной болезни, а от глубокого и все возрастающего душевного угнетения. «Он пал под бременем взятой на себя невыполнимой задачи», — писал об этом Сергей Тимофеевич Аксаков. Умер он совершенно так же, как умер его отец, Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович, — «таял, как свечка, сохнул и наконец угас, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать ее жизнь».

А через несколько лет после этого мучительного заключения трагедии великого русского сатирика — грянула историческая катастрофа, доказавшая правильность его художественного диагноза и роковое заблуждение его мысли...

Теперь над тревогой и смятением нашего современного дня встает с новой ясностью величавый и скорбный образ поэта. «Знаю,

что память моя после меня будет счастливее меня, — пророчески говорил он в одном из писем к Жуковскому, — и потомки тех же моих современников, быть может, со слезами умиления произнесут примирение моей тени».

О «примирении» давно уже нет речи... Речь, вызванная идеями «Переписки», очень живая в первые годы, — давно стихла, а скорбный образ поэта, в самой душе которого происходила гибельная борьба старой и новой России, — стоит во всем своем трагическом обаянии. Даже ошибки его мысли, преждевременно погубившие великий талант, становятся только лишней чертой, дополняющей его мучительные искания. Трудно представить себе более возвышенное понимание значения и роли литературы, чем то, которое сказалось так полно — и в великих образах, отвоеванных у роковой болезни, и даже в роковых ошибках его «Переписки».

1909

Всеволод Михайлович Гаршин. Литературный портрет*

(2 февраля 1855 г. — 24 марта 1888 г.)

В октябрьской книжке «Отечественных записок» 1877 года появился рассказ «Четыре дня», подписанный неизвестным тогда именем Вс. Гаршина. Это был эпизод из только что закончившейся русско-турецкой войны. Интеллигентный человек, рядовой, раненый во время стычки с турецким отрядом, падает в кустах обок с убитым им же феллахом. Только на четвертый день его поднимают санитары и уносят в госпиталь. Чувства, мысли, впечатления раненого за эти четыре дня и составляли все содержание небольшого рассказа. Но они были выражены с такой художественной простотой и силой, что никому до тех пор не известное имя молодого автора сразу засверкало над тогдашним литературным горизонтом яркой звездой, привлекавшей с тех пор внимание, надежды и симпатии образованного русского общества.

Всеволод Михайлович Гаршин происходил

из старой дворянской семьи. По семейному преданию, родоначальник ее, мурза Горша, вышел из Золотой орды при Иване III. «Дед мой (по отцу), — писал Всеволод Гаршин в своей автобиографии[46], — был человек жестокий, крутой и властный: порол мужиков, пользовался правом *prima noctis*[47] и обливал кипятком фруктовые деревья непокорных однодворцев». Отец представлял резкую противоположность. Он кончил 1-ю московскую гимназию, слушал два года лекции в Московском университете и, поступив в кирасиры, отличался необычной для николаевской военной среды гуманностью в обращении с солдатами. Дед Гаршина с материнской стороны, отставной моряк Акимов, тоже представлял резкое исключение в тогдашней среде. В 1843 году, когда на юго-востоке России чуть не все население вымирало от голода и цинги, Акимов заложил имение и на занятые деньги привез «из России» большое количество хлеба, которое и раздавал крестьянам, своим и чужим.

Всеволод Гаршин родился (третьим ребенком) в Бахмутском уезде 2 февраля 1855 года.

Первые жизненные впечатления дала ему военная среда. «Как сквозь сон, помню, — пишет он в той же автобиографической заметке, — полковую обстановку, огромных рыжих коней и огромных людей в латах, белых с голубым колетах и волосатых касках. Вместе с полком мы часто переезжали с места на место». Много смутных воспоминаний осталось от этого времени в памяти ребенка, и, вероятно, впоследствии они послужили фоном для новых впечатлений этого же рода; почти треть рассказов Гаршина посвящена военным темам.

Пятый год своей жизни он отмечает как особенно бурный. Его возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда назад в Харьков и Старобельск. «И все это, — отмечает он, — на почтовых зимой, осенью и летом». По-видимому, были и еще какие-то тяжелые обстоятельства, помимо неудобства передвижения. «Еще ребенком, — пишет один из биографов[48] — Всеволоду Михайловичу пришлось пережить многое такое, что выпадает на долю лишь немногих». «Преобладающее на моей физиономии печальное

выражение, — писал сам Гаршин, — вероятно, получило свое начало в эту пору».

С пяти до восьмилетнего возраста, живя только с отцом (мать с старшими сыновьями уехала в Петербург), мальчик увлекся чтением книг из отцовской библиотеки. В семь лет он уже прочел «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. «Перечитав его потом, в 25 лет, — говорит он в автобиографии, — я не нашел ничего нового». Тогда же он познакомился с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым, Жуковским, а «Что делать?» Чернышевского читал в «Современнике» в то самое время, когда автор сидел в крепости. «Это раннее чтение, — замечает он, — без сомнения, было очень вредно».

В 1863 году мать взяла его тоже в Петербург, где он поступил в 7-ю петербургскую гимназию. Умственные склонности мальчика определились рано. Хорошие отметки он получал за русские сочинения. Математику ненавидел, хотя она давалась ему легко, и очень любил точные науки: естествознание, ботанику, химию, физику. Это отразилось впоследствии на его литературной манере:

точность наблюдения и определенность выражения мысли являются характерной чертой Гаршина-писателя. В гимназической журналистике, которая тогда процветала, уже обращали на себя внимание фельетоны Гаршина за подписью Агасфер.

Реформа Толстого, превратившая 7-ю гимназию в реальное училище, преградила Гаршину доступ в университет, и потому в 1874 году он поступил в Горный институт. Но техническая деятельность не соответствовала его склонностям, и целью своей жизни он уже сознательно ставит литературу. «Я чувствую, — писал он в 1875 году А. Я. Герду, — что только на этом поприще я буду работать изо всех сил». Литературный успех он считает вопросом жизни и смерти. «Вернуться я уже не могу. Как вечному жиду голос какой-то говорит: „Иди, иди!“ — так и мне что-то сует перо в руки и говорит: „Пиши, пиши!“» В 1876 году он уже напечатал в газете «Молва» маленький рассказ («Подлинная история Энского земского собрания» за подписью «Р. Л.») и несколько рецензий в «Новостях» о художественных выставках. Сам он,

однако, не придавал никакого значения этим работам и первым настоящим литературным дебютом считал «Четыре дня».

Рассказ этот открывает серию военных рассказов Гаршина.

Как известно, в 1876 году на Балканском полуострове разыгрались крупные политические события. Сначала восстание Сербии против турецкого владычества вызвало широкое проявление славянских симпатий в России. Это был расцвет деятельности аксаковского «Славянского комитета», организовавшего широкий сбор пожертвований и отправлявшего на театр войны отряды добровольцев. До сих пор еще (и это очень странно) нет настоящей сколько-нибудь обстоятельной и беспристрастной истории этого движения, выдвинувшего вперед генерала М. Гр. Черняева, его друга полковника («сербского генерала») В. В. Комарова и целую плеяду других, менее прославившихся имен, историческая оценка которых и теперь еще — дело будущего. Одни считали генерала Черняева русским Гарибальди, другие изображали его выступление как политический фарс или трагикомедию.

Несомненно одно — что в этом движении не было настоящей непосредственности и цельности. Подкупали освободительные лозунги, и сначала даже «Отечественные записки» поместили воззвание («На всемирную свечу»), в котором радикальный журнал в приподнятом тоне призывал к жертвованиям на дело славян все слои русского народа.

«Московские ведомости» говорили о святости освободительного подвига. С другой стороны, Лев Николаевич Толстой (в «Анне Карениной») расхолаживал эти восторги, в «Голосе» Черняев был назван авантюристом, кондотьери, а через некоторое время в «Отечественных записках» появилась одна из злейших сатир Щедрина, в которой, в образе странствующего полководца Редеди, подводились итоги деятельности генералов Черняева, Комарова и Фадеева. Иллюзия единения широких слоев русского народа на почве чужой свободы, за которой, казалось, просвечивают и какие-то свои освободительные перспективы, закончилась скоро. Враждебные элементы русской жизни после освободительной войны, как и до нее, остались на прежних по-

зициях.

Все эти противоречивые мотивы находили живые отклики в молодежи и глубоко ее волновали. Они захватили и Гаршина. В июне 1876 года он писал школьному товарищу и другу Н. С. Дрентельну.

«Пишу я теперь с отчаянием... Работа удовольствия не доставляет. Скорее какое-то желчное, злобное чувство». И затем: «За сообщение новостей из профессорского мира весьма благодарен, хотя, по правде сказать, электрофорная машина Теплова и соединение физического и химического обществ интересует меня меньше, чем то, что турки вырезали 30 тысяч стариков, женщин и ребят». «Дражайший Н. С, пиши, пожалуйста. Если бы ты знал, каково бывает у меня на душе, особенно со времени объявления войны[49]. Если я не заболелю это лето, то это будет чудом».

Под влиянием этих чувств, Гаршин задумал поступить добровольцем в сербскую армию, предводимую генералом Черняевым. Это не удалось: Гаршин в то время достиг призывного возраста и, оставив университет,

должен был бы отбывать воинскую повинность в России. 17 октября 1876 года турки нанесли мораво-тимок-ской армии, предводимой Черняевым, решительное поражение, и война должна была считаться конченной. Но вслед за Сербией поднялась Болгария, а затем обстоятельства вынудили Россию к вмешательству.

Теперь желание Гаршина было уже осуществимо, так как он мог поступить вольноопределяющимся в русскую действующую армию. В передовых слоях молодежи тот энтузиазм, который еще вызывался началом сербской кампании (когда генерал Черняев, как настоящий Гарибальди, чуть не прокрадывался через границу, вопреки мерам правительства), — теперь угас, а выступление официальной России вызывало двойственное отношение. Один из авторов воспоминаний о Гаршине, г. Павловский, воспроизводит спор его с каким-то молодым человеком[50]. Последний отозвался несочувственно о намерении Гаршина добровольно отправиться на театр военных действий. Его точка зрения состояла в том, что безнравственно помогать

одерживать победы, которыми воспользуются для внутреннего порабощения. Гаршин, возражая, выдвинул мотив, который впоследствии повторялся в его военных рассказах:

— Вы, значит, находите безнравственным, что я буду жить жизнью русского солдата и помогать ему в борьбе, где каждый полезен... Неужели будет более нравственно сидеть сложа руки, тогда как этот солдат будет умирать за нас!..

По свидетельству господина Павловского, это был единственный раз, когда он видел Гаршина «возбужденным и почти раздраженным» («он не выдержал, вскочил и в волнении заходил по комнате»). Очевидно, этот спор задевал трагедию целого поколения, быть может еще не законченную и в наши дни. Дело шло, конечно, не о «сидении сложа руки», а о том, нравственно ли примирение с внутренним порабощением, хотя бы временное, хотя бы во имя внешнего освободительного лозунга?.. И не следует ли те же чувства, которые одушевляли Гаршина, обратить на дело борьбы за освобождение собственного народа? Террора тогда еще не было. Был на-

роднический идеализм, стремление «в народ», требовавшее самопожертвования не менее войны и находившее отклики в собственной душе Гаршина. Настроение у споривших было одно, решения разные, и потому каждый чувствовал в выводе другого часть собственной души. Это живое трепетание чуткой совести и мысли делало рассказы Гаршина такими близкими его поколению.

Гаршин пришел к своему решению, очерпнув его в той же народнической формуле. Солдат — тот же народ, только в солдатской шинели. Народ идет на войну, мы обязаны идти с ним. Драматическую сложность вносило в эту формулу еще искреннее осуждение самой войны. Война безнравственна и ужасна. Мы обязаны участвовать в ее безнравственности и ужасе.

«12 апреля 1877 года, — говорит Гаршин в своей автобиографии, — я с товарищем (Афанасьевым) готовился к экзамену по химии. Принесли манифест о войне. Наши записки остались открытыми. Мы подали прошение об увольнении из института и уехали в Кичинев, где и поступили рядовыми в 138-й

Волховский пехотный полк и через день выступили в поход».

К тому времени Гаршин был юноша двадцати одного года. Портрет, приложенный к 11-му изданию его рассказов (изд. Литерат. фонда), довольно верно передает его черты, но к ним нужно прибавить живое обаяние какой-то ласковой печали, светившейся в глазах. Все знавшие Гаршина единогласно отмечают это обаяние его взгляда, а один (Н. В. Рейнгардт) говорит: «У маленького Гаршина, мне казалось, появлялся иногда меланхолический взгляд женщины, безропотно переносившей свою судьбу...» Отчасти это объяснялось, конечно, зародышем душевной болезни. Уже в 1872 году Гаршин, еще гимназистом, перенес приступ серьезного психического расстройства и был помещен в лечебницу. Страх перед болезнью придавал особую глубину душевным тревогам, сомнениям и внутренней борьбе Гаршина. Окончательно принятое решение, наоборот, вносило успокоение. Этим объясняется та душевная ясность, которая сопровождала Гаршина среди трудностей похода. Даже зрелище первых ране-

ных, которых он увидел около 29 июня под Ковачицей, не нарушило этого душевного равновесия: «Я никогда не ожидал, — писал он с похода И. Е. Малышеву, — чтобы, при моей нервности, я до такой степени спокойно отнесся к сказанным предметам, хотя, — прибавляет он, — трупы мы видели поистине ужасные»[51].

В стычках с турками он участвовал два раза. После первой среди мертвых найден раненый солдат Волховского полка, который пролежал четыре дня с перебитыми ногами, без воды и пищи. При второй стычке (под Аясларом) Гаршин сам был ранен в ногу навывлет.

Эти два момента и послужили мотивом для первого рассказа, создавшего славу Гаршина. Он взял положение неведомого солдата и вставил в эту рамку собственные мысли и чувства.

Жарко. Солнце жжет. Раненый открывает глаза, видит кусты, высокое небо. Перед ним лежит труп убитого им человека. За что он убил его? И кто он? Быть может, и у него тоже есть старая мать? Долго она будет сидеть у дверей своей мазанки да поглядывать на да-

лекий север. Штык вошел ему глубоко в сердце. Вон на мундире большая черная дыра с запекшейся кровью. «И это, — думает раненый, — сделал я!»

Он не хотел этого. Он не хотел зла никому, когда отправлялся на войну. Мысль о том, что ему придется убивать людей, не приходила ему в голову. Он представлял себе только, как он будет подставлять свою грудь под пули. И он пошел, и подставил. Глупец, глупец!..

Такова основа, на которой Гаршиным выписаны психологические узоры рассказа. Все «четыре дня» проходят в этой обстановке: тесный мирок, и в центре его два человека. Один уже погиб, другой погибает и завидует погибшему. Над ними синее небо, то яркое и знойное, то сверкающее далекими звездами. Никаких событий, кроме стихийной жизни природы и мучительных мыслей. Нужно было огромное мастерство, чтобы приковать к этим четырем дням внимание читателей. И Гаршин достиг этого неослабевающим драматизмом своей мысли...

Многие критики Гаршина указывали на толстовское влияние в его военных рассказах.

Нет сомнения, что ни один русский писатель не свободен от обаяния гения и манеры Толстого. В данном случае можно, пожалуй, указать даже внешнее совпадение. Князь Андрей (в «Войне и мире»), раненный на поле битвы, также смотрит на синее небо и тоже предается размышлениям. Но даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы заметить совершенную самостоятельность гаршинского настроения. Князь Андрей весь уходит в созерцание таинственной синевы, далекой и непроницаемой. Земля для него исчезает, он весь поглощен тайною этой спокойной бесконечности. Все долгое остальное время своей уходящей жизни он чувствует себя все более и более близким к решению вечных вопросов, пока наконец автор не заявляет нам, что его герой все решил и все понял. К сожалению, он умирает, не успев сообщить свое решение даже гениальному автору. Во всяком случае, эта тайна так бесконечно далека от тревог жизни, что в ней нет уже места вопросам о людских отношениях.

Герой Гаршина тоже смотрит на небо, но строй его мыслей совершенно другой. Небо

для него только явление природы, синева, мелькающая меж ветвей и листьев, а вся мучительная работа его мысли вращается в пределах доступного ему мирка, в центре которого лежит и разлагается убитый им человек. Вместо того, чтобы стремиться к бесконечным тайнам, он мучительно разбирается в своем положении: я убил его? за что?

Хорошо это или дурно — но это так. Для Гаршина и его поколения вся психология «проклятых вопросов» сводилась к вопросу о правде или неправде в конечной области людских отношений. Всего вернее, что это не хорошо и не дурно, а просто факт. Человеческая мысль вечно бьется между этими двумя полюсами в своем стремлении к высшей истине и высшей правде...

Есть у Гаршина другой рассказ на ту же тему о войне. Заглавие его «Трус». Он не имел того успеха, как «Четыре дня», но он необыкновенно характеристичен для манеры и взглядов Гаршина. Основной мотив — ужас и неправда войны — развернут здесь по логическому плану, достигающему определенности почти геометрической. И вместе с тем в каж-

дой детали слышится чуткий, почти болезненный трепет. Изображена небольшая группа интеллигентной молодежи: брат и сестра Львовы и двое их знакомых: Кузьма Фомич и лицо, от имени которого ведется рассказ. Это и есть «Трус».

«Война решительно не дает мне покоя, — говорит он. — Каждый день уносит сотни людей...» «Пятьдесят мертвых, сто изувеченных на аванпостной стычке считается незначительной вещью... Отчего же катастрофа на тилигульской насыпи заставила кричать о себе всю Россию, а на „аванпостные дела с незначительными потерями“ (тоже в несколько десятков человек) никто не обращает внимания...»

Ему тоже придется идти на войну. «Куда же, — спрашивает он себя, — куда же денется твое я? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать», — оставив мечты о другой работе, о труде любви и правды, к которому готовился...

Внутреннее чувство, не умолкая, протесту-

ет против этого противоречия, и за эти рефлексии знакомые считают его «трусом». Сестра Львова, хорошая девушка, с непосредственным чутьем долга, представляет другой строй тоже гаршинских мыслей. Она готовится идти в сестры милосердия. «Война зло, — соглашается она, — но ведь она неизбежна... Я боюсь, что вы не поймете меня. Вот что: по моему, война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится».

«Трус» проникается этой мыслью и идет на войну. Он остался бы — устроить это не трудно. Он этого не делает. Его требуют, он идет. «Но пусть, по крайней мере, ему не мешают иметь собственное мнение».

Весь рассказ и есть систематическое развитие отрицательного взгляда на войну. Явная задача, если хотите, его тенденция — оживить в воображении читателя военные реляции, облечь плотью и кровью их цифры.

У Львовых живет квартирант Кузьма Фомич. Человек угрюмый, некрасивый, он влюблен в Марию Петровну. Эта неразделенная любовь является маленькой будничной дра-

мой кружка. Кузьма заболевает: сначала нарыв, потом опасное заражение крови. У Марьи Петровны, под влиянием участия, пробуждается глубокое чувство к Кузьме — любовь или ее иллюзия. Больной узнает об этом, и это делает его счастливым. Болезнь между тем идет своим чередом, и Гаршин с обычной своей точностью описывает ее развитие. «Мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на блестящую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, — я думал о других ранах...» Здесь, окруженный любящим уходом, умирает один человек от стихийной неожиданности... Там умирают тысячи... «Двенадцать тысяч! Эта цифра... растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечом к плечу, то составитя дорога в восемь верст...» И они «валяются в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют или наедут

пушки и раздавят, как червяка».

Это — нечто вроде «математического образа»: страдания одного человека, помноженные на цифры военных реляций. И, однако, картина встает в своей суровой реальной обнаженности. Маленький, тесный кружок, с его рассуждениями и спорами, угрюмый Кузьма, с его неудачливой любовью и болезнью, хорошая русская девушка, заражающая внутренним чувством правды... Сборы на войну, отход поезда с новобранцами, грустная вечерняя толчея на вокзале, появление брата и сестры Львовых, запоздавших на проводы и успевающих лишь крикнуть на прощание: «Кузьма умер!..» А там, впереди, за мутной далью борьба без энтузиазма и смерть не для победы, а для исполнения чуждого сердцу долга. Все это живая еще и для нашего времени страница русской «интеллигентской души».

Рассказ этот (написанный в 1878 г.) отражает, по-видимому, задним числом настроение Гаршина до его решения идти самому на войну. В его изложении — неровном и нервном — слышен отголосок мучительной ре-

флексии и колебаний. «Трус» так и унес на войну непримиримое противоречие, с которым и погиб. Сам Гаршин нашел примирение, подняв вопрос в некоторую высшую инстанцию. Эта инстанция — народ, участие в его стихийном безрефлективном движении. Куда бы этот поток ни понес его — на убийство или на смерть, — для Гаршина, как и для большинства его сверстников, в стихийно-народных процессах слышалась какая-то почти мистическая правда. Стоит окунуться в этот поток — личная ответственность сразу исчезает в стихийной безответственности народа. А так как именно это мучительное чувство личной ответственности и составляет основной нерв гаршинских настроений, то с вступлением в армию он сразу испытал спокойную душевную ясность, которая отразилась даже по истечении нескольких лет и нескольких болезненных припадков, как только он опять окунулся в воспоминания о том времени. «Воспоминания рядового Иванова» (написанные в 1882 г.) представляют настоящую симфонию. Тон их эпически-печальный, изложение ровное и плавное, описания широки и

СПОКОЙНЫ.

«Мы миновали кладбище, обходя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть спокойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами?.. Оставайтесь!

Но мы не остались... Нас влекла неведомая, тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуюсь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неведомому врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, уходившая с глаз в туман. Дождь пошел сильнее. Кое-где, далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч. Тогда косые и прямые полосы дождя сверкали се-

ребром. По зеленым склонам долины ползли туманы; сквозь них можно было различать длинные вытянувшиеся колонны войск, шедшие впереди нас. Изредка блестели кое-где штыки; орудие, попав в солнечный свет, горело некоторое время яркой звездочкой и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее, дождь шел чаще...»

Такова основная нота этого замечательного рассказа. На широком фоне, задернутом, как дымкой, тихой печалью, разворачиваются картины массовых передвижений, типы солдат, офицеров, походы, остановки... гул канонады в стороне Дуная... Просто, спокойно, любовно рисует рядовой Иванов своих товарищей солдат, ближайшее начальство — армейских офицеров, с простодушной непосредственностью приглашающих в свою среду «ученого» вольноопределяющегося; с искоркой добродушного юмора изображает самодура генерала «Молодчагу», без надобности, «по-суворовски» ведущего колонну в холодную воду, где люди чуть не тонут, когда в нескольких саженях оказывается удобная переправа. Солдаты разводят костры и, обсох-

нув, идут дальше, добродушно посмеиваясь: «Вот мы обсушились, сухонькие идем, а Молодчага-то сырой катит...»

Даже для штабс-капитана Венцеля, военного педанта и истязателя солдат, у рядового Иванова находятся примирительные, смягчающие ноты. Однажды, когда этот болезненно-жестокий человек иступленно бьет солдата, — Иванов, нижний чин, хватает его за руку, что могло грозить очень серьезными последствиями. Солдаты грозят убить Венцеля при первой перестрелке. Но перед лицом опасности и смерти Венцель ведет себя с спокойным мужеством, которое возвращает ему уважение и доверие солдат... А после стычки Иванов застаёт его рыдающим в своей палатке о потери «своих» пятидесяти двух человек.

Когда, по прочтении этого замечательного рассказа, вспомнишь, что в нем всего пятьдесят четыре странички, то становится просто удивительным, как могла уместиться на таком тесном пространстве такая масса широких картин и значительных впечатлений. И кажется, что над всеми ими можно поставить эпиграф из Некрасова:

*Злобою сердце питаться устало.
Много в ней правды, но радости
мало.*

Здесь в лице Гаршина его поколение (поколение «семидесятников»), отрицавшее все устои тогдашней русской жизни, уставшее от этого отрицания и отчуждения, — на время сливается с общим потоком во имя хотя бы и чужой свободы. Высшей точкой этого настроения является картина царского смотра, когда войска проходят перед Александром II. Описание это, по захватывающему движению и правде, достойно стать рядом с лучшими толстовскими описаниями этого рода.

«Люди шли быстрее и быстрее, шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было приноравливаться к общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед, туда, где уже гремела музыка и раздавалось громовое „ура!“. Не помню улиц, по которым мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас; помню только волнение, охватившее душу вместе с сознанием страшной силы массы, к которой принадлежал и которая увлекала

меня. Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. „Ты ведешь нас, — думал каждый, — тебе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь спокоен: мы готовы умереть“».

И царь знал, что они готовы умереть. «Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности...»

И среди них, затерянный меж этих серых шинелей, шел человек, который, как рядовой Иванов, еще недавно стал между офицером и

истязуемым солдатом, совершив тяжкое нарушение дисциплины, а, как Всеволод Гаршин, через несколько лет ворвется ночью в квартиру всесильного диктатора, чтобы попытаться остановить казнь (об этом ниже). Он «отказался от своего я», как герой его рассказа «Трус»; подавил в себе и отрицание войны, и много других отрицаний, отдал все это за минуты слияния с старыми чувствами своего народа, за отдых от *тяжкой ответственности*, которая тяготила все его поколение... Сквозь призму этого чувства он видит и рисует фигуру Александра II. «Он сидел на сером коне, неподвижно стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешеные крики восторга. Вокруг него была пышная свита, но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, — *истомленное сознанием тяжести взятого решения*. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожа-

щие губы, говорившие что-то, должно быть, приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда я, задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого яростного восторга, пробежал мимо него...»

Это мгновение, «промелькнувшее и исчезнувшее, точно проблеск молнии», по-видимому, стоит в противоречии с настроением, преобладавшим в гаршинском поколении. Но это именно то исключение, которое только подчеркивает правило. Жизнь вообще не математическая формула. Она полна противоречий, и в Гаршине все эти противоречия его времени бились и трепетали с особенной силой, требуя ответов и решений. Господин А. Васильев, в своих коротеньких воспоминаниях[52], отмечает, между прочим, что Гаршин «благоговел перед Александром II». Возможно, что это чувство возникло именно в так ярко описанную Гаршиным минуту смотра. Как страдания Кузьмы он помножил на цифры военных реляций, так же множил теперь свое единичное чувство ответственности. В

лице царя он видел человека, на которого легло невыносимое бремя ответственности за всех, кто ценою решимости умереть от нее освободился... Гаршин весь — сын своего времени. Сам непоследовательный, стоявший меж двух враждебных миров, он ненавидел математику, быть может, именно за ее последовательность. Но, говорит он сам, давалась она ему легко. И во всей этой почти идиллической картине ощущается как бы горькое сознание: это недолгое единение на почве борьбы за чужую свободу «мелькнет и исчезнет при коротком блеске» порыва. А математическая последовательность событий, неотвратимая и ненавистная, — ведет и гаршинское поколение, и этого плачущего царя к страшной трагедии 1 марта[53].

.....

Время, когда раненый Гаршин вернулся в Петербург, лечился и выздоравливал, было самым спокойным и счастливым в его жизни. Впоследствии, когда, после тяжкого приступа психоза, он прожил два года в имении своего дяди Акимова над бугским лиманом в Херсонской губернии, — он тоже почувствовал себя

спокойным и здоровым. Бросившись дяде на шею, он благодарил его за этот отдых и сказал, между прочим, характерную фразу: «Дядя, дядя! Я чувствую, что это прошло. *Никаких проклятых вопросов нет*». Но там это было после временной бездеятельности. Эти два года были своего рода бегством от проклятых вопросов. Наоборот, поход, рана и возвращение на родину были временем наибольшего напряжения сил. В одном письме Гаршина (к А. Я. Герду) есть очень характерное перечисление человеческих потребностей: наряду с потребностями пить, есть, спать, любить — упоминается также потребность претерпеть [54]. Завещанная нашей многотерпеливой и пассивной историей, потребность эта была сильна во всем гаршинском поколении, и жизнь не отказывала ей в удовлетворении. Одни находили для себя это удовлетворение в отказе от привилегированного положения, другие — в тюрьмах и ссылке. Гаршин нашел его на время в трудностях похода, в опасностях, разделяемых с солдатами, наконец, в своей ране. Годы, ближайšie к войне — 1878, 1879 и начало 1880,— были также периодом

наибольшей литературной производительности Гаршина. «Четыре дня» он написал еще в походе. Затем следовали: «Очень маленький роман», «Происшествие», «Трус», «Встреча», «Художники», «Attalea princeps», «Ночь»...

Один из близких знакомых Гаршина рассказывал пишущему эти строки небольшой литературный эпизод из времени гаршинских дебютов. В отзыве о «Четырех днях» известный критик А. М. Скабичевский, высказавшись о рассказе самым похвальным образом, не признал, однако, за автором художественного таланта. Достоинства рассказа он приписывал тому, что все это непосредственно пережито автором, который таким образом явился лишь, так сказать, репортером своих ощущений. Мы видели, что Гаршин считал вопрос о своей способности к литературной работе вопросом жизни и смерти. Поэтому отзыв критика больно задел его, и это чувство нашло отголосок даже в его автобиографии. Упомянув о «Четырех днях», он прибавляет в скобках: «Скажу, кстати, что сам я ничего подобного никогда не испытывал, так как после раны тотчас был вынесен из огня».

Быть может, под влиянием именно заметки Скабичевского темой следующего значительного рассказа своего Гаршин взял эпизод из жизни проститутки, в котором нельзя было усмотреть субъективных мотивов. «Происшествие» изображает роман простого, незаметного чиновника, влюбившегося в проститутку Надежду Николаевну. Не блестящий, но глубоко чувствующий Иван Иванович Никитин хочет спасти ее, но она не верит ни глубине и устойчивости его чувства, ни своей способности к возрождению. Трагедия кончается самоубийством Ивана Ивановича, что и составляет «происшествие». Рассказ, написанный просто, хотя и несколько эскизно, не вполне удовлетворил автора, и впоследствии он вернулся к той же теме. В этом втором рассказе («Надежда Николаевна») интеллигентная проститутка встречает на своем пути уже не незначительного Ивана Ивановича, а талантливого художника Лопатина, который, задумав написать Шарлотту Корде, ищет натурщицу. Фигура и лицо Надежды Николаевны, с отпечатком трагической судьбы, переживаемой сознательно и глубоко, подходит

как нельзя более к его сюжету. Во время сеансов он влюбляется в нее идеалистически чистой любовью. Она тоже поддается этому чувству. Сначала она пытается удалиться, боясь вовлечь любимого человека в роковой круг своей трагической судьбы, но, когда это не удается, — она подчиняется новому чувству беззаветно и цельно. Оба счастливы, вопрос близится к решению, во вкусе 60-х и 70-х годов, на мотив некрасовского:

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди.*

Но идиллия разрушается вмешательством человека, тоже влюбленного в Надежду Николаевну. В лице этого Бессонова Гаршин как будто желал излить всю свою «ненависть к математике» с ее последовательностью. Бессонов — журналист, человек положительный, энергичный, живущий по твердо установленным правилам. Познакомившись с Надеждой Николаевной, он тоже испытывает чувство более глубокое, чем он мог думать и чем желал допустить. Но скоро он побеждает себя. «У этого человека, — говорит о нем зна-

ющий его художник Гельфрейх, — в голове всё ящички и отделеньица: выдвинет один, прочтет, что там написано, да так и действует. Представился ему вот этот случай. Видит: падшая девушка. Ну, он сейчас к себе в голову. А там у него все по алфавиту; достал, прочел: *они никогда не возвращаются*». Бессонов равнодушно говорит Лопатину: «Неважная особа... на нижней ступеньке человеческой лестницы. Ниже — пропасть, куда она скоро и свалится».

Однако он не соглашается познакомить с нею Лопатина. Когда же тот все-таки знакомится и Бессонов видит, что другой готов сделать для Надежды Николаевны то, что отказался сделать он сам, — он невыразимо страдает. Он скрывает свои чувства под маской спокойствия, «как тот французский рыцарь-священник, который считался неуязвимым только потому, что носил красный плащ, чтобы не видно было крови, лившейся из его ран». В конце концов он является в студию Лопатина, когда там находится Надежда Николаевна, убивает ее выстрелом из револьвера и ранит Лопатина, а последний убивает

его самого каким-то художественно-бутафорским копьем.

Рассказ этот, возбуждавший большой интерес, как все гаршинские, вызвал также и немало критических замечаний. «В этом произведении, — писал Н. К. Михайловский, очень ценивший Гаршина, — фабула чрезвычайно сложна: тут и неожиданные встречи, и возрождение падшей женщины, и образ Шарлотты Корде, и два убийства, и проч. А между тем мы с некоторым, не совсем приятным недоумением остановились перед этой повестью, несмотря на то, что в ней есть прекрасно написанные фигуры второстепенных действующих лиц (художник Гельфрейх, рисующий только кошек, но достигший в этом роде совершенства, капитан Грум-Скржебицкий, выдающий себя за „бойца Мехава и Опа-това“, и другие)...»[55]

К недостаткам, бегло отмеченным в цитированном отзыве, нужно прибавить мелодраматический конец, плохо мотивированный для положительного Бессонова, и недорисованность фигуры главной героини. При той душевной значительности, которую автор

приписывает этой падшей девушке, трудно представить долгое и пассивное примирение ее с своей участью. И все же приходится констатировать странное действие рассказа: одновременно и чувство неудовлетворенности, и необыкновенная, незабываемая яркость впечатления. Автор не раскрывает нам всю «реальную правду», окружающую падших девушек и так быстро отравляющую женскую душу. Он берет свою Надежду Николаевну лишь в те моменты, когда на нее падает ответ чувства Лопатина, и когда ее самое перерождает возникающая любовь. В эти моменты он рисует ее хотя односторонне, но правдиво. Идеология 70-х годов была наивна, часто романтична. Ведь и Достоевский свою проститутку нарисовал подвижницей (Соня Мармеладова). В обоих этих образах (безотносительно к силе таланта) — русская литература тех времен робко подходит к страшной проблеме женского падения. Подходит еще издали, как бы в неведении всей реальной правды и сохраняя в памяти идеальные представления о женской натуре. Еще несколько шагов, и эти идеалистические представления

разлетятся, как мыльный пузырь. В наше время литература уже сделала эти шаги. Она вскрывает бытовую обстановку проститутки с поразительной, отталкивающей, одуряющей правдивостью. Эти наивные образы 70-х годов стоят к новейшей литературе по этому предмету приблизительно в таком же отношении, как мужики Тургенева или крестьянские дети из «Бежина луга» — к картинам народной жизни вроде, например, решетниковских «Подлиповцев». Однако — есть своя правда и в «Бежином лугу». И порой невольно приходит в голову, что реальный угар, которым веет от новейших изображений проституции, — тоже не вся правда. Для художественного синтеза необходим и элемент того целомудренного идеализма, с каким подходила к этому вопросу литература 60-х и 70-х годов.

Дядя Гаршина, В. С. Акимов, отмечает, что, вследствие напряженной чуткости нервов, Гаршину писать всегда было тяжело. «Он сознался мне, — говорит г. Акимов, — что почти все, что он до сих пор написал, — являлось в то время, когда на него „находило“»[56]. Фау-

сек говорит, в свою очередь, что Гаршин жил среди какой-то особенной «напряженности духа», «не мог писать спокойно и не волнуясь». Даже его «маленькие рассказы требовали от него напряжения всех душевных сил, и создания его воображения сильно его волновали»[57].

Это делало его произведения глубоко лирическими, налагало на них отпечаток какой-то особенной тревоги. Тон большинства его рассказов держится почти на границе, отделяющей лирическую взволнованность от болезненного аффекта. Он обладал удивительным чувством меры и почти нигде не переходит этой границы, но сдержанность эта, очевидно, стоила ему больших усилий. Он сознавал это как недостаток и стремился найти другую, более спокойную манеру творчества. Можно сказать, что драма Гаршина как писателя состояла именно в стремлении перейти от лирической манеры, которая разрушала его нервы, к эпической: «Хорошо или нехорошо выходило написанное, — говорит он в письме к В. Н. Афанасьеву, — это вопрос посторонний; но что писал я в самом деле одни-

ми своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, — то это, право, не будет преувеличением»[58]. По поводу критических отзывов о «Надежде Николаевне» (в общем довольно неблагоприятных) он пишет В. М. Латкину, что отзывы эти его задевают мало, и цитирует: «Ты сам свой высший суд...» «Но дело в том, — продолжает он, — что на этом-то суде я не могу сказать: „доволен“. Я чувствую, что мне надо переувчитаться сначала. Для меня прошло время страшных отрывочных воплей, каких-то „стихов в прозе“, какими я до сих пор занимался: материала у меня довольно, и нужно изображать не свое, а большой внешний мир». С этой именно целью он взялся за «Надежду Николаевну». «Но, — сознается он, — старая манера навязла в перо, и потому-то первая вещь с некоторым действием и *попыткою* ввести в дело несколько лиц решительно не удалась»[59].

Не удалась она и до конца его жизни. И вопрос тут не в рамках и не в ширине захвата (не в попытке ввести в дело побольше лиц). Гаршин сам, кажется, не замечал, что жела-

тельный тон, в сущности, ему порой уже давался, и опять-таки это было в военных рассказах. «Четыре дня» поражают спокойной сдержанностью, несмотря на волнующую тему. «Воспоминания рядового» имеют все характерные черты эпоса, не исключая и широты захвата. В 1880 году он писал: «Работа у меня кипит свободно и легко. Я могу всегда начать и всегда остановиться. Это для меня просто новость». Написал он тогда «Денщика и офицера» — произведение, в котором нет и следов «страшных отрывочных воплей». Фигуры прапорщика Стебелькова и его денщика нарисованы в тоне спокойного мягкого юмора, отчасти напоминающего Тургенева. Гаршин задумывал расширить эту жанровую картину, сделав ее началом большого романа («Люди и война»). Но приступ болезни разрушил эти планы. Замечательно, что много раз Гаршин возвращался к мысли уйти опять в военную службу. Ему казалось, вероятно, что там его опять охватит атмосфера спасительной «безответственности», которая раз уже так целительно подействовала на его неприспособленную душу. Но это, конечно, была

иллюзия. Во время войны в нравственной атмосфере, которою дышал Гаршин, было удовлетворение «потребности претерпеть». Даже жестокий Венцель становится симпатичным перед торжественным празднеством смерти. Трудно представить себе Гаршина в обычной обстановке армейской жизни, когда из нее уходит этот возвышающий мотив...

Вообще короткий праздник душевного спокойствия миновал, возврата к нему уже не было... В одном из значительнейших и наиболее определяющих рассказов Гаршина — «Художники» он ставит проблему: искусство и жизнь, и рассказ опять — весь трепет и боль. Фабулы в нем тоже нет. Гаршин принимается за свой сюжет с грубоватой упрощенностью. Это — дневники двух художников, Дедова и Рябинина. Первый — представитель чистого искусства. Второй требует и от искусства ответа на проклятые вопросы. А так как для Гаршина и для его поколения проклятые вопросы заключались в поисках *правды человеческих отношений*, то Рябинину нужно найти оправдание «социальной» роли искусства. Вопрос становится определенно,

ясно, конкретно: что дает искусство тем,

*...чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в нау-
ки,
Предаваться страстям и меч-
там.*

«Чертовски талантливая натура, — пишет о нем Дедов в своем дневнике. — Но я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники — его поклонники... Пишет лапти, онучи, полушубки, как будто мы не довольно насмотрелись на них в натуре...» «Иногда засядет и в месяц окончит картину, о которой все кричат, как о чуде, а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает...» Дедов отмечает, что его товарищ принадлежит к числу «странных людей», не могущих найти полного удовлетворения в искусстве и не признающих его самодовлеющего значения. Рябинин, в свою очередь, удивляется художественному самодовольству пейзажиста Дедова, не задающегося никакими вопросами о значении своей работы.

Этим примитивным приемом — параллельная смена двух дневников — Гаршин рисует полярные взгляды на искусство, разделявшие и художников, и мыслящее общество его времени. Но художественный центр тяжести не в этом споре. Вся драма сосредоточена на истории картины, которую пишет Рябинин. Называется она «Глухарь» и изображает рабочего-заклепщика, роль которого — поддерживать грудью и руками молот с внутренней стороны котла, когда снаружи тяжелыми ударами расплющивают заклепку.

Известна история этого замысла. Гаршин был дружен с покойным художником-передвижником Н. А. Ярошенко. В «Сборнике в память Гаршина» напечатан снимок картины Ярошенко «Кочегар». Сильный, мускулистый человек, с огромными руками и впалой грудью, стоит у самой топки, весь облитый пламенем, спокойно, чуть жмурясь. На лице его нет мысли, во всей фигуре — та закаленность тела, которая дается за счет поглощения высших процессов духа. Много и разных мыслей вызывает этот кочегар. Одна из них: условия такой работы постепенно убивают даже та-

ких богатырей, а более слабых губят неизбежно и быстро.

На Гаршина картина произвела сильное впечатление. Его чуткое воображение, пройдя через разные ассоциации образов, остановилось на «Глухаре».

«Работа совершенно измучила меня, — пишет Рябинин в своем дневнике, — хотя идет успешно. Следовало бы сказать: не *хотя*, а *тем более*, что идет успешно... Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий через круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклокоченной и закопченной бороде, на жилистых, надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди[60]. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного Глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в невероятной позе...»

«Иногда, — продолжает Рябинин, — я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею: ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это удовольствие не ласкает меня, а мучает. Это — не написанная картина, это — созревшая болезнь. Чем она разрешится — не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего будет писать».

Этого «Глухаря» показал Рябинину Дедов (он — бывший инженер), как Гаршину показал своего кочегара Ярошенко (тоже бывший военный инженер). Конечно, Дедов мог объяснить Рябинину, что «положение глухаря не так уже ужасно. Что за эту работу платят на полтинник в день дороже, поэтому на нее есть много охотников, что удары по груди облегчаются такими-то приемами, хотя... конечно...» Но Рябинины — Гаршины плохо воспринимали эти смягчения. Они брали лишь конечные последствия, обнажая их от всех реалистических компромиссов. Картина для Рябинина становится «созревшей болезнью». Ужас ее в проклятом вопросе: что же даст са-

ма она миру «глухарей» и как на него воздействует?

Рябинин решает этот вопрос отрицательно: никак не воздействует, и, значит, возможность для него, художника Рябинина, «погружаться в искусства, в науки, предаваться страстям и мечтам» за счет этого Глухаря остается неоправданной. Рябинин бросает художество и уходит в учителя. «Но и там он не преуспел», — прибавляет автор уже от себя.

«Художники» являются, быть может, одним из самых субъективных произведений Гаршина. Как и Рябинина, его мучили проклятые вопросы о правде человеческих отношений, и каждый его рассказ был тоже «созревшей болезнью». Как и Рябинин, Гаршин в конце концов не находил решения... И вот от времени до времени в его работе пробиваются все более пессимистические ноты...

То время (конец 70-х годов) было крайне неблагоприятно для философского пессимизма. Мыслящие круги общества были охвачены возраставшим приливом деятельного настроения борьбы и надежды. Решение «проклятых вопросов» казалось (до наивности)

легким и близким. А так как все же борьба была трудна, то общество инстинктивно чувствовало потребность в ободряющем и энергичном настроении. За эти ноты оно часто прощало очевидную нехудожественность самых образов и не хотело воспринимать пессимистических мотивов даже в истинно художественном воспроизведении. Большинство своих рассказов Гаршин отдавал в «Отечественные записки». «Attalea princeps» появилась в другом журнале, и говорили, что Щедрин не захотел напечатать ее именно потому, что она «наводит уныние». На фоне общего оптимизма и надежд рассказ этот действительно звучит пророчеством Кассандры. Читателям, конечно, памятна эта маленькая, но полная грустной прелести картинка. Прекрасная пальма рвется кверху, чтобы разрушить стеклянную крышу теплицы и вырваться на волю. Она призывает соседние растения к дружным усилиям, но тепличная братия отказывается понимать ее. Тогда она предпринимает гордую, одинокую борьбу. Железные прутья рам впиваются в нежные молодые листья, ранят и уродуют их, но молодое дерево

упрямо продолжает расти и наконец побеждает. «Лопнула толстая железная полоса, посыпались осколки стекла». Над стеклянным сводом гордо выпрямилась зеленая корона пальмы на вольном просторе. Цель достигнута, но радости нет. «Была глубокая осень. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи... Attalea поняла, что для нее все кончено. Она замерзала».

Рассказ написан весной 1879 года. В нем звучит печальное предчувствие, но еще нет последних выводов законченного пессимизма. Гаршин не говорит: «таков удел прекрасного на свете», таковы неизбежные вечные законы, карающие всякие порывы к свету и свободе. Он говорит только: «так бывает» с прекрасными экзотическими растениями в суровых условиях. Та же пальма могла бы расти у себя на родине. И, умирая, она видит сквозь пелену дождя и снега купы елей и сосен, стоящих в своем ненарядном уборе на том самом холоде, который ее убивает...

Нужно заметить, что умом Гаршин разделял со своим поколением нерасположение к

пессимистическим обобщениям[61].

Зимой 1879 года он написал рассказ «Ночью». Тогда говорили, что рассказ возник из своеобразного состязания: три молодых писателя решили каждый отдельно написать по рассказу на тему о самоубийстве, и действительно, почти одновременно с гаршинской «Ночью» в журналах появились еще два однородных очерка (оба теперь забыты). Уже это обстоятельство (вперед заданная тема) делает рассказ мало характерным для Гаршина и менее всего дает право искать здесь автобиографию. Написан очерк тоже без присущей Гаршину определенности и ясности, что подало даже повод к литературному недоразумению: Н. К. Михайловский в своем критическом обзоре понял финал рассказа как самоубийство, Гаршин сделал поправку: его герой не застрелился. Он все-таки решил проклятый вопрос: «нужно отвергнуть себя», связать свое «я» с потоком общей жизни. Это решение вызвало прилив бурного восторга. «Такого восторга он никогда еще не испытал ни от жизненного успеха, ни от женской любви. Восторг этот родился в сердце, вырвался из него, хлынул го-

рячей, широкой волной; разлился по всем членам, на мгновение согрел и оживил несчастное заоченевшее существо. Тысячи колоколов торжественно зазвонили. Солнце ослепительно вспыхнуло, осветило весь мир и исчезло...» Николай Петрович умер, но смерть произошла не от пули: больное сердце не выдержало бурного прилива жизненной радости.

К таким выводам приходил Гаршин, когда он рассуждал о жизни. «У него была, — говорит В. А. Фаусек, — огромная способность понимать и чувствовать счастье жизни... Все источники радости и наслаждения в человеческой жизни были ему доступны и понятны». Тем не менее когда Гаршин не рассуждает, а творит, пессимистическая нота прорывается у него невольно, как глубокий, но отодвигаемый сознанием фон его настроения. К концу своего пребывания у В. С. Акимова (в 1882 г.) оправившийся от болезни Гаршин написал небольшую сказочку «То, чего не было». На пяти страничках это — квинтэссенция пессимизма. В жаркий июньский день на полянке собралась компания: старый гнедой конь,

улитка, навозный жук, несколько мух, ящерица, гусеница и кузнечик. Они рассуждают о доступном им мире, об его пределах, о целях жизни, пока не приходит кучер Антон, чтобы взять гнедого за чуб и отвести в конюшню. Мимоходом, он наступает сапожищем на философствующую компанию и давит ее... Сказку эту он прочитал господину Акимову, конфузясь и затворив все двери. Еще более он смутился, увидев на лице дяди неодобрение. «Он поспешил уверить, что рассказ написан исключительно для детей г. Герда и никогда не будет напечатан; при этом он сам указывал на разные несообразности рассказа и прежде всего на отсутствие мысли». Впоследствии очерк все-таки появился в печати (в журнале «Устой»), и критика встретила его неодобрительно, комментируя именно как продукт пессимистического настроения. Это приводило Гаршина в раздражение. «Господи! — жалуется он в письме к В. А. Фаусеку. — Вот где истинные мизантропы, сэр!.. Клянусь моим свиданием с вами, мне и в голову не приходило, что за этими Антонами и мухами можно угадывать что-нибудь, кроме мух и

Антонов»[62].

Между тем впоследствии этот маленький рассказик стал одним из очень популярных очерков Гаршина. И действительно, по своей сжатости и горькому юмору — это жемчужина художественного пессимизма, хотя, как мы видели, сам автор не имел в виду обобщений.

По поводу самоубийства одной знакомой девушки Гаршин писал (18 мая 1883 г.), что, по его мнению, все люди, кроме прочих рубрик, которых множество, — разделяются еще на два разряда: одни обладают хорошим самочувствием, другие — скверным. «Один живет и наслаждается всякими ощущениями: ест он — радуется, на небо смотрит — радуется. Даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием... Словом, для такого человека самый процесс жизни — удовольствие, самосознание — счастье. Вот как Платоша Каратаев. Так уж он устроен, и я не верю ни Толстому, ни кому иному, что такое свойство Платоши зависит от мирозерцания, а не от устройства». «Другие совсем напротив... Когда-нибудь Бернары найдут

хвостики самых хвостиков нервов и все это объяснят. Посмотрят под микроскопом и скажут: ну, брат, живи, потому что если тебя даже каждый день сечь станут, то и тогда ты будешь доволен и будешь чувствовать себя великолепно. А другому скажут: плохо твое дело, никогда ты не будешь доволен, лучше заблаговременно помирай. И такой человек померет... Так умерла и Надя. Ей тоже сладкое казалось горьким»[63].

Сам Гаршин в этом отношении представлял натуру парадоксальную. По всему своему «устройству» он мог и понимать, и откликаться на все радости жизни, но где-то коренился один дефект нервной системы, который, как туча, омрачал настроение угрозой сумасшествия. По-видимому, это было, как и у Гоголя, например, наследственным[64]. Начавшись с гимназического возраста, припадочки то прекращались надолго (и тогда Гаршин отличался заразительным веселием и оживлением), то становились чаще. Период военной службы и главным образом чувство «безответственности» сделали Гаршина счастливым, спокойным и деятельным. Последую-

щие обстоятельства общественной жизни, наоборот, постоянно обостряли и тревожили его чуткие нервы. Он не был боевой натурой, но он, как рядовой Иванов, чувствовал постоянную потребность стать между двумя враждующими сторонами, а взаимные чувства этих враждующих сторон все обострялись. Время, последовавшее непосредственно за внешней освободительной войной, было временем так называемого «большого процесса» и репрессий, которыми правительство ответило на идеалистически-наивный порыв молодежи «в народ». В гражданскую жизнь страны властно врывается всесторонняя реакция, и среди передовой молодежи росло настроение, которое вскоре выразилось рядом террористических покушений. Гаршину это настроение было органически чуждо. Как Алексей Толстой, он мог сказать о себе, что он «двух станов не боец». Но и случайным гостем в них он тоже не был. Кто прочитал его «Художников», кто ознакомился с мотивами его добровольчества во время войны — для того не может быть сомнений, что Гаршин глубоко разделял тогдашнее народническое настро-

ние. Ведь и его Рябинин уходит с высот интеллектуальной жизни «в народ». Не трудно угадать, какие условия встретили Рябинина и каково могло быть отношение Гаршина к этим условиям. Но «рядовой Иванов» любит и Венцеля. Гаршину всегда казалось, что трагически запутанные отношения людей, приводящие к борьбе и крови, в сущности являются результатом недоразумения и что есть такое слово (и даже известно, какое слово: любовь), которое можно сказать как-то так вовремя и умело, что все недоразумения рассеются.

1879 год был полон грозowego напряжения. Чувствовалась необходимость какого-то нового пути и нового спасительного слова. Александр II решил диктатуру. Она должна была представлять всю силу и грозу власти, обращаясь вместе с тем к лучшим чувствам потрясенного общества. Катков с меткой иронией, хотя и задним числом, назвал ее «диктатурой сердца». Между тем страна нуждалась только в определенном и новом праве.

Все это производило глубокое волнение. Общество ждало чего-то... Чего именно? Одни — железных репрессий, другие — реформ,

но и то, и другое могло прийти только извне, неожиданно, случайно, как экстренная милость или невиданная гроза. Назначение диктатора Лорис-Меликова состоялось 12 февраля 1880 года. Через несколько дней (20 февраля) молодой человек по фамилии Млодецкий явился к новому диктатору на прием и выстрелил в него. Военный суд приговорил Млодецкого к смерти.

Гаршин все это время был в возбужденном состоянии и в ночь перед казнью почувствовал потребность, как рядовой Иванов, стать между сильной властью и приговоренным. Сведения об этом эпизоде, к сожалению, очень скудны. Известно, что он добился, чтобы Лорис-Меликова разбудили в три часа ночи, и «стал умолять его на коленях, в слезах, от глубины души, с воплями раздиравшегося на части сердца, о снисхождении к Млодецкому» [65]. Самое содержание разговора осталось тайной. Известно, что заступничество не помогло: диктатуре сердца суждено было все-таки начаться покушением, с одной стороны, казнью — с другой. И характерно, что Гаршин, один тогда во всей легальной России по-

смевавшийся «схватить за руку» всесильного диктатора (так же, как и его Иванов относительно Венцеля), приходит к реабилитации Лорис-Меликова. «Рано утром, — пишет художник Малышев, — Гаршин пришел в мою комнату страшно взволнованный и, рассказывая о своем посещении, осыпал похвалами своего собеседника и ждал от него великих дел»[66]. В тот же день Гаршина видел также Г. И. Успенский. «Несколько писателей, — говорит он в своей статье, — собрались где-то в Дмитровском переулке, в только что нанятой квартире, не имевшей еще мебели, пустой и холодной, чтобы переговорить о возобновлении старого „Русского богатства“. В числе прочих был и Всеволод Михайлович. Его ненормальное, возбужденное состояние обратило на себя общее внимание... Охрипший, с глазами, налитыми кровью и постоянно затопляемыми слезами, он рассказывал ужасную историю (своего визита к диктатору), но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову. На его беду, в ту самую минуту, как он только что наглотался воды, в кухню вошел матрос с

мешком на плече и предложил купить рижского бальзама. Гаршин немедленно купил бутылку, налил целый стакан бальзама и выпил его, как воду, сам, очевидно, не понимая, что с ним творится. Накануне весь день он был в таком же состоянии и перед тем, как отправиться к Лорис-Меликову, тоже пил вино (которого совсем не пил ранее). После этого он несколько дней страшно страдал, плакал и наконец, совершенно расстроенный, уехал из Петербурга, очутился в Тульской губернии, бродил пешком и верхом на лошади, попал к Толстому в Ясную Поляну. Закончилось это тем, что родные разыскали его и он попал в харьковскую больницу для душевнобольных (т<ак называемая> Сабурова дача)».

Это был один из самых тяжелых припадков психоза, потрясший его так сильно, что Гаршину понадобилось целых два года спокойного пребывания вдали от жизненных впечатлений на бугском лимане, чтобы прийти в относительное равновесие.

Художественным плодом этого душевного кризиса явился «Красный цветок». Профессор Сикорский, известный психиатр, называет

его классическим в смысле точного изображения самой болезни. Вместе с тем в этой жемчужине гаршинского творчества русская литература получила яркий символ, воплощающий трагедию человеческого духа. Трудно представить себе то отдаленное время, когда этот (по обыкновению, маленький) гаршинский рассказ перестанет волновать и трогать сердца своим глубоко трагическим содержанием и восхищать необыкновенной красотой и простой строгостью изображения. Мы предполагаем, что всем русским читателям знакома эта история бедного безумца, воображающего, что он погибает в борьбе со злом всего мира. С грустной улыбкой автор говорит нам: это был только красный цветок, простой цветок красного мака. Значит — иллюзия. Но около этой иллюзии развернулась в страшно сгущенном виде вся душевная драма самоотвержения и героизма, в которой так ярко проявляется высшая красота человеческого духа...

Гаршин уже ранее, еще здоровый, посещал психиатрическую клинику и с разрешения профессора вместе со студентами присутство-

вал при демонстрации больных. Впоследствии, сам очутившись в положении больного, он имел случай наблюдать самого себя. Замечательно, что Гаршин превосходно помнил все, что с ним было во время болезни, а некоторые черты рассказа являются прямым отражением личных переживаний. Есть, кажется, большое основание думать, что и центральный мотив — борьба со всем злом мира, воплотившимся в одном образе, — является тоже автобиографической чертой. В. А. Фаусек, посетивший Гаршина на Сабуровой даче, говорит, между прочим: «Мы нашли его в большом саду, принадлежащем больнице. Он встретил нас приветливо, узнал всех троих... и много с нами разговаривал... Он говорил со мною важно и таинственно о каких-то важных своих предприятиях, но трудно было понять что-нибудь в его речах. Он говорил о своих врагах: где-то, *за стеной, на которую он робко указывал*, жил какой-то принц или князь, его враг, с которым у него должна была быть дуэль. Лицо у него на мгновение вспыхнуло злобой — странное, непривычное для него выражение»[67]. Более чем вероятно,

что таинственный принц и преобразился впоследствии в фантастический красный цветок, находившийся тоже за стеной. Случайное упоминание Фаусека о непривычной для Гаршина вражде странно совпадает даже по форме выражения с тем местом гаршинского рассказа, где у больного впервые является идея о цветке как о воплощении всего зла мира.

Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора. Больной стоял, прильнувши лицом к стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Окликнутый фельдшером, «он повернулся к нему лицом, и фельдшер чуть не отскочил в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело у него в глазах»[68]. Ему тоже предстояла смертельная дуэль со злом, живущим за стеной сада. Для него это был цветок, для Гаршина — сказочный принц. Как и в «Attalea grincers», Гаршин в «Красном цветке» не дает законченной пессимистической формулы. Подвиг ли нужно считать безумием, или безумие возвышается до подвига — в том и другом случае мы находимся под обаянием

необыкновенной красоты и глубокой печали.

Мы рассмотрели здесь почти все, что является характерным для основных мотивов гаршинского творчества. Нам остается упомянуть о «Встрече», «Медведях», «Жабе и розе», «Сигнале» и «Гордом Аггее». Все это очерки, порой обладающие большими художественными достоинствами, но по темам или незначительные, или лежащие в стороне от большой дороги гаршинского творчества. «Встреча», где скучно добродетельный человек встречается с циничным, но откровенным и цельным в своей откровенности пороком, — быть может, дает некоторый субъективный, но очень отдаленный и косвенный отзвук гаршинского настроения. Его добродетельный Василий Петрович отрицает умом новое хищническое мирозерцание своего бывшего друга, но у него нет того гневного порыва, который один только мог бы поставить ощутительную грань между враждебными началами. Объективируя эту психическую нейтральность, Гаршин, быть может, рисовал отчасти собственное положение между двумя

враждующими мирами. Но, как и в рассказе «Ночью», он сознательно сгущает отрицательные черты характеристики: его Василий Петрович, с своим вялым дидактизмом, полярно противоположен чуткой, болезненной и страдающей рефлексии Гаршина. «Медведи» — превосходно написанная страничка из детских воспоминаний, является, быть может, плодом того искания спокойной литературной манеры, о котором мы говорили выше. «Сказание о гордом Аггее» и «Сигнал» составляют дань тому настроению, которое в 80-х годах было вызвано рядом маленьких толстовских рассказов. В них современные искания смиренно направлялись к старинным сказаниям и прологам, почерпая из этих источников простую элементарную мораль. На этих мотивах можно было порой отдохнуть от сложных и мучительных поисков, но они не задевали самых характерных и болезненных сторон современной жизни. Для Гаршина это могло быть лишь эпизодом, не удовлетворявшим ни его самого, ни аудиторию.

В 1883 году Гаршин женился (на Надежде Михайловне Золотиловой, слушательнице

медицинских курсов). Сравнительно нетрудная и недурно оплачиваемая работа (секретарем съезда железных дорог) сняла с него мучительную заботу о заработке, который был необходим, при малой литературной производительности. Все это доставило ему сносные условия существования, но не могло остановить развития внутренней трагедии больной и чуткой души. Жить без литературы он не мог, между тем каждая буква уносила у него каплю крови. В поисках эпических тем, он обращался к истории и собирал материалы из времен Петра Великого. Строил планы полуфилософского романа, в котором должна была играть роль «наука и новые явления вроде спиритизма». Но среди этих исканий и среди мучительных впечатлений русской жизни 80-х годов роковая болезнь брала свое. Страх перед рецидивами становился мучительнее, припадки чаще. Однажды, среди сборов в путешествие, о котором еще незадолго он мечтал с надеждой, что оно улучшит его состояние, Гаршин вышел на площадку лестницы, спустился несколько вниз и бросился с четвертого этажа. Его под-

няли и свезли в больницу, где через пять дней он умер (24 марта 1888 года).

Литературное наследство Гаршина очень невелико по объему. Изданные первоначально три небольших томика впоследствии с дополнениями (в виде отчетов о выставках и фельетонов) сведены в один том средних размеров (издание Литературного фонда). Художественные недочеты гаршинских произведений с обычной своей несколько суровой прямоотой отметил (в очень, впрочем, сочувственном отзыве) Н. К. Михайловский. Напомнив об известном упреке Тургенева по адресу новых русских писателей-беллетристов (недостаток «выдумки», интересных коллизий и действия), Михайловский говорит:

«До какой степени г. Гаршин бывает иногда слаб по части „выдумки“, видно из следующего мелкого, но характерного обстоятельства. Герой первого его рассказа „Четыре дня“ носит фамилию Иванов. Герой рассказа „Из воспоминаний рядового“ — тоже Иванов. В рассказе „Денщик и офицер“ денщика зовут Никитой Ивановым. Герой „Происшествия“ называется Иван Иванович Никитин... Есть

еще, например, Стебельков, но фамилия эта повторяется в двух рассказах. Имя Василий Петрович (довольно нехитрое имя) фигурирует тоже в двух рассказах...» Повторяется также очень неблагоприятный художественный прием: рассказы в форме дневников («Происшествие», «Художники», «Трус», «Надежда Николаевна»). Сила Гаршина не во внешней занимательности действия, а в глубине и интенсивности, с какой он отражал наиболее характерные настроения своего поколения. «В его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, — говорит Глеб Успенский, — положительно исчерпано все содержание нашей жизни, в условиях которой пришлось жить и Гаршину, и всем его читателям... Именно все, что давала уму и сердцу наша жизнь... все до последней черты пережито и перечувствовано им самым жгучим чувством и именно потому могло быть высказано только в двух, да еще таких маленьких книжках»[69].

В каждом периоде есть свои специфические мотивы, понятные только данному поколению, которым суждено безвозвратно уто-

нуть в прошлом вместе со своей хронологической датой. И есть другие мотивы, тесно переплетающиеся с глубинами человеческой природы и человеческого духа, которые не отмирают, но переходят в будущее как его органическая составная часть.

Гаршинское время — еще далеко не история. А в произведениях Гаршина основные мотивы этого времени приобрели ту художественную и психологическую законченность, которая обеспечивает им долгое существование в литературе.

1910

Памяти замечательного русского человека*

Из Бухареста получено известие, что 11 августа в санатории евангелической общины «Diaconessenhaus» умер русский эмигрант, широко известный в Румынии под именем доктора Петра Александрова, «русского доктора» (doctor russ, Petru Alexandroff).

Это была одна из самых колоритных фигур, выдвинутых движением 70-х годов, и один из самобытнейших и оригинальных характеров. Много удивительного и много трогательного дает биография этого незаурядного человека.

Настоящее имя его, — Василий Семенович Ивановский. Сын священника Тульской губернии, семинар, он окончил в самом начале 70-х годов медико-хирургическую академию и поступил врачом на земскую службу. Еще будучи студентом, увлекся социально-политическим движением, волновавшим тогдашнюю молодежь. Это было время народнического романтизма, опрощения (хотя и не толстовского) и слияния с народом. В кружке,

близком к Ивановскому, были, между прочим, рабочий Петр Алексеев, студент Ионов и другие. Сам он был известен среди молодежи под кличкой Василия Великого.

В 1876 году Ивановский был арестован по одному из типичных для того времени обвинений «в пропаганде» среди рабочих и крестьян. Еще и в наши дни «пропаганда» общесоциалистических идей, составляющая признанное право во всей Европе, у нас должна храниться в подполье и считается тяжким преступлением. Известно, какими излишествами арестов, ссылок и каторги ответило правительство того времени на идеалистические и во многом наивные порывания молодежи. Ивановскому грозила, вероятно, каторга или дальняя ссылка, но в январе 1877 года он бежал из полицейской камеры Басманной части. В свое время этот побег среди белого дня, совершенный с необычайною смелостью и находчивостью, заставил много говорить о себе.

После побега Ивановский скрылся за границу. Сначала он попал в Берлин, где работал простым рабочим на огородах, потом в

Париж. Но это был человек до такой степени русский по характеру и всему душевному складу, что среди европейской жизни он чувствовал себя совершенно чужим. Меняя места, скитаясь из города в город, он, наконец, попал в Румынию. И здесь его потянуло на Дунай, в Добруджу, на одну треть населенную русскими, где целые большие села заняты или «липованами», потомками некрасовцев, или украинцами, потомками запорожцев. Здесь скиталец и осел прочно, до конца жизни.

Сначала он пытался осуществить чисто народническую программу «слияния», и во время русско-турецкой войны бывший врач является атаманом рыбацкой артели в заливе Рязин, на побережье Черного моря. Артель состояла из всякого международного сброда, имевшего, как и сам Ивановский (только по другим причинам), веские основания удалиться к пустынному лиману, в стороне от путей передвижения русских войск. Нужно было очень много нравственной (а иной раз и просто физической) силы, чтобы держать в повиновении эту недисциплинированную

вольницу, но «атаман» справлялся с этой задачей. Какая-то непосредственная стихийная сила роднила его с этими людьми, а богатырское сложение и атлетическая мускулатура порой разрешали неожиданные вспышки среди пьяной и буйной вольницы. В этих условиях народнику-идеалисту пришлось выдержать испытание своего мировоззрения. И он его выдержал: до конца он остался «народником» во взглядах и, что еще труднее, — в жизни.

Но атаман рыбалок все-таки был и врачом. Сначала он тщательно скрывал свое «звание». Но когда ему случалось встречаться с внезапными и опасными заболеваниями, — долг врача брал свое, и вскоре по побережью, а затем по Добрудже пошел говор о странном «рыбалке», производящем чудесные излечения. Это было до такой степени во вкусе простого народа, наука являлась здесь в ореоле такой заманчивой таинственности и легенды, что скоро стан рыбалок над Рязиным лиманом стал привлекать все более и более пациентов. Ивановский увидел, что от судьбы не уйдешь, и переселится в Тульчу, где откры-

то занялся врачебной практикой.

Это вызвало неудовольствие некоторых местных врачей, которые выступили против новоявленного конкурента с обвинением в самозванстве. Положение обвиняемого было очень странно: он был легализирован, как добруджанский житель Петр Александров, и это звание принадлежало ему (на основании одной из статей Берлинского трактата) самым неотъемлемым и легальным образом. Но права «русского врача» приурочены были к Ивановскому, получившему диплом от медико-хирургической академии, а не Петру Александрову, снискавшему популярность в Добрудже. Запутанное положение разрешилось процессом в Бухаресте. Русскому доктору предложено было выдержать испытание в клиниках университета, и факультет выдал самую лестную характеристику его теоретических и практических познаний. Присяжные вынесли оправдательный вердикт, вызвавший громкие манифестации экспансивной румынской публики по адресу суда, защиты и самого «русского доктора».

С этих пор никто уже не оспаривал его вра-

чебных прав, тем более, что «русский доктор» стал преимущественно врачом мужиков и городской бедноты. В этой среде он был необыкновенно, можно сказать, — исключительно популярен, и каждое утро в узком переулочке Тульчи можно было видеть оригинальную толпу его пациентов: липоване из Сарыкоя или «Русской славы», болгаре из Бабадага и окрестных сел, малороссы в смушковых шапках, румыны в расшитых «чабичках», старики, женщины, дети... С большинства этих пациентов доктор совсем не брал денег, многим помогал сам. Но главное, — умел говорить с ними на языке удивительно простом, непосредственном и задушевном. Никогда ни одной покровительственной или снисходительной ноты не звучало в его простой, немного юмористической речи. Всем он говорил «ты» без различия звания и состояния, всем умел высказать в глаза порой очень резкую правду, но за этим чувствовалась такая обезоруживающая простота, столько искренности и столько непосредственной, стихийной любви к этому страдающему, темному, грешному люду, что все принимали чудака-доктора, как

он есть, целиком, и таким его любили. Появление этого русского гиганта на узкой улице городка, в какой-нибудь демократической корчме или под навесом лучшего ресторана, вызывало одинаково радостные улыбки и одинаково искренние поклоны. Казалось, что у всех становится при этом светло на душе, раздвигаются сдавливающие рамки условностей, прорывается что-то просто человеческое...

Несмотря на то, что он никогда и ни к кому не приспособлялся, несмотря на прямоту его языка и резкость иных «нигилистических» заявлений, к нему шли люди самого различного типа: и сравнительно индифферентные к религиозным вопросам «хохлы», и румыны, и строгие приверженцы «древнего обряда». Нередко мне приходилось заставлять у него «приятелей» из старообрядческого монастыря («Русской славы»), затерянного в лесных ущельях румынских Балкан. И когда такой калугер беседовал с доктором Петром «нигилистом», то было странно видеть непосредственное братство, соединявшее этих людей с такими противоположными взглядами.

Истинно, он был «как дети», и никто из наиболее фанатичных верующих не решался оспаривать у него право, которое Христос предоставил людям с детской душой. Несмотря даже на то, что он далеко не претендовал на святость в разных проявлениях личной жизни.

В Добрудже он прожил лет тридцать, и его колоритная фигура стала как бы необходимой выдающейся особенностью Тульчи. К нему шли не только за врачебными советами, но и во всех трудных случаях жизни, особенно когда первобытные взгляды наших земляков сталкивались с чуждыми нормами румынского права. Он выслушивал запутанные и часто возбужденные объяснения толпы «ходаков» с своей юмористической улыбкой, сдерживал страсти каким-нибудь метким словечком и брал на себя посредничество перед властями. Порой, при обсуждении каких-нибудь общих вопросов местной добруджанской жизни, к экспертизе «русского доктора» прибегали и высшие бухарестские власти. Своеобразная фигура являлась тогда в приемных господ высших администрато-

ров, — в том же незатейливом костюме и с той же юмористической улыбкой философа, не так уж много ожидающего с этих высот для страны в ничего решительно для себя лично.

Жил он философом-бобылем, окруженный общей любовью, не всегда, однако, заменяющей личные и семейные привязанности. Правда, у него были настоящие искренние друзья из среды таких же выходцев русских и частью румын. Порой приезд родных из России, порой поездка к друзьям в Плоешти, Бухарест или Яссы являлись для него просветами в одинокой жизни. Всюду он приносил с собой обаяние своей личности и то особое настроение, которое дается согласием основных фактов личной жизни с самыми глубокими стремлениями души. Всю жизнь, однако, он тяготел к России, мечтая вернуться на родину среди более свободных условий. Мечта эта зацветилась ярче в «дни свободы», но скоро померкла. При «российской конституции» этот непосредственно правдивый человек с так резко выраженной индивидуальностью и стихийно-свободной речью, конечно, не мог

бы найти на родине места нигде, кроме разве Сибири.

В начале декабря прошлого года ему пришлось отправиться к больному, на другой берег Дуная. Пьяный лодочник опрокинул лодку, и доктору пришлось плыть в ледяной воде к острову, а потом ждать часа полтора в холодной рыбацкой избушке, пока из соседней деревни привезли сухое платье. Его закидали горой всякой одежды, но было поздно. На богатырский организм накинута сразу целая коллекция болезней, накопившихся до случая. 11 августа он умер в Бухаресте от болезни печени. Румынская печать проводила русского скитальца теплыми некрологами. «В Тульче, — пишет выдающийся румынский публицист Josiph Nadejde (в газете „Dimineaza“), — не было ребенка, который бы не знал русского доктора. Уважение к нему было тем больше, что во всей его жизни чувствовалось самоотречение и подвиг...» «Глядя на этого человека, до такой степени снисходительного и полного любви к грешному и страдающему люду и в то же время так фанатически верно своим идеям, — казалось, что видишь луч-

шее воплощение русского движения, как оно дано в образах русской литературы...»

Сравнительно свободные политические учреждения Румынии дали ему при жизни возможность найти подобие родины в широких степях Добруджи, оглашаемых русским говором. Похоронен он в Бухаресте. Похороны были «гражданские».

1911

И.А. Гончаров и «молодое поколение»*

(К 100-летней годовщине рождения)

I

«Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несетя разнообразное храпенье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья

и, почавкав губами или проворчав что-то под нос себе, — опять заснет.

А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух так, чтобы их отнесло к другому краю, — отчего мухи, до тех пор неподвижные, сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, — промочит горло и потом падет опять на постель, как подстреленный».

Я не буду продолжать этих выписок. Всякий русский читатель хорошо помнит эту изумительную картину сна, от которой веет настоящим сонным кошмаром, которая угнетает воображение, опутывает ум какими-то частыми, клейкими, вязущими нитями, гипнотизирует и подавляет волю. Читаешь и чувствуешь, что личные мускулы сжимаются, подходит невольная судорожная зевота...

Знаменательна при этом небольшая деталь: мухи в кувшине с квасом. Они уже загнули мертвым сном в медленно убивающей тепловато-кислой гуще... Кто-то спросонья по-

дул на них и... они начинают шевелить ножками «в надежде на улучшение своего положения». Напрасно: тот, кто на время привел в движение убивающую их среду, — сделал это лишь спросонья, и опять его могучий храп носятся над их полусонной агонией...

Гончаров был один из самых ярких реалистов гоголевской школы, но вместе с тем в его творчестве часто прорывался символизм. Порой намеренный и потому не особенно удачный, порой художественно-бессознательный, как в этой детали. Эта картина мушиной агонии поразительно оттеняет все изображение: является представлением о чем-то еще живом, способном летать, но уже умирающем в атмосфере неподвижного зноя и кошмарного сна. «А ребенок все наблюдал и наблюдал»... И вы чувствуете, что детская душа тоже беспомощно бьется, пытаясь взлететь над этим царством сна, но тонкие нити уже опутывают липкою сетью детскую душу... Это — история и Обломова, и Адуева, и Райского... Это, наконец, символическая картина всего дореформенного (и отчасти и пореформенного) русского строя, Обломовка — его гениальная ил-

люстрация, навеки засосанный ею Обломов — его типический продукт, Гончаров — его певец, изобразитель и сатирик.

Гончаров признавал, что Добролюбов верно объяснил ему значение его собственного творчества. «Обломов» — страшная сатира. Но Гончаров, изображая ее, не чувствовал себя сатириком. Для сознательной сатиры нужен пафос или хоть лиризм отрицания, ненависти, смеха. У Гончарова для всей описываемой им жизни была только симпатия и любовь... «Может быть, — пишет он („Лучше поздно, чем никогда“), — мои лица кажутся другим не такими, как я понимал их... потому еще, что в них сквозит много близкого и родного автору и заметно пробивается кровная любовь к ним».

Гончаров скромничал: он должен был бы хорошо знать, что большинство выведенных им лиц отличаются поразительной рельефностью. Он приписывает это своей любви к изображаемому быту и говорит далее о том, что такая любовь к изображаемому необходима всякому художнику. В пример он приводит, между прочим, Гоголя, Тургенева и даже

Щедрина. Но Гоголь, консерватор и крепостник в холодной мысли, чувствовал пламенную ненависть к порокам тогдашней России. Он сознательно высмеивал их в лице своих героев. Тургенев еще более сознательно отрицал уже крепостное право, отдавая свои мягкие симпатии угнетенной стороне. Щедрин прямо ненавидел Пошехонье с его Головлевыми...

У Гончарова другое: он любит именно то самое, что огромный талант мог ему изобразить с такой бессознательно сатирической силой. Гончаров много раз повторял, что сам чувствует себя Обломовым. Конечно, относительно человека, написавшего между прочим «Фрегат Палладу» (для чего пришлось сделать кругосветное путешествие на парусном судне) и давшего столько превосходных произведений, — это нужно понимать с большими ограничениями. Но психологически это все-таки верно. Он, конечно, мысленно отрицал «обломовщину», но внутренне любил ее бессознательно глубокой любовью. При всем ужасе, который во всяком живом человеке возбуждает картина обломовского сна, — от-

куда-то из глубины души незаметно просачивается баюкающая струйка, лениво ласкающая, тихо манящая: «Эх, попасть бы вот так же...» И такая же бессознательная враждебность к слишком резким звукам, нарушающим тяжелое благодущие этого «покоя, близкого к смерти».

Послеобеденный сон в Обломовке — это поэзия детства самого Гончарова. Правда, он происходил не из дворянской семьи, а из городской, купеческой. Но биографы отмечают, что дом Гончаровых был точная копия обломовской барской усадьбы, а город, где он находился, — Симбирск.

Симбирск — приволжский город, пристань, но из всех приволжских городов это самый тихий, сонный и застойный. Всякий, ехавший хотя бы в качестве туриста по Волге, наверное побывал в Нижнем, Казани, Самаре, Саратове... Просто из любопытства, потому что во время продолжительной стоянки парохода там что-то сверкает, гремит, переливается и манит незнакомой и бойкой жизнью. Симбирск спрятался за гору. К нему очень трудно взобраться по огромному и трудному

взвозу (изображенному в «Обрыве»), и сам он как будто недоброжелательно и угрюмо желает, чтобы этот беспокойный пароход с толпой суесящихся людей отвалил поскорее, оставив его в спокойной дремоте. Если все-таки вы преодолеете и трудности въезда, и какое-то ощущение равнодушия и даже нерасположения, веющего с этих крутых склонов, то найдете приблизительно то же, что описывал Гончаров: «По приезде домой по окончании университетского курса, меня обдало той же „обломовщиной“, какую я наблюдал в детстве. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же большею частью деревянные дома и домишки, с мезонинами, с садиками, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы... та же пустота и безмолвие на улицах... Так и хочется заснуть самому»... Несмотря на то, что внизу льется бойкая жизнь великой реки, город будто залит сонной одурью степи. В последние годы мы знали много о жизни других городов и губерний, особенно приволжских. Там все-таки вскипала какая-то борьба, порой

заявлял о себе земский либерализм, потом брала верх реакция, бурлили две-три газеты... Ничего подобного мы не слышим о Симбирске, и даже первая газета, если не ошибаемся, явилась там очень недавно...

В этом сонном городе вам укажут, близ Киндяковской рощи, бывшую Гончаровскую усадьбу, послужившую моделью для Обломовки, и обрыв, под которым раздавались зловещие выстрелы Марка Волохова, предвещающая новую полосу русской жизни.

Тут запали в душу Гончарова основные элементы его художественного творчества. С инстинктом крупного художника, он, сын купца, почувствовал, что настоящая родина его дарования — не купеческая лавка, не бойкая пристань, а тихая патриархальная дворянская усадьба, проникнутая насквозь старыми заветами, дореформенного строя. В нее он перенес и свои художественные интуиции, и великую способность изображения, и... свои глубокие симпатии...

Правда, он не был ни крепостником, ни ретроградом по убеждению; в своих романах он касается многих «переходных мотивов» то-

гдашней эпохи, а в своих автобиографических статьях вполне благожелательно отзывается о реформах Александра II. Но его деятельные Штольцы и Тушины — фигуры довольно бледные и всегда второстепенные. Он их одобряет, — да; но довольно к ним равнодушен. Внутренним светом его симпатий и любви освещены другие персонажи: бабушка из «Обрыва», Викентьев, Марфинька, Вера, даже... Обломов. Обломова он тоскливо жалеет, но невольно чувствуется, что весь строй бабушкиного царства ему глубоко, органически симпатичен, а фигура бабушки вырастает местами в полумистическое олицетворение России. Рисует он их с художественной правдой, превращающей то и дело панегирик в сатиру, но все же симпатии его распределены довольно ясно: старозаветной бабушке — любовное обожание и преклонение; прогрессивным персонажам — дань полуобязательного уважения; мечтательным Райским — снисходительное пренебрежение, не лишенное оттенка симпатии. Марку Волохову — глубокое органическое отвращение и ненависть.

Позволю себе остановиться на одном своем юношеском воспоминании.

Помню, при чтении «Обрыва», меня, тогда гимназиста, с душой, уже смутно откликавшейся на «новые веяния» в литературе и жизни, поразила одна черточка, брошенная Гончаровым вскользь и как бы мимоходом. Относится она к бабушке и ее Малиновскому царству. Когда заболела Марфинька, Вера или хоть Райский, — бабушка тревожится, зовет врача, сама придумывает всевозможные средства. Когда болезнь посещает людскую, — бабушка тоже проявляет заботы (она человек очень добрый), но часто это кончается тем, что больную отправляют к Меланхолихе — бабе-лекарке, «к которой отправляли дворовых и других простых людей на вылечку». «Бывало, — говорит Гончаров, — после ее лечения иного скоробит на весь век в три погибели, или другой перестанет говорить своим голосом, а только кряхтит потом всю жизнь; кто-нибудь воротится от ней без глаза или без челюсти, но все же боль проходила, и мужик или баба работали опять. Этого было довольно и больным, и лекарке, *а помещику и подав-*

но»[70].

Гончаров несомненно огромный художник, и даже второстепенные мазки его кисти трепещут правдой, порой совершенно неожиданно для автора. В приведенном эпизоде бабушка вся, с ее личной добротой и с чертами ее среды. Помню резкое впечатление, которое на меня в тогдашнем моем критическом настроении произвела эта Меланхолиха с ее приемами, удовлетворявшими всех, «а помещиков и подавно». Помещиков... в том числе и бабушку... Гончаровская бабушка внушала мне лично невольную симпатию, пока я глядел на нее с барской половины, глазами Марфиньки... Отсюда бабушка — ангел. Добрая она и в людской... Но вот приходят Базаровы и Марки Волоховы и устанавливают новую точку зрения. Они судят общественные отношения и возлагают на людей ответственность за эти отношения. И с этой новой точки зрения на крепостных бабушек ложится вина даже за «доброту» крепостной России. Гончаров относится к прошлому благодушно: он чувствовал и умел показать личную, психологическую так сказать доброту бабушек. Мы

видели в самом рабовладельческом порядке злодейство и не прощали его даже лучшим из бабушек. Это была некоторая односторонность. Но она противопоставлялась другой односторонности, и в общем эта новая точка зрения несла новую правду человеческих отношений...

Я, конечно, тогда не думал обо всем этом в такой связности и последовательности, но все же, вспоминая, что я резко ощущал весь этот запутанный узелок нравственных противоречий, из которого вытекало для тогдашнего поколения очень многое. В них и была сила Марка Волохова, т. е. того, кто чудился Гончарову за этой фигурой, И мне было обидно не за Марка Волохова (я тогда не знал еще людей этого рода), а за ту смутно предчувствуемую «радикально» резкую правду, которую Гончаров покрывал этим несомненно враждебным олицетворением. В воздухе носилась нравственная потребность новых широких оценок. Малиновский строй бабушкиного царства символизировал для Гончарова Россию. Для вас выступала потребность переоценки этого бабушкиного строя с совершен-

но новой точки зрения. И было ясно, что эта переоценка не может остановиться так же благоразумно, как это делали гончаровские Тушины и Волковы, у пределов «свыше предначертанных реформ». Критика уже задела в бабушкином царстве не только то, что сама бабушка благосклонно готова была признать ошибочным: она переносила вопрос в другую плоскость, она заставляла смотреть на жизнь с точки зрения *чужой*, не допускающей никакого примирения, с точки зрения, которая ангела-бабушку превращала чуть не в зловещего демона, а демонов отрицания, Волоховых, делала в глазах Марфинек ангелами... В своей статье «Лучше поздно, чем никогда» Гончаров пытается поставить вопрос о том, как могла Вера полюбить Марка, и оставляет его неразрешенным. Он и не мог решить его сознанием. Но, как художник, он сделал много для его решения. Его Волохов — не живой образ, но его Вера жива. На мой взгляд она понятнее, живее, индивидуальнее тургеневской Елены: в ней ярче чувствуется то, что переживало тогдашнее «молодое» поколение (поколение нынешних бабушек), когда перед

ним впервые сверкнул опьяняющий зов новой, совершенно новой правды, идущей на смену основам бабушкиной мудрости. Кто сказал А, тот должен говорить дальше до Z. Тогдашнее поколение начало эту новую азбуку. Наше ее еще не договорило.

III

С Марка Волохова началось резкое охлаждение к Гончарову не только в так называемом «молодом поколении», но и в прогрессивном обществе вообще. А нельзя забывать, что русское общество было тогда прогрессивно в целом...

Это охлаждение Гончаров чувствовал очень болезненно.

В статье «Лучше поздно, чем никогда» он пытается оправдать своего Волохова (как художественный образ, конечно) и защититься от упрека, что в Волохове он окарикатурил «молодое поколение». Но защита показала только, как далеко ушел он от понимания и этого «молодого поколения», и особенной психологии «пореформенного» русского общества. Дореформенную Русь он понимал и любил, любил с ее Малиновками и Обломов-

ками. К пореформенной, суетливой и тревожной, он был чисто по-обломовски равнодушен и скоро совсем потерял ее из виду.

«Меня крайне удивляло, — писал он, — как молодое поколение могло принять Волохова на свой счет, кроме разве самих Волоховых... Волохов будто бы новое поколение! То поколение, которое бросилось навстречу реформ — и туда уложило все силы!.. Поколение, которое — прежнюю, автоматическую военную массу — энергически помогло вождю ее преобразовать в современную осмысленную и грозную силу. Поколение, которое переполняет школы, жадно учится, познает, изобретает, творит во всех отраслях... Поколение молодых умов и дарований... сослужившее огромную службу России, угадывая, объясняя и проводя в массу идеи, виды и цели великого преобразователя... И все это Волоховы? Кому могла придти такая мысль?»

Протест горячий и, по-видимому, совершенно искренний, но в нем есть одно крупное недоразумение. Гончаров признает, что Волохов — фигура резко отрицательная, но не хочет, чтобы ее обобщали. «В первоначаль-

ном плане „Обрыва“, — говорит он в той же статье, — на место этого резкого типа, тогда еще не существовавшего, у меня был предложен сосланный по *неблагонадежности* под присмотр полиции, выключенный из службы, из школы либерал за грубость, за неповиновение начальству... Но, как роман развивался со временем, то и лица принимали черты и дух времени событий. И вот, Волохов уже радикал и кандидат в демагоги, от праздной теории безусловного отрицания готов перейти к действию — и перешел бы, если бы у нас могла демагогия выразиться ярче, т. е. если бы у нас была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернациональная подземная работа и т. п.».

Итак, Гончаров говорит «молодому поколению»: Что вы, бог с вами! Ведь я это не о вас. Я о тех грубиянах, которых исключают со службы, которых ссылают. А разве вас исключают, разве вас ссылают, вас, помогающих правительству в его благих начинаниях, вас, отлично проходящих разного вида благонадежные поприща? И как бы для того, чтобы не оставить сомнения, кого именно он понимает под

Марком Волоховым, он прибавляет в выноске:

«К несчастью, все это (т. е. массовое появление Волоховых) оказалось возможным и у нас, как это подтвердилось с тех пор, т. е. с 1875 года, когда были написаны эти строки».

С начала 1870-х годов, как всем известно, молодежь была охвачена стремленьем «в народ», т. е. массовой попыткой перерешить все вопросы «бабушкиного благоустройства» с новой точки зрения, которую она считала точкой зрения самого народа...

И Гончаров наивно полагал, что, хваля умеренных Тушиных и благонравных Викентьевых, обзывая Волоховыми все, охваченное молодыми утопиями ихронически-русским протестантством, — он делает шаг к примиренью с «молодым поколением.»... Или хотя бы с теми, кто представлял «молодое поколение» в его время, а теперь (т. е. когда он писал «Лучше поздно») уже остепенился и благополучно слился с бытовым строем «пореформенной России».

Казалось бы, почему бы и нет? Почему бы, по крайней мере, масса общества не могла

простить Гончарову его Волохова, во имя его признания реформ, которыми само оно, по видимому, удовлетворилось, которые, — как можно было бы думать, — приняло и признало? Когда-нибудь историк, быть может, остановится в недоумении перед этим фактом, но теперь мы еще понимаем его. Характерная черта нескольких пореформенных десятилетий состоит в резкой неудовлетворенности: молодежь в ряде сменявших друг друга поколений была охвачена резко антиправительственным настроением, выразившимся в непрерывных студенческих беспорядках и движении к народу, в отказе от привилегий и традиций... Среднее образованное общество сочувствовало молодежи, а не правительству.

Как бы ни относиться к этому явлению, — одобрять или порицать его, объяснять неопределенностью классовой структуры или незаконченностью великих реформ, или чем-нибудь другим, — но факт общеизвестен: русское общество второй половины XIX века было настроено сплошь оппозиционно. У него не было своей прочной идеологии, которую оно могло бы противопоставить утопической

идеологии своей молодежи. На основании своего житейского опыта «отцы» отрицали утопические построения, но в области общественной этики они конфузились и отступали перед детьми.

Еще одно воспоминание из времен моей молодости. Комиссия по исследованию важного политического преступления допрашивает в Москве юношу-студента, арестованного по этому делу. Молодой человек среди показаний жалуется, что его держат в очень нездоровом помещении...

— Это в какой части? — спрашивает один из членов комиссии, товарищ прокурора.

— В Басманной, — отвечает молодой человек.

Лицо товарища прокурора оживляется.

— А в какой камере?

— В двенадцатой.

Глаза у солидного чиновника зажигаются молодым огнем.

— Представьте, — говорит он живо, — столько-то лет тому назад я сидел в той же камере...

Теперь, может быть, это было бы уже не

так, но тогда, в конце семидесятых годов, допросы еще прерывались такими разговорами, и к воспоминаниям товарища прокурора еще два или три члена важной комиссии присоединяли и свои воспоминания того же рода... И хотя эта минута поэтических воспоминаний должна была смениться прозаическим продолжением допроса, но все же между юношей, беспечно отвечавшим на следственные пункты, и следователями протянулись какие-то нити взаимной симпатии. То, что для него было довольно горестным настоящим, для них являлось поэзией молодости. И можно сказать, что для целого ряда поколений русской интеллигенции самые яркие воспоминания юности связываются непременно с мотивами этого рода: обыск, арест, ссылка... Молодые мечты о переустройстве общества и... каземат.

Западноевропейский юноша мечтает о том времени, когда он будет прокурором, фабрикантом, купцом. Русский прокурор посылает меланхолический сочувственный вздох тому времени, когда сам он сидел в каземате... Не оттого ли это, что мечты западноевропей-

ского юноши скромнее, но жизнь все-таки дает простор хотя бы скромной борьбе за идеалы. У нас же она беспощадно расправляется со всякой идеологией, требуя бесповоротного и неприкрытого компромисса. Повторяется адуевская трагедия («Обыкновенная история») в гораздо более драматической форме, и сотни тысяч людей, под давлением грубой необходимости, мирятся с действительностью фактически, но принимают ее без энтузиазма и уважения. Они только тянут безрадостную лямку, то и дело кидая взгляды назад, к своей юности, с ее безумными утопиями и поэзией борьбы в единственной форме, какую допускала действительность «порешформенной России». И вот почему русское общество так долго не прощало художнику посягательства на «молодое поколение». Не на то или другое поколение молодежи, — их ведь прошло уже так много, с такими различными настроениями, — а на молодежь вообще, на самую молодость с ее «неразумными утопиями», ее непримиримостью и содроганьем перед компромиссами. Это ведь долго был единственный островок живого русского идеализ-

Ма...

Так это было в России очень долго, можно сказать, вплоть до нашего времени, когда эти мотивы потонули в дыму и вихре неожиданно налетевших событий.

IV

Я чувствую, что статья моя разрослась, а тема, к которой она привела, неисчерпаема. Поэтому мне приходится пока поставить точку. Я хотел указать лишь главные моменты гончаровской жизненной драмы, основной мотив трагического охлаждения русского общества к одному из крупнейших своих художников.

Факт этой ссоры и этого охлаждения несомненен. Гончаров ушел от литературы обиженный, оскорбленный, и замкнулся, как он часто выражался, в свой «обломовский угол». Недавно один из критиков «Нового Времени» (г. Перцов) указал, — и пожалуй, верно, — что Гончарова гораздо меньше «ругали», чем Тургенева. Да, но это лишь потому, что в то время, которое помнит г. Перцов, о Гончарове вообще говорили мало. Тургенев раздражал, как собеседник, порой больно задевавший самые

живые струны тогдашних настроений. К нему относились страстно, бурно порицали, и так же бурно выражали ему любовь и уважение. У него была ссора, но было и удовлетворение триумфа. Он понимал, и его тоже понимали.

А в это время Гончаров тихо, прямо с обломовским трагизмом, задолго до физической смерти, ушел в свою Обломовку, которая называлась службой по цензурному ведомству. В этом ведомстве в свое время перебивало много писателей. Но между тем, как С. Т. Аксаков, например, все-таки боролся за литературу, цензору Никитенку литература действительно кое-чем обязана, — Гончаров был самым исполнительным и робким чиновником. О нем Щербина (впоследствии тоже цензор!) писал:

*О, ты, что принял имя Слова,
Мы просим твоего покрова:
Избави нас от похвалы
Позорной «Северной пчелы»
И от цензуры... Гончарова!*

Это ли не Обломовщина для славного писателя? Понятно, почему на него не обрушились так страстно, как на Тургенева. Его

давно признали классиком, прежние его произведения читали, но самого его давно поставили на полку и ничего от него не ждали и не требовали...

Но, как классику, ему, несомненно, обеспечено прочное место в русской литературе. Огромный и правдивый талант его обогатил наше воображение бессмертными типами, выходящими далеко из рамок его времени, захватывающими глубже и шире, чем его трагическая ссора, хотя бы и с несколькими поколениями.

Волохов и все, что с ним связано, забудется, как забудется гоголевская «Переписка», а над старым раздраженьем и старыми спорами будут долго выситаться созданные им фигуры. И над всеми другими фигура Обломова, которую любящая правда художника превратила в предостережение и в сатиру на все, что было так кровно дорого самому художнику...

Третий элемент Памяти Николая Федоровича Анненского*

I

15 декабря 1891 года я явился в заседание нижегородской продовольственной комиссии и занял место за корреспондентским столиком. Один из губернаторских чиновников, человек простодушный и в общем довольно доброжелательный, склонился ко мне и сказал:

— Хорошо, что вы пришли. Сегодня будет интересно.

— А что именно? — спросил я.

— Обтяжнов будет нападать на статистику.

Я улыбнулся и должен был согласиться, что зрелище действительно может быть довольно любопытное.

С 1887 года Н. Ф. Анненский стоял во главе нижегородского статистического бюро, и памятный голод 1891–1892 года застал его в этой роли.

Многие признаки указывали приближение громадного бедствия, и губернское земство было прекрасно осведомлено о нем. Текущая статистика уже была организована, и опросные листки, рассылаемые в большом количестве земским корреспондентам, возвращались в бюро с печальными известиями. Писали священники, волостные писаря, грамотные крестьяне. Все это был материал вполне достоверный, и он прекрасно отражал тревогу, охватившую население.

Оставалось только свести его в одну картину.

Когда выяснилось, какие уезды более всего пострадали от неурожая, земская управа снарядила в эти уезды еще особую статистическую экспедицию для специального обследования размеров нужды и необходимой помощи. Работа статистиков пошла горячо, спешно, и вскоре статистическое бюро выпустило брошюру: «Урожай 1890 года», в которой была дана полная картина надвигающегося на губернию бедствия. Подсчет пособия, которое губернское земство в экстренном собрании считало нужным просить у казны для помо-

щи населению, дал огромную цифру в одиннадцат� с половиной миллионов рублей.

Правительство оказалось застигнутым врасплох. Оно пыталось образумить земцев и сократить неумеренные требования. С этой целью в приволжские губернии был командирован директор департамента Вишняков. Он преподавал на местах уроки умеренности и снабжал губернаторов соответствующими инструкциями. Некоторые земства оказались податливыми. Нижегородское, обладавшее точными и прекрасно разработанными данными, упорно стояло на первоначальной цифре, и пошатнуть ее чисто бюрократическими аргументами было трудно.

Между тем зима надвигалась. Земство настойчиво предъявляло свои «ходатайства», указывая, что время терять нельзя.

Губернатором в Нижнем был весьма известный в свое время генерал Н. М. Баранов.

Это был человек блестящий, не глубокий, но энергичный, деятельный, решительный, готовый на всякий риск, если это могло обратить на него внимание, настоящий игрок по натуре, сделавший ставкой карьеру. Он живо

чувствовал, что времена наступают переменчивые, что самодержавие дало трещины и почва под «существующим строем» колеблется. Нетерпеливый и нервный, он предвидел, что в такие времена для людей даровитых и умеющих рисковать предстоят интересные шансы, и готовился. Предчувствие его в общем было верно. Он ошибся только в сроке, и уже заранее с циничной наивностью вел игру на два фронта. В качестве петербургского градоначальника организовал пресловутый «парламент» из домовладельцев в целях полицейского сыска. В качестве архангельского губернатора созвал «совещание для оживления северного края», произносил эффектные речи, которые подхватывались газетами, повторяемыми на разные лады имя «либерального» губернатора...

При первых признаках голода, о котором заявило васильское дворянство, Баранов ударил в набат. Это было смело и оригинально: дворянство, недавно призванное свыше к заботам о населении, и попечительная администрация заявляли о голоде ранее земства. Зато это был голод довольно удобный. По хода-

тайству генерала Баранова в распоряжение предводителя и земских начальников выдано пособие в триста тысяч рублей, которое распределено совершенно бессмысленно, без всякого участия земства. Предполагалось, что уже сделано все, что нужно. Когда же губернское земство не так торопливо, но с чрезвычайной основательностью, нарисовало свою картину голода и его действительные размеры, — то генерал Баранов испугался и, после поездки Вишнякова, пустил в ход все свое влияние, чтобы сделать земство уступчивее и «сократить неумеренные требования».

Соблазн все-таки был велик, и блестящий генерал не мог отказаться от организации своего рода «голодного парламента». Вскоре «нижегородская продовольственная комиссия» под его председательством загремела на всю Россию. Состав ее был чрезвычайно пестрый: губернаторские чиновники, видные чиновники других ведомств, земские начальники, предводители дворянства и их кандидаты, местные «общественные деятели», врачи, проезжие корреспонденты, преимущественно из «Нового времени», которым Баранов

умел «давать тон». Земство тоже было представлено в этой комиссии, хотя и очень скромно. Как раз настолько, чтобы создать фикцию участия губернской управы, которая таким образом являлась как бы частью комиссии. Предполагалось, что часть поглощается целым, и губернская управа является как бы исполнительным органом комиссии, в которой она составляет едва заметное по количеству меньшинство. Говорили даже о том, что распоряжение миллионными пособиями перейдет из рук земства в руки администрации, то есть губернатора.

Это была огромная опасность для всего края. Земство противилось. Закипала глухая борьба, в которой огромная доля морального значения принадлежала статистике. Она была душой земской голодной кампании. Ник. Фед. Анненский то и дело выступал в комиссии, освещая положение дела с земской точки зрения, и его ясная, спокойная аргументация, лишенная даже всякого полемического характера, оказывала огромное влияние просто в силу своего удельного веса и полной осведомленности.

При таких условиях разыгрался памятный лукояновский эпизод, приобревший в свое время всероссийскую известность. В дальнем конце губернии кучка поместных дворян и земских начальников вдруг объявила, что никакого голода нет, что это все выдумки крамольников, и сразу глухой уезд стал как бы во главе всей крепостнической России. Князь Мещерский тотчас же выступил на защиту «верного престолу лукояновского дворянства».

Положение генерала Баранова становилось двусмысленным. Дворянская партия в Лукояновском уезде была создана его незаконной поддержкой на выборах и имела основание рассчитывать на сочувствие губернатора, особенно после поездки Вишнякова. И действительно, — вначале все командированные губернатором чиновники привозили сведения, что никакого голода нет, а есть повальное мотовство и пьянство (впоследствии с тех же мест, а порой те же лица привозили сведения прямо противоположные). Но губернская управа стояла упорно на своем. Анненский против голословных утверждений лукоянов-

ских дворян приводил точные цифры.

Генерал Баранов рассыпался перед Ник. Федоровичем в комплиментах. Вынужденный спешно отвечать на частые запросы из центра, он то и дело сам прибегал к цифрам земства, за неимением своих. Но «электрический генерал», как его часто называли в газетах, нетерпеливо сносил эту невольную зависимость. Земские цифры оказывались слишком неудобными. В них не было нужной гибкости, они ни в какой мере не подчинялись ожиданиям правительства и собственные губернаторские доклады окрашивали слишком пессимистично. А между тем аргументация земской управы, поддерживаемая Анненским, явно завоевывала большинство в комиссии. Все с невольной внимательностью прислушивались к уверенным, ясным речам этого серьезного, живого и обаятельного человека...

И вот в корреспонденциях «Нового времени», наряду с похвалами талантливому нижегородскому администратору, стали появляться саркастические отзывы об отвлеченных приемах «теоретиков статистики». С. Ф. Шара-

пов, побывав в Нижнем, написал необыкновенно вздорную, но по обычаю хлесткую статью, в которой прославлял симбирское земство именно за то, что оно обходится без статистики. Не то, что в Нижнем, где вычисляют какие-то «коэффициенты» и получают выводы, опровергаемые «людьми практики и жизни».

Все мы, нижегородцы, отлично понимали, откуда дует этот ветер. Но в комиссии дела шли по-прежнему, доклады губернской управы проходили без возражений, пока не нашелся, наконец, смелый человек, решившийся произвести прямую атаку на самый центр земского морального влияния.

II

Когда я, 15 декабря 1891 года, явился в заседание продовольственной комиссии, собрание уже было открыто. Генерал Баранов, сухой, нервный, с голым черепом и большими выразительными глазами, сидел в центре, на председательском месте, в расстегнутой военной тужурке и белом жилете. По его лицу было видно, что сегодня он чувствует себя особенно в своей сфере: перед ним было многолюдное собрание, где ему предстояло гово-

ритель интересные вещи. Их подробно занесут в протоколы и подхватят газеты. И кроме того он чувствовал в своих руках все нити, в том числе и нити предстоящего турнира, в котором потерпеть поражение могут только другие. Кто бы ни вышел победителем, — «практика» в лице господина Обтяжнова, или «теория» в лице Н. Ф. Анненского, — он найдет такие слова и такие обороты, которые помогут ему лично выступить с блеском и честью в качестве арбитра.

В другом конце стола, окруженный несколькими единомышленниками крепостнического толка, сидел г. Обтяжнов.

Господин Обтяжнов, благополучно здравствующий и поныне, фигура в своем роде колоритная, и имя его еще и теперь мелькает порой на страницах газет. В одном из первых романов П. Д. Боборыкина он был выведен в роли очень либерального земца. Впоследствии, пройдя разные стадии попятного движения, он стал земцем очень ретроградным, властным земским начальником и представителем «дворянской эры». Во всех этих ролях он умел оставаться на виду и обращать на

себя, правда, не всегда лестное внимание. С резким, громким, несколько скрипучим голосом, не заботящийся о приличии и такте, смелый даже в тех случаях, когда не имел ни малейшего понятия о предмете, свободный от теоретических познаний и «либеральных предрассудков», он являлся всегда представителем господствующих течений. В 70-х годах насаждал земские школы, в 80-х ратовал против них и, конечно, был непримиримым врагом земской статистики. Вообще, в его лице бытовая, стихийная реакция тех годов имела яркого представителя. При всей логической слабости его аргументации, настроение его было сильно «почвенным» сочувствием тех слоев, которым реформы того времени давали преобладание в местной жизни. Резкий голос, известная выразительность речи и чрезвычайная развязность делали его заметным оратором в собраниях всякого рода. Логически разбить его было не трудно. Но практически он оставался победителем. Немудрено поэтому, что лукояновское настроение видело в нем своего естественного и, казалось, надежного выразителя... Губернаторские сферы то-

же, по-видимому, возлагали на него некоторые надежды: в его лице «практика», «земля», «знание местных условий» выступали против неудобных «теорий» и научного исследования, на которые опиралось губернское земство.

Николай Федорович Анненский, по-видимому, не знал ничего о предстоящем нападении. Он сидел на своем обычном месте, с двумя молодыми помощниками, перед которыми лежали таблицы и ведомости, — и с обычным открыто веселым видом обменивался через стол поклонами. В повестке значился между прочим вопрос о лукояновской смете. Статистика заготовила материалы.

— Слово принадлежит...

Генерал Баранов окинул взглядом собрание и любезно кивнул в конец правого стола...

— Владимиру Дмитриевичу Обтяжнову.

Владимир Дмитриевич подымается, и в зале водворяется внимательное молчание.

— Известно, — начинает г. Обтяжнов, — что в настоящее время происходит крупное разногласие между губернской управой и

местными деятелями Лукояновского уезда. Местные деятели, господа дворяне, связанные непосредственно с землей, и господа земские начальники, призванные высочайшей волей охранять интересы крестьянского населения, заявляют нам решительно, что в их уезде никакого голода нет. Губернская управа держится другого мнения. Она стремится во что бы то ни стало навязать уезду ссуду, которую мужики, разумеется, пропьют за ненужностью, а впоследствии должны будут за нее расплачиваться. Кому же поверит губернская продовольственная комиссия? Господа члены управы живут в губернском городе, и их мнение основано на работах «господ статистиков», на каком-то специальном обследовании, которое произведено «особой статистической экспедицией»...

Последнюю фразу г. Обтяжнов произносит с выражением саркастического пренебрежения и приподнимает за уголок «земскую брошюру».

— Но, господа, мы-то, местные деятели, знаем секрет этих специальных обследований. Так, например, мне лично известно, что

в том участке, где я имею честь быть земским начальником, тоже побывала знаменитая экспедиция. Какие-то два молодых человека пронесли с быстротою бури, останавливаясь лишь на земских станциях. Были они и на такой-то станции. Здесь им подали самовар, и за стаканом чаю они поговорили о том, о сем, с хозяином и ямщиками. Говорили и о пресловутом неурожае... Кое-что записали в свои записные книжки, dokonчили самоварчик, сели... и — след простыл! (В зале легкий смех.) Так вот-с, господа, что такое называется «обследование экспедиционным способом». Думаю, что не иначе происходило оно и в других уездах (в разных концах зала сочувственный ропот, как бы готовность подтверждения)... И вот, господа, — резко и громко заканчивает г. Обтяжнов, — труды этих никому из нас неведомых молодых людей, совершающих на земские деньги прогулки по уездам, мы должны предпочесть положительным заявлениям уважаемого лукояновского предводителя, всего местного дворянства и господ земских начальников, облеченных особым доверием монарха и стоящих, так сказать, у

самых корней народной жизни.

Господин Обтяжнов презрительно кидает на стол брошюрку и откидывается на спинку своего стула, видимо, взволнованный патетическим окончанием собственной речи. Он сказал все. Он сказал даже больше того, что заключалось в словах его речи. Статистика была вообще пугалом помещенных дворян. Жандармский генерал то и дело строчил доносы и вчинял дознания. Молодые люди, так небрежно исполняющие свои прямые задачи, легко могли при своих стремительных разъездах сеять опасную смуту...

В зале значительная сенсация.

— Ну, что скажете! Ловко? — спрашивает меня мой сосед — чиновник. Он находит, что Анненский, а с ним и земская партия «приперты к стене», и многие в этом зале, по-видимому, разделяют его мнение. Одни с видимым торжеством, другие с грустью...

Николай Федорович Анненский, очевидно застигнутый стремительным нападением враг, переглядывается с своими помощниками с выражением глубокого изумления, которое при добром желании можно, пожа-

луй, принять и за выражение растерянности. Он, видимо, взволнован. Выразительное лицо его покрывается краской, и он делает движение с намерением возражать.

Но его предупреждает председатель. Генерал Баранов ласково, с благожелательной улыбкой кивает ему головой и берет слово. Он явно имеет великодушное намерение, если не защитить статистику, то смягчить для нее последствия сокрушительной атаки и прикрыть отступление...

— ...Все мы знаем, сколько пользы приносит статистика вообще... («Подстиляет солому», — говорит одобрительно мой благодушный сосед...) Во главе же нижегородской статистики стоит человек, которого мы все уважаем... Почетное имя, которым не без основания пользуется «в научных кругах» Николай Федорович Анненский... Из того, может быть, единичного случая, что два молодых человека, принадлежащих к составу отряда, отнеслись к своей задаче (на губах генерала играет тонкая улыбка) несколько... я бы сказал — легко, что ли... никак еще не следует, что и все статистические работы земского бюро... —

И т. д., и т. д.

— Перейдем теперь к следующему вопросу... Что? Вам угодно слово?.. Пожалуйста... Слово принадлежит Николаю Федоровичу Анненскому.

Генерал откидывается на спинку стула. Он, видимо, считает, что сказал уже все, что можно было сказать в защиту статистики в трудных для нее обстоятельствах, и, кажется, думает, что «уважаемому Николаю Федоровичу» всего выгоднее было бы воспользоваться великодушным прикрытием для почетного отступления... Хотя, конечно, теперь при каждом докладе Анненского, защищающем земскую смету, над собранием будет летать юмористическое представление о «двух молодых людях», но... что же делать...

Но Анненский подымается с очками в обеих руках, как делал всегда, когда ему предстояло во время речи приводить цитаты. На лице его еще видны следы удивления, но речь председателя оказала ему некоторую услугу: он успокоился, густая краска гнева и негодования схлынула, и речь свою он начинает не только спокойно, но и изысканно вежливо.

...Он, конечно, очень признателен господину председателю за те несколько добрых слов, которые ему угодно было сказать по адресу статистики и его лично.... Но он думает, что ему остается еще добавить кое-что по самому существу вопроса... Он не задержит долго внимания почтенного собрания... Он должен сознаться, что его глубоко... изумило, чтобы не сказать более, то обвинение, которое выдвинуто господином земским начальником Горбатовского уезда против его младших товарищей и сотрудников...

Он спокойно надевает очки, причем лицо его сразу становится старше и серьезнее, и берет в руки обвиняемую брошюру...

— Вот, господа, та работа специальной статистической экспедиции, о которой только что говорил господин Обтяжнов. Она состоит: из обложки, предисловия и текста. Если бы господину Обтяжнову угодно было ознакомиться... Я не говорю уже с текстом работы, которую он осудил так решительно... Нет... Но если бы он заглянул несколько далее обложки... Если бы он с должным вниманием прочел одно только предисловие... То вот тут, на

первых же страницах он узнал бы, что обследование специальной экспедиции коснулось лишь тех уездов, которые на основании показаний земских корреспондентов... кстати сказать, также местных жителей, как господин Обтяжнов, — признаны наиболее пострадавшими от неурожая. Уезды эти перечислены и, как видите, господа, *Горбатовский уезд к ним не относится вовсе.*

Анненский кладет брошюру и снимает очки, отчего лицо его опять молодеет и освещается привычным оживлением.

— Таким образом, господа, статистическое бюро губернской земской управы вынуждено снять всякую ответственность за двух молодых людей, привлечших внимание господина Обтяжнова. Нимало не подозревая точность сведений господина земского начальника о самоваре и о прочем, я с своей стороны смею уверить только, что он ошибается в одном: это очевидно не могли быть, члены статистической экспедиции.

В зале опять раздается смех, но уже по другому адресу. Несколько человек сразу поднимаются в разных концах, но генерал Баранов

спешит теперь проявить великодушие к другой стороне. Скрыв невольную улыбку на умном лице, он как будто не замечает просящих слова и быстро, гладко, уверенно переходит к следующему стоящему на очереди вопросу.

Я взглядываю на своего соседа чиновника. Он тоже улыбается, но вместе с тем опять наклоняется ко мне и говорит:

— Вы думаете, это конец? Ну, нет. Вы не знаете Обтяжнова, — погодите: он встанет еще... У него есть козырь и посильнее...

III

Действительно, в углу стола, занятом г. Обтяжновым и его единомышленниками, происходит оживленный «обмен мнений». Господин Обтяжнов, взволнованный и красный роется в брошюрке и разворачивает широкий лист таблиц в приложениях... Затем, при первой остановке, он нервно поднимается...

— Что? Вам опять слово?.. Извольте!

В тоне умного генерала слышна нотка сомнения. По первой же схватке он уже оценил позиции противников. Он тоже знает, что в руках Обтяжнова «есть еще козырь», но он уже не уверен, что и на этот раз козырь не бу-

дет бит, как и первый.

Господин Обтяжнов далек от этих сомнений. К тому же он рассержен и намерен быть беспощадным. Он начинает резко и грубовато. В голосе его теперь особенно слышны скрипучие ноты.

— ...Господин Анненский сделал ему упрек, что он не читал брошюры, на которую нападает. Нет-с, господа! Он ее читал и сейчас это докажет. Вот-с... Здесь... на странице такой-то даны сведения о двух селах, расположенных как раз в его участке. Эти села — знаменитое Павлово и Богородское... Так вот, господа, в таблице на странице такой-то и для Павлова, и для Богородского показан довольно значительный сбор хлебов... Павлово — столько-то пудов, Богородское — столько-то... Он, господин Обтяжнов, не знает, кто и каким образом собирал сведения об этих селах. Но ему, да и всем жителям известно...

Оратор с торжеством оглядывает собрание и отчеканивает:

— ...Смеем уверить господина Анненского и его «молодых сотрудников», что Павлово сплошь занимается замочным, а Богород-

ское — кожевенным производством. И ни в том, ни в другом *нет ни одного хлебопашца*.

Он садится. Мой сосед вздыхает с выражением удовлетворения. Он человек благожелательный, ничего, в сущности, не имеет против статистики, а лично Анненский ему нравится, как и многим в этом собрании. Но он все же чиновник, и легкая победа, одержанная земской стороной над «своим человеком», его несколько задевает. Теперь удар, по его мнению, нанесен очень метко... «Ни одного хлебопашца», — и вдруг урожай.

В зале движение сильнее, чем после первого выпада. «Практика» опять торжествует. Генерал искоса и выжидающе смотрит на Анненского. Теперь он уже не торопится взять слово для любезной защиты. Шарада кажется и ему трудно разрешимой. Но он только ждет, настороженный и заинтересованный. Анненский обменивается несколькими веселыми словами с своими помощниками; молодые люди смеются с явным пренебрежением. Затем Николай Федорович подымается, держа наготове очки и продолжая улыбаться.

— Приходится признать, — говорит он, —

что на этот раз указание господина Обтяжно-ва фактически верно. Правда, оно не совсем точно. Наши сведения несколько расходятся с показаниями господ знатоков местной жизни. В Богородском несколько семей все-таки занимаются хлебопашеством. Если память ему не изменяет, таких семей... пять...

Один из молодых людей утвердительно кивает головой.

— Да, именно пять! Если угодно, этих домохозяев можно перечислить и по именам, но это не может существенно изменить дела, тем более что в Павлове нет даже этого количества. А сбор хлебов все-таки показан в обоих селах... В этом господин Обтяжнов не ошибся.

Анненский взглядывает из-за очков на собрание своим веселым открытым взглядом и продолжает:

— Но, господа, это кажущееся господину Обтяжнову противоречие объясняется чрезвычайно просто. Дело в том, что мы, статистики, учитываем урожай не с землепашцев, а... с земли, чья бы она ни была и кто бы ее ни пахал... Да едва ли это и можно сделать ина-

че. Земля же есть в обоих селах...

В зале вдруг проносится смех, на этот раз такой дружный, что в нем утопают различия между приверженцами и противниками г. Обтяжнова. Шарада разрешена так просто. Смеется и Баранов, наклоняясь к соседу. Можно угадать, что он говорит что-то остроумное насчет совершенно растерявшегося «практика». Он, конечно, знал о «козыре» Обтяжнова и тоже возлагал на него кое-какие надежды. Но он не любит оставаться на стороне, несущей такое смешное поражение. Анненский продолжает:

— Таблица, о которой говорит господин Обтяжнов, дает итоги по уезду. Что он сказал бы, если бы в эти итоги мы не ввели, то есть утаили бы сбор с земель Павлова и Богородского? Или, например, с Большого Мурашкина, в котором уже действительно нет ни одного хлебопашца, но земли этого села, сдаваемые в аренду, кормят чуть не треть Княгининского уезда... И, наконец, мне все-таки приходится выразить сожаление, что господин Обтяжнов недостаточно внимательно отнесся к скромным работам статистического

бюро. В соответствующем месте он нашел бы указание, что земли Павлова и Богородского сдаются в аренду и кому именно. Тогда, конечно, я был бы избавлен от необходимости доказывать здесь, что статистическое бюро, несущее службу земству и населению, постигнутому бедствием, не допускает ни шарлатанства при собирании сведений, ни ребяческих промахов при их обработке...

Последние слова он произносит серьезно, с сдержанным волнением, и садится.

— Ну, что? — спрашиваю я у своего соседа. — Вы думаете, что господин Обтяжнов поднимется еще раз?..

— Нет уж, — отвечает он, продолжая смеяться. — Теперь кончено!

IV

Оказывается, однако, что еще не кончено, председатель пытается опять перейти к следующему вопросу, но целый ряд ораторов, на этот раз очень настойчиво, просит слова по тому же вопросу. Последние слова Николая Федоровича, сказанные с оттенком сдержанного негодования, пробившегося через легкую и веселую форму его речи, вызывают со-

чувственные отклики у всех, в ком не заглушили земские традиции. Еще недавно казалось, что большинство на стороне громко заговорившей «практики». Теперь общий вид собрания меняется, точно кусок материи, повернутый другой стороной.

Первым подымается А. М. Ермолов. Это старый либерал и бывший земец. Под влиянием новых веяний «дворянской эры» он, — говорили, — вдруг уверовал в «призвание дворянства», бросил земскую службу и вместе с молодежью стал в ряды земских начальников. Этот поворот удивил его старых товарищей и произвел известную сенсацию в пользу новой реформы. «Видите, — даже Ермолов пошел», — говорили в Нижнем. Человек состоятельный, независимый, со средствами, всю жизнь проведенный в своем имении, «на земле» и на земской службе, он как бы отмечал, с одной стороны, разочарование в либеральных началах эпохи реформ, и с другой — поворот к идеям сословно-дворянской эры...

И когда теперь этот человек поднялся с своего места, — все насторожились. Что скажет Ермолов и чью сторону станет защи-

щать: господ лукояновских дворян и земских начальников, «призванных волею монарха к опеке над крестьянами», или земства со статистикой.

Красивый седой старик говорит спокойно, но с тем же оттенком сдержанного пафоса, который прозвучал в заключении речи Анненского. Он тоже человек земли: он всю жизнь провел в своем уезде на разных видах местной службы. И он должен признаться, что сам разделял некоторое предубеждение против статистики. В том уезде, где он живет, было произведено обследование статистической экспедиции, и он лично видел ее участников. Он просит извинения у глубокоуважаемого Николая Федоровича, но должен признаться: когда двое «молодых людей» явились к нему в имение в Сергачском уезде, он позволил себе... незаметно, среди разговора, произвести маленький смотр тем данным, какие они собрали. И он был поражен той изумительной точностью, подробностью и определенностью сведений, какую проявили эти наезжие молодые люди. Не было вопроса, даже самого детального, о той или другой семье, о том или

другом домохозяине, на который молодые люди не нашли бы в своих карточках ясного ответа. Эту поразившую его, старого практика, осведомленность он может объяснить себе лишь двумя обстоятельствами: это, во-первых, чрезвычайная добросовестность и преданность делу работников, а во-вторых, — глубоко и всесторонне обдуманная система, которая легла в основу обследования. И то, и другое, то есть подбор работников и метод исследования, зависели от руководителя статистического бюро, которому и губернское земство и все население обязаны в этот тяжелый год глубокой благодарностью.

Старый земец кланяется в том направлении, где сидит Анненский, и садится на место. За ним стремительно поднимается фон-Брин, председатель княгининской земской управы. Это — человек сравнительно молодой, не сбросивший еще гусарской формы, которую носил до перехода на земскую службу, и для большинства еще не вполне выяснившийся. На него обе стороны тоже смотрят с ожиданием.

Он начинает с некоторой горячностью: он

считает обязанностью подтвердить все, что Николай Федорович Анненский сказал относительно Большого Мурашкина. Если исключать из поуездных итогов урожаи на землях таких сел, то ведь придется также исключить все частновладельческие и дворянские земли, так как дворяне тоже не землепашцы и тоже частью сдают землю в аренду. Он считает своею обязанностью также присоединиться и ко всему, что А. М. Ермолов сказал о личном составе и работе статистиков... Он тоже имел случаи наблюдать эту работу и заявляет, что собрание может с полным доверием отнестись к данным, на которых губернская управа основывает свою смету...

Ответом служит одобрительный шорох голосов. Встают еще два-три человека. Им явно нечего прибавить по существу, и в своих коротких заявлениях они выражают лишь потребность дать отзыв на те ноты, которые Николай Федорович задел в конце своей речи. И прежде чем председатель успевает, наконец, перейти к следующим вопросам, в собрании, в огромной части чисто бюрократическом, разыгрывается маленький апофеоз статисти-

ческому бюро и идеям старого земства...

Сконфуженная «практика» хранит полное молчание...

V

Этот маленький эпизод имел значительные последствия. Конечно, чисто диалектическая победа в этом случае была не особенно трудна. На одной стороне была систематическая коллективная работа, проникнутая мыслью, знанием, одушевлением. На другой — беспечная самонадеянность. Результаты можно было предвидеть: «практик» был смят и отброшен с уроном, как поезд отбрасывает с дороги человека, ставшего на его пути с суеверными заклинаниями. Всякий другой статистик мог бы, пожалуй, также легко в этих условиях одержать чисто диалектическую победу. Но сделать ее до такой степени яркой и наглядной, но, кроме полемических мотивов, суметь двумя-тремя словами, одной ноткой в заключении так глубоко всколыхнуть во многих угасавшее уже «земское» чувство, заставить его высказаться в такой обстановке, — для этого нужен был именно Анненский. Господин Обтяжнова не раз и не два разбивали

в публичных спорах. Но, разбитый, он все же торжествовал, потому что за него были «почвенные» симпатии, ничего общего с логикой не имеющие. Анненский на этот раз настиг его и в этой области. Бедный «практик» сидел совершенно раздавленный, оставленный единомышленниками, которые чувствовали всю полноту и бесповоротность этого поражения.

С этих пор дело господ лукояновских дворян и земских начальников, а с ними и дело их единомышленников из других уездов, было проиграно бесповоротно: земская «голодная смета» проходила каждый раз без возражений. Когда Анненский вставал со своими докладами, водворялось то особое внимание, в котором чувствуется не только убеждение в их справедливости, но и глубокая симпатия к человеку. О податливости земских цифр не могло уже быть и речи. Губернская продовольственная комиссия в вопросе о размерах голода стала, наоборот, резонатором земских взглядов...

Этого мало.

Не помню — в перерыв того же собрания или в другой раз, — я увидел Обтяжнова ря-

дом с Анненским. Начала разговора я не слышал, но когда подошел ближе, чтобы сказать Анненскому несколько слов, то увидел, что оба собеседника как будто немного сконфужены. Николая Федоровича я понимал: он был человек изумительно, порой даже излишне деликатный и, может быть, опасался, что, отбрасывая с своей дороги наивного заклинателя, он не ограничился необходимым и причинил его самолюбию излишнее увечие.

Гораздо удивительнее было видеть смущенным г. Обтяжнова, который не привык смущаться.

Когда я подходил, Николай Федорович, одним из характерных своих жестов прижимая обе руки к груди и потом отбрасывая их, говорил:

— Поймите, Владимир Дмитриевич... Ведь то, в чем вы обвиняли моих товарищей... ведь это было бы величайшим шарлатанством...

Он как будто извинялся и оправдывал свою победу. Обтяжнов проговорил что-то и протянул руку; Николай Федорович пожал ее с горячностью, в которой все еще чувствовалась доля смущения. Могло показаться, что из

этих двух людей виновным признает себя именно Анненский, и, пожалуй, могло придти в голову, что именно на этот раз любезность Николая Федоровича доходит до некоторого излишества...

Но — кто подумал бы это, — был бы не прав. Противник отошел от него с совершенно необычным видом, и в результате полеми-ческий инцидент имел довольно неожиданные последствия...

VI

25 февраля 1892 года мгlistою и ветреною зимней ночью я ехал по арзамасской дороге из Нижнего в Лукоянов. Приходилось то и дело сворачивать и обгонять обозы с хлебом. Мужики шли рядом с подводами, заиндевевшие, засыпанные изморозью, погоняя лошадей. Скрип полозьев, крики погонщиков, топот лошадей, казалось, наполняли оживлением жуткую тьму ночи...

Это везли земский хлеб в Лукояновский уезд... Земство целиком отстояло свою смету, и теперь, разбуженный этой живой суетой от дорожной полудремоты, я думал о том, что значили цифры сухих статистических выкла-

док в этой борьбе за интересы людей, голодающих в деревнях глухого уезда. Статистика определила и отстояла их нужду. С помощью ее цифр Николай Федорович горячо боролся за права земства в распоряжении миллионными ссудами и сильно содействовал победе земства. Наконец, когда оказалось нужным спешно, до распутицы, закупить огромные запасы хлеба и исправить таким образом медленность и нерешительность правительства, — то статистики же, по поручению земской управы, превратились в скупщиков хлеба и выполнили эту непривычную задачу гораздо добросовестнее и успешнее, чем могли бы это сделать профессиональные хлеботорговцы...

Эти обозы, в которых под пологами лежали на санях мешки с хлебом, были окончательным выражением этой долгой и упорной борьбы.

Правда, проиграв дело в губернском центре, господа лукояновцы еще некоторое время пытались бороться на месте. Они сокращали списки голодающих, доводили месячные пайки до пяти — шести фунтов, с видимой це-

лью доказать — за счет голода, болезней, смертей — свою правоту: от земской ссуды у них должны были остаться «излишки»... Но, так как вся губернская продовольственная комиссия в целом приняла цифры земской сметы, то это было уже противодействие комиссии и ее председателю. Генерал Баранов был задет и горячо выступал против недавних своих креатур. И для того, чтобы резче оттенить положение, этот иронический человек сменил председателя уездной продовольственной комиссии (предводителя дворянства Философова) и назначил на его место... г. Обтяжнова.

Многие таким образом оказались в ролях, довольно для себя неожиданных. Генерал Баранов силою вещей был приведен к борьбе с людьми, которые следовали «призывам к умеренности» в согласии с правительством, и очутился в союзе с «левыми» элементами гонимого земства... Его чиновники готовы были теперь видеть голод и болезни даже там, где их, в сущности, не было... А г. Обтяжнов громил тех самых «знатоков местной жизни», господ «представителей поместного дворян-

ства и земских начальников, призванных охранять интересы крестьянства», которых защищал в декабре против губернского земства и крамольной статистики...

В то время я был в уезде, и для меня самого назначение г. Обтяжнова было неожиданно. Но Баранов, знавший в свое время, какими козырями располагает г. Обтяжнов для нападения на Анненского, знал, очевидно, и о его новом настроении. Впоследствии мне говорили, что перед отъездом в Лукоянов г. Обтяжнов часто заходил в кабинет Николая Федоровича и пытался добросовестно изучить цифровые данные о Лукояновском уезде, в том числе работу «особой статистической экспедиции». И в качестве председателя лукояновской продовольственной комиссии он часто и, кажется, на этот раз с знанием дела громил своих прежних союзников при помощи данных, собранных «никому неизвестными молодыми людьми, с быстротой бури пронесившимися по голодающим уездам».

Это, конечно, было противоречие со всем вторым периодом жизни бывшего «либерального земца», и теперь, когда он вернулся

опять на привычный путь и опять воюет с земством, — не думаю все-таки, чтобы он вспоминал без удовольствия о коротком периоде своей деятельности, когда и он стоял за интересы голодного народа... А также о человеке, который был виновником этого «противоречия».

1913

О Щедрине*

I

Щедрина нет. Толпы народа, некрологи, венки, телеграммы, стихи, речи. Посреди всего этого строгое лицо, которое редко кто даже из петербуржцев видел при его жизни, — мелькнуло на народе, над толпой, среди всеобщего признания и всеобщей скорби; мелькнуло и навеки скрылось в могиле. Нет человека, нет того, кто жил, чувствовал, мыслил, кто скорбел с нами и за нас. И вот мы чувствуем потребность поговорить о покойнике.

Был он писатель в большей мере, чем все другие писатели. У всех, кроме писательства,

есть еще личная жизнь, и, более или менее, мы о ней знаем. О жизни Щедрина за последние годы мы знаем лишь то, что он писал. Да едва ли и было что узнавать: он жил в «Отечественных записках», и с того дня, как их подрубили, при подлых ликованьях толпы Мещерских (повалили-таки! — писали в «Гражданине») — подрублена в жизнь Щедрина. Мы слышали с тех пор о медленном умирании человека, у которого перерезали жизненный нерв. Правда, он все писал, и потому мы не верили, что он умирает. Но он все-таки умер — в середине недоконченной работы.

Бодело у него то, что болело у русской печати и общества. Русская печать до сих пор не исцелилась, когда над ней совершили операцию изъятия «Отеч. записок». До сих пор живое место еще не зажило и зияет своей пустотой. А Щедрина эта операция сократила жизнь, быть может, на много годов.

Любил он — ту же печать, об этом и говорить незачем. Но, кроме того, была у него и еще живая любовь, это любовь к среднему русскому человеку, которого «всё бьют», кото-

рому «история не дает утешений», несмотря на то, что «он-то и есть действительный объект истории. Для него пишет история свои сказания о старой неправде, для него происходит процесс нарастания правды новой. Ради него создают религии, философские системы, утопии. Ради него самоотвергаются те исключительные натуры, которые носят в себе зиждательное начало истории».

...Ежели в глазах человека веры, — писал Щедрин, — безразличны все виды и степени относительной правды, оспаривающие друг у друга верх, то для человека среднего борьба этих правд составляет источник глубоких и мучительных опасений... От настоящего должен он ожидать «охранного листа на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование». А между тем, «в настоящем, процесс нарастания правды нередко кажется ему равносильным процессу сдирания кожи с живого организма».

Вот настоящая живая любовь Щедрина. Вот от чьего лица он всегда говорил, вот чьи интересы отстаивал, кого защищал до конца своей жизни, за кого негодовал и для кого

смеялся.

По большей части он отстаивает и защищает среднего человека даже тогда, когда, угнетаемый страхом, средний человек усердно перебегает с одной стороны улицы на другую, рискуя попасть под колеса вагонов, лишь бы избежать опасной, компрометирующей встречи:

«Это очень печально и, может быть, даже безнравственно, — пишет он, — но нельзя, не впадая в крайнюю несправедливость, относить к обществу то чувство негодования, которое при этом возбуждается. Не оно тут на первом плане, а тот воздух, те миазмы, которыми оно дышит. Ведь оно дышит этими миазмами не добровольно: не потому, что признает их здоровыми, а потому, что деваться от них некуда». «Наше общество не многозначительно и не сильно. Притом, оно искони идет вразброд. Но я убежден, что никакая случайная вакханалия не в силах потушить те искорки, которые уже засветились в нем. Вот почему я и повторяю, что хлевное ликование может только наружно окатить общество, но не снесет его, вместе с грязью, в водосточную

яму. Я, впрочем, не отрицаю, что периодическое повторение хлевных торжеств может повергнуть общество в уныние, но ведь и уныние не есть отрицание жизни, а только скорбь по ней.

Но ведь должна же когда-нибудь настоящая правильная жизнь вступить в свои права. И она вступит. И компарсы[71], так усердно под гнетом паники перебегающие через дорогу, дабы уйти от компрометирующих встреч, вновь почувствуют присутствие оживляющих искорок и сумеют отличить тех, которые, в минуты уныния, поддерживали в обществе веру в жизнь, от тех, которые вносили в него только язву междоусобия.

Я твердо верю, что такой момент наступит и что так называемые „бредни“, ежели и не восторжествуют вполне, то во всяком случае будут иметь свое значение на весах будущего».

— Щедрин, он все смеется, — приходилось иногда слышать в виде упрека.

Да, «почти» все смеялся; под конец жизни ему было слишком тяжело смеяться, и у него прорывались крики глубокой тоски. Но, к сча-

стью для среднего русского человека, в самые мрачные минуты нашей недавней истории мы слышали этот смех. Я говорю — к счастью. Представьте только в самом деле, что в то время, когда и без того было так жутко, еще Щедрин затянул бы унылую, заупокойную песню. Но именно в то время мы слышали голос, полный страстного негодования и гнева, а порой добродушного смеха. Гнев и негодование направлялись куда следует, а добродушный смех назначался опять для несчастного и забитого настоящей историей среднего человека. Он брал испуганного среднего человека за руку, гладил его по головке, обещал, что никогда генералу Отчаянному не удастся пожарной кишкой залить солнце, и хотя на сердце у него тоже кошки скребли, хотя он сам прислушивался с болью, как свинья гложет правду в темном хлеву, хотя самого его свинья уже хватала за ляжки, — он все-таки ободрял и утешал. Он уводил среднего человека от ужасного зрелища генерала Отчаянного, сверкавшего в темноте кровожадными глазами, и указывал ему на другого генерала: знаешь, кто это в балете сейчас такое удиви-

тельное коленце выкинул? Тоже генерал. Действительный статский советник Мариус Петипа. Вот видишь, дескать, не все же одни Отчаянные.

И средний человек смеялся. Да, нужно было великую нравственную силу, чтобы, чувствуя так всю скорбь своего времени, как чувствовал ее Щедрин, уметь еще пробуждать в других смех, рассеивающий настроение кошмара и вспугивающий ужасные призраки.

Откуда же у Щедрина была эта великая сила и какая была основная нота его смеха?

И то и другое, по моему глубокому убеждению, определяется одним словом: у Щедрина была глубокая, неистошцимая вера — в те великие забытые слова, о которых он собирался напомнить перед смертью.

II

Всякий раз, когда я думаю о том, какая основная черта литературной физиономии Щедрина, — мне невольно вспоминаются два отзыва. Один относился не прямо к Щедрину, и мне пришлось его слышать в одном из умственных центров, на обеде, который интеллигентный кружок давал датскому критику

Брандесу. Последний, резюмируя свои впечатления о России, сказал, между прочим, что Россия представляется ему о двух головах. Одна — это чрезвычайно развитая, свободолобная интеллигенция, стоящая на крайних высотах человеческой мысли. Другая — произвол и устаревшие, чисто азиатские формы жизни. Эти две головы — живут рядом и зрелище, конечно, являют далеко не эстетическое.

Другой отзыв, уже о Щедрина лично, я слышал в одном из медвежьих углов, в уездном городе Вятской губернии, от старого и озлобленного неудачами подьячего.

— Щедрин, Щедрин. А что такое Щедрин! Никто иной, как бывший советник вятского губернского правления.

Он знал его и встречался с ним, но на мои расспросы не желал отвечать и только пренебрежительно махнул рукой.

Эти два отзыва, — с разных, так сказать, полюсов, — теперь невольно встают в моей памяти. Да, из всей «развитой» интеллигенции Щедрин был едва ли не самым развитым человеком, едва ли не тоньше всех умел и

различать и ценить все блага культуры. И вместе с тем, он был чиновником губернского правления гор. Крутогорска, он жил в глубине нашего любезного отечества, он не только все видел, высмотрел, но и перечувствовал и выносил. Вот откуда у него такое познание не только всяческих свобод, но и того, какой они дают фрукт на нашей почве; вот откуда познание не только помпадура, но и среднего человека, и вот откуда эта сильная юмористическая складка. Это складка развитого из развитых европейцев, идеалиста и мечтателя, поселенного в Крутогорске и чувствующего, что здесь идеалы не ко двору, но что это все-таки его родина, которую он все-таки любит, не может не любить и не желает, и что всю жизнь он проведет именно здесь, а не в свободной Европе.

Мы так привыкли к Щедринскому смеху, что нам трудно перенестись к тем годам, когда он тоже мечтал, наивно и восторженно, как верят все другие, менее насмешливые люди. А, между тем, это было, и далеко не иронией звучат следующие автобиографические признания:

«Кто не всеу носящий имя человека не испытал священных экзальтации мысли? Кто мысленно не обнимал человечество, не жил одной с ним жизнью? Кто не метался, не изнемогал, чувствуя, как существо его загорается под наплывом сладчайших душевных упоений? Кто хоть раз, в долгий или короткий период своего существования, не обрекал себя на служение добру и истине? И кто не пробуждался, среди этих упоений, под крик: цыц... вредный мечтатель!»

«В 40-х годах русская литература поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, — естественно примкнул к западникам. Но не к большинству, которое занималось популяризацией немецкой философии, а к тому неизвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла уверенность, что золотой век находится не позади, а

впереди». («За рубежом». IV.)

«Но в особенности эти симпатии обострились около 48 года. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались „Историей десятилетия“ Луи Блана. Теперь, когда уровень требований значительно понизился, мы говорим: „Нам бы хоть Гизо, и то слава богу“, но тогда и Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшатель, и Тьер — все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л. В. Дубельт)».

«Я помню, — говорит он далее, — это случилось на масляной 48 года. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство овладело всеми. Именно всеми... не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии сделалось как бы нормальной окраской русской интеллигенции. Старики грозили очами, бряцали холодным оружием, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала бескорыстные

восторги. Помнится, к концу спектакля пало уже министерство Тьера... В два-три дня пало регентство, пало министерство Одилона Барро, Луи-Филипп бежал. Франция казалась страной чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не пленяться этой неистощимостью жизненного творчества, которое вдобавок... рвалось захватить все дальше и дальше. И точно: мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства».

Не знаю, как кто, а я с глубоким волнением перечитал вчера эти строки. Из них так ясно видно, что человек, который всю жизнь только смеялся, — в свое время верил так же наивно и молодо, как и другие, как и мы верили после него. Только это было в разные времена, и в те годы, когда мы переживали этот период розовой веры, — он уже смеялся над многим и даже своей вере служил иронией и смехом. Вера, сказал кто-то, это есть запас, который путник, отправляясь на заре в дорогу, берет с собою. Дай бог, чтобы ему хватило ее до вечера.

Щедрин смеялся, но ему все-таки хватило

до вечера. Многим ли хватит из нас — посмотрим.

Уже в следующих строках пробивается обычная ирония:

«И вот, вслед за возникновением движения во Франции, возникает соответствующее движение у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат Вятского губернского правления. Все это, конечно, сделалось не так быстро, как во Франции, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился в Петербург лишь через семь с половиной лет, когда не только французская республика сделалась достоянием истории, но и у нас мундирные фраки уже были заменены мундирными полукафтанами»...

Итак — молодой энтузиазм, политические идеалы, великая драма на Западе и... почтовый колокольчик, Вятка, губернное правление и помпадурсы... Вот мотивы, сразу, с первых шагов литературной карьеры овладевшие Щедриным, определившие его юмор и его отношение к русской жизни.

Две картины*

Размышления литератора

I

Иродов придел Иерусалимского храма спускается уступами широкой лестницы. Косой луч солнца падает слева, играя густым, желтоватым светом на порфировых колоннах, на каменной стене, на темной зелени кипарисов. Свет лег на массивные камни с той ясной и тяжеловатой мягкостью, которая свойственна спадающему, но все еще томительному зною или неустановившемуся жаркому дню, а густые тени залегли глубокими пятнами, в которых уютится прохлада. Между колоннами, на лестнице виднеются фигуры. Какого-то старца раввина с почетом провожает другой. Нищие в равнодушных позах уселись на уступах. Спокойствие только что отошедшей молитвы чувствуется на широкой площадке придела.

Тихим миром отмечена и левая половина

переднего плана картины. В затененном пространстве уселись вокруг Христа задумчивые, спокойные люди; это ученики его и слушатели, которые с душевным удовлетворением ловят слова учителя. О чем говорил он в этот тихий час? Небо синеет, лиловые тени от величавых кипарисов легли на высокие стены, и кажется неволью, что речи Христа, спокойные, величавые и ясные, как эта природа, поднимают души слушателей на высоту примиряющей мысли, дают величавые схемы, разрешают житейские противоречия.

С первого взгляда на картину вы как будто не замечаете ее главной фигуры, — другие (о которых дальше) выступают с большею резкостью. Но это только кажется. В сущности, даже рассматривая прежде другие фигуры, вы уже испытываете какое-то неопределенное беспокойство: что это за человек сидит на камне, освещенный солнцем? Неужели это... Христос?

Да, это он, убеждаетесь вы с чувством, похожим на разочарование. Этот человек, — именно человек, — сильный, мускулистый, с крепким загаром странствующего восточного

проповедника... Ничего тонкого, полувоздушного, неземного, никакого сияния и как бы полета, которое мы привыкли соединять с представлением об этом образе. И невольно в первые мгновения острое ощущение недовольства всплывает среди остальных впечатлений.

Но, в сущности, это только неожиданное ощущение внезапного противоречия с крепко установившимися преданиями. Чем больше вы вглядываетесь в эту замечательную фигуру, с ее физической крепостью, вместо аскетической полувоздушности, с ее небрежно упавшей на колено рукой, со всей этой незамечаемой им самим усталостью утружденного, но сильного человека, и главное — с этим замечательным выражением лица, — тем больше первоначальное чувство заменяется удивлением, уважением, любовью.

Да, именно любовью. Мы способны любить больше то, что нам больше понятно и доступно. Все эти образы с сиянием и воздушной прозрачностью слишком отвлеченны и схематичны для того, чтобы заставить биться наше сердце, состоящее из тела и кипящее

кровью. Они скорее говорят о *долге* любви, чем возбуждают живую любовь. Здесь же высокий образ является в настоящей плоти; эта высота пробивается наружу из-за настоящей телесной оболочки, и мы ее понимаем, и навстречу ей пробивается из нашей груди сочувственный отзыв.

В этом образе я вижу замечательный успех художественного реализма и думаю, что религиозное чувство тоже не может быть оскорблено подобным приемом. Христа не признало большинство, его распяли. Но если бы он являлся в толпе постоянно окруженный сиянием, постоянно так не похожий на человека, то кто же мог бы его не признать? Да, среди людей это был человек, и в нем светился только внутренний свет, видимый чистому, искавшему истины взгляду.

Однако художнику легко впасть в другую крайность, — крайность реакции против традиционных изображений... Христос был странствующий проповедник. Ему нужна была физическая сила, чтобы носить бремя великого деятельного духа. Он, как и мы, загорал на солнце, уставал от трудного пути, ел и

пил. Художник и изобразил нам человека с
чрезвычайной правдивостью. Это реально.
Но не надо забывать, что реализм есть лишь
выработанное нашим временем *условие* худо-
жественности, а не сама художественность.
Поэтому, если бы (допустим) художнику уда-
лось какими бы то ни было средствами воссо-
здать с фотографической точностью каждую
черту этой фигуры, и он дал бы нам Христа
«обыкновенным человеком» в момент обеда,
сна или незначительного разговора, — это
было бы хотя и реально, но грубо и не художе-
ственно. Тут *условие* превратилось бы в *цель*,
это был бы уже не «художественный ре-
ализм», под которым нужно разуметь «художе-
ственное обобщение в реальных условиях», —
но одни реальные условия, без всякого худо-
жественного обобщения, «натурализм» при-
ниженный и плоский, довлеющий себе и со-
бою довольный...

В человеке, как Христос, в котором милли-
оны признали бога, — существенно не то, что
и он пил и ел, как другие. Художник обязан
выбрать такой момент из его жизни, где са-
мая характерная черта его личности сияла бы

сквозь «реальную» оболочку (потому что ведь и она тоже — «реальный» факт). Его распяли и глумились над ним, как над человеком. Но он зажег в сердцах людей, бедняков и богачей, начальников и рыбаков тот священный огонь, который был в нем самом. Тот не художник, кто не покажет нам этого огня в Христе-человеке.

Поленов художник. Вглядитесь в лицо Христа на его картине, и оно надолго останется в вашей памяти. Однако, чтобы уяснить себе выражение этого лица, мы должны обратиться к другой половине картины.

В мирную возвышенную беседу в затененном углу врывается шумная, пестрая, дикая и страстная «улица». Толпа влечет на суд к Иисусу молодую блудницу. Она бедно одета, молода, красива и испугана. В ужасе она упирается, не зная, что ждет ее со стороны человека, к которому ее толкают. Страсть толпы, ворвавшейся из-за угла с воплями и шумом — это старая страсть, развившаяся и крепко пустившая корни на почве старого закона. Моисей сказал, что блудницу надо побить камнями. На этом воспитались поколения и воспи-

тываются новые. Между фактом преступления и формулой закона никогда не становилась критика. Поэтому слепая и неумолимая вражда вспыхивает со всей силой непосредственности, и даже в руки детей она вложила камни, а в глаза огоньки зверства. Но почему же ее ведут именно к Иисусу, и, если ее ведут к нему на суд, то зачем это зверство, уже заранее осудившее молодую грешницу? На этот вопрос отвечают нам выступившие вперед к Иисусу две фигуры.

Это два старые раввина. Один (седой) весь охвачен жаром фанатизма, другой (рыжий) смотрит на Христа с холодным ехидством. Оба они знают, что в Иерусалиме есть новый учитель, колеблющий основы старого закона, признанный уже многими и провозглашающий учение милосердия. Так пусть же скажет он со своим новым словом, как применить его к этому случаю, относительно которого постановление Моисея непререкаемо: «В законе нам повеле Моисей таковыми камением побити: ты же что глаголеши? Сие же реша, искушающе его, да быша имели что глаголати нань» (Иоанна, гл. VIII, 5).

В иступленной фигуре седого раввина, несмотря на всю ее суровость, много искренности и одушевления. Учение, осуждавшее целые народы на поголовное истребление и считавшее милосердие в таких случаях преступлением против бога, должно было выработать такие суровые натуры. Но есть в этой фигуре что-то, вызывающее если не сочувствие, то некоторое оправдание и, пожалуй, уважение. Савл тоже гнал Христа и, быть может, испытывал при этом то же, что испытывает седой раввин. Новое учение встает против его веры, стремится пошатнуть ее, и он с яростью кидает к ногам Христа выхваченный из жизни факт: «Возьми его, примерь на нем твое учение и скажи, богохулец, что наш Моисей неправ». Он верит, и потому каждый удар Христа, нанесенный его вере, отзывается болью в его сердце, и эта боль говорит ему, вопреки его воле и сознанию, — о силе нового учения. Быть может, даже в его душе слышится уже отголосок призыва: «Почто мя гониши?» — и этот смутный призыв пока только раздувает пламя его любви к старому и гнева против нового.

Не таков его рыжий товарищ. Несколько вытянув шею, он смотрит на Христа прищуренными, холодными глазами. Это полный контраст с искренним воодушевлением первого. Это, вероятно, саддукей. Ему нет дела до Моисеева закона, до той искры истины, которую приютил в своем сердце седой фанатик. Все это одни глупости. «Было семь братьев, все умерли поочередно, и к каждому переходила, по закону Моисея, оставшаяся в живых жена старшего брата. Кому же достанется она на том свете? Какой кавардак подымут на небе эти братья? Не ясно ли, что им лучше совсем не подыматься из могил и что в законе старика Моисея напрасно было бы разыскивать здравого смысла». Истинно одно: существует храм, существует все еще сильная машина обрядового культа, от которой кормятся умные люди. Машина эта позаржавела, скрипит, — это правда. Но она достаточно сильна еще, чтобы искрошить всякого «вредного человека», который, гоняясь за утопиями, подымается против факта во имя истины. Истина для этого человека не существует, и потому сознание силы нового проповедника ему

недоступно. Он, быть может, тоже провидит будущее, как и его собрат. Но они смотрят не одинаковыми глазами: в то время, как в сердце старого фанатика встает смутное предчувствие торжества новой идеи, и он дрожит и пламенеет от гнева, — саддукей видит распятого и опозоренного человека, и потому только смеется. «Сие же реша, да быша имели что глаголати нань». Этот смертный грех шпионского искушения не ради истины, а для преследования за нее, всецело принадлежит рыжему, потому что он совершает его с холодной злобой и с холодным расчетом.

Теперь — налицо уже все элементы картины. Соберем их в одно целое, и тогда значение центральной фигуры Христа выступит с полной ясностью.

Левая сторона — новый мир, правая — старый. В этот уголок, где только что звучали слова новой истины, старый мир врывается с частным фактом. Факт этот весь состоит из спутанной смеси греха, страдания, злобного гнева, исступления. Это одно из бесчисленного множества житейских противоречий, вдвигавшихся без сомнения в ум и совесть то-

гдашнего человека мучительным вопросом. В толпе царит старая страсть, взращенная старым законом, но уже то, что толпа несет эту страсть ко Иисусу, многозначительно и характерно. «Указания Моисея ясны, что скажешь ты? Зачем ты тревожишь нашу совесть, зачем не даешь нашим страстям изливаться установленным, хотя, быть может, и бесчеловечным порядком?»

На левой стороне нет уже и признака этой страсти. Она вся вытравлена в сердцах тех, кто слышал великие слова любви. Однако, даже тогда, когда общие положения нового учения усвоены, — нужен еще долгий опыт мыслей и чувства, чтобы каждый раз безошибочно прикинуть частный факт к началам общей правды. Поэтому на левой стороне господствующее настроение — вдумчивое ожидание. Ученики раньше Христа увидели эту толпу, ворвавшуюся из-за угла, их взгляды устремлены на грешницу: «Несчастливая... закон Моисея ясен... но что скажет Христос?»

Блудницу еще не довели до того места, где ее нужно поставить перед Христом; в толпе продолжается движение, мальчишки не оста-

новились еще на бегу; покой и движение фигур на ступенях и площадке храма еще не успели измениться от прибытия этой толпы. Таким образом ясно, что мы имеем дело с первыми мгновениями известного евангельского эпизода. На лице Христа еще не исчез отпечаток общей, отвлеченной, возвышенной формулы, залегающей во всех его чертах. Он еще не вполне спустился с высоты, еще не отдал себе полного отчета во всех подробностях предстоящего частного факта человеческого гнева и страдания; но этот факт уже зовет его в себе, требуя разрешения. В этом весь психологический драматизм фигуры Христа-человека, который подымает его над толпой и неизгладимо запечатлевает в памяти зрителя... Старый мир беснуется, враждует и страдает. Новый — обращается к Христу с встревоженным упованием. А он, еще не зная подробностей, уже переносит свой мечтательный взгляд от неба на грешную землю, которая зовет его воплями злобы и боли. И взгляд Христа исполнен уверенности; это — точка, вокруг которой должен повернуться умственный и душевный хаос старого мира. Чего хо-

тят от него эти беснующиеся люди?.. Он едва расслышал вопрос, едва охватил первым взглядом пеструю толпу, — и уже в душе его подымается милосердие к грешнице, и он знает, что *его истина* тотчас же даст логическое выражение его чувству, что луч живой любящей правды сверкнет сейчас в этот мрак изуверства. Между общей формулой и частным фактом не может быть противоречий, и потому он обращается к этому факту, чтобы навеки приобщить его к целому своего учения... И уже готовы слова, которые будут говорить векам:

— Кто из вас без греха, — пусть бросит первый камень...

II

Если вы уже раз побывали на выставке и знаете о картине Сурикова, то, вероятно, и вас она позовет к себе непосредственно от картины Поленова.

Так было со мной, и, как я наблюдал, то же случилось со многими другими. Эти две картины связаны некоторым силлогизмом. Обе они очень велики и по размерам, и по сюжету, но манеры художников совершенно раз-

личные. При переходе от Поленова к Сурикову зритель испытывает ощущение эстетического контраста. Хочется найти причину этого контраста в том, что кто-нибудь из двух взял фальшивый аккорд. «Которая картина нравится больше?» Кажется, что обе вместе нравиться не могут. «Помилуйте, что это такое? Лиловые тени, смягченный свет, эффекты. Вот где реальная действительность, — в суровой кисти Сурикова!» — «Ну нет. Что такое Суриков? Серое небо, бедные краски, бедный рисунок, отсутствие гармонии. Поленов — это гармония». Признаюсь, только после некоторого усилия первой минуты, только после того, как меня охватило вполне впечатление сюжета, я понял, что манеры художников соответствуют их темам и не подлежат сравнению.

Серое небо, маленькие домики деревянной Москвы XVII века, бедный и сурово выписанный пейзаж.

С переднего плана две борозды пролегли в рыхлом глубоком снегу. Полозья розвальных саней проложили эти следы; розвальни наклонились на ухабе и ползут дальше. Плохая

кляча равнодушно тянет их, а плохой лядащий мужичонко с худым золотушного типа лицом погоняет ее, замахиваясь вожжами, и смеется. На розвальнях, за спиной мужика, лицом к зрителям сидит боярыня Морозова, закованная в цепи. Московская толпа стоит на улице, теснится, напирает; другая, богато одетая боярыня идет рядом с санями и плачет. Лядащему мужичонку есть от чего смеяться; никогда еще не было ему такого почта, в его поганых санишках сидит именитая боярыня, и царские алебардчики расталкивают перед ним толпу, расчищая для боярыни дорогу... в застенки.

Фигура боярыни служит центром картины. Темная, суровая, — она вся горит внутренним огнем, но это огонь который только сжигает, а не светит. Изможденное, когда то красивое лицо, впалые глаза, полуоткрытый криком рот, и во всех чертах — сильно отмеченное ударом суровой кисти, несложное выражение фанатизма. Мрачная, ужасающая уверенность возникает в душе при взгляде на эту фигуру. Да, она не сдастся, не уступит, и жестокое дело совершится до конца. Она готова

на лютую смерть. Она подняла руку, отягченную цепями, и показывая толпе, за что она умирает, за что зовет умирать других. Это — двуперстное сложение.

Могучая фигура строптивой боярыни в одно и то же время приковывает внимание и возбуждает смутную тревогу.

Она так бесстрашно идет на муку и этим будит невольное сочувствие. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель за то, что он считает истиной. Такие примеры пробуждают веру в человеческую природу; поднимают душу. В этом невольном сочувствии первая основа душевного настроения зрителя. Но это смутное чувство стремится тотчас же к своему логическому завершению в сознании. «За что умирает эта боярыня, к чему она призывает?» Перед ней несомненно маячит какой-то свет. Так где же он, и свет ли это, или только блудящий огонь над трясинной? Боярыня поднимает два перста — символ своей идеи... И только... какая убогая, бедная мысль для такого подвига. И чувство зрителя не находит логического завершения. Господствующее ощущение — раз-

лад, дисгармония...

Тот же мотив заметен в изображенной на картине московской толпе. Художник проявил в изображении этой толпы замечательную силу: кажется, будто вихрь пробежал по ней; ни одно лицо не осталось не измененным соответственно с основным мотивом. Вот мальчишка бежит за санями и дует на озябшие пальцы. Его лица не видно, но легко представить его выражение: он не знает, отчего ему больно — оттого ли, что пальцы озябли, или жаль эту суровую женщину. Вон юноша с широко открытыми, испуганными глазами. Молодые женщины, боярыни, посадские девушки, черничка... На этих мягких женских и детских лицах всего сильнее отразился основной душевный мотив. В них боярыня сильнее всего колыхнула острое сожаление к страданию и испуг молодой жизни перед мрачным подвигом смерти.

Но это только общий мотив, заложенный в каждое сердце и шевельнувшийся стихийно, как колышется стоячий пруд от упавшего камня. Только мысль закрепляет душевное движение, делает его способным к развитию

и творческой работе. Поэтому, когда толпа разойдется по домам, эти молодые женщины и девушки будут временами вспоминать в своих светелках о женщине, которую провезли на дыбу. Глаза их опять потемнеют и расширятся от испуга, сердце забьется тревогой и сожалением, а в душе станет смутный вопрос без ясного ответа. И только.

Мотива, выраженного у Поленова седым раввином, вовсе нет на картине Сурикова. Зато другой раввин — присутствует. Он тоже, как и у Поленова, смеется (только юмористично и весело), и у него тоже нет одного зуба, отчего улыбка оттеняется особенным образом. Это смех торжествующего саддукейства: противница закована и предана позору... Он смеется. При неопределенности настроения толпы, его смех отражается на нескольких лицах из близко стоящих. Они, может быть, плакали бы, если бы кто-нибудь рядом не смеялся, а плакал. Это только круги на поверхности стоячей воды...

Есть и более определенное отношение: юродивый, сидящий на снегу с полуобнаженным телом, с босыми ногами и в веригах, да

еще нищенка, — напутствуют боярыню на подвиг, подымая руки с двуперстным сложением. Их сочувствие явно, определено и сильно, и это сочувствие — к смерти. Это те, что еще и в наше время поют:

*Несть спасенья в мире, несть,
Лесть одна в нем правит, лесть,
Смерть одна спасти нас может,
смерть!*

И они, еще «не удостоившиеся», еще живущие, казнят в себе жизнь, как врага, казнят ее веригами, холодом и голодом. Какой-то странник, с котомкой и посохом, смотрит во след боярыне задумчивым и немного мечтательным взглядом. Он уйдет из Москвы в архангельские скиты, на Иргиз, на Дон, и всюду разнесет весть о том, что господь сподобил его видеть смертный подвиг святой боярыни. И слова его загорятся в сердцах, и от них, как от угля великого костра, запылают, быть может, в мрачных лесных тущобах срубы фанатиков-самосожигателей.

И небо висит серое, грустное над мрачной картиной, где только трепетный луч скользит, теряется и пропадая в сумерках.

III

Для каждого положения есть своя идеальная, так сказать, обстановка, в которой оно выступает всего полнее, выпуклее. Конечно, если бы, например, романист вздумал оттенять каждый раз гнев своего героя небесными громами и молниями, то этот прием показался бы нам очень наивным, потому что вероятность таких совпадения имеет свои границы. Тем не менее, нельзя не признать факта, что человеческое настроение ищет отражения своего рода резонатора в природе.

Народный певец взял первые аккорды, и его воображение уже наполнено смутными образами: он слышит шелест степной травы, и шум леса, и гул моря, и гром, шопот зеленого явора, у которого вода подмыла корень. И тотчас же из этого бесформенного хаоса выделится основной мотив, который наиболее соответствует его теме... «Боян же, братие, аще кому хотяще песнь творити растекашеться мыслью по древу, серым волком по земли сирым орлом под облакы...»

Основной психологический мотив обеих разбираемых нами картин глубоко разли-

чен... Тоны их соответствуют основному мотиву. Содержание одной — ясная, полная, замечательно уравновешенная, стало быть гармоническая идея. Старый мир мятется, волнуется, страдает; в новом говорит чувство милосердия, которое ждет выражения. В Христе слиты в одно целое и чувство, и мысль, содержание и форма. Присутствие этого всеразрешающего момента кладет свой отпечаток, проникает в душу занятого им художника. Вот откуда этот спокойный свет, эти стройные колонны, эти освещенные камни храма, густо выступающая на свету зелень кипарисов и глубокие определенные тени. От всего пейзажа веет тем возвышающим и успокаивающим впечатлением, которое соответствует сюжету. Да, жизнь, где светит уже эта определенная и гармоническая идея, — возвышенна и хороша. Пусть тень старой вражды врывается еще в душу с этой пестрой толпой, она только подчеркивает значение сознательной мысли Иисуса. Христос принес меч, которым старый мир рассечен на две части. И картина тоже разделена на две части: любовь на одной стороне, вражда на другой. Определенное

настроение водило кистью художника: оттого он и выбрал момент, когда свет ложится широко и ярко, тени густеют. Это момент ясного разделения света и теней, заблуждения и истины, злобы и любви...

Содержание другой картины — диссонанс, противоречие между возвышенным могучим порывом чувства и мелкой, ничтожной и темной идеей. Поэтому встревоженное изображение художника ищет выражения в диссонансах. В то время, как на работе Поленова сказывается вдумчивая уравновешенность, допускающая спокойное сосредоточенное искание гармонии и изящества, — кисть второго сурова, беспокойна и неизящна. Суд обоих художников — во внутреннем соответствии формы и содержания; поэтому я и не думаю сравнивать их талантов. Но в этих двух картинах одна эпоха как бы зовет на суд другую. Почему выражение одной — гармония, почему выражение другой — диссонанс?

Бывают в жизни человечества светлые периоды, когда творческая мысль созревает до своей полноты, покрывает все имеющиеся на лицо противоречия. Один из таких периодов

изображен на картине Поленова. Теперь в моде нападать на науку, на знание. Мы изверились в силу логической мысли и склонны искать спасения в чувстве, освобожденном от этой обузы. «Апостолы были простые рыбаки, а не ученые». Но мы забываем, что Христос был для своего времени замечательным ученым, что он еще в детстве поражал глубоким проникновением в «учение»... Прочитайте талмуд (начало которого относится почти ко времени Христа), вдумайтесь в его грубые и полные суеверия формы мысли, подумайте также, что талмуд все-таки произведение лучших умов, — и вы поймете, сколько нужно было критической силы, чтобы из-под шлака застывшей веры извлечь новое учение... Все, что выдвинула тогдашняя критическая мысль, всем наличным противоречиям Христос нашел примирение... Он пережил свой период анализа, то есть критики, то есть разрушающей мысли, прежде чем перейти к созиданию. И все его учение — примирение для целых веков мучительных противоречий. Ощущение этого великого предчувствия гармоний водило кистью Поленова...

«На земли мир, в человецех благоволение». Потому что жить в такое время прекрасно и умирать тоже прекрасно...

А картина Сурикова — идейные сумерки, сырой ненастный день, тяжелое небо, сплюснутые купола церквей, безлистые ветви тощих деревьев. Художник прав, задерживая этим флером свое смятенное настроение, но если когда-нибудь все наличные противоречия и тоска найдут исход, если опять «в человецех благоволение» осенит наш мир, — тогда искусство приблизится к эстетической гармонии, оставаясь в то же время правдивым. Тогда люди посмотрят на картины, вроде этой, и скажут: как это сильно, но... как грустно и некрасиво!.. И это действительно некрасиво, но виноват тут не художник. Он показал нам нашу действительность. Можно ли сказать, что мы уже вышли из этого мрака? Не испытываем ли мы всей этой тоски и разлада, не ищет ли современный человек — веры, которая бы возвратила нам спокойствие и осияла для нас внешний мир внутренней гармонией понимания? Веры, которая бы осуществляла любовь и не противоречила

истине, знанию?

Перед нами обе картины. Пусть одна говорит нам, что наши ожидания не напрасны, что в жизни человечества уже светила заря полным светом. Но пусть она научит нас также, что главный смысл этой гармонии — в мире между чувством и мыслью, которой так полно проникнут образ поленовского Христа. Выдвинуть целиком все противоречия и найти разрешение — вот путь к целостности существования. Пока, сдавленное в глубине ума, останется хотя одно крупное противоречие, не разрешенное, не примиренное ясной обобщающей мыслью... до тех пор, — вот она, яркая, грустная картина дисгармонии и разлада, сумерки чувства и сумерки мысли...

Я. Канторович. — Средневековые процессы о ведьмах*

Юридическая библиотека, № 9
Издание Я. Канторовича. Спб. 1896

В работе г. Канторовича нет ничего нового и оригинального, но она касается одного из интереснейших эпизодов европейской истории. «С конца XIV до второй половины XVIII в., в течение почти четырех столетий, во всех странах Европы не переставали пылать костры, раздуваемые невежеством, фанатизмом и суеверием, и сотни тысяч невинных людей, после страшных мучений пытки, обрекались на смерть по обвинению в связи с дьяволом и в разных чудовищных преступлениях колдовства. Всего сто лет прошло с тех пор, как потухли костры, на которых сжигались жертвы суеверия, осужденные по всем правилам судопроизводства, на основании постановлений уголовного законодательства, „во имя бога, короля и правосудия“. Впрочем, костры, потухшие сто лет назад, были далеко еще не последними. Преследование колдов-

ства в Испании продолжалось еще в начале XIX столетия, а в католической Мексике 20 августа 1877 года пять женщин обвинены в колдовстве по всем правилам судопроизводства — и все сожжены на одном костре» (стр. 160).

Это было какое-то повальное безумие, охватившее Европу и державшее ее четыре века под давлением кошмара, вышедшего из самых мрачных закоулков схоластики, фанатизма и религиозной нетерпимости. Основанное на вере в сатану, это безумие сначала совершенно извратило здравые основы процесса, а затем само питалось бредом и сказками, которые вырывались под пытками у обезумевших жертв. Все это записывалось, сводилось вместе, служило темой для специальных сочинений, которые после в свою очередь давали руководящие приемы для допросов пытаемых. Вера в сатану укоренялась все больше, демонология становилась чуть не наукой. Дьявольская иерархия была изучена с полной подробностью. «Один из демонологов, Jean Weier, насчитывает в дьявольской армии 72 тысячи князей, графов и маркизов и 7 405 928

простых чертенят» (2).

В 1489 году, с благословения папы и одобрения кельнского теологического факультета издана в Кельне книга «*Malleus maleficarum*» (Молот ведьм), ставшая вскоре авторитетом для светских судов. Она написана инквизитором Яковом Шпренгером, в сотрудничестве с другим инквизитором Кремером, и представляет настоящий бред, в котором самые дикие басни и самые чудовищные вымыслы о колдовстве и ведьмах санкционируются ссылками на тексты священного писания, на тезисы авторитетов теологии и подтверждаются фактами из кровавой практики самих авторов. Книга начинается текстом папской буллы и имеет во главе тезис: «*Haeresis est maxima opera maleficarum non credere*»[72], — таким образом, всякий сомневающийся в наличии колдовства и в существовании ведьм — объявлялся вперед страшнейшим из еретиков, заслуживающим костра. Право и религия, юриспруденция и инквизиция соединяются вместе. Процессы о ведьмах наполняют четыре столетия, число жертв доходит до невероятных цифр. В течение только XVI и

XVII столетий в одной Германии было сожжено свыше ста тысяч ведьм, а по всей Европе за период XIV–XVII вв. насчитывается свыше миллиона жертв! Некоторые насчитывают их до четырех, даже до девяти миллионов.

Под влиянием пыток, казней, костров мрачное настроение охватывало общество, фигура сатаны получала осязательную реальность, настоящее безумие охватывало массы, все проявления истерии и нервных расстройств изливались в готовые формы. Порой мужа доносили на жен, матери на детей, пытка подтверждала всякий донос, изуверские суды считали признание «более очевидным, чем сама очевидность», и потому на кострах гибли не раз ведьмы, обвиненные в умерщвлении детей, которые, однако, оказывались живы и невредимы. Зараза достигала таких пределов, что один из наиболее жестоких судей, Remy или Remigius, автор книги «Daemonolatria», сжегший в течение своей 15-летней практики свыше 900 ведьм, — в конце своей жизни вообразил и себя одержимым сатаной и дал себя сжечь на костре (16). Около 1484 г. повальная истерия охватила монахинь

одного монастыря, — они мяукали, лаяли, катались по земле. После напрасных попыток изгнать дьявола — все монахини были сожжены. В княжестве Нейссе в течение девяти лет сожжено более тысячи ведьм; в том числе были дети в возрасте от 2–4 лет. В Швеции, в одном селении, у детей появились судороги, сопровождавшиеся обморочным состоянием. Наряжена комиссия, которая добилась от детей признания, что ведьмы таскают их с собою на шабаш. На шабаше сатана часто бьет ведьм и детей, иногда же, напротив, очень милостив, играет на арфе, любит, когда он болен, чтобы ведьмы пускали ему кровь, а раз даже умер на короткое время. В результате присуждены к смерти 84 женщины и 15 детей, из остальных 56 детей биты плетьюми (118)... В некоторых деревнях трирского епископства все местные женщины подпали обвинению в колдовстве, так что в одной деревне осталась в живых всего одна женщина (103)!

Мрачная картина, способная внушить самое безнадежное представление о свойствах человеческой природы, прорывается кое-где

светлыми примерами мужественной мысли, восставшей против общего безумия и изуверства, несмотря на всю опасность борьбы. Корнелий Агриппа Нетестеймский в 1531 году, Иоганн Вейер из Мозеля в 1523, Адам Таннер из Инсбрука в 1626, — разделяя общую веру в реальность колдовских явлений, — подвергли анализу достоверность судебных процессов и протестовали во имя человечности против жестокости пыток и казней. «К вам, судьи, обращаюсь я и спрашиваю, — писал в 1631 году благородный Фридрих фон-Шпе, посевший преждевременно от самого вида страданий невинно казненных, — зачем вы так тщательно ищете повсюду ведьм и колдунов? Я вам укажу, где они находятся. Возьмите первого капуцинского монаха, первого иезуита, первого священника, подвергните его пытке, и он признается, он непременно признается... Возьмите прелатов, кардиналов, возьмите самого папу! Они признаются, уверяю вас, они признаются!..»

Вторая часть очерка г. Канторовича пытается нарисовать картину ведовства и колдовства на Руси. Несомненно, что у нас это явле-

ние не имело ни той интенсивности, ни того глубоко мрачного характера, какими оно отмечено в истории Западной Европы. Однако неверно и утверждение автора, будто у нас никаких «религиозных или иных причин для преследования колдовства не было», а процессы этого рода имели лишь чисто гражданский характер (вознаграждение за нанесенные ведовством убытки). «В допетровский период погибло под пытками не мало людей, благодаря выкликаниям кликуш», — говорит сам автор на стр. 185, — в указах царя Федора Алексеевича учителям магии и чернокнижия полагается сожжение, в артикулах воинского устава Петра Великого говорится об идолопоклоннике, чернокнижце, ружья заговорителе, — что таковой «весьма сожжен быть имеет». Все это указывает, что и у нас в народных воззрениях, в церковных и светских уставах была почва для того же явления и только по разным историческим условиям оно не развилось в ту повальную болезнь изуверства и безумия, которая охватила феодально-католическую Европу. Вообще эта вторая часть книги составлена слишком поверхностно и

неполно, что не мешает, однако, рекомендовать настоящее издание, как интересный и полезный очерк одного из самых поучительных заблуждений, в какое впадало человечество.

1896

Житейский задачник для детей. — Мандрыки*

Сумы. 1896

На заглавном листке этой книги поставлен 1895 год, на обложке уже 1896, прислана она нам для отзыва в 1897. Цензурой книга разрешена в Киеве, печатана в Сумах, под предисловием подписано: М. Мандрыка. Гор. Каменец-Подольск. Все это может поставить в некоторое затруднение библиографов, в случае если бы имя г. Мандрыки когда-нибудь приобрело бессмертие. Но нас в гораздо большей степени угнетает вопрос, по-видимому, совсем к делу не идущий, а именно, — кто такой этот г. Мандрыка: просто г. Мандрыка, или Мандрыка педагог, Мандрыка инспектор,

наконец (чего уже совсем боже упаси!) — даже директор народных училищ? Дело в том, что в последние три-четыре года печатные упражнения тоспод директоров приобрели всероссийскую известность. Мы помним «руководства для учителей» и «руководства для учеников», которые доставили авторам славу, а фельетонистам и их читателям много веселых минут. Но нас при этом всегда угнетал вопрос: а что доставляют они, например, учителям, которые «обязаны» почитать труды своего начальства под серьезным опасением прослыть «неблагонадежными и вольнодумцами».

Вот и теперь перед нами — «житейский задачник». Подпись: М. Мандрыка — и ничего больше. Хорошо, если так! Но что, если о своем официальном титуле г-н Мандрыка умолчал из скромности, или просто не желая смешиваться с толпой своих сослуживцев, известность которых его несколько конфузит?..

Впрочем, не будем думать о человеке дурно и примем г. Мандрыку за то, за что он себя выдает. Пусть он будет просто г. Мандрыка, живущий в Каменец-Подольске и предаю-

щийся на досуге игре ума с педагогической окраской. Тогда и мы можем беседовать с г. Мандрыкой более или менее благодушно. Это, разумеется, не помешает нам сказать откровенно, что его «Житейский задачник» есть книга в высокой степени вздорная и ни к чему не нужная. Если верить предисловию, автор желал «дать детям упражнение, которое развивало бы *наряду с арифметическими задачами* (sic) изобретательность, находчивость и подготовило бы их к решению вопросов, поставляемых житейскими обстоятельствами». Но арифметический элемент в книжке отсутствует совершенно, житейский способен вызвать только улыбку (при сказанном выше условии — то есть что г. Мандрыка просто только г. Мандрыка и ничего больше!). «Было два бедных братца, и у них был только один тулуп и одна пара сапог. Настала зима. Стали мальчики ссориться и драться из-за тулупа и сапог. Как можно было их помирить, чтобы оба были довольны?» Ну, вот вам, читатель, первая задача г. Мандрыки. Как в самом деле сделать этих мальчиков *довольными*? Подарить им еще один тулуп и еще одну

пару сапог? Нет, г. Мандрыка дает другое решение: «Назначить очередь, можно было употребить жребий». Буквально! Жребий вместо сапог, таково «житейское решение», и мальчики довольны.

Господин Мандрыка скромнен. Он назначает свой задачник для детей. Но, в сущности, детям порой может крепко достаться от взрослых за исполнение советов г. Мандрыки. Вот, например — «высоко на яблоне висело яблоко. Пришла маленькая девочка и задумала достать яблоко. Что она могла сделать, чтобы достать его?» Это задача 12. Решение: «Сбить длинной палкой или стряхнуть; если длинной палки нет, связать короткие и прочее». В pendant[73] к этой, так и просится другая задача: садовник увидел, что дети палками сбивают яблоки и делают еще «прочее», не менее вредное для деревьев. Дети объяснили садовнику, что это их научил г. Мандрыка. Что сделает садовник с г. Мандрыкой? Не правда ли, вопрос очень интересный уже не для одних детей, но и для самого г-на Мандрыки.

Вообще, не одних детей имел в виду автор,

составляя свой «житейский задачник», но все возрасты, все звания и все роды жизни. Вы мальчик, и вам взбрело в голову непременно кидать с чердака яички так, чтобы они не разбились. Господин Мандрыка вас научит. Но вот вы не мальчик, а служанка. Вы «принесли в кухню из лавки 4 булки и увидели, что уже кипит самовар; вы хотите разом внести в комнату самовар, подставку для него, булки и чайник. При этом самовар большой. Как это сделать?» (задача 52). И тут г. Мандрыка дает вам гибельный совет: «Взять подставку подмышку, булки в платочке повесить на руку, самовар с чайником нести в руках». Конечно, при этом у вас подставка выскользнет из подмышки (самовар большой), вы обваритесь кипятком, разобьете чайник и просыплете булки. Тогда в оправдание перед хозяином сошлитесь на г. Мандрыку и укажите решение задачи на стр. 36. Пусть ведаются с автором.

Но вот вы не горничная, а прислужник в кухмистерской и хотите (задача 58, отд. I) «нести в одной руке две полные тарелки супу». Лучше бы отказаться от опасного предприятия, но, если вам интересно, то послу-

спайтесь опять гибельного совета: возьмите дощечку, поставьте на нее полные тарелки и держите одной рукой: хозяин или гости, которых вы обварите супом, пусть опять ведаются с г. Мандрыкой в гор. Каменец-Подольске.

Вы мужик, у вас лошадь с норовом, — она делает все наоборот. Раз вы хотели ее вести на паром и тянули за повод, она не идет. Что вы могли бы сделать, чтобы ввести лошадь на паром (задача 11, отд. II)? Вы догадываетесь и, не заглядывая даже в решение, тянете лошадь за хвост. Она, конечно, лягает и выбивает вам несколько зубов. Вы опять с претензией к г. Мандрыке. Извините-с! Он человек хитрый и, предвидя возможность печальных последствий, совсем не дал решения этой задачи. Догадайтесь сами. За хвост-то, конечно, за хвост. Иначе невозможно, но за последствия, как себе хотите, г. Мандрыка не отвечает.

Далее — вы отец семейства и «под вечер вышли навстречу своему семейству, которое должно было возвращаться из дальней части города». При этом улицы идут как-то так бессмысленно, что вы ничего не понимаете и,

следуя советам г. Мандрыки, расходитесь с семьей и, чего доброго, встречаете на бульваре неприятное для отца семейства приключение.

— Вы — журавль (да, да — задача 40), устраивающий свое гнездо на болоте, покрытом травой и кустарником. Вы маленький червяк, ползающий по большому арбузу, — и в этих «житейских обстоятельствах» г. Мандрыка не оставляет вас своими советами.

Но вот вы прошли весь курс: в детстве кидали с чердаков яички и сбивали палками яблоки с деревьев, в более зрелом возрасте роняли самовары и обваривали гостей горячим супом. Разумеется, вас аттестуют дурно, и г. Мандрыка предвидит, что вы не кончите добром. И действительно, — вы арестант (увы! задача 100, последнего, III-го отдела!). У вас надеты на руках кандалы, и вам «надо переодеть (то есть переменить) рубаху». Положение ваше трудно, но г. Мандрыка не оставит вас в горе. Он вас научит, как снять рубаху, не скидая кандалов. Правда, он не может не чувствовать, что в значительной степени повинен в вашей печальной карьере, но все же...

добрый он, право, этот г. Мандрыка! Мы охотно готовы признать это, только... ах, г. Мандрыка: устраните наши мрачные подозрения. Скажите правду: вы не директор народных училищ? По вашему задачнику не учат и не учатся подчиненные вам несчастливцы?.. Ради бога, г-н Мандрыка!..

1897

А. Серафимович — Очерки и рассказы*

Книга 1. Изд. Б. Н. Звонарева. Спб. 1901.

Г-н Серафимович не новичок в литературе. Если не ошибаемся, уже около десяти лет назад появились в «Русских Ведомостях» его рассказы «На плотах» и «В тундре», в которых изображались картины нашего севера. Прекрасный язык, образный, сжатый и сильный, яркие, свежие описания и набросанные эскизно и бегло, но все-таки живые фигуры, — все это не прошло незамеченным для тех, кто читал эти очерки. К сожалению, после этого г-н Серафимович появлялся в литературе ред-

ко, и рассказы его, небольшие и отделенные друг от друга значительными промежутками времени, не суммировались в памяти широкой читающей публики. Теперь они выходят отдельным изданием.

В настоящем выпуске мы находим восемь рассказов. В первом из них («На плотах») полудикарь Кузьма гонит плоты вниз по небольшой северной речке. Перед читателем проходит ряд картин северной природы. «Тихо. Побелевшая ночь недвижно дремлет над водной ширью, над потопленными лесами... Белые туманы безжизненно висят над самой водой дымчатыми пятнами, отражаясь в зеркальной глади призрачными очертаниями...» Потом идут «берега высокие, речка легла в неширокое русло, вешние воды рвутся в узком месте. Плитка (плот) бежит, что карбас под парусами». Среди этих картин, набросанных сжато и красиво, одинокая фигура Кузьмы борется с сотнями многообразных опасностей. То мель, то подводный пень, то ветер, который грозит разметать плитку, а тогда — зимой голодная смерть... А то опять люди, чужие плоты на пути. Кузьма смотрит одинаково

во и на реку, и на коряги, и на людей. Рискуя надорваться, он стаскивает воротом плот, засевший на корягу, рискуя быть избитым до смерти, прорывается сквозь чужие плоты... Это еще человек внеобщественный, не имеющий понятия «о правах и обязанностях». Из «правления», где его судят, он спасается бегством, караван чужих плотов прорывает ударом, а перед бурей, где его физическая сила — нуль, просто напивается до потери сознания...

Несмотря на всю эскизность рисунка, в этой фигуре, оживляющей пустынные пейзажи г-на Серафимовича, — читатель с некоторой грустью чувствует непосредственную жизненную правду и — увы! — не только «местную» правду: в чертах этого наивного сына дикого севера чувствуется нечто более широкое — и близкое... В следующем очерке северный пейзаж занимает почти половину, но даже эта неумеренность списаний не утомляет читателя, так ярки эти картины своеобразной природы. Вторая половина рассказа изображает трагическое столкновение «закона» с дикой непосредственностью сына

тундры, самоедского богача, убившего старую жену «за ненадобностью», а отчасти даже из уважения к начальству, которое молодая новая жена сумеет принять и угостить лучше, чем слабая и глупая старуха. Без сомнения, нехорошо убивать жен и хорошо, что закон этого не допускает. Но... чувствуется все-таки, что, будь на месте лица, от имени которого ведется рассказ, другое начальство, более «милостивое» и более склонное к аргументации богатого Ламбея, — все кончилось бы благополучно, в полной гармонии с местными нравами. И опять проглядывает что-то стихийно-трагическое в этом маленьком уголовном эпизоде. На непосредственно дикую расправу дикаря, считающего себя даже правым, цивилизация отвечает тюрьмой, что для самоеда равно смертной казни. И цивилизация тоже и в еще большей степени права. Но разве не в этом сущность «трагического»? Следовательно, приехавший за Ламбеем, почти убегает на своих санях от чума, где все оплакивают трагически и неожиданно гибнущего хозяина... «Темный конус чума, курясь легким дымком, быстро отбегает к самому краю

равнины. Сначала он превращается в маленький игрушечный чум, потом в пятнышко, потом в точку и — исчезает на горизонте...»

Наше краткое изложение первых двух очерков г-на Серафимовича дает некоторое понятие об его манере. В остальных рассказах действие происходит уже не на севере, но в каждом присутствуют те же черты: живые и яркие описания и некоторая эскизность в обрисовке фигур. Это — как будто акварельные наброски, сделанные на ходу умелой и талантливой рукой наблюдателя, который едва ли сам и особенно тщательно выбирал предметы наблюдений, и уж во всяком случае не останавливался над ними подолгу.

Тут есть и фигура безногого моряка на фоне красивой «марины» («Прогулка»), и суровые картины зимней ловли азовских рыбаков («Мечь»), и картинки казачьего отряда на походе, и очень хорошее описание тяжелой работы рудокопов во тьме подземелий («Подземлей»)...

Отметка на обложке («Том 1-й») позволяет ждать продолжения.

Станислав Пшибышевский. — Homo sapiens*

Роман в 3-х частях

Перев. М. Н. Семенова. Обложка работы
Н. Феофилактова

Москва. Книгоиздательство «Скорпион»,
1904

Роман г-на Пшибышевского начинается со встречи двух приятелей Фалька и Микиты. Оба — сверхчеловеки; Микита немножко, Фальк окончательно. Фальк свержроманист, Микита — сверхживописец. Фальк пытается изобразить то, чего еще не было: «Не было страдания, которое выше страдания, не было наслаждения, которое переходит в страдание, не было целого ряда новых понятий» (стр. 8)... Не трудно видеть, что в этой формуле почтенного свержроманиста банальность смешалась с нелепостью. «Наслаждение, переходящее в страдание» — избитейшая и известнейшая вещь, отмеченная в учебниках физиологии, а страдание, которое выше страдания — напыщенная бессмыслица. Сверхживописец Мики-

та высказывает свое *credo*[74] не менее удачно. Он очень хвалит роман Фалька, но на вопрос автора: «Так тебе серьезно понравилось?» — описывает в воздухе широкий круг. «Ты приобрел новый жест», — говорит ему Фальк. А «приобрести новый жест» это оказывается очень важно.

«— Теперь, знаешь ли, уж нет никакой возможности выразаться словами. Все эти (какие?) тонкости, неуловимые оттенки могут быть переданы только жестами», — отвечает Микита. Казалось бы, это жестокое осуждение романа г-на Фалька: ведь не мог же он написать его жестами, а не словами, но Фальк соглашается с этим, а Микита развивает свою идею дальше:

«— Вот, например, большая линия, понимаешь ли, большой размах, движение, горячий подводный поток. Это лишь немногие понимают... Был я как-то у одного скульптора — ты увидишь у меня его работы — я ползал на коленях перед этим человеком. Говорю ему: это превосходно. Что такое? Объясняю. Ах, вот что вы думаете. Тут он описал в воздухе неизмеримо могучую линию. Этот понимал!».

Микита тоже понимает. «— Ну, теперь я им покажу, — говорит он. — О! моя голова трещит от всевозможных планов. Имей я тысячу рук, тысячу новых линий мог бы я тебе показать, — и тогда бы ты меня понял» (стр. 11). Недурной рецепт для популяризации художественных произведений. Публика хохотала над картинами Микиты, но это, вероятно, оттого, что она видела только картины, а не жесты... Что, если бы применить этот прием популяризации на некоторых выставках новейших художников: перед каждой картиной гениальный жестикулятор!.. Успех можно бы считать обеспеченным...

А пока книгоиздательство «Скорпион» пытается облегчить нам отчасти задачу понимания гениальных творений Микиты: на обложке оно помещает рисунок г-на Н. Феофилактова: в красной рамке картина пером; черные деревья, черная трава, на переднем плане по-детски нарисованная долговязая девица с невероятно длинными руками, а за ней унылая физиономия неизвестного брюнета. Еще какие-то две девицы идут, обнявшись, на заднем плане, а при внимательном взгляде

можно усмотреть и третью: она лежит в кустах, сложив ручки на животике. Общий фон черный, но дорожка в лесу окрашена суриком. Вероятно, есть символический смысл и в том, что суриком окрашены еще листья кустов и... волосы долговязой девицы. Это замечательное произведение г-на Н. Феофилактова особо оговорено на обложке книги и, кроме того, перепечатано в одном из номеров журнала «Весы». Из этого мы должны заключить, что это не простая пачкотня, а нечто «символизирующее». Не картина, а жест, намек на гениальные творения Микиты.

По какому-то недоразумению роман г-на Пшибышевского выдерживает у нас второе издание. Трудно представить себе произведение более вымученное, надуманное, претенциозное и безвкусное. Тот же скульптор, который описал в воздухе «неизмеримо могучую линию», сказал как-то Миките: «Смотрите: вот пять пальцев, которые можно видеть и осязать, — тут он растопырил пальцы, — но здесь, между пальцами, этого нельзя видеть, этого нельзя осязать, но тут-то и заключается самая суть» (стр. 11)... И так на протяжении

всей книги: герои делают вид, что они что-то глубокомысленно разглядывают между пальцами, что у них «десять миров проходят перед глазами» (стр. 13)... «Случалось тебе видеть крик неба? Нет? Так знай же, я видел, как небо кричало» (ib.)... «Я поднимался, поднимался, я вырос до неба, так что мог о солнце закурить папиросу»... Им нужен «мозг, в котором завязался узел, святой узел (!) всех восприятий; мозг, в котором линия становится тоном, великое событие — жестом» (27). Они не хотят знать «ни смешной логики, ни вашего сознания, ни атавистических полумер полового подбора (!)» (27).

А между тем, когда вся эта сверх-премудрость принимает сколько-нибудь осязательные формы, выходит простая банальность довольно-таки дурного вкуса. Микита уверен, что он написал уже «все человечество и еще нечто больше: то, что лежит за человеком» (46), но когда он излагает один из своих «гениальных» замыслов в сколько-нибудь осязательной форме, то выходит вот что: «в середине картины должна быть женщина обольстительная, заманчивая, а со всех сторон — сни-

зу, сверху — тянущиеся к ней тысячи рук. Тысячи рук *дико кричат*, с остервенением спорят о ней. Худые нервные руки художников, толстые, мясистые, с большими перстнями руки биржевиков, тысячи других рук — целая оргия жаждущих, алчных рук...» (95). Разумеется, необходимо, во-первых, чтобы руки «дико кричали», а во-вторых, чтобы у красавицы волосы были... ну, хоть сурикового цвета, как на картинке г-на Феофилактова, — чтобы придать этому банальному сюжету хоть черточку «оригинальности» и «новизны»...

То же несчастье преследует и Фалька. По словам автора, он пишет где-то замечательные вещи и говорит много «хороших остроумий», но на долю читателя достаются лишь напыщенные пустяки и плохие остроумия. Есть, например, сцена, в которой Фальк завоевывает сердце одной набожной дворянской девицы необыкновенною силой своей диалектики и своих изумительных познаний. Речь идет о прусской политике в польских провинциях. Фальк находит самым важным, что политика раздробления и продажи польско-дворянских имений немецким колонистам уничтожает

потребительскую силу страны. Колонисты, по его мнению, «ничего не потребляют, потому что все необходимое производят сами. Итак, кто же будет потреблять?..» (205). Автор предусмотрительно обставляет своего сверхмудреца такими сверх-глупцами, что ни один не находит возражения, в том числе редактор газеты. Между тем, вся эта победоносная речь есть только самая плохонькая передовица самой невежественной газетки. Думать, что замена одного разорившегося помещика целой сетью крестьянских дворов ослабляет потребительскую силу страны, могут только сверхэкономисты г-на Пшибышевского...

Столь же сокрушительно это нападение демона диалектики на папу и его энциклику. «-Так как я сам католик, — говорит он, — то мне очень больно, что церковная политика так некрасива... и под флагом веры, надежды, любви прикрывает слишком земные интересы...» Все присутствующие, — уверяет автор, — переглядывались. Они не знали, что на это сказать. Это было *неслыханно смело сказано* в присутствии церковнослужителя. Глаза всех обращались попеременно то на Фалька,

то на ксендза. «Ксендз был совершенно бледен» (207). Чтобы оценить эту «неслыханную смелость», нужно сказать, что разговор происходил не перед судилищем святой инквизиции, а за обеденным столом, в провинциальном обществе, преклоняющемся перед Фальком.

Этот эпизод характерен для всего произведения г-на Пшибышевского: и в глубокомыслие, и в оригинальность, и в смелость его героев, отрицающих «и логику, и сознание», приходится верить на слово самим героям и автору. Но когда все это является в натуре, то неслыханная смелость принимает комические размеры мелкой бестактности бывшего гимназиста, который «дерзит» своему недавнему законоучителю, а глубина мысли не превышает глубины чайного стакана.

«Да, это был замечательный человек, — говорит Фальк об одном из своих товарищей (стр. 233): — нам задали сочинение на тему: как чествуются герои после смерти? Знаете, что он написал? Что было бы наилучшей почестью для героя?»

Да, знаете ли вы в самом деле, читатель,

что написал этот «замечательный человек»? — «Он написал: наивысшей почестью для героя... было бы то, чтобы какой-нибудь пастух вырыл скелет этого героя, сделал дудку из пустых костей и на ней играл бы хвалу ему»... (стр. 233). Замечательно! И неужто это может казаться гениальным не одним гимназистам приблизительно третьего-четвертого классов?..

Однако — в чем же фабула романа? «Нет, нет, не избитая тема о весне, любви и женщине!.. Я требую великих, плодотворных идей, которые вызовут новый половой подбор» (25). Так восклицает Фальк, излагая свое художественное credo. Но автор — увы! — дает только историю нескольких адюльтеров своего героя. Фальк проявляет свое сверх-человечество, во-первых, тем, что отбивает невесту у злополучного Микиты, который по этой причине убивает себя. Фальк находит оправдание: ведь он настоящий сверх-человек, а Микита — так себе, неполный. Во-вторых, Иза и Фальк были предназначены друг другу от века. Когда они встретились в первый раз, Фальку показалось, что Иза окружена таин-

ственной пеленой, сквозь которую светятся ее глаза. «Словно проблеск могучего света пробивает себе путь сквозь тяжелый туман» (15).

Автор много раз возвращается к этой пелене. По-видимому, это психологическое открытие г-на Пшибышевского: если есть пелена, — значит любовь настоящая. И Фальк забывает свою дружбу к Миките, а г. Пшибышевский заполняет целые томительные страницы разными глубокомысленностями. «В течение какого-нибудь часа эта женщина огромною сетью корней опутала его душу... Все теснее и теснее сжимались петли этой сети, и он отчетливо чувствовал, как в душе его боролись два человека: один хладнокровно и ясно старался направлять его волю, другой неожиданно бросал в его мозг мысли, которые уничтожали сознательного человека»... «Ohe, les psychologues, — объясните мне это с помощью всех ваших психологических законов», — восклицает Фальк (или автор: их очень трудно различить вследствие нарочито сумбурного склада речи).

Такова вся эта «новая психология любви»,

повторяющая в уродливых формах старые банальности. «Не видел ее, ибо она была в нем» (54). «Не слышал музыки, музыка была в нем; вся вселенная звучала и ликовала в нем, визжала в страстном желании» (ib.)... «Склонялась к нему все ближе (речь идет о танце), головы их соприкасались, он чувствовал, как отдавалась ему, как опускалась в его сердце, в горячее ложе крови его сердца» (54).

Это, очевидно, новая «терминология любви!» «Когда вчера я вас увидел, я знал вас уже давно... сегодня я знаю вас уже сто лет» (60). «Я не знал, что такое судьба. Теперь я это знаю... вы, странный прообраз моей души, вы — идея, которую я видел уже когда-то раньше, в другом бытии, вы — вся тайна моего искусства» (66)...

Это — новая психология. Старенькое «сродство душ», еще «в другом бытии» предназначенных друг другу!.. От этой новизны несет наивной сентиментальностью наших бабушек, запахом пудры и истлевшими фижмами.

Кроме одной, *настоящей* любви с пеленой, почтенный сверх-человек позволяет себе

несколько ненастоящих. Он женится на Изе, но вторая часть романа застаёт его в самом настойчивом ухаживании за Марит, наивною девицею из хорошего дворянского семейства, воспитанной в монастыре. При виде ее Фальк, любящий только свою жену, «почувствовал в себе тихий шопот пола». В это время он, как говорят малороссы, уже изрядно «подтоптался», потому что и в период ухаживания за Изой чувствовал большую слабость к коньяку. Но бедная Марит принимает его похмелье за мировую скорбь, а его выходки против ксендза за демонизм и великий мятеж духа. Сверх-человек пользуется этим: он клянется в вечной любви и грозит, что сопьется и погубит свой великий талант, если Марит «не откажется от своих предрассудков». Когда она уступает обольщению, он грубо кидает ее, и она топится, а автор вместе с Фальком предаётся глубокомысленным психологическим соображениям: «Тут с самого начала действовало половое впечатление, дремавшее где-то в глубине бессознательного и проснувшееся только с появлением Марит» (69).

Вот что называется «объяснить» тайны и создать новый половой подбор! Кроме того, Фальк видел, как «из черной тучи брызнул красноватый сноп, распался на семь молний и убил голубку». Он и сам должен «распасться на тысячу молний, убить еще тысячу голубок, тысячу кроликов... потому что он — не он, а сверх-человек... потому что этого хотят его инстинкты» (247). И, действительно, в третьей части оказывается, что, кроме Изы и Марит, сверх-человек успел обзавестись еще Ольгой и Яниной.

Кажется, однако, что тысячи голубок он уже не убьет, хотя бы потому, что от коньяку, невоздержанности и предыдущих сверхчеловеческих подвигов он уже совершенно износился, и автор с какой-то наивной добросовестностью повествует об этом: уже на стр. 76 Фалька удаляют из кабака «за неприличное поведение». На стр. 89 он «ржал от хохота, качался на кушетке и вдруг конвульсивно зарыдал». На стр. 121 «его мозг начал вертеться вокруг самого себя и все быстрее и быстрее опускался, описывая круги, в бездонную пропасть пола» (!). На стр. 148 он «выпил всю бу-

тылку коньяку» и очень испугался лампы... На стр. 153 он пил очень много портера, «как вообще умеем пить только мы, европейцы» (!) и т. д., и т. д. Неудивительно, что под конец сверхчеловеческий организм совершенно расшатан; у Фалька дрожат руки, и без портера или коньяку он уже не может одерживать победы над голубками...

Что же это? — спросит читатель: — очевидно, сатира на всех этих сверх-человеков и их новые психологии любви? В том-то и дело, что не сатира и не объективное изображение, а что-то вроде апологии. Господин Пшибышевский относится к своим кривляющимся героям совершенно так, как относились в 40-х годах авторы плохих повестей к разочарованным «демонам» из гусар, побеждавшим уездных простушек. Правильное отношение к этим полупьяным и безвольным сверх-человекам — здоровый смех, водевиль, веселая комедия или полупрезрительная жалость. Но автор берет тон чисто трагический, с громом, молнией, «безднами пола»... Под конец романа являются еще неизвестно зачем анархисты, террористы, заговорщики, происходят

сцены самоубийств, и все вместе сливается в головокружительный кавардак, в котором теряются последние крупинцы здравого человеческого чувства и смысла...

В общем вся эта книга поистине не книга, а жест, только, если можно так выразиться, «жест лицом», в просторечии называемый гримасой. Гримасничают герои, гримасничает автор, гримасничает переводчик, для «оригинальности языка» переполнивший перевод невероятными германизмами и полонизмами, гримасничают издатели, снабдившие книгу «обложкой работы Н. Феофилактова»... И все-таки часть публики ищет еще чего-то в этом старом хламе, выдающем себя за новое искусство, и слушая психологические откровения вроде: «он сидит над собою и чем-то вроде сверх-мозга констатирует, что в его обыкновенном мозгу что-то (!) происходит» (229), — восклицает вместе с бедной, сбитой с толку Марит: «Эрик, ты дивный, великий человек».

Для литературы это, конечно, ничто: прошелестит и исчезнет; но все же это не лишено некоторого интереса, как иллюстрация

эпидемического извращения литературных вкусов, которое временами охватывает некоторые части мятущегося «культурного» общества.

1904

В.П. Буренин. — Театр*

Том первый. Спб. 1904

Нет сомнения, что автор этой книги — человек с литературным дарованием. Но что такое, собственно, литературное дарование? Это есть способность легко и свободно придавать литературную форму своим мыслям, чувствам и настроениям, независимо еще от их содержания. Случается очень часто, что люди с глубоким содержанием наделены этой способностью лишь в слабой степени, и тогда они мучительно ищут своей формы. И бывает наоборот; нередко собственно литературные способности даны судьбой людям с очень незначительным содержанием. Тогда форма ищет для себя содержания, по большей части, разумеется, чужого.

Господин Буренин чрезвычайно легко «владеет пером». Ему одинаково свободно даются и стихи, и проза, и в своих фельетонах, доставивших ему своеобразную известность, он мешает и то, и другое. Но если бы кто-нибудь задался целью отыскать в этой огромной (количественно) работе какую-нибудь руководящую нить, попытался бы определить, — за что собственно г. Буренин воюет в литературе в течение трех десятков лет, — то такой изыскатель оказался бы в чрезвычайном затруднении. В конце концов пришлось бы признать, что г. Буренин ратует всегда за... г. Буренина и самое большее еще — за газету, в которой работает г. Буренин и которая сама стоит лишь за себя, ставя паруса по воле господствующих ветров... В молодости г. Буренин исполнял свою задачу довольно весело, иной раз не без остроумия пересмеивая своих противников и отыскивая смешные стороны в самых разнообразных направлениях, тем легче, что все они были ему одинаково чужды. С течением времени он перешел к сплошным ругательствам, выделявшимся уже не остроумием, а беззастенчивой грубостью. На

расстоянии целых фельетонов он заменял прежний веселый шарж простым кривлянием, коверкая от чьего-нибудь имени русский язык и заставляя злополучных наборщиков набирать «шкажал» вместо «сказал», или «прифшкакивать» вместо «привскакивать». Повидимому, есть еще немало людей, которым это кажется забавным и остроумным. Несомненно, однако, что с литературной точки зрения это была элементарнейшая пошлость, совершенно недостойная уважающей себя печати... Вообще, если бы понадобилось охарактеризовать выдающуюся черту литературной деятельности г. Буренина, то пришлось бы сказать кратко: г. Буренин всю свою жизнь ругался. В молодости ругался порой не без остроумия, в старости — с какой-то угрюмою злобой, порой переходящей в неистовство...

Впрочем, мы не будем более останавливаться на этом предмете, во-первых, потому, что предмет этот в деталях довольно неопрятный, а во-вторых, еще и потому, что, собственно, разбираемая книга давала бы к этому лишь косвенный повод.

«Театр» г. Буренина представляет в его литературной работе некоторое приятное исключение. Здесь он является в совершенно приличном виде, как будто и ему самому опротивело, наконец, «шкаживать» и «прившкаживать», ругаться и производить литературные дебоши.

Однако, как известно, исключения только подтверждают правило: за содержанием своих приличных произведений г. Буренину так же приходится отправляться в люди, как и за содержанием своей «сатиры». Его сатира — шарж и пародия. Его «театр» — переводы и пересказы. Из шести пьес разбираемой книги, только одна принадлежит самому г. Буренину. Это — «Забава Путятишна». Содержание ее заимствовано из былин, причем г. Буренину принадлежит довольно ловкая сценическая компановка былинного сюжета, красивые стихи и разные изящные, на французский лад, разговоры былинных персонажей. Все это, разумеется, так же далеко от суровой поэзии былинного эпоса, как виньетка на конфетной коробке Эйнама далека от васнецовских богатырей. Почему-то при чтении

этой «Забавы Буренишны» нам представлялись все время не киевский двор, не Ставры, Добрыни и Ильи Муромцы, — а обстановка какого-нибудь домашнего аристократического спектакля. «Княжна Зизи была превосходной Забавой, а почтенный князь NN., с его величавой наружностью, дал образцового Илью Муромца. Молодой барон X. был превосходен в роли заезжего венецейского рыцаря, а милые Коко и Вово (из „Плодов просвещения“) не портили ролей Чурилы и Алеши Поповича».

Одна черта этой «комедии» г. Буренина привлекла наше внимание: в последних действиях на сцену выступают «кабацкие голи». Они вместе с Ильей совершают на сцене разные великие подвиги, и за это князь (Красное солнышко) сажает их вместе с венецейскими рыцарями и прочими благородными персонажами за свой «княженецкий стол». При этом голи, чтобы потешить князя, затягивают песню:

*Как у нас у голей-голюшки
Ничего нет, кроме волюшки.
Хор: Ой, жги, жги, говори!*

*Ничего нет, кроме волюшки.
Армяки на нас дырявые,
Да в нас, голях, души правые...*

И хор опять подтверждает: «Ой, жги, жги, говори! Да в вас, голях, души правые»...

Признаемся, при этом нам стало немного страшно за благополучное окончание аристократического спектакля. Ведь «голи», — думалось нам, — это «босяки» того времени. И тотчас же из-за г. Буренина, приличного сочинителя красивых стихов, в нашем воображении вырисовалась угрюмая физиономия «неприличного» Буренина, Буренина-критика с его, многим еще памятными, грубейшими ругательствами по адресу г. Горького за его голей-босяков, у которых, к великому гневу критика, тоже «ничего нет, кроме волюшки» и порой все-таки оказываются «души правые». Ну, да разумеется — это дело другое: г. Горький пишет то, что действительно думает о людях и о жизни, а ведь «голи» г. Буренина это только переодетые в известном «стиле» Вово и Коко.

Вообще, не следует только брать «в сурьез» разные мнения г. Буренина, — и все, право,

выходит очень мило. Кто, например, не помнит известной полемики, когда г. Буренин доказывал, что пора стихотворных переводов и даже самых стихов миновала и что даже чужие иностранные стихи лучше переводятся своей прозой. При этом покойный Надсон отстаивал противоположное мнение. Господин Буренин-критик ругался тогда так отвратительно, как никогда не ругался ранее. Можно было думать, что мнение о преимуществе прозаической передачи и негодности стихов и есть то «святая святых», для защиты которого г. Буренин выехал во всеоружии на литературную арену...

Но вот в «театре» г. Буренина мы находим стихотворную драму «Ожерелье Афродиты» с следующим примечанием: «Сюжет и некоторые сцены взяты из романа „Aphrodite“ P. Louys». Итак, г. Буренин, ставящий вне законов литературного приличия всякого, кто защищает перевод стихами иностранных стихов, — сам занимается переложением в стихи «сюжета и некоторых сцен» иностранного прозаического романа. Но и это противоречие разрешается довольно благополучно одним

соображением: охота же принимать серьезно те или другие «мнения» г. Буренина! Тогда нужно было обругать Надсона и других поэтов, и г. Буренин высказал одно мнение. А теперь собственная склонность к стихотворной форме ищет подходящего чужого содержания и находит его в прозаическом романе P. Louys'a. Все совершенно понятно и просто.

Кроме упомянутых уже пьес, в книге есть еще перевод «Потонувшего колокола», «Женщины с кинжалом» (Шнитцлера) и две «Старые комедии любви». Подзаголовок к этим последним пьесам гласит, что они взяты «из Victor Mistifiguerros el Rojo». Мы незнакомы с испанской литературой и, признаемся, подумали, что этот Виктор Мистифигерос легко может оказаться Виктором Бурениным или хоть Алексисом Жасминовым, и что, таким образом, здесь мы все-таки встретимся с оригинальным творчеством. Но тотчас же разочаровались: одна комедия («Мадонна Беатриче») опять заимствована из Боккаччио, а другая («Фьяметта») носит пометку: «Orlando furioso»[75], песнь XXVIII...

Таким образом, выходит, что г. Виктор Бу-

ренин заимствует на этот раз у Виктора Мистифигероса, заимствующего, в свою очередь, у Боккаччио и Ариоста. Впрочем, если бы этот Мистифигерос оказался действительно мистификацией, если бы даже у Боккаччио и Ариосто не оказалось ничего подобного, — то и тогда обе пьесы г. Буренина не могли бы считаться оригинальными: это опять переложение в хорошие стихи игривых анекдотов в испанско-итальянском стиле, за которые кому-нибудь другому ой как досталось бы от г. Буренина-критика; он ведь любит иной раз прикинуться блюстителем строжайшей нравственности...

Нам не хотелось бы раздражать г. Буренина этим правдивым отзывом. Не хотелось бы, во-первых, потому, что раздраженный г. Буренин представляет зрелище далеко не эстетическое, часто даже прямо оскорбительное для человеческого достоинства... А во-вторых, еще и потому, что «театр» г. Буренина нравится нам гораздо более, чем его «Мертвые ноги» и тому подобные «произведения». Поэтому не в укор, а лишь в некое назидание позволим себе привести еще одно соображение. В драме

«Ожерелье Афродиты» главная героиня Геро — гетера и *галилеянка*. И, к удивлению, г. Буренин не останавливается на этот раз перед тем, что характеру еврейки приданы автором (Louys'ом) черты значительной глубины и возвышенности. Она не верит ни в себя, ни в любовь художника Олимпия. Чтобы поверить — она заставляет Олимпия, рискуя жизнью, похитить ожерелье со статуи Афродиты. Когда он это сделал, она берет на себя его вину и умирает, счастливая и просветленная. В патетической сцене этой смерти она «склоняется на грудь к Олимпию и говорит постепенно замирающим голосом»:

*Мой возлюбленный, мой брат...
Ночь сошла... В покое
Дремлет мой зеленый сад,
И струится аромат
Нарда и алоэ...
Я цветами убрала
Одр благоуханный...
Я курильницы зажгла... и т. д.*

Нам хотелось бы, чтобы г. Буренин представил себе более или менее живо, что какой-нибудь «критик», обладающий беззастен-

чивым стилем и склонностью к передразниванию, вроде г. Алексиса Жасминова, — принимается «разделявать» это произведение ну хоть следующим образом:

*Мой важлюбленный, мой брат...
Ночь шашла... В пакое
Шпит уш мой железый шад...*

Бррр... Не правда ли, какая гадость?.. А между тем — ведь это прием, который должен быть хорошо знаком г. Буренину из собственной его многолетней практики.

Ну, так вот: можем пожелать г. Буренину, стихотворцу-переводчику, почаще и подольше разлучаться с г. Бурениным-критиком и с г. Алексисом Жасминовым и углубляться в тьму веков (к персонажам, с которыми он еще не успел рассориться), чтобы перелagать хотя бы чужие приличные сюжеты в свои хорошие стихи. «Театр» г. Буренина есть несомненно литература... К тому же хоть на время этих экскурсий в нижнем этаже «Нового времени» стало бы, пожалуй, несколько опрятнее...

1904

Георгий Чулков. — «Тайга»*

Драма. Издательство «Оры». С.-Петербург.
Д¹⁹⁰⁷

«Тайга»! Прежде всего, — что такое тайга? Читатель, даже не бывавший в Сибири, знает, что тайгою называют по местному лес, а так как в Сибири леса преимущественно лиственничные, то значит тайга есть сибирский лиственничный лес. Дело как будто просто, для г. Георгия Чулкова даже слишком просто. Поэтому, при «переоценке» ясных понятий с декадентской точки зрения, он считает нужным дать тайге свои собственные «новые определения». В его драме некто Юрий, недавний житель «тайги», спрашивает у доктора, живущего «в тайге» 13 лет: «Скажите, доктор, что собственно значит слово тайга? Этот густой лес, что раскинулся вокруг?» И доктор отвечает: — «Нет, тайгой называется и лес, и земля вместе». Юрий (полагаю, с недоумением): «И лес, и земля вместе?» Доктор: «Да; и лес, и земля, и притом в их священной пу-

СТЫННОСТИ».

Мало вразумительно и едва ли правильно, но кто докажет, что правильность и вразумительность — нужны для всяких определений? Ведь вот и слово металл дает понятие, как будто довольно ясное. Но в этом простом виде оно совсем не интересно. А скажите его особенным образом, да еще прибавьте к нему «жупел», — и замоскворецкие купчихи, по свидетельству Островского, — станут впадать в истерику. Это значит, что к простому понятию прибавлено «настроение», столь интенсивное, что для нервных замоскворецких дам оно становится даже нестерпимым... По-видимому, и тайга дает г. Чулкову «настроение» лишь тогда, когда она является не тем, что она есть в действительности, а только с прибавлением к ней «земли в священной пустынности» и разных небывалых жупелов. По счастливой случайности, это маловразумительное определение мы можем дополнить еще некоторыми чертами, заимствованными у того же автора. Одновременно с «драмой» г. Чулкова мы прочитали его поэтическое произведение, напечатанное в газете «Товарищ»

(№ 249) и озаглавленное «В тайге». Из него мы узнаем, что г. Чулков «сквозь чащу-дрему тайги вечерней с неверным сердцем бродил во сне»... Во время этой интересной прогулки по «таежному, нежному и страшному пути», «хранимый словом напевно-ярым», поэт сделал несколько открытий, даже, можно сказать, откровений, чрезвычайно интересных не только для географов, но и для исконных сибиряков, всю жизнь проводящих в тайге. А именно, он узнал, что

*...там в глубинах, забытых бо-
гом,
Где клет орлиный заглох в глу-
ши,
И зверь сердитый с могучим ро-
гом
Мох черный топчет в лесной ти-
ши...
...Там лебедь белый в седом ту-
мане
Поет о смерти, зовет, зовет,
И я несмело, во сне-обмане
Пою, как лебедь, зеркальность
вод...*

Если оставить в стороне самого поэта, ко-

торый, очевидно, составляет в тайге явление совершенно исключительное и случайное — вероятно, даже никогда небывалое, — то все же окажется, что в той тайге, которую «познал» г. Чулков в своем видении, водятся, во-первых, носороги, во-вторых, зимой на озерах сохраняется «зеркальность вод» и, в-третьих, на этой зеркальности поют лебеди...

В этой-то интересной тайге происходит некое таинственное «действие» между проживающими там людьми, столь же экзотического происхождения, как таежные носороги и лебеди. Это, во-первых, Юрий, личность без определенной физиономии, к которому приезжает невеста («сестра Любовь»). Она, конечно, не просто приезжает, а таинственно следует к жениху, и все чувствуют задолго ее приближение (точь-в-точь, как «Intruse» Метерлинка). Волосы у ней «темно-червонного» цвета. Ничем больше не замечательна. Впрочем, делает вид, что знает о «тайге» какой-то секрет. На вопрос, что именно, — отвечает: «Она стогрит на солнце вместе с землей». Должно быть читала популярные статейки по космографии и геологии. Затем — доктор. Он материалист,

играет на скрипке, причем во время игры держится в самом темном углу (точь-в-точь как «Некто в сером» у Леонида Андреева). Кроме того, он шаманит с якутами. Как мыслитель и врач занят вопросом: следует ли уничтожать лихорадку. Вывод — не следует: «сейчас лихорадка серая и скучная, ее нужно сделать золотой. Пусть она соперничает с солнцем» (стр. 33). Влюбчив. Когда к Юрию приезжает его невеста, — доктор сразу как будто слегка обалдевает и ни с того, ни с сего обращается к ней с заявлением: «Ваши волосы, как осенние листья. Или нет... нет! Как волокнистые червленые облака»... Женат на якутке Сулус, но готов, по-видимому, предпочесть ей «сестру Любовь», тем более, что Юрий, насколько можно догадываться по намекам автора, в свою очередь начинает безнадежно влюбляться... в «тайгу». В конце концов доктор застреливает свою жену-якутку, по причинам необъяснимым и таинственным. Положим, автор намекает как будто, что ему-то, г. Георгию Чулкову, причины сего преступления небезызвестны. Виновна, дескать, в подстрекательстве на женоубийство никто

иной, как... опять-таки «Тайга», которая к тому же «сама женщина, быть может, даже она единственная настоящая женщина» (стр. 20). Смутно намечается следующая уголовная гипотеза: «Тайга» влюбилась в доктора и потребовала убийства соперницы, очевидно, еще не зная, что почтенный эскулап заглядывается уже на «червленые волосы» сестры Любови и начинает проделывать перед ней разные декадентские штучки, вроде игры на скрипиче «в самом темном углу»...

Едва ли, однако, какой бы то ни было суд, даже военно-полевой, — придал бы значение этим изветам г. Георгия Чулкова. «Помилуйте, — сказал бы наверное защитник невинно обвиняемой Тайги, — разве можно верить наблюдениям господ декадентов вообще, а г. Георгия Чулкова в частности? Какой г. Чулков свидетель, — об этом вы можете судить хотя бы из газеты „Товарищ“, в коей он всенародно утверждает, будто, бывая в гостях у „единственной настоящей женщины“ Тайги, встречал у нее носорогов (или единорогов?) и лебедей „поющих на зеркальности вод“, притом еще зимою, когда воды, как известно, замер-

зают?! Вы скажете, что все эти несообразности он мог видеть во сне. Но тогда, господа судьи, — можно ли полагаться на слово человека, который не только видит ни с чем несообразные сны, но и оглашает их во всеобщее сведение посредством печати? Не очевидно ли вам, что г. Чулков никогда у г-жи Тайги не бывал и что его показания об ее причастности к этому делу так же облыжны, как показания о носорогах и лебедях. Ни в какого доктора она не влюблялась (да едва ли и существуют такие доктора), а значит — не было причины к подстрекательству на убийство почтенной докторши. И если есть здесь какое бы то ни было преступление, то разве — издевательство над здравым смыслом бедного читателя».

На странице 30-й «драмы» есть небольшой диалог, который представляется как бы символическим и характерным. Юрий спрашивает у своей невесты «сестры Любви»: «Ведь ты ехала одна?» Сестра Любовь отвечает: «Да, я и тайга». Выходит как будто, что и тайга г-на Георгия Чулкова тоже ехала... Еще черта для характеристики тайги.

Северные сборники*

Издательство «Шиповник». Кн. V. 1908 г.

В эту (пятую) книгу «Северных сборников» вошли произведения трех скандинавских авторов: Карла Ионаса Лове Альмквиста, Августа Стриндберга и Яльмара Сёдерберга, в переводе г. Ю. Балтрушайтиса. Господин Балтрушайтис — поэт декадентского толка. Впрочем, очень может статься, что мы и ошибаемся: в этой терминологии теперь разбираться очень трудно. Гораздо безопаснее сказать, что г. Балтрушайтис — модернист. Это тоже не вполне определено, но если прибавить антиреалист, то, кажется, это будет самая устойчивая точка на пересечении этих «зыблющихся линий», которые своей трудно уловимой сетью составляют туманное пятно модернистских «настроений».

Итак, посмотрим на сборник г. Балтрушайтиса (он весь заполнен его переводами) с этой точки зрения. Рассказу Карла Ионаса Лове Альмквиста переводчик предпосылает критический набросок, в котором говорится, между

прочим, что Альмквиста (родившегося в 1793 и умершего в 1861 году) гетеборгский профессор Сюльван, не колеблясь, называет гением, а соотечественница его, госпожа Эллен Кей — «самым современным поэтом Швеции». «Своим внутренним складом и общим духом своего мирозерцания, — прибавляет к этому переводчик уже от себя, — Альмквист на несколько десятков лет опередил свое время...» «Поражаешься современности его изысканных образов, буквальному совпадению отдельных выражений и целых страниц с тем, что теперь проповедывается, как самая последняя мудрость дня».

Итак, у нас есть случай на «старом поэте» постараться уловить, что же собственно составляет модернистскую мудрость последнего дня, отличающую ее от реализма, которая на старом фоне должна засверкать для нас тем яснее. Рассказ Альмквиста называется «Мельница в Шельпуре». Ведется он от лица какого-то знакомого автора, «молодого и веселого человека, крепкого и высокого роста», который совершил пешком путешествие по Упланду и Руслагену и оставил письменный

рассказ о своих впечатлениях. Начинается этот рассказ просто и живо. Рассказчик довольно красиво описывает природу, впечатления простора, свободы и молодости. На одной из дорог он встречает молодую крестьянскую девушку, спускающую тяжелый воз по крутому спуску. Он помогает ей, вступает в разговор и провожает ее до мельницы. От рассказа веет природой и подлинными впечатлениями. Фигура крестьянской девушки набросана красиво и бойко, как эскиз недурного живописца в дорожном альбоме. Если бы дальше последовал ночлег на мельнице с какой-нибудь характерной «бытовой» картиной, потом утро, прощание и дальнейший путь, мы имели бы нечто вроде эпизода из «Записок охотника», то есть нечто художественно реальное. Но что же тут, однако, было бы «совпадающего с последней мудростью» модернизма?

А вот погодите. Дело в том, что рассказчик не заканчивает так просто. Он не заходит на мельницу, а идет дальше. Но неведомая сила невольно влечет его опять к мельнице, и, в конце концов, повинувшись мистическому при-

тяжению, он приходит туда вечером. Входит. На мельнице темно. Слышны два голоса. Они звучат злодейством, и, действительно, оказывается, что это крестьянин Карлсон сговаривается с мельником погубить некоего невинного Матсона, а с ним и Бритту (встреченную рассказчиком девушку). Сама она спит теперь на мешках Матсона над самым колесом. Рассказчик в темноте пробирается туда и снимает спящую девушку с опасного места как раз во-время: Карлсон входит наверх и с адским хохотом толкает мешок под колесо. Бритта продолжает спать странным сном; рассказчик не может разбудить ее, но зато в бреду она рассказывает ему все тайные пружины злодейства Карлсона, который, оказывается, отравил родную сестру, а теперь хочет обвинить в ее смерти Матсона. Тут начинается уже нечто, как говорили в старину, «несодеянное»: рассказчик надевает на голову юбку Бритты, которая перешла к ней от отравленной хозяйки, становится на лестницу и произносит длинный монолог, разоблачая злодеяния Карлсона. Автор уверяет нас, будто, видя (в темноте!) юбку сестры, Карлсон принимает

«крепкого мужчину, высокого роста» за тень отравленной, и оба негодяя верят подлинности монолога. При этом некоторые разоблачения привидения ссорят злодеев, и они вступают в драку. На драку собирается народ. Бритта, значит, уже в безопасности. Рассказчик уходит.

Ах, если бы хоть здесь скандинавский «гений» закончил эту цепь лубочных ужасов. Но он не кончает. Он бредет над бурным потоком в лесу и видит, что на другой стороне потока злодей Карлсон влечет связанную Бритту и требует у нее, чтобы она или обещала дать нужные ему показания в суде, или приготовилась погибнуть мучительной смертью (он собирается распилить ее на лесопилке, как бревно). Рассказчик кидается на помощь, хочет перебежать через бурный поток по настилке лесопильной мельницы. Настилка рушится под его ногами. Треск, хаос падающих досок, и герой... вы думаете, падает в воду? Нет. По странной случайности (не любо, читатель, можете не слушать) он оказывается стоящим на единственном столбе посреди потока, как некая статуя на пьедестале. В это вре-

мя злодей уже привязал Бритту к бревну и пустил под пилу лесопилки, а сам, мечась за чем-то по мельнице, как угорелый, попадает в колесо и погибает. Положение: герой стоит на столбе посреди потока, пила уже задевает тело Бритты. Помощи ниоткуда. Но... недаром, по словам г. Балтрушайтиса, «Альмквиег тяготеет ко всему, в чем неисповедимым образом кроется роковая тайна»... На сей раз безвыходное положение разрешается некоей таинственной птицей. Она пролетает мимо, задевает за что-то крылом, роняет щепку в шестерню, — ужасная пила остановлена. А за сим и столпник прыгает благополучно со столба... Давно бы так...

Мы нарочно так подробно привели запутанное содержание рассказа, так как оно кажется нам характерным: в недурную, чисто «реальную» рамку вставляется совершенно аляповатый, ни с чем несообразный вымысел, лишенный воображения и вкуса, перед которым «приключения» эмаровоких романов — верх художественности и правдоподобия, и г. Балтрушайтис, сам модернист, — выдает нам это за «совпадение с самой послед-

ней мудростью дня». На здоровье, господа! Старый реализм охотно уступит вам эту замечательную мудрость.

Мы не знаем, действительно ли Альм-квист «гений» в остальных своих произведениях, но Август Стриндберг — писатель, нам давно известный, не гений, но человек несомненно талантливый. В сборнике есть два его рассказа («Высшая цель» и «Легенда о С.-Готтарде»), в которых побуждения людей доступны оценке здравого смысла и от которых веет и поэзией, и самой «реальной» правдой. Но Стриндберг, по некоему странному капризу, любит порой заигрывать с модернизмом, то есть пишет рассказы, к которым приложима обычная для модернизма критическая формула: «Смысла, конечно, нет. Но есть, знаете ли, *что-то*». Это «что-то» в рассказе «Соната призраков» может нормально настроенному человеку доставить несколько поистине веселых минут. Есть в этой сонате некий ужасно коварный «Старик», великий каналья и злодей. Он всех опутал своими сетями и уже собирается насладиться полным торжеством своих адских интриг, для чего собирает все

свои жертвы в одно место и начинает перед ними хвастать своей ловкостью. Но тут одна из жертв, сумасшедшая старуха, которая воображала себя попугаем и кричала «курр-ру», внезапно приобретает дар слова, произносит дрянному старикашке длинную и ядовитую отповедь и в заключение приказывает ему (уверяем вас, — мы не выдумываем) идти в гардеробный шкаф и там повеситься. Старикашка сконфузился до такой степени, что... покорно лезет в шкаф и вешается, к удовольствию, надо думать, всей почтенной компании, причем, из приличия или для «символа», старушенция-попугай велит лакею заставить дверь ширмою, «ширмой смерти». После этого раздаётся песня некоего студента, из коей читатель узнает, что «Благ, кто доброе свершает» и «Всем дается по деяниям». Как видите, «мудрость последнего дня» недалеко ушла от мудрости старых прописей.

Любителям веселого чтения можем порекомендовать и последнее действие «сонаты», где сначала студент и девица (фрекен) объясняются в любви и уверены в своем счастье, пока не является на сцену роковая кухарка, —

разумеется символ кухарки, которая «вываривает мясо, а нам дает одни волокна и воду, а бульон выпивает сама; когда же бывает жаркое, то она сперва вываривает сок, поедает соус и даже (о, ужас!) выпивает подливку!» Ее злодейства наводят на влюбленных такое уныние, что они начинают вспоминать другие несовершенства мира, и кончается это тем, что фрекен зовет Бенгтсона (лакея) и говорит: «Ширмы, скорее. Я умираю» (мы опять не выдумываем: без ширмы герои сонаты никак не решаются умереть). Лакей, понятно, — человек служащий... Он приносит ширмы, фрекен уходит умирать... После сего студент опять преподает «мудрость последнего дня» из старой прописи: «В том, что в жизни ты соделал в гневе, кайся без гордыни»... И подыгрывает на арфе...

Такова эта маленькая и, право, довольно веселая шалость талантливого скандинава. И почему бы нет, в самом деле? Если уж такой ловкий старикашка позволил себе «внушить», что ему необходимо повеситься в гардеробном шкафу, то неужели так трудно внушить читателю, что это не просто веселая ша-

лость, а «трагическая соната», в которой, за отсутствием простого смысла, есть таинственное и важное «что-то»...

Эти две вещицы — рассказ о чудесах в решете Альмквиста и соната Стриндберга — служат, повидимому, оправданием для г. Балтрушайтиса в глазах модернистских товарищей. Оправданием в том, что остальные рассказы, им переведенные, просто художественны и не расходятся с здравым смыслом. Особенно хороши небольшие рассказы Седерберга, действительно напоминающие простоту и задушевность нашего Чехова.

1908

Стереотипное в жизни русского писателя*

К некрологу гр. Е. А. Салиаса

Когда умирает русский писатель, какого бы калибра он ни был, то ему, как всякому подсудимому на суде, прежде всего, вероятно, предлагают на том свете вопрос: «Был ли в каторжных работах? На поселении в Сибири? Под судом? В тюрьме? Ссылался ли административно? Или, по меньшей мере, не состоял ли под надзором полиции, явным или тайным?»

И редкий из нашей братии может, положив руку на сердце, ответить: на каторге не бывал, под судом и следствием не находился, под явным и тайным надзором не состоял.

Такая уже преступная профессия. С первым лепетом российской публицистики началась и эта история: уже Новиков и Радищев открыли скорбный мартиролог. О Пушкине и Лермонтове известно. Даже Грибоедов, видный чиновник и российский «полномочный министр» при персидском дворе, не избежал

путешествия на фельдъегерских с Кавказа в Петербург. На память об этом путешествии он завещал нам характерное четырехстишие, которое покойный Каратыгин, его личный знакомый, напечатал в своих записках:

*По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово «раб».
Меня и взяли в главный штаб
И «притянули к Иисусу».[76]*

В «главный штаб» потому, что в те древние времена (1826 год) не было еще даже «корпуса жандармов», и «привлекаемые» по подозрению в ненависти к слову *раб* помещались в ордонанс-гаузе при главном штабе.

С этих пор система совершенствовалась, захватывала все шире, и теперь трудно сказать, найдется ли хоть один русский писатель, не заштемпелеванный хоть когда-нибудь, хоть однажды в своей жизни печатью «неблагонадежности»...

Недавно умер граф Е. А. Салиас-де-Турнемир, автор «Пугачевцев». Он был граф, аристократ, цензор, вообще человек «вполне благонадежный». Даже «Новое время» и «Россия» не нашли на его репутации пятна и упрека и

посвятили ему самые благосклонные некрологи.

И, однако, в жизни графа-писателя тоже был неблагонадежный эпизод, о котором, по видимому, забыли некрологисты. А между тем, он был оглашен самим Салиасом.

В «Историческом вестнике» (1898 года) были напечатаны воспоминания графа Е. А. Салиаса, в которых отмечена эта любопытная черта. В 1861 году происходили памятные студенческие волнения в Московском университете, и граф Салиас-де-Турнемир был избран в числе трех студентов отвезти в Петербург прошение на высочайшее имя. Прощение было вручено флигель-адъютанту, а на другой день граф явился за ответом к шефу жандармов, князю Долгорукову. Последний — человек уже пожилой и благосклонный — принял юношу очень милостиво и произнес при сем случае назидательную речь, суть которой заключалась в следующем: «Государю императору, как отцу своих подданных, крайне горько видеть, что молодежь, вместо того чтобы усердно заниматься науками, волнуется и занимается предметами, до ее образования не

касающимися. Вместе с тем все справедливые желания студентов Московского университета будут удовлетворены. Возвращайтесь тотчас же обратно в Москву и постарайтесь, чтобы волнения в Московском университете тотчас же стихли».

Граф с товарищами в Москву вернулся, волнения стихли. Но... с тех пор на имени юного студента поставлен штемпель: «неблагонадежный», и он попал под негласный надзор полиции.

Те времена были много благодущеe наших. Теперь этот роковой штемпель лишает заклеимленного огня и воды, преграждает ему доступ на всякую казенную службу, заставляет господ губернаторов «не утверждать» кандидата на службу земскую, а иной раз даже гонит с частной, оставляя торную дорогу только в эмиграцию или в нелегальные. Тогда служебная карьера от тайных аттестаций не прерывалась. Пушкин, как известно, был сослан «в чиновники» в Новороссийский край, Герцен — в Вятку, Салтыков был в Вятке же советником казенной палаты и т. д.

Служебная карьера графа Салиаса шла то-

же довольно успешно. Он стал чиновником по особым поручениям при тамбовском губернаторе, потом «по личному желанию гр. Д. А. Толстого» сделался редактором «С.-Петербургских ведомостей». Нужно заметить, что это «особое поручение» требовало нарочитого доверия, так как это редакторство «по назначению» совпало с отнятием аренды «Петербургских ведомостей» у либеральной редакции Корша и Суворина. Граф Салиас это доверие оправдал, был затем принят в российское подданство с высочайшего соизволения и затем одним почерком пера (как выразился министр Тимашев), не имея чина, получил сразу чин надворного советника. Затем граф был членом комитета цензуры иностранной в Петербурге и, наконец, управляющим конторы императорских театров, в каковом качестве представлялся государю.

Но вот однажды ему случилось отправиться в провинцию, где губернатором был его приятель. Граф по приезде в город остановился у этого губернатора. Однажды последнему принесли секретную бумагу. В ней губернатору, как домохозяину, предлагалась некая сек-

ретная анкета, относившаяся к его гостю, как состоящему под тайным надзором полиции!

Это было, по словам графа Салиаса, девятнадцать лет спустя после того, как юный студент Московского университета выслушал благосклонные назидания шефа жандармов, добродушного князя Долгорукова! Все это время за графом при всех его передвижениях следовала, как тень, репутация «неблагонадежности», и полиция озабоченно отмечала его приезды и отъезды, причем, конечно, росло соответствующим образом и «дело» об этом опасном человеке в сыскных учреждениях.

Впрочем, девятнадцать лет — это еще не очень много. Пушкин был менее счастлив и числился неблагонадежным чуть не полвека спустя после своей смерти. Заслуга освобождения великой тени от негласного надзора полиции принадлежит, по словам генерала П. Панкратова[77], шефу жандармов, известному генералу Мезенцеву. Назначенный шефом, Мезенцев потребовал к себе списки поднадзорных, в числе которых продолжал значиться «титулярный советник Александр Сер-

геевич Пушкин». Мезенцев тотчас же, конечно, распорядился очистить списки неблагонадежных лиц от умерших литераторов, чтобы в них осталось более простора живым.

1909

Старец Федор Кузьмич*

О старце Федоре Кузьмиче, герое повести Л. Н. Толстого, в исторических журналах существует целая, небольшая, правда, литература, а в последние годы личность таинственного отшельника стала предметом очень обстоятельного исследования. Было бы удивительно, если бы эта загадочная фигура не привлекла художественного внимания Л. Н. Толстого, до такой степени она заманчива и колоритна именно в толстовском духе: как бы ни выяснилась в дальнейшем действительная личность, скрывшая свое происхождение под кличкой Федора Кузьмича, — но и теперь уже несомненно, что под этим скромным именем в далекой Сибири угасла жизнь, начавшаяся среди блеска на высотах общественного строя. Итак — отречение и добро-

вольный уход, — таково содержание этой загадочной драмы.

Вот в самых общих чертах то, что известно о Федоре Кузьмиче.

Осенью 1836 года к одной из кузниц около города Красноуфимска, Пермской губернии, подъехал верхом неизвестный человек, в простом крестьянском кафтане, и попросил подковать ему лошадь. Много, без сомнения, всякого звания людей проезжало по Красноуфимскому тракту, и многие из них подковывали своих лошадей, свободно отвечая на обычные вопросы любопытных кузнецов. Но в фигуре незнакомца было, по-видимому, что-то особенное, обращавшее внимание, а обычные «придорожные» разговоры он поддерживал, может быть, неумело и уклончиво. Может быть, также, что и одежда была для него не совсем привычна, и в окружающей обстановке он ориентировался плохо. Как бы то ни было, — разговор с кузнецами закончился тем, что неизвестного задержали и, по русской традиции, представили для разрешения недоумений «по начальству»...

На допросе он назвался крестьянином Фе-

дором Кузьмичем, но на дальнейшие вопросы отвечать отказался и объявил себя бродягой, не помнящим родства. Последовал, конечно, суд за бродяжество и, «на основании существующих узаконений», приговор: двадцать ударов плетей и ссылка в каторжные работы. Несмотря на многократные убеждения местных властей, относившихся с невольной симпатией к незнакомцу, в манерах которого чувствовалось, по-видимому, какое-то превосходство, — он стоял на своем, принял свои двадцать ударов, и 26 марта 1837 г. не помнящий родства бродяга Федор Кузьмич прибыл с арестантской партией в дер. Зерцалы, Боготольской волости, близ гор. Ачинска[78]. Таким образом неизвестный, появившийся нивесть откуда и не сумевший удовлетворить любопытство красноуфимских кузнецов, смешался с бесправной массой арестантов и каторжников. Здесь, однако, он опять сразу выделился на тусклом фоне преступников, страдающих и угнетенных.

Наружность этого человека все, знавшие его, согласно описывают следующими чертами: рост выше среднего (около 2 арш. 9-ти

вершков), плечи широкие, высокая грудь, глаза голубые, ласковые, лицо чистое и замечательно белое; вообще черты чрезвычайно правильные и симпатичные. Характер добрый и мягкий, по временам, однако, проявлял легкие признаки привычно сдерживаемой вспыльчивости. Одевался более чем скромно: в грубую холщевую рубаху, подпоясанную веревочкой, и такие же порты. На ногах коты и шерстяные чулки. Все это очень чистое. Вообще старец был чрезвычайно опрятен.

Первые пять лет «бродяга» Федор Кузьмич прожил на казенном Красноречинском винокуренном заводе, в пятнадцати верстах от дер. Зерцал. На принудительные работы его, впрочем, не употребляли: и начальство, и служащие завода относились к благообразному старцу с особой внимательностью. Поселился он сначала у пригласившего его в свой дом отбывшего срок каторги Ивана Иванова. Но потом, заметив, что старик тяготится совместной жизнью в избе, Иван убедил односельцев построить для Кузьмича отдельную келью, в которой он и прожил одиннадцать лет. Пробовал старец и тяжелой работы: на-

нялся на золотые прииски, но скоро бросил. Жил после этого на пасеках, в лесных кельях, учил по деревням ребят. И всюду к нему влеклись простые сердца; Кузьмичу несли свои грехи и скорби, печали и недуги, простую веру и несложные вопросы. «Наставления его всегда были серьезны, немногоречивы, разумны, часто метили на сокровенные тайны сердца», — так говорит лично его знавший и писавший о нем «епископ Петр».

Вскоре простая и богобоязненная среда почувствовала потребность снять с Кузьмича все житейские заботы, и его наперерыв звали к себе на жительство разные люди. Так жил он еще на пасеке у богатого крестьянина Латышева в Красноречинской станице, уходил в леса, в глухую деревню Карабейникову, «для большего уединения», но затем опять вернулся в Красноречинск... В 1852 году томский купец Семен Феофанович Хромов, проезжая теми местами по торговым делам, познакомился с Кузьмичем и стал заезжать к нему для беседы. Впоследствии Хромов уговорил его переехать на жительство сначала на свою заимку под Томском, а потом построил ему

келью в своем городском саду. Здесь загадочный старец прожил до своей смерти, окруженный в семье хозяина настоящим культом. Даже среди прозаических и скудно наделенных воображением сибиряков, — культ этот распространился довольно широко. Отшельника посещали простецы-крестьяне, купцы, чиновники, представители духовенства. Упомянутый выше епископ Петр написал о нем, на основании личного знакомства, воспоминания, проникнутые простодушной уверенностью в святости Кузьмича; он приводит случаи его сверхъестественной прозорливости и даже прямо чудес. Впоследствии его высокопревосходительство Константин Петрович Победоносцев, во избежание соблазна, строгими циркулярами воспретил считать бывшего арестанта за святого, но, конечно, достиг лишь того, что благоговейные толки с печатью официального запрета — распространялись еще шире. Другой епископ, посетивший старца во время его болезни, вышел из его кельи, объятый недоумением и сомнениями, находя, что «старец едва ли не в прелести». До такой степени речи его были

невместимы скромному званию.

20 января 1864 года старец умер в своей келье, после короткой болезни, не приобщаясь св. тайн, оставив после себя загадку и легенду...

Легенда эта встретилась с другой. За 39 лет до этого, в далеком окраинном Таганроге, умер император Александр I, неожиданно и при обстоятельствах, поразивших народное воображение. Некий дворовый человек Федор Федоров собрал и записал ходившие в его время «московские новости или новые правдивые я ложные слухи, которые после виднее означутся, которые правдивые, а которые лживые»...[79] Слухов оказалось 51, и в том числе были такие: «Слух 9-й: государь жив. Его продали в иностранную неволю. 10-й слух: государь жив, уехал на легкой шлюпке в море... 37-й слух: сам государь будет встречать свое тело, и на 30-й версте будет церемония Им самим устроена, а везут его адъютанта, изрубленного вместо него...» 32-й слух гласит, что однажды, когда государь в Таганроге приехал в строившийся для Елизаветы Алексеевны дворец, — караульный солдат преду-

предил его: «„Не извольте входить на оное крыльцо. Вас там убьют из пистолета“. Государь сказал: — „Хочешь ли ты, солдат, за меня умереть? Ты будешь похоронен, как меня должно, и род твой будет награжден“. То солдат на оное согласился» и т. д.

Кроме этих слухов, простодушно зарегистрированных дворовым грамотеем, ходило, наверное, и еще много других в том же роде. И из всех этих фантазий складывалась легенда: царь Александр I, вступивший на престол после насильственной смерти отца, избегнув сам той же участи, отрекается от короны, от земного величия и идет, в самом низком звании, замаливать грехи могущества и власти...

Что же стало с ним дальше?

Вот он, спустя 39 лет после отречения, завершает подвижническую жизнь в убогой келье под Томском.

Так стройно и цельно воплотилась обычная мечта русского народа, находившая такие родственные отклики в душе великого русского писателя. В одном образе она соединила могущественнейшего из царей и самого бесправного из его бесправных подданных. Ле-

генда держалась, крепла, разносилась по широкой Сибири, повторялась в дальних монастырях, записывалась «епископами Петрами» и сельскими священниками, попадала в печать и, наконец, проникла, в виде сдержанных, но многозначительных предположений, на страницы солидного исторического труда В. К. Шильдера. «Если бы, — пишет этот историк (в IV заключительном томе своей истории Александра I), — фантастические догадки и народные предания могли быть основаны на положительных данных и перенесены на реальную почву, то установленная этим путем действительность оставила бы за собой самые смелые поэтические вымыслы... В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр Павлович, этот „сфинкс, не разгаданный до гроба“, без сомнения, представился бы самым трагическим лицом русской истории, и его тернистый жизненный путь устлали бы небывалым загробным апофеозом, осененным лучами святости».

Это еще очень сдержанно и по-ученому осторожно. Шильдер допускает только: «если

бы это оправдалось»... Но вел. князь Николай Михайлович в своем исследовании[80] говорит, что Шильдер в разговорах с ним и другими лицами высказывался гораздо определеннее. Историограф русских царей разделял простодушную уверенность хозяина сибирской заимки и доказывал правнуку Александра I, что его прадед, «освободитель Европы», провел вторую половину своей жизни, питаясь милостыней в убогой келье далекой ссыльной стороны, что его вели с бубновым тузом по Владимирке и что царственную спину полосовала плеть палача...

Правда ли это? возможно ли, что в лице Федора Кузьмича жил и умер Александр I?

Вопрос, казалось бы, странный, но ведь его допускал компетентный историк двух царствований... Исследование вел. князя Николая Михайловича, использовавшего все доступные донныне источники, разрушает эту сказку. Смерть Александра I в Таганроге не могла быть симуляцией, Александр не встречал «на тридцатой версте» собственного тела, и в царской усыпальнице в Петропавловском соборе покоится прах не солдата и не адъ-

ютанта, а подлинного царя[81].

Кто же в таком случае был таинственный отшельник Хромовской заимки?

Автор скептического исследования, разрушившего легенду о его тождестве с Александром I, не отрицает, однако, возможности «высокого» происхождения странного незнакомца. Отвергая положительные утверждения Хромова, который являлся с ними даже ко двору, великий князь Николай Михайлович сообщает все-таки факты выразительные и наводящие на размышление. Г. Дашков, помогавший автору в собирании материалов к биографии Федора Кузьмича, на местах, записал рассказы дочери Хромова, Анны Семеновны Оловянной, которые считает вполне достоверными. Так, однажды летом, в чудный солнечный день, Анна Семеновна и ее мать, подъехав к заимке Федора Кузьмича, увидели старца, гулявшего по полю по-военному, руки назад и марширующим. Поздоровавшись с приехавшими, старец сказал: «...Был такой же прекрасный день, когда я *отстал от общества...* Где был, и кто был... а очутился у вас на полянке...»

В другой раз, еще в селе Коробейникове до переезда к Хромовым, та же Анна Семеновна, приехав к Кузьмичу с отцом, застала у старца необычных гостей: он провожал из своей кельи молодую барыню и молодого офицера в гусарской форме, высокого роста, очень красивого. Он показался Хромовым «похожим на покойного наследника Николая Александровича»... Пока они не исчезли друг у друга из виду, они все время друг другу кланялись. Проводивши гостей, Федор Кузьмич вернулся сияющий и сказал Хромову: «Деды-то как меня знали, отцы-то как меня знали, а внуки и правнуки вот каким видят».

Итак, за всеми ограничениями хромовской легенды, автор исследования признает, что в сибирской тайге под видом смиренного отшельника жил и умер человек, повидимому, добровольно спустившийся в среду отверженных ссыльных с каких-то значительных высот общественного строя... Под сонный шопот тайги с ним умирала неразгаданная тайна бурной и блестящей жизни. Только порой, как в описанный дочьерью Хромова «яркий солнечный день», в смирившемся и медленно

угасавшем воображении вспыхивали вдруг картины прошлого, расправляя старые члены и заставляя быстрее обращаться холодеющую кровь... Какие образы населяли для него тихую поляну, какие звуки слышались в таежном шорохе, когда смиренный отшельник принимался маршировать с выпяченной грудью и выделывая старыми ногами затейливые артикулы павловских парадов?..

Вел. князь Николай Михайлович, разыскивая на тогдашних аристократических высотах возможного будущего Федора Кузьмича, тоже идет в своих гипотезах довольно далеко. Он допускает (отдаленную, правда) возможность принадлежности таинственного отшельника к царской крови. По его словам, у Павла Петровича, когда он был еще великим князем, была связь с вдовой князя Чарторижского, урожденной Ушаковой. От этой связи родился сын, названный Семеном, по крестному отцу Афанасьевичем. Фамилию ему присвоили Великого. Семен Великий воспитывался в кадетском корпусе и впоследствии служил во флоте. О нем известно очень мало, и смерть его связана с неопределенными и

противоречивыми указаниями. По одним источникам — он умер в 1798 году, служа на английском корабле «Вангард» в Вест-Индии, где-то на Антильских островах. По другим сведениям, он утонул в Кронштадте...

По матери, урожденной Ушаковой, Семен Великий был в свойстве с графом Дмитрием Ерофеевичем Остен-Сакеном, который был женат тоже на Ушаковой. Наследники этого Остен-Сакена утверждают, что покойный граф вел переписку со старцем Федором Кузьмичем и что самые имена Федор и Кузьма были почему-то очень часты в семье Ушаковых; встречались также в семейной генеалогии и Федоры Кузьмичи...

Этими, очень пока неясными намеками ограничиваются те положительные данные, которые удалось установить относительно таинственного старца, привлекшего внимание Л. Н. Толстого. Когда вел. князь Николай Михайлович прислал Толстому оттиск своего исследования, Лев Николаевич ответил ему следующим чрезвычайно интересным письмом:

«Очень вам благодарен, любезный Николай Михайлович, за книги и милое

письмо. По теперешним временам мне особенно приятна ваша память обо мне.

Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузьмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. — Я начал было писать на эту тему, но едва ли не только кончу, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалею. Прелестный образ. Жена благодарит за память и просит передать привет.

Любящий вас Лев Толстой.

2 сентября 1907 г.»

Итак, даже после вскрытия чисто исторической неверности гипотезы, которая легла в основание «Записок Федора Кузьмича», — великий художник считал самый образ прелестным и внутренне правдивым. И действительно, кто бы ни скрывался под именем отшельника Федора, — император Александр или незаконный сын Павла, разметавший бурную жизнь по океанам и ушедший от мира в глушь сибирских лесов... может быть,

еще кто-нибудь третий, — во всяком случае, драма этой жизни глубоко родственна основным, самым глубоким и интимным стремлениям собственной души великого писателя...

Процесс редактора «Русского богатства»*

В начале 1912 года в «Русское богатство» были присланы в рукописи «Записки Федора Кузьмича» Л. Н. Толстого. А. М. Хирьяков, один из редакторов-распорядителей посмертных изданий великого писателя, предупредил редакцию журнала, что этот рассказ был уже на рассмотрении «цензуры» и что его «не посоветовали» вводить в посмертное издание. Иными словами: рассказ не пропущен предварительной цензурой, которая, как известно, в России уничтожена.

Мы понимаем побуждения издателей посмертных произведений гениального русского писателя; они имели в виду обеспечить издание, имевшее, как известно, филантропические цели, от конфискации. Нам, однако, вопрос этот представлялся в другом виде: мы всегда держались взгляда, что русские писа-

тели и русские журналы не в праве, среди хаоса теперешних цензурных взглядов и порядков, слагать с себя трудную и ответственную задачу — отстаивать на свой страх и риск ту меру свободы слова, которая определяется пределами, — неясными, правда, и спорными, — но все же пределами закона. И вот почему, когда нам принесли «Записки Федора Кузьмича» с предупреждением, что «полуофициально» они уже «запрещены цензурой», редакция «Русского богатства» не сочла себя в праве считаться с этим партикулярным актом несуществующей цензурной инстанции и стала рассматривать произведение Л. Н. Толстого исключительно с *точки зрения существующих законов*. Редакция знала, конечно, что раз уже цензура определила степень «незаконности» рассказа с своей точки зрения, то журнал подвергается риску: книжка может быть задержана, а редактор рискует судом. При этом мы не могли рассчитывать даже на то, что русский читатель именно от нас получит произведение Толстого. Мы должны были предвидеть, что издатели накинутся на «Записки» и выпустят их раньше,

чем книжка «Русского богатства» прорвется через цензурные и судебные преграды... Вообще, нам предстояла неблагоприятная роль библейского хлебодара из сна Иосифа. Как известно, этот злополучный придворный сановник видел во сне, будто он несет на голове корзину с хлебами. Птицы небесные расклевали хлеба, а сам хлебодар был вдобавок казнен.

Все это так и случилось: цензура официально поддержала свое партикулярно высказанное мнение. Февральская книжка с рассказом Толстого была задержана. Судебная палата утвердила арест и разрешила выпустить книгу лишь по исключении восемнадцати строк, начинающихся словами: «Кто не имел несчастья родиться в царской семье...» Началась длинная процедура: иные почтовые чиновники вырезали шестнадцать строк, другие всю страницу, третьи всю статью. Кое-где не выдавалась вся книга. Но уже из этого стало очевидно, что партикулярные «советы» цензуры были (что естественно) гораздо суровее судебной репрессии. Оказалось, что рассказ Толстого может все-таки появиться с ис-

ключением отдельных мест, и мелкие издатели, зорко следившие за опытом «Русского богатства», не выждав даже заключительного акта судебной борьбы, выпустили рассказ с этими купюрами.

Такова история появления в России одного из замечательных посмертных произведений Толстого, в которое он вложил, кроме художественных, еще и интимные откровения собственной души. Цензура встретила его конфискацией и запрещением. Судебная палата утвердила эту репрессию, и редактор «Русского богатства» был предан суду по обвинению в «дерзостном неуважении к верховной власти».

Двадцать седьмого ноября 1912 года судебная палата с сословными представителями вынесла подсудимому оправдательный приговор, постановив снять арест с февральской книжки «Русского богатства». Этот приговор имеет двойное значение: он ломает цензурную печать, наложенную на одно из значительных произведений русского гения. Это во-первых. И, во-вторых, закрепляет еще раз, в результате судебной борьбы, за русской ис-

торической и художественной литературой новую область, отведенную законом, но еще упорно оспариваемую цензурой и отчасти судебной практикой.

Ввиду этого журнал счел нужным дать читателям отчет об этом судебном заседании.

По обвинительному акту дело представляется в следующем виде:

«Определением С.-Петербургской судебной палаты от 20-го марта 1912 г. был утвержден наложенный С.-Петербургским комитетом по делам печати на № 2-й издаваемого дворянином Владимиром Короленко журнала «Русское богатство» за 1912 г. арест, причем против самого Короленко было затем возбуждено уголовное преследование по признакам преступления, предусмотренного 128 ст. Угол. Уложения.

Из дела усматривается, что основанием к наложению ареста на упомянутый № журнала и к возбуждению против Короленко уголовного преследования послужила имеющаяся в означенном номере статья Льва Толстого под заглавием «Посмертные записки старца

Федора Кузьмича, умершего 20 января 1864 г. в Сибири, близ гор. Томска, на заимке купца Хромова», в коей Толстой воспользовался создавшейся легендой о тождестве старца Федора Кузьмича с личностью императора Александра Благословенного; в означенной статье, приводя в виде дневника старца Федора Кузьмича личные размышления и впечатления императора Александра I по поводу его жизни и причин, побудивших его оставить трон, Толстой, между прочим, приписал государю следующие выражения: «Я один со своими преступными воспоминаниями...» «Бог оглянулся на меня, и вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец, открылась мне во всем своем ужасе. И бог помог мне избавиться не от зла, — я еще полон его, хотя и борюсь с ним, — но от участия в нем...» «В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил эти последние 24 года. Я — величайший преступник. Я всегда желал и желаю. Желал прежде победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны...» «Я чувствую это теперь, осво-

бодившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с богом, скрывало от меня бога...» Таким образом, по мысли автора, отречение от верховной власти являлось спасением от преступления, от греха, от единения с богом. Придерживаясь такого взгляда, автор видит несчастье уже в самой принадлежности к царской семье, в рождении в ней и выражает эту мысль буквально следующими словами: «Людам, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того, естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но вознаграждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учти-

вого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это — только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительно было свое величие».

На вышеуказанной статье поставлена дата 1905 г., и внизу ее напечатано: «перепечатка разрешается». Из сообщений старшего инспектора типографий в г. С.-Петербурге на имя судебного следователя усматривается, что февральская книжка журнала «Русское богатство» была отпечатана в 17 000 экземпляров, из коих конфисковано лишь 279 экземпляров, а остальные разошлись.

При допросе в качестве обвиняемого Короленко виновным себя не признал и объяснил, что в инкриминируемой ему статье в художественной форме изображен созданный Толстым облик царя, отрекшегося от престола и рассказывающего о происшедшем с ним душевном перевороте.

На основании вышеизложенного дворянин Владимир Галактионов Короленко, 58 лет, обвиняется в том, что, состоя редактором-издателем журнала «Русское богатство»,

в № 2 этого журнала от 5 февраля 1912 г. с намерением, с целью оказания дерзостного неуважения верховной власти и порицания установленного Законами Основными образа правления, напечатал произведение Льва Толстого, озаглавленное «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» и написанное им, Толстым, в 1905 году, причем в указанном произведении автор, воспользовавшись создавшейся легендой о тождестве старца Федора Кузьмича с личностью императора Александра Благословенного, высказывает устами Федора Кузьмича общую мысль о безумии, преступности и греховности верховной власти, которой облечены русские государи, подтверждая эту мысль рассуждениями Федора Кузьмича (он же император Александр Благословенный) по поводу его личной жизни и, между прочим, от имени якобы Федора Кузьмича, умершего 20 января 1864 года, а на самом деле гораздо позднее, в 1905 году, в момент написания произведения, то есть от себя лично выражается: «Людям, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе ту извращенность

взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я...» и т. д. (Следует приведенная уже выше цитата, которую мы не повторяем. — *Ред.*)

Означенное преступление предусмотрено 128 ст. Угол. улож.

Вследствие этого и на основании 2 п. 1032 Уст. угол. судопр., названный Короленко подлежит суду С.-Петербургской судебной палаты с участием сословных представителей.»

Заседание судебной палаты 27 ноября происходило под председательством старшего председателя сенатора Н. С. Крашенинникова.

Обвинял тов. прокурора г. Сергеев. Защищал подсудимого Короленко присяжный поверенный О. О. Грузенберг.

На вопрос о виновности В. Г. Короленко ответил отрицательно. Факт распространения февральской книжки журнала со статьей Л. Н. Толстого признал.

Судебное следствие ограничилось просьбой защитника приобщить к делу недавно вышедший труд великого князя Николая Ми-

хайловича об императоре Александре I и просьбой подсудимого о разрешении ссылаться на номер 213 газеты «Русские ведомости» со статьей проф. Кизеветтера, а также на брошюру госпожи Т. Богданович «Александр I».

Затем начались прения сторон.

Обвинитель, товарищ прокурора г. Сергеев, начал с заявления, что из формулы «дерзостное неуважение к верховной власти» он готов в данном случае исключить эпитет «дерзостное» и будет говорить только о неуважении. Этим, однако, не исключается состав преступления: по сенатскому разъяснению, всякое неуважение должно считаться дерзновенным, независимо от формы, раз оно направлено к верховной власти. Форма может лишь усилить степень преступности.

Затем обвинитель шаг за шагом развивает положения обвинительного акта. Касаясь прежде всего личности, от имени которой ведется рассказ, находит неудачным самый прием Толстого: старец Федор Кузьмич, с точки зрения закона, представляется бродягой; с общечеловеческой точки зрения — это мол-

чальник, ушедший в себя, отрекшийся от прошлого. Таким людям менее всего свойственно писать воспоминания и записки. Старец, разумеется, и не оставил никаких записок. То, что напечатано в «Русском богатстве» от его имени, писано другим старцем Л. Н. Толстым, и не в 1864 году, а гораздо позже, в 1905 году. «Записки» представляют поэтому не художественное изображение отшельника, а взгляд самого Толстого, как известно, отрицавшего государственность. Это именно он судит Александра I с своей точки зрения. Это произведение не художника, дающего собирательное лицо, а моралиста, изрекающего суровый приговор над данной исторической личностью.

Обвинитель находит, что редактор «Русского богатства» должен чувствовать эту разницу, так как сам является художником. После нескольких лестных слов по адресу В. Г. Короленко, как художника, обвинитель находит, что — «в напечатанном им произведении Толстого, говорящем об определенном лице — лицо это выставлено тенденциозно и односторонне, только с дурной стороны».

Затем обвинитель касается изображения императрицы Екатерины, от которой, по словам записок, шел дурной запах, и императора Александра, который называется «величайшим преступником» за то, что осуществлял верховную власть. Затем, останавливаясь подробнее на периоде, начинающемся словами: «Тот, кто не имел несчастье родиться в царской семье», обвинитель видит здесь несомненное неуважение к верховной власти в виде осуждения тех условий, в которых воспитываются ее будущие носители. «Кто мог бы, — спрашивает обвинитель дальше, — остаться спокойным, если бы об его отце написали, что он завладел достоянием деда путем насилия!..» Обвинитель предвидит, что защита будет ссылаться на исторический труд одного из членов царственной семьи, великого князя Николая Михайловича. Но судьи примут в соображение, что это, во-первых, солидная научная работа, где одинаково находят освещение и отрицательные, и положительные стороны личности императора Александра I... И, во-вторых, всегда легче услышать такие отзывы от человека близко-

го. То, что можно выслушать от близкого, мы сочтем неуместным и неуважительным в устах стороннего, чужого человека.

Взвесив все эти данные, — обвинитель кончает заявлением, что он поддерживает в полной мере обвинение, предъявленное В. Г. Короленко, как редактору «Русского богатства».

Защитник О. О. Грузенберг — начинает свою речь с заявления, что те минуты внимания, на которые он вправе рассчитывать, он не хотел бы тратить на полемику с представителем обвинения.

— У меня, — говорит О. О. Грузенберг, — впереди серьезная работа, — и я не могу долго останавливаться на счетах с рассуждениями о том, что Толстой и Короленко неверно понимают задачи художественного творчества, что понятие исторического романа не допускает того, что допустил Толстой.

Все эти критические суждения такой же ценности, как и юридические доводы прокурора о том, что Толстой, в порицание существующего в России образа правления, позволяет себе утверждать, что от Екатерины Вели-

кой скверно пахло.

Но не разрешит ли господин прокурор моего недоумения? Если утверждение Толстого, что от Екатерины Великой скверно пахло, составляет порицание существующего в России образа правления, то не надо ли отнести к восхвалению существующего образа правления уверение Толстого, что Александр I был красив, изящен и всегда благоухал? Я думаю, что на этом мы можем примириться и отдать Толстому и Короленко всю ту серьезность, которую они вправе от нас требовать.

Император Александр I, Александр Благословенный, монарх неограниченный, баловень судьбы, спаситель Европы!.. И рядом с ним — и он сам в нем — бродяга Федор Кузьмич, наказанный розгами за бродяжество и живущий из милости на заимке сибирского купца Хромова. Великая, чисто русская легенда, — легенда, в которую одинаково любовно поверили и верхи России, и самые глубокие ее низы. В нее, легенду эту, верили и в семье государя Александра III, ее много десятков лет лелеяли и чтили и солдаты, и мастеровые, и простые крестьяне. Народ хотел верить и го-

рячо верил, что в едином образе сочетался могущественнейший из царей и бесправнейший из его бесправных подданных. Для интеллигенции, для высших кругов в Федоре Кузьмиче воплотилась идея искупления государем того великого греха, который не должен быть никому прощен, греха убийства или причастности к нему. И эта легенда смирения, искупления так близка, так родственна совестливой русской душе!.. Да, это — правда: у Толстого Александр I говорит: «я — величайший преступник». Но таким он был, таким его признает и русская история, сказавшая в прекрасном труде по этому вопросу великого князя Николая Михайловича свое решающее, свое окончательное слово.

Затем присяжный поверенный О. О. Грузенберг шаг за шагом разбирает инкриминируемые прокуратурою места произведения Толстого и, сопоставляя их с соответственными выдержками из трудов вел. князя Николая Михайловича и проф. Шильдера, доказывает полную правдивость и историческую их точность. Останавливаясь на наиболее опасном пункте обвинения, а именно на словах Л. Н.

Толстого: «Людям, не имевшим несчастья родиться в царской семье, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей» и т. д., защитник объясняет, что здесь имеется в виду не раз навсегда установленные неизменные условия воспитания в России, а лишь те условия воспитания в России, которые царили в конце XVIII века при дворах Екатерины II и Павла. Путем исторических справок защитник доказывает, что условия эти должны были выработать в воспитанниках полное неуважение к человеческой личности и достоинству.

— И если можно простить обвинительной власти все ее ошибки и отклонения от текста Толстого, обусловившие целый ряд неосновательных обвинений, то нельзя без боли и досады пройти мимо полного извращения одной из глубочайших мыслей Толстого «о желаниях царей», столь же бессильных, суетных и тщетных, как и всякое человеческое желание. Описав вечные желания Александра I, его желания победы над Наполеоном, желания видеть Европу преклоненной, Толстой говорит: «И мне пришло в голову, что если вся

жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы, или скорее приближалось к исполнению. И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания, и желание это наверное исполнилось бы». И вот это единое не обманывающее человека желание, о котором так давно и долго думал Толстой, прокуратура сводит к какой-то политической бутаде. Неужели прокуратура не знает дивных слов Толстого в письме от 2 сентября 1907 года к вел. князю Николаю Михайловичу? Благодаря его за присылку исторических его трудов об Александре, Лев Николаевич писал: «Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузьмича, — легенда останется во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли не только кончу, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жа-

лею: прелестный образ». И к этой пленительной легенде, легенде искупления царем своего греха ценою самоотречения и покаяния, решаются подойти с уголовным уложением и карою... Так и хочется сказать г. прокурору в ответ на обвинение словами Акима из «Власти тьмы»: «Тут, тае, божье дело идет, кается человек, значит... А ты, тае, *ахту*»... то есть в данном случае — «обвинительную ахту»...

Обвиняемый В. Г. Короленко просит позволения прибавить к тому, что сказал его уважаемый защитник, несколько соображений, с точки зрения литератора и редактора журнала.

— Я обвиняюсь, — говорит он, — в дерзостном неуважении к верховной власти, проявившемся в напечатании рассказа Л. Н. Толстого. Я очень рад, что господин прокурор устранил эпитет «дерзостный» своим истолкованием 128 статьи. Дерзость всегда унижает того, кто ее допускает. Правильнее было бы, может быть, говорить о некоторой *смелости* в пользовании новым законом... Но и этого в данном случае нет. И, если журнал все-таки подвергся цензурной репрессии, то

дело, мне, кажется, объясняется довольно просто следующим сравнением. Представим себе какое-нибудь огромное здание, допустим, дворец со множеством комнат. Некоторые из них давно освещены и доступны обозрению желающих. Другие тщательно заперты, и у дверей поставлены охранители... И вот в один прекрасный день эти двери тоже открываются и в таинственные углы разрешен доступ посторонним. У охранителей еще долго будут жить старые привычки, будет являться почти инстинктивное стремление схватить тех дерзких, которые в числе первых попытаются переступить заветный порог.

Наш журнал и стал в данном случае жертвой таких застарелых привычек цензурных «охранителей входов». Когда новый закон открыл возможность обсуждения, а, значит, и возможность *осуждения* действий русских монархов до деда ныне царствующего государя, то цензуре кажется все-таки непривычным, странным и дерзким, когда представители печати решаются свободно воспользоваться этим правом.

Под таким запретом состояла правдивая история и настоящий реальный облик императора Александра I. Мы знали шаблонный, так сказать, одобренный цензурой портрет этого монарха: «благословенный», «светлый ангел», освободивший Европу от апокалиптического зверя, человек мягкий, обаятельный, великодушный, самые ошибки которого истекали из личной доброты, уступчивости, излишней доверчивости к окружающим.

Но вот, как только позволили цензурные условия, — сразу появились четыре книги, в которых читающее общество нашло историческое изложение переворота 11 марта 1801 года. При этом из светлого тумана выступили очертания другого облика Александра I. Участие в заговоре дополнялось чертами вкрадчивой двойственности, лукавства, умения пользоваться людьми и обстоятельствами в своих видах, двоедушия, порой жестокости... Я ходатайствовал перед судом о приобщении номера «Русских ведомостей» со статьей господина Кизеветтера, а также брошюры госпожи Т. Богданович «Александр I», в которой, на основании исторических источников, дана и

широко распространена в популярном издании эта вторая, исторически более правдивая характеристика личности императора Александра I.

Наконец, в самое последнее время вышла книга великого князя Николая Михайловича, дающая еще более резкую и более суровую характеристику. «Вряд ли облик его, — говорит великий князь, — так сильно очаровывавший современников, через сто лет беспристрастный исследователь признает столь же обаятельным». «Двуличность, — говорит он далее на стр. 337, — хотя может быть и была природным свойством его характера, но годы детства и отрочества, несомненно, оказали на эту склонность самое пагубное влияние...» «Александр являлся в своих отношениях к Аракчееву, — читаем на страницах 278-9-й, — не жертвой безотчетного увлечения личностью последнего, а, наоборот, господином, сознательно употреблявшим Аракчеева в качестве орудия... Когда Александр I был наследником, Аракчеев был нужен, чтобы заслониться от отца; когда Александр начал царствовать, он приближал к себе Аракчеева

каждый раз, когда считал необходимым за-
слониться им от своих подданных».

Наконец, участие в самом перевороте ве-
ликий князь дополняет чертами суровой ис-
торической правды. В брошюре госпожи Бог-
данович, которую я представил суду, говорит-
ся еще: «Александр *мог не знать*, что перево-
рот будет стоить жизни его отцу». Великий
князь Николай Михайлович на странице 10-
й говорит прямо: «Трудно допустить, чтобы
Александр, дав согласие действовать, мог со-
мневаться, что жизни отца грозит опас-
ность».

Обвинитель просит вас, господа судьи,
представить себе те родственные чувства, ко-
торые невольно вызываются отрицательны-
ми отзывами о покойном императоре, и ви-
дит в указаниях на дурные условия воспита-
ния неуважение к верховной власти. Но, гос-
пода судьи, ответ на это готов: в лице Нико-
лая Михайловича мы имеем именно члена
родственной семьи... Но он также историк, и
этот историк не остановился перед самой су-
ровой правдой. На странице 12 он приводит
даже фразу Константина Павловича: «qu'il ne

voulait pas monter au trene souille par le sang de son pere»[82].

Русская историческая наука и русская литература может только поблагодарить августейшего автора за эту книгу, которая устанавливает с такой правдивостью, на основании высоко авторитетных источников, исторический облик замечательного императора. Указывая на величие борьбы и победы над Наполеоном, признавая, что здесь он проявил черты гения, историк рядом с прежними ставит новый портрет личности Александра I, отмеченный беспощадной правдой.

Что же дает Толстой?

Гениальный художник вводит в эту портретную галерею изображение подвижника. Федор Кузьмич говорит о себе, о своем прошлом: я — величайший преступник. Да... История может разно оценивать и самый заговор, и его результаты. Несомненно, однако, что, субъективно, как человек и как сын, Александр должен был чувствовать себя именно преступником. Далее, царь-отшельник, естественно, осуждает всю прежнюю свою «светскую» жизнь, полную всяких «со-

блазнов». Обвинение уже в этом предпочтении сибирской заимки короне и трону видит оскорбление верховной власти. Правильно ли это? История знает настроение, которое можно было бы назвать царственной болезнью. Уже в древности один из могущественнейших монархов Востока, Навуходоносор, с вершины трона ушел в пустыню и, по враждебному истолкованию еврейских источников, стал питаться, подобно животным, травой. Легко разглядеть под этой легендой тоску могущественного деспота по простым условиям жизни среди природы и простых людей. Псалтырь, произведение царственного поэта, весь проникнут этим стремлением к смиренной доле. «Суета сует, всяческая суета!» — говорит с горечью тоже царственный епископ... То же настроение видим мы в книге римского императора Марка Аврелия. Карл V уходит в монастырь св. Юста. И, если бы у этого монарха спросили о причинах его «ухода», очень вероятно, что он повторил бы многое, что теперь нам ставится в вину в истории Федора Кузьмича.

Кто же, однако, захочет видеть в этом эпи-

зоде что-нибудь оскорбительное для царственной фамилии Габсбургов? В русской литературе есть и другие произведения, разрабатывающие тот же мотив. В «Борисе Годунове» Пушкина отшельник Пимен говорит послушнику:

*Задумчив, тих сидел меж нами
Грозный.
Мы перед ним недвижимо стоя-
ли,
И тихо он беседу с нами вел,
Он говорил и гумну и всей братьи:
«Прииду к вам, преступник окаян-
ный,
И схиму здесь честную восприму».
И плакал он, и мы в слезах моли-
лись,
Да ниспошлет господь любовь и
мир
Его душе страдающей и бурной.*

И в другом месте:

*Подумай, сын, ты о царях вели-
ких:
Кто выше их? Единый бог. Кто
смеет
Противу них? Никто. А что же?*

*Часто
Златой венец тяжел им стано-
вился,
Они его меняли на клобук.*

В этих нескольких поэтических строчках почти вся психологическая история Федора Кузьмича. Только клобука Александру в изображении Толстого показалось мало: он взял долю не просто скромного подданного; он спустился в низы, наиболее презируемые, считаемые преступными. Если эту легенду с ее настроением считать оскорблением верховной власти вообще, то нужно выкинуть очень много мест из псалтыря, из экклезиаста, из творений Марка Аврелия и просто из исторических учебников.

Оскорбление верховной власти?.. Но вот что говорит историк Александра, Шильдер. Он считает, что, если бы эту легенду можно было перенести на реальную почву, «то установленная этим путем действительность оставила бы за собой самый смелый поэтический вымысел... В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр Павлович, этот „сфинкс, не разгадан-

ный до гроба“, представился бы самым трагическим лицом в русской истории, и его тернистый жизненный путь устлали бы небывалым загробным апофеозом, осиянным лучами святости».

Облик человеческий, господа судьи, — явление чрезвычайно сложное. Его нельзя охватить одним мгновенным негативным изображением; для этого нужен ряд моментов и ряд изображений. И вот за то, что в портретной галерее Александра I мы поставили, может быть, иллюзорный в несогласный с исторической действительностью, но возвышенный образ кающегося подвижника, «осиянного лучами святости», — редактор «Русского богатства» сидит на этой скамье в качестве подсудимого.

Что касается центрального места обвинения, то есть шестнадцать строк, начинающихся словами: «Кто не имел несчастья родиться в царской семье...» — то этот эпизод освещен уже моим уважаемым защитником. Почему, в самом деле, считать, что это характеристика для всех времен, для всех условий? Времена меняются и условия также. У Алек-

сандра I воспитателем был «лукавый князь Салтыков и ворчливый дядька Протасов». Мы знаем, что воспитателем будущего императора Александра II, например, был уже приглашен поэт Жуковский, написавший замечательное стихотворное пожелание воспитаннику:

*...Да славного участник славный
будет
И на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий — человек.*

Очевидно, этот воспитатель понимал опасность для будущего питомца от условий придворных отношений и придворной лести, о которой говорит в отношении к Александру I не только герой Толстого, но и великий князь Николай Михайлович... Всегда ли удавалась эта задача, поставленная поэтом-воспитателем, насколько и в каком направлении изменились условия воспитания, — об этом скажет история, когда придет ее время и для последующих царственных поколений. Мы останавливаемся перед этой задачей, еще не доступной суждению литературы, и говорим только, что эти условия менялись и что ин-

криминируемое журналу место рассказа Толстого не подлежит распространительному толкованию.

Господа судьи! Если вы просмотрите напечатанную в «Русском богатстве» статью Л. Н. Толстого, вы увидите, что в нескольких местах она испещрена многоточиями. Это мне, писателю, и моим товарищам по редакции выпало на долю... цензуровать рассказ гениального русского художника. И, если бы в заграничных газетах появилась телеграмма о том, что редактор журнала предан суду за помещение с купюрами рассказа Толстого, то очень вероятно, что заграничные писатели увидели бы преступление не в том, что этих купюр оказалось недостаточно, а в том, что я осмелился посягнуть на произведение гения!.. У нас другие условия. Для того, чтобы рассказ мог появиться, мы должны были провести его между Сциллой и Харибдой; нужно было принимать в соображение суровые законы, ограждающие верховную власть от проявления «дерзостного неуважения», но, с другой стороны, предстояло сделать это в пределах необходимых и достаточных, не нару-

шая также уважения к правам народного гения. Мы были уверены, что выполнили эти условия, и все-таки журнал наткнулся на препятствия, коренящиеся в привычных нравах русской цензуры. Закон, о котором я уже упоминал, снял долго стоявшие преграды, и историческая истина хлынула уже многоводной рекой. Обвинитель говорил о разнице между объемистым, солидным и спокойным историческим трудом и художественным рассказом, помещенным в книжке журнала. Но, господа судьи, эта разница исчезает, если принять во внимание, что выводы автора становятся достоянием периодической прессы и популярной литературы.

И, тем не менее, наш журнал остановлен, редактор подвергся обвинению. Это похоже на то, как если бы на середине многоводной реки был поставлен небольшой шлюз, среди ничем неогражденного течения. Это неудобно для какого-нибудь отдельно плывущего судна, которое, как наш журнал, может случайно на него наткнуться. Но течения это остановить не может. Целая историческая эпоха, знаменательное царствование импера-

тора Александра I стало уже достоянием исторической и общей литературы, и мы ждем, что приговор суда снимет и эти последние, ни для чего не нужные преграды на пути исторической правды, научной и художественной.

Судебная палата не нашла состава преступления в «Записках старца Федора Кузьмича» и вынесла В. Г. Короленко оправдательный приговор, постановив снять арест с книжки «Русского богатства», в которой были напечатаны эти «Записки».

1912

Суммистские ребусы*

— Книга, которую вы читаете, интересна?

— Вздор.

— Зачем же вы ее читаете?

— Мне интересно, — до какой степени она вздорна.

Из старой повести

I

Двадцать первого февраля закрылась в Полтаве выставка «художника-суммиста», г-на Подгаевского.

За два дня до этого события «Полтавский день» поместил статью г-на Лебединского под заглавием: «Мученик идеи».

«Редакция рекомендует с своей стороны г-на Лебединского, как лицо, компетентное в трактуемом вопросе».

Правда, нельзя не заметить, что статья г-на Лебединского наполовину повторяет саморекламу художника; но так как и г-н Подгаевский, по обычаю многих «новаторов-модернистов», сам себя превозносит очень усердно, то это обстоятельство не может ослабить вос-

торженного тона панегирика.

Еще через день в «Полтавском дне» появилось письмо «группы посетителей» в духе статьи г-на Лебединского... Можно подумать, что в Полтаве новоявленный суммизм и его «пророк» имел якобы шумный успех.

Ну, а публика?

Интересно было бы знать количество посетителей за все время выставки.

Но... даже письмо «группы посетителей» является совершенно анонимным. И как многочисленна эта группа — неизвестно.

Сказать правду, я пошел на выставку только потому, что прочел громкую статью г-на Лебединского и «открытое письмо». Самовосхваления художника в рекламе не показались мне ни заманчивыми, ни интересными, хотя бы как курьез. Это уже так «не ново». Столько их уже было в последние годы... Но теперь, раз я побывал уже на выставке, — мне хочется сказать несколько слов о том, что я видел и какие впечатления я вынес о «пророке» и его «пророчествах».

II

«Даже Илья Ефимович Репин был в свое

время дерзким новатором и также вкусил критической брани», — предостерегает нас г. Лебединский. — Едва ли можно сказать, что это является характерной чертой в биографии И. Е. Репина. Публика живым чутьем быстро оценила то новое, что несли тогдашние молодые художники, и сочувственно отнеслась к веянию, в котором чувствовалось отрицание «академизма». Несомненно, однако, что в истории можно почерпнуть примеры и более убедительные, когда новое в искусстве или в науке признавалось не сразу. В этом — главный аргумент господ нынешних новаторов. Бойтесь смеяться над тем, что вам теперь кажется несомненно смешным. Вы рискуете сегодня осмеять завтрашнего признанного гения.

И публика действительно робеет. Перед ней стоит человек, заявляющий весьма решительно: Я гений. Я принес вам мировое откровение... Откуда-то явившийся «компетентный» критик поддерживает его, и оба вместе приглашают публику преклониться перед... «воспоминаниями копченой воблы». Я ни мало не утрирую: это суммистское произведе-

ние № 368. На куске картона приклеена «натуральная» копченая вобла из мелочной лавки, а кругом расположена непонятная и безвкусная неразбериха, о коей, несмотря на свое копченое состояние, якобы вспоминает бедная вобла.

Это несомненно смешно или, если хотите, не смешно, а противно. Но — что, если ваше непосредственное чувство вас обманывает?.. И вы не видите тут ни живописи, ни скульптуры, ни поэзии, ни здравого смысла только потому, что вы еще слепы, как щенок после рождения?.. А завтра, быть может, новый пророк откроет вам глаза, и вам станет стыдно своего непонимания...

И вот находится всегда некоторое количество слишком осторожных людей, которые соглашаются не верить тому, что видят их глаза сегодня, а верят тому, что они «быть может, увидят» завтра...

III

В холодном балаганчике стоят несколько десятков преимущественно молодых людей и слушают, как г. Подгаевский «наизусть» произносит заученные тирады, напечатанные

уже в его рекламе, умиляясь, восторгаясь или грустя в одних и тех же местах... С недоумением глядят зрители, как суммистский «пророк» в надлежащем месте обнажает голову перед собственным автопортретом... Этот «автопортрет» — представляет опять картон побольше, чем для воспоминаний воблы... Неразбериха такая же. Рамка с чем-то вроде визитной карточки художника за стеклом; кругом, в виде второй рамы, кусок пилы, костыль, кусок багета... И г-н Подгаевский объясняет символическое значение каждого из этих ничего не говорящих предметов: из них должно явствовать, что г-н Подгаевский пророк нового искусства и мученик. На большей части лиц, слушающих эту вызубренную лекцию, — бродит улыбка, на некоторых недоумение и вопрос. Не все могут определить для себя, — при чем они присутствуют: при непозволительном кощунстве, как думает, например, автор статьи «Полтавского вестника», или при возвышенном экстазе пророка... В своем «скульптурном» ребусе г. Подгаевский водрузил среди пил, костылей и багетов — маленькое распятие, как составную

часть того же автопортрета, — и... на этом основании считает возможным совершать перед ним нечто вроде молитвенных действий. Если «Полт. в-к» обвинял его на этом основании в кощунстве, в грубом уголовно наказуемом смысле, — то это, конечно, напрасно. Но признаюсь, что эта часть трафаретной само-рекламы производит самое тягостное впечатление.

IV

Наше искусство несомненно находится в периоде застоя и смуты. Среди этого тумана то и дело слышатся истерические выкрики: «Я, я, я, нашел выход. Я гений! Идите за мной». И публика (особенно жадная к новизне молодежь) идет порой на эти зовы и попадает в лучшем случае на настоящих истериков, в худшем — даже на шарлатанов. И очень трудно определить, с кем именно имеешь дело в каждом данном случае. Публика боится верить своему непосредственному чувству.

Она опасается проглядеть какое-нибудь гениальное откровение... А между тем есть ведь и другая опасность. Многим еще памятен эпи-

зод, случившийся несколько лет назад на одной из парижских выставок. Еще недавно г. Редько возобновил его в памяти читателей «Русских записок». Какая-то веселая компания решила подшутить над смешным доверием публики к самоновейшим откровениям крайних модернистов в живописи. Они привели ослика, пригласили судебного пристава, принесли ведерки с разными красками и чистое полотно на подрамнике. Затем шалуны поочередно погружали хвост осла в разные краску и приводили артиста в состояние легкого оживления, водя около морды разными ослиными лакомствами. «Осел реагировал на это помахиванием хвостовой конечности», как сухо-канцелярски выразился об этом судебный пристав в протоколе. Оставалось только направить эти движения хвостовой конечности на холст. В результате этого ослиного (в самом буквальном смысле) творчества получились разноцветные мазки и полосы, «ни на что не похожие», как определил судебный пристав. Шутники подписали картину («Солнце, заснувшее над Адриатическим морем») и представили ее на выставку нова-

торов от имени несуществующего итальянского художника Боронали. Картина была принята, занимала свое место среди других картин «новейшего искусства» и даже обратила некоторое внимание критики. При этом один из критиков сделал ей упрек, что «это... уже не ново»... То есть, что было уже много картин, похожих на эту. А эта, как удостоверено напечатанным затем протоколом, была написана ослом, ослом не в переносном, а в точнейшем значении, ослом с ослиными ушами и хвостом!

Так вот, к каким результатам приводит иной раз излишнее недоверие к своим непосредственным чувствам.

Правда, существует правило: «Лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невинного». Это вполне верно в области правосудия... Мы, разумеется, и не рекомендуем применять к этим, громко кричащим о себе «гениям» даже легчайших статей о нарушении общественной тишины и порядка. Пусть чудачат, и пусть кто хочет платит им за чудачества. Но... есть другой закон, который применим всецело в этих случаях. Он гласит

просто, что «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно»...

Всякое произведение искусства, как общественное явление, создается двумя факторами: художником и средой. Основное требование от искусства — искренность, и это требование должно быть предъявлено одинаково и зрителям. Прежде всего будьте искренни — говорим мы художнику. Говорите правду, говорите то, что видите и чувствуете, — требуем мы от зрителя. Только в этом выход из смуты. Будьте искренни, и тогда вы во всяком случае правы. Гораздо лучше добросовестная ошибка, даже в отрицании, чем легкомысленная поддержка всякого новшества только потому, что оно само кричит о своей гениальности. Боясь раз опоздать преклонением перед новой ожидаемой святыней искусства, вы рискуете сотни раз участвовать в кощунственном шутовстве вместо священнодействия.

А это опасность не меньшая...

V

Что же все-таки представляет этот «сумнизм» и в чем сущность гениального откры-

тия его пророка и «мученика» г-на Подгаевского? Компетентный критик даже не пытается ответить на наши недоумения. Он просто повторяет ничего не объясняющую рекламную лирику г-на Подгаевокого. Новое слово, последний крик новейшего искусства, — и кончено. Мы же видим на выставке лишь ряд пестрых пятен, искаженных фигур, карандашный портрет художника, без намека на сходство, с одним глазом во всю щеку и т. д. Это предварительная эволюция, своего рода преддверие храма. Затем идут уже совершенно непонятные бесформенности, и... мы вступаем в область суммизма.

Что значит это слово? По-видимому, новое откровение *суммирует* все откровения прежних новаторов. Это — во-первых. Во-вторых — оно дает синтез живописи, скульптуры и... поэзии. Живопись — в непонятных, аляповатых пятнах красками, скульптура — в сочетании пилы, костыля, багетов, в чучеле птицы, наклеенной на картон, в копченной вобле и тому подобных несообразностях, из которых нельзя даже судить, способен ли этот «художник» вылепить простейшие фигуры хотя бы

как ученик среднего класса художественной школы. Поэзия — в сочетании всего этого («воспоминания воблы») и в рекламе.

Мы, конечно, не станем разбирать все эти произведения в отдельности. Ограничимся общей характеристикой, которая ясна всякому непредубежденному глазу.

Передвижникам делали упреки, что их картины представляют в сущности иллюстрации к разным явлениям общественной жизни. Суммизм — не иллюстрация. Он должен быть причислен к другому еще более прозаическому жанру. Во всяком иллюстрированном журнальчике, кроме картинок, — есть еще отдел... ребусов. Отдел этот не претендовал до сих пор на звание искусства, как шарада — на поэзию. Здесь просто более или менее замысловато сочетаются фигуры, внешнесловесное значение которых, правильно угаданное, дает фразы, поговорки или пословицы. Достоинство ребуса — не столько в рисунках, сколько в остроумном их сочетании.

Суммизм г-на Подгаевокого — это ребус и шарада самого худшего сорта, ребус без остроумия, составленный человеком, как будто не

умеющим порядочно рисовать и совершенно лишенным изобретательности. Разгадать хоть один из этих ребусов — невозможно. Необходимо выслушать объяснение всякого в отдельности, что, конечно, бесцельно, тем более, что объяснение произвольно. При известной «игре ума» воспоминания копченной воблы могут отлично сойти за что угодно другое, хотя бы, например, за «депутата» (№ 369)... На этой последней «картине-скульптуре» мы видим уже не воблу, а чучело птицы, окруженное надписями: «Сургуч... или, вонючь... бель... Пей... мри... Ач... Бельмо» и т. д. Тут же отчасти замазанное краской печатное объявление, на котором остались части надписи: «...я жидкость заключает в себе вещества, от которых не...ить нельзя»...

Не правда ли, что это «говорит само за себя»...

Впрочем, есть один такой ребус-шарада, который в известной степени наводит все-таки на размышление. Тут прежде всего кидаются в глаза надписи: «Чушь», «Аша», «Раш», а затем совершенно членораздельная фраза: «Здравомыслящий опомнись»...

Этим мы и закончим свою заметку... Гм... «Здравомыслящий, опомнись»... Как хотите, — это дает намек (хотя и смутный), что разгадка ребуса более лестна для остроумия г-на Подгаевского, чем для нас, — его простодушных посетителей.

Если мы ошиблись и приписали суммистскому пророку более остроумия, чем у него есть в действительности, — просим извинения.

1916

Котляревский и Мазепа*

В Полтаве на площади, рядом с собором, стоит невзрачное двухэтажное здание, казарменного вида, окрашенное в желтую краску и ничем особенным не обращающее на себя внимания; даже местные жители по большей части не знают, что это место составляет одну из исторических достопримечательностей Полтавы. Старожилы говорят, что здесь было когда-то дворце гетмана Мазепы, где он останавливался, когда ему случалось приезжать из своего Батурина в Полтаву. Впрочем,

от дома и усадьбы, наверное, не осталось ничего, и здание казарменного вида лишь стоит на этом драматическом месте. Но над ним все-таки веет старая история, многим и теперь еще не дающая покоя.

В той же Полтаве на одном из бульваров стоит памятник поэту Котляревскому. Котляревский не имел ничего общего с Мазепой, кроме языка. Он — автор «Наталки Полтавки», пользующейся широкой популярностью далеко за пределами Украины, и «Энеиды», которую часто цитируют даже люди, не знающие украинского языка и страшно коверкающие самое произношение. Котляревский был некрупный и, конечно, для своего времени вполне благонадежный чиновник, заслуги которого в скромной мере поощрялись русским правительством. Но в его сердце горела любовь к украинской «мужицкой» речи. Он первый стал писать на языке, на котором говорило население целого края, но у которого не было письменности. Он сделал этот мягкий, выразительный, сильный, богатый язык языком литературным, и украинская речь, которую считали лишь местным наречием,

с его легкой руки зазвучала так громко, что звуки ее разнеслись по всей России. На ней впоследствии пел свои песни и кобзарь Шевченко.

Благодарная Украина — по инициативе полтавского самоуправления — воздвигла по эту памятник, с надлежащего, конечно, разрешения начальства. Высшее начальство в то время ничего не имело против благодушного, по-украински сентиментального и по-украински же шутливого («жартобливого») поэта, написавшего такие милые и вполне безобидные вещи. И памятник был разрешен. Полтава стала центром этого торжества украинской речи, на которой говорят миллионы людей в России и... в Австрии. Совершенно понятно, что на торжество потянулись в скромную Полтаву представители украинской интеллигенции из-за рубежа. И из приехавших в Полтаву «иностранцев», наверное, ни один человек не вспомнил, что, кроме памятника Котляревскому, в Полтаве есть и другая достопримечательность: место мазепинского дворца...

И это, конечно, потому, что для всех на

первом плане стоял Котляревский, отец литературной «украинской мовы», на которой говорят и они. И если там, за рубежом, они успели противостоять «онемечению» или «ополячению», то этим обязаны в значительной степени корифеям русского украинского слова. Они жили в чужих пределах, но метрополией своей культуры считали нашу Украину. Таким образом русская Полтава стала центром интеллектуального паломничества галицкой интеллигенции, говорящей, пишущей, учащейся и учащей по-украински. Если кто имел основания досадовать на это обстоятельство, то разве австрийские «политики». Нам это нимало не вредило, а с известной точки зрения могло быть только на руку.

Оказалось, однако, что многие проницательные люди спохватились. Это именно те, для кого старые фантастические призраки, носящиеся ни для кого незаметно над старым мазепиноким дворцом, имеют суеверно пугающее значение. И вот, перед огромным и положительным фактом интеллектуального единения они остановились с подозрительным шипением:

— На сем языке говорил проклятый Мазепа.

Правда, на сем же языке говорили и Кочубей с Искрой, на сем же языке говорят миллионы людей, ведущих скромную трудовую жизнь под соломенными стрехами, которые знают (может быть, не всегда достаточно отчетливо) Шевченка и для которых имя Мазепы является лишь отзвуком чего-то проклятого и пугающего, но лишено всякого другого реального значения. И все же шипение внесло двойственность и смуту в интеллектуальное торжество и вместо хорошего праздника повело к «скверному анекдоту» и скандалу.

Это было в 1903 году. Устройство торжества взяла на себя дума города Полтавы. Открытие памятника должно было сопровождаться заседанием в городском здании имени Н. В. Гоголя, в театральном помещении. Разумеется на празднике слова должны были произноситься речи. Можно было предвидеть, что на празднике украинского слова и речи будут украинские. Не надо было быть пророком, чтобы это предвидеть, и не надо было

быть мудрецом, чтобы вынести вперед единственно разумное решение. Но... местные представители бюрократии, которым пришлось решать этот деликатный вопрос, оказались застигнутыми врасплох и стали действовать по закулисным вдохновениям. Губернатор, кн. Урусов, был в отпуску. Должность его фактически выполнял вице-губернатор. Ироническая судьба пожелала, чтобы эта роль выпала на долю потомка знаменитого писателя, и тоже литератора, г-на Фонвизина. Г-н Фонвизин присутствовал официально на открытии памятника и купно с городским головою Трегубовым лично сдернул завесу с бронзового бюста. Но затем он «благоразумно» удалился, чтобы не проявить излишнего участия в чествовании памяти поэта, писавшего на «языке Мазепы». Председательствовал в торжественном заседании городской голова Трегубов, который огласил при этом приветствие отсутствующего кн. Урусова.

Городской голова Трегубов был человек почтенный, но до комизма бесхарактерный и трусливый. Он, как говорится, «смотрел из рук администрации» и покорно выслушивал

неофициальные приказы, хотя бы отдаваемые шепотком. Вице-губернатор «шепнул», что украинские речи для русских подданных неудобны и с таким напутствием благословил беднягу председательствовать и запрещать украинский язык на празднике украинского поэта, — нелепость, на время доставившая бедному городскому голове комическую известность далеко за пределами России. За что же в самом деле ставят памятник Котляревскому? И для чего было разрешать это преступное торжество?

Хитрый вице-губернатор «завел» бедного городского голову, как органчик, а сам скрылся за кулисы. Дальше все разыгралось так, как и должно было разыграться. Первыми прочитали свои приветствия зарубежные представители разных просветительных обществ украинской Галиции. Эти приветствия были на украинском языке и сошли благополучно. Галичане говорили плавно, красиво и свободно. Было видно, что за рубежом, в Австрии, речь Котляревокого и Шевченка давно уже стала орудием публичного, научного и политического слова, орудием культурной борьбы

за самостоятельность одного из славянских племен под натиском неоязычной культуры. Но... лишь только та же украинская речь раздалась из уст наших, российских, а не австрийских, украинцев, городской голова с перекошенным от испуганного усердия лицом, сославшись на какой-то никому не известный приказ администрации, тотчас же запретил чтение адресов. Началась дикая сцена: один за другим выходили представители разных просветительных учреждений и групп русской Украины с готовыми адресами на украинском языке, начинали чтение, и... тотчас же бедный манекен, плясавший по ниточке администрации, прерывал его и повторял шаблонную запретительную формулу. Один из ораторов произнес бурную речь, отметив печальную роль этого представителя общественного учреждения, и швырнул на стол пустую папку, — самый адрес, написанный на «запрещенном» языке, он предварительно и демонстративно вынул. Вместо торжества, вышла печальная трагикомедия. Выходило таким образом, что язык Котляревского и Шевченка, привлечший в русскую Украину

зарубежных паломников, законен только в Австрии. На своей родине, у своей колыбели он запрещен. Распоряжением полтавской администрации он оказался высланным в административном порядке в австрийские пределы, без права возвращения в русское отечество. Этот грубый и дикий эпизод как бы говорил представителям зарубежной интеллигенции: вы считаете нашу Украину метрополией и центром вашей культуры и вашей речи. Мы этого не желаем; пусть он остается у вас, за рубежом; пусть лучше все наши украинцы, ценящие сокровище родной речи, паломничают к вам во Львов, к вашим школам, музеям и университетам. А у себя мы этого не допустим. Мы лучше создадим новый признак «неблагонадежности» и «измены» и применим к ним привычную политику родного Мымрецова, станем и здесь «тащить» и «не пущать». Мы ставим памятник Котляревскому лишь по недосмотру Мымрецова. Но отныне за постановкой памятника, — язык Котляревского лишается права въезда в наши пределы и навсегда остается «зарубежным».

В свое время полтавская городская дума,

состоявшая из элементов далеко не исключительно украинских и никогда не помышлявшая о какой бы то ни было оппозиции, — постановила (и, кажется, единогласно) обжаловать распоряжение полтавской администрации. Разумеется, жалоба ничего уже поправить не могла: делегаты разъехались, увозя с собой неумную мораль печального праздника. Но все же жалоба полтавской думы пошла в сенат и... года через два последовал сенатский указ, признавший административную высылку языка, на котором писал Котляревский, незаконной. Бывают такие яркие нелепости, которые могут сколько угодно стать фактами, но санкционировать их правовым актом все-таки невозможно. Права украинского языка как будто были признаны, и о сем полтавской думе было официально объявлено. Но... если иным нелепостям трудно, придать разумную правовую формулировку, то все же это не мешает им пребывать в области фактов. История далеко не всегда разумна и не всегда строится по законам здравого смысла. Поэтому случилось как-то так, что впоследствии, когда пришлось навести справ-

ки по этому предмету, то, как говорят, сенатский указ превратился в гоголевскую «пропавшую грамоту». Он несомненно был. Он был оглашен в газетах, и о нем стало широко известно во всей Россия. Но затем какими-то неведомыми путями он исчез. Тот же Трегубов, — вероятно, опять по внушению администрации, — не решился огласить указ сената в заседании думы, и жизнь опять шла своими нелепыми путями, вменив сей несомненно бывший указ «яко не бывший». И не оказалось никакого гоголевского запорожца, который бы сумел разыскать «пропавшую грамоту» и применить ее к делу, чтобы незаконно высланный за рубеж язык Котляревского и Шевченка был вновь водворен по месту своего рождения и старого жительства... И чтобы его отечество могло опять стать по праву духовным центром, привлекая в наши пределы культурные симпатии зарубежных соплеменников, вместо того чтобы отталкивать и своих за рубеж.

Всякий, кто дал бы себе труд проследить эту маленькую историю о празднике Котляревского в Полтаве по отголоскам в русской

печати, — легко убедится, что подавляющее большинство органов ее отнеслось с горечью и осуждением к этому поистине вандалско-му акту. С теми же чувствами горечи и осуждения русское общество относится к дальнейшим проявлениям того же вандализма, оказывавшегося в последующие годы в виде закрытия просветительных учреждений, газет и журналов на украинском языке и объявления «мазепинством» самых законных элементарно-культурных стремлений украинцев.

Если бы в наше время люди были более суеверны, то, без сомнения, возникла бы легенда о том, что на мазепинском дворце, по одну сторону собора, старый изменник гетман заливается по ночам адским хохотом над своим соседом, благонамеренным русским чиновником Котляревским, сохранившим в сердце неблагонамеренно пламенную любовь к родному слову и за это оказавшимся мазепинцем и крамольником. Кстати же, дом Котляревского приютился над кручей горы по другую сторону собора. Превосходная тема для фантастической поэмы в самом «неблагонадежном роде», материал для которой стара-

тельно подобран иждивением и стараниями бюрократии.

Так среди неразумных репрессий и давления по отношению к украинскому слову мы подошли к последним годам. С запада надвинулись события, толкнувшие в наши пределы тысячи зарубежных галичан, уже не для культурного паломничества, а загнанных военной грозой... И обстоятельства этой войны, которая решает вопросы веков, — застают нас врасплох. И решаются они опять не прямым путем, при участии гласного обсуждения и компетентных решений, а внезапными импровизациями, силою фактов, проскальзывающих под шумок.

А было бы так важно отыскать, наконец, «пропавшую грамоту», освежить ее разумные правовые источники. Иначе опять «под шумок» может быть сделана роковая непоправимая ошибка. И курьезная административная нелепость, раз уже отмененная сенатом, может сделаться эпиграфом для целой политической полосы, создающим свои мрачные прецеденты, вопреки более компетентным, благожелательным и разумным обещаниям.

Исторические очерки

К истории отживших учреждений*

1768–1771 гг.[83]

I

Ранним осенним утром 1768 года выборные из балахонского купечества, судьи словесного суда Михайло Сыромятников стоварыщи, приведены были в немалое смятение. У дверей земской избы, опершись о косяк и руки держа на рукоятке своего палаша, стоял нижегородского баталиона сержант Митрофан Маслов, в выжидательном положении, а на столе лежали некие документы, на которые судьи взирали с неохотою и сумнительством.

Нужно сказать, что и вообще, когда в купеческом магистрате или в подведомственном магистрату словесном суде появлялись из Нижнего солдаты, то это не предвещало ничего хорошего. Это значило, что по поводу какой-нибудь волокиты и кляузы высшая нижегородская команда, то есть губернский маги-

страт, губернская канцелярия или какая-нибудь из многочисленных «кантор» решились прибегнуть к наивысшему купеческих судей принуждению, дабы, оставив лакомство и к одной стороне поноровку, они не чинили бы на другую сторону посягательства и притеснений, а дело решили бы всеконечно в указные сроки. В те времена не церемонились относительно средств к такому понуждению. «Для сего, писалось в указах, посылается штатной команды сержант по инструкции: доколе то дело решением произведено не будет, дотоле того магистрата присутствующих и повытчика держать при их местах без выпуска». Порой, когда высшая команда приходила во всеконечное нетерпение или когда в деле замешаны были интересы сильных персон, — на бедного повытчика приказывали, вдобавок, надевать кандалы; приходившие по делам в магистрат обыватели имели тогда случай видеть своего выборного подьячего [84] за письменным столом, с гусиным пером за ухом, с кандалами на ногах.

Немудрено поэтому, что и на сей раз, когда, после оживленной беготни из земской

избы (где заседали словесные судьи) в магистрат и обратно сержант Маслов, позвякивая палашом, прошел через канцелярию и «впущен был перед присутствие», то между пищиками и канцеляристами пошел говор и разные догадки: по какому делу явился сержант и кого будет понуждать? Случаев для этого, конечно, всегда было в изобилии. То «бывший балахонский посадник, что ныне города Алаторя публичной нотариус», Андрей Щуров, давно и с великим успехом боровшийся с магистратом, подносил магистратским законникам какую-нибудь неожиданную затейную кляузу, то другой исконный магистратский враг, соляной промышленник, а стеклянной фабрики содержатель, Филипп Городчанинов, человек богатый и со связями, требовал себе, через высшие команды, законного удовольствия, обвиняя магистратских судей в несправедных к стороне купечества послаблениях, а ему, промышленнику, в утеснении, «отчего уже и приходит во всеконечное разорение»... Вообще, трудно было бы перечислить все случаи, которые могли подать повод к той или другой невзгоде, и, поистине, без традицион-

ной подьяческой пронырливости, ставшей притчею во языцех, приказные дела вести в те времена было бы «весьма невозможно».

II

Дело, по которому сержант Маслов утрусил словесных судей, а теперь, по сумнительству, впущен был перед ясныя очи бургомистра Латухина и ратманов, было очень просто и, повидимому, не требовало особых соображений. В мае 1768 года титулярный советник Колокольцов, застигнутый трудными обстоятельствами, занял 70 рублей 50 копеек и выдал вексель. В августе наступил срок, титулярный советник платежа не учинил, почему нижегородский публичный нотариус, во охранение вексельного права, сыскивал его в Нижнем Новгороде, приходя к его дому с понятыми. Но дома его не изошел, а домашние объявили, что имеется оный должник в Балахне. Вот почему протестованный вексель и появился на столе балахонского магистрата.

В те времена сословные разграничения были чрезвычайно резки, и каждое сословие судилось особым судом. Ратуши и таможенные суды, а с половины прошлого столетия

магистраты сосредоточили в себе в уездных и провинциальных городах все дела, относившиеся до купечества, как уголовные, так и гражданские. Промышленники и фабриканты ведались еще в мануфактур-коллегии, крестьяне, помещики и разночинцы — в воеводских канцеляриях, духовенство — в своих духовных правлениях. Вот почему у словесных судей и возникло первое сумнительство: как ответчик, так и истцы по векселю, предъявленному сержантом Масловым, были персоны не купеческого звания, и словесный суд охотно отослал бы и сержанта и его векселя в воеводскую канцелярию, как это и делалось прежде.

В присутственной комнате магистрата, за столом, обильно закапанным чернилами, заседали выборные, из купечества, бургомистр с двумя ратманами. Бургомистр Петр Семенов сын Латухин крепко держал бразды градского правления в течение целой четверти века. За это время он переполнил магистрат своими сродниками, свойственниками, кумовьями и крестниками до такой степени, что, казалось, в балахонском магистрате на веки вечные во-

дворилась латухинская династия. Один из ратманов, Михайло Рукавишников, был ему родной племянник.

Другой — Федор Ряхин, человек совершенно безличный и подавленный, ограничивался подписью бумаг. Пищики, подканцеляристы и канцеляристы, подьячие просто и подьячие с приписью ожидали только мановения латухинской главы, чтобы разорвать кого угодно в переносном и даже в буквальном смысле.

Осмотрев вексель и выслушав молчаливо «сумнительство» словесных судей, Латухин подал знак канцеляристу Победимцеву. Латухинский кум, человек невзрачный и потерянный, нередко «обращавшийся в пьянственном случае», во хмелю строптивый и даже буйный, канцелярист этот был в то же время великий законник, выдавший всякие переделки. Поэтому ему многое прощалось, и балахонское купечество много лет содержало его «на изрядном от себя трактаменте». Никто лучше Сергея Победимцева не мог разобраться в хаосе уложений, регламентов, морских и военных артикулов и указов, загроможда-

ших огромный черный шкаф, из коего магистрату приходилось почерпать свои аргументы. Мигом найдя, что было нужно, подканцелярист вынул из недр шкапа вексельные уставы и прочитал:

«Когда кто из воинских, статских, духовных или иных чинов сам себя привяжет в купечестве, в переводе денег вексельми иди другими какими домовными книгами под образом векселя, таким нигде инде, но точию... как на купцах, так и купцам на них просить и удовольствие чинить в ратушах и таможнях, несмотря ни на какие их представления, что они не того суда, понеже купцам несносно есть потеряние времени и повреждение купечества... И для того, кто не хочет себя подвергать под суд ратушной и таможенной, то да не дерзает сам себя вексельми и другими письмами под образом векселя с купечеством привязывать или неисправным показывать» [85].

Выдержка эта сразу разрешила все сомнения: словесные судьи покорно взяли со стола принесенные Масловым бумаги и вместе с сержантом пошли опять в земскую избу «для

начатия тому делу разбирательства и указного решения», что, как увидим, сопряжено было для них с немалыми трудностями.

III

Вексель! Едва ли есть еще какой-либо документ, который и в наше время пользовался бы меньшею симпатиею, чем эта немецкая выдумка, занесенная к нам реформою Петра. Сколько на этих клочках бумаги, в этих немногих словах заключено человеческого горя, слез, нужды и даже крови, — об этом могут и теперь рассказать судебные пристава, печальная обязанность которых состоит в «осуществлении» скрытого в этой бумажке реального смысла. Поистине, за одно это немецкое словечко «вексель», вошедшее в обиход русской жизни, память великого преобразователя[86] заслуживала бы всех тех проклятий, которыми отягчают ее славянофилы, если бы... если бы это немецкое слово не заменило собою некоторых чисто русских, имевших обращение в допетровской патриархальной Руси. Эти самобытные, но страшные слова: *кабала, кабальная запись, правез!*

Как бы то ни было, слово *вексель* было в

прошлом столетии гораздо страшнее нынешнего. В случае неплатежа или спора должника сыскивали и для разбирательства отсылали под караулом по месту жительства истца, например, из города Балахны в С.-Петербург, Москву или Астрахань, где в таких случаях сторонам давался «суд по форме суда», и это порою из-за десятка рублей. Во второй половине столетия процедура является уже значительно упрощенною... векселя предъявлялись по месту жительства ответчика на словесные суды, в которых разбирательство происходило исключительно устное. В случае же спора и вообще, когда дело доходило до письменного разбирательства, описей и продажи имущества, оно поступало в магистраты.

Таким образом выборные из балахонского купечества словесные судьи состояли «по апелляции» непосредственно в ведении магистрата. Словесный суд помещался в одном с магистратом здании, его колодники сидели в магистратской тюрьме, и вообще, наравне со всем магистратом и со всею купеческою Балахною, словесный суд являлся покорным орудием всевластного купеческого бурго-

мистра. Выбранный в 1749 году Петр Семенов Латухин правил Балахною около тридцати лет. Только уже в 1770-х годах, когда, после пугачевской грозы, в воздухе появились какие-то новые веяния, когда Екатерина писала, что теперь, сломав рога Пугачева, мысли множеством вдруг приходят [87], а губернаторы стали рассылать во все учреждения невиданные прежде указы и письма, дабы «все места старались не сильным чинить потакательство, но наипаче слабым и обидимым защищение», только тогда Латухин, еще крепкий и бодрый, должен был покинуть насиженное место. И после этого перед гуманными губернаторами стали вскрываться удивительные обстоятельства. Оказалось, например, что один балахонский посадник явился к губернатору Ступишину, бежав из тюрьмы, где его содержали семь лет словесные судьи за долг Латухину, — долг, который вдобавок давно был покрыт, так как в течение этого времени Латухин держал у себя в работе двух сыновей должника. Когда же губернатор сделал об этом запрос, требуя объяснения, чего для только долговременное задержание учинено, то ока-

залось, что по справке в делах не найдено никаких следов какого бы то ни было постановления об аресте.

Вот какова была власть купеческого бургомистра П. С. Латухина в уездном городе Балахне и вот что могли учинить с балахонцем, выдавшим заемное письмо или вексель. И если теперь простое предъявление векселя ко взысканию поставило в тупик словесных судей, и сам бургомистр Латухин измышлял средства, дабы неофициально склонить обе стороны к уступкам и примирению, то это объясняется только теми «персонами», которые являлись тяжущимися в этом несложном деле.

Прежде всего это был нижегородский комендант Трофим Степанович Иевлев.

В замечательном историческом документе, — язвительной «бумажке», которую комиссар Лодыженский послал бравому саратовскому коменданту Бошняку накануне пугачевского разгрома, — так охарактеризована роль коменданта: «В Российском государстве есть два сорта комендантов, из коих первые... по справедливости, могут назваться комен-

дантами крепостей. Другой же сорт комендантов определяется для сыску воров и разбойников и для препровождения из них пойманных от места и до места и для других надобностей и караулов, и то по требованиям губернских провинциальных и воеводских канцелярий, тако ж и прочих присутственных мест»[88].

Мы не можем теперь сказать, к какому «сорту» комендантов причислил бы Лодыженский «нижегородского коменданта Трофима Иевлева». В командовании и защите нижегородской крепости, сохранившей поныне свои старые стены и башни, в то время едва ли уже предстояла какая-нибудь надобность. Ничего также неизвестно о трудах его по искоренению воров и разбойников. Несомненно, однако, что у него под командою было немалое число солдат и сержантов, которых он рассылал в разные учреждения с доверенностями по всяким кляузным искам. Когда дело затягивалось и становилось сомнительным, то нередко истцы считали выгодным уступить свои права коменданту, который имел сильные связи в губернском магистрате.

те. Таким образом, в Нижнем-Новгороде возникла в комендантском управлении своеобразная дисконтная контора, и когда губернский магистрат прибегал к мерам «понуждения присутствующих», о которых говорилось выше, то комендант Иевлев давал для исполнения этих мер солдат своей команды. Поистине, чем-то юпитеровским отзываются краткие напутствия, которыми комендант снабжал при этом свою команду. В делах балахонского магистрата сохранилось, например, следующее «верющее письмо», предъявленное сержантом Заварзиным 18 декабря 1777 года:

*«Федор Заварзин
по посылке твоей в балахну о взыскании долгов нотариуса Щурова имей крепкое старание, а не так как сержант Маслов, дабы на вас какой в поворовке жалобы не произошло. Пишу тебе я Трафим Иевлев».*

Итак, если Петр Латухин являлся в Балахне представителем власти несомненно сильной, то и комендант Иевлев олицетворял ее в своей особе в степени отнюдь не меньшей. За ним, на той же стороне, то есть в качестве

истцов, являлись еще две персоны с очень длинным и неуклюжим титулом: «Нижегородских питейных и протчих сборов коронный поверенный господин обер-директор Михайло Гусятников и таковых же сборов коронный поверенный директор Григорий Лихонин». В нашем столетии, отказавшемся от длинных и кудреватых наименований, персоны эти носили бы не менее, однако, внушительное название откупщиков, и уже по тому, что видело от них наше столетие, мы легко можем судить, какова была их сила в провинциальной среде прошлого века.

И, однако, обе эти персоны предпочли перевести вексель на имя коменданта Иевлева, поводимому, плохо надеясь на своего поверенного Василья Теремнова, не обладавшего никакими уже титулами. Кто же был противник, против которого сплачивались такие солидные силы, на предмет простого взыскания с него 70 рублей с указными рекамбиею и процентами?

Мы уже видели, что это был просто титулярный советник Николай Потапович Колокольцов. Титул, конечно, не из особенно еще

знатных, и если все-таки словесный суд и магистрат так неохотно принимали его векселя, то на это были особые причины: у Колокольцова были связи и, что самое главное, он был в данное время «града Балахны воеводским товарищем». Нужно прибавить, что незадолго перед тем господин Колокольцов имел уже немалую прю с балахонским купечеством по вопросу об отводе ему приличной званию квартиры, и мы легко пойдем, какая туча нависала над балахонским купеческим управлением в лице сержанта Маслова, за коим виднелись персоны директоров и коменданта, с одной стороны, и воеводского товарища — с другой. Всем до последнего пищика было ясно, что тут предстоят немалые затруднения, чреватые всякими огорчительными неожиданностями и «репремантами».

IV

Как бы то ни было, сержанту отведена на коште купечества квартира, а словесный суд приступает к предварительным по щекотливому иску мероприятиям.

Обыкновенно меры принимались в таких случаях самые простые. Двум дюжим маги-

стратским «розсыльщикам» (тоже выбиравшимся из купечества), давали сыскную, и они сыскивали должника в дому или где «улучить было возможно». Если это удавалось, то они, не приемля отговорок, волокли искомого к разбирательству и объявляли «при доезде». Если же проницательный должник укрывался, то розсыльщики «получали» кого-либо из домашних: мать, отца, жену или сына (малолетки женска полу от привода избавлялись), и волокли их в суд, который подвергал их задержанию под караулом, доколе «винный не являлся собою» на выручку своих близких. В данном, однако, случае процедура эта признана была не совсем удобною, и потому словесный суд возлагает тонкое поручение на одного из своих судей Федора Рукавишникова, человека хорошей балахонской фамилии и потому знавшего обращение с персонами знатного ранга. Рукавишников, в ноябре месяце 1768 года, ходил к господину Колокольцову троекратно, и по тому троекратному хождению принес от его благородия обещание, что он по делу имеет выслать в словесный суд своего поверенного.

«Точию за многопрошеством времени того доверенного не выслал». Между тем, по вексельному уставу, все дела по вексельным искам строго повелевалось решать «конечно, в двухнедельный срок», под опасением взыскания всего иску с самих судей. Так как вдобавок и сержант Маслов о «удовольствии» своего начальника требовал неотступно, угрожая непременно по команде доношением, то словесный суд усиливает первую меру: он посылает к Колокольцову двух розсыльщиков, Федора Мартюшева и Дмитрия Неслухтина, которые привыкли к решительным поступкам и не боялись сурового отпора. Оба эти розсыльщика к его благородию «неоднократно ходили и получали его видеть на квартире, точию его благородие ответственвал, якобы он на тот вексель сочиняет некакой документ». Так как никаких документов словесный суд принимать был от ответчиков не вправе, то розсыльщикам дается еще более решительная инструкция: «Его благородия в словесный суд требовать им неотступно, а ежели сам не пойдет и поверенного не отдаст (sic!), то взять из людей его, кого улучшить

МОЖНО».

Его благородие принял свои меры, и розсыльщики, за конечным неспущением их в квартиру для взятия людей его и за неполучением их нигде в городе, никого при доезде объявить были не в состоянии. Но зато 29 октября того же года в земскую избу, где словесный суд имел заседания, явился с превеликою надменностию балахонской воеводской канцелярии подканцелярист Попов (один из бесчисленных Поповых, которыми кишели все канцелярии), который «бросил на стол гербовой бумаги, повидимому, лист один», и затем удалился, сказавши только, что это и есть «его благородия на вексельный иск объявление».

В объявлении было написано просто, что хотя те по векселю деньги им, Колокольцовым, и подлинно взяты, точию к уплате винным себя не признавает, ибо-де уже уплатил, отославши оную сумму сестры своей родной Татьяны Толстой с крестьянином. Ни платежной расписки, ни свидетелей уплаты при этом не представлено и показание относительно уплаты (впоследствии совершенно

опровергнутое) ничем не подтверждалось. А так как, кроме того, письменные объяснения, по инструкции словесного суда, не подлежали даже рассмотрению, — то судьи вновь посылают розсыльщика. Злополучный Мартюшев, возвратясь, показал, что его благородие окончательно ему отказал, «дабы розсыльщикам более к нему в дом ни за чем не ходить, а словесному суду производить по тому объявлению». Словесный суд записал слова розсыльщика в протокол, закончив его следующими словами: «а он, Мартюшев, в сем доезде, показал чистую правду, подвергая себя в противном случае законному истязанию», и затем решил, что теперь дело словесного суда кончено, так как довелось уже до письменного разбирательства, подлежащего ведению магистрата. Почему 3 ноября дело и препровождено при доношении на усмотрение господ балахонского магистрата.

Таким образом, первый акт борьбы кончился и господину Колокольцову, титулярному советнику и воеводскому товарищу, не пришлось предстать перед низшею инстанциею выборного суда балахонских купчишек.

Теперь ему предстояло иметь дело с самим магистратом.

V

Рассмотрев препровожденное от словесного суда объявление, магистрат, конечно, не мог усмотреть в нем никакого здравого резону, кроме разве намека на родство с Толстыми (из коих один, служивший прежде в Нижнем, был обер-кригс-комиссаром), тем более, что «ежели бы подлинно те деньги им, Колокольцовым, отдаваны были, то бы мог иметь какой-либо документ». Ввиду этого магистрат начинает против воеводского товарища военные действия с своей стороны.

Третьего ноября «правлящему по выбору от балахонского купечества полицейскую должность», а в торжественных случаях называемому «выборным балахонским полицы-мейстером», купцу Якову Щепетильникову вручена от магистрата инструкция: «Идти тебе в дом, где г. Колокольцов жительство имеет и, оному Колокольцову объявя, требовать, дабы по имеемому на него векселю и по приносимой им спорности в балахонской магистрат явился бы собою в неукоснительном времени

или бы прислал поверенного», о чем особо составленную промеморию он же, Щепетильников, имеет объявить в балахонской воеводской канцелярии воеводе или же секретарю. Посылка эта увенчалась столь же малым успехом, как в предыдущие: Колокольцов не являлся, а воевода с секретарем магистратскую промеморию не приняли, «яко гласящую по вексельному делу, каковые дела по регламенту до воеводы не принадлежательны».

Тогда магистрат обращается в высшую команду, а именно в губернскую канцелярию, требуя доношением, дабы благоволено было тому Колокольцову о явке в магистрат, а воеводской канцелярии о взятии с него подписки подтвердить указами. Кроме того, магистрат просит наложить запрещение на имущество Колокольцова или, наконец, о вычете из его жалования, сообщая, что иначе балахонский магистрат, за упорной неявкой Колокольцова «и как оной находитца здешняго града воеводским товарищем», — ко взысканию приступить собою не может.

Этот вопль магистрата, признававшегося в

своём бессилии, встречен очень холодно: указав сухо на 38 пункт вехсельного устава, в силу коего оный Колокольцов подлинно надлежит быть отослан в магистрат, Петр Рагозин (подписавший указ губернской канцелярии) говорит затем, что до решения дела (!) ни удержания жалования, ни запрещения на имущество и требовать не надлежало, почему на предбудущее время рекомендуется магистрату от таковых недельных предложений себя воздержать.

Тогда, 22 декабря, правящий полицейскую должность снабжается от магистрата новою инструкциею, составленною в выражениях тонких, но еще более решительных: «Идти тебе в дом к г-ну Колокольцову и, во-первых, объявить учливым образом, требуя ево в балахонской магистрат собою, если ж не пойдет и воспоследует от него какое тебе препятствие, тогда как возможно к тому позыву и взятую приложить тебе усильное старание».

VI

Время было выбрано магистратом в высшей степени удачно, и если бы купеческий полицеймейстер оказался на высоте своей за-

дачи, то его экспедиция на сей раз могла бы разрешиться или торжеством магистрата, или крупною катастрофою. В первом случае воеводский товарищ был бы объявлен «при доезде» в купеческое судилище «усилием», во втором — балахонская воеводская канцелярия во всем составе вынуждена была бы нарушить нейтралитет и вступить в рукопашную, защищая своего «воеводского товарища» от купеческой посылки. Дело в том, что с последних дней перед рождеством и до 8 января обыкновенно прекращались в присутствиях текущие дела и даже, — трогательная черта среди жестоких нравов того века, — раскрывались двери тюрем, и колодники распускались по домам, на подписку и поруки, дабы могли провести святой праздник дома и слушать в церквах божиих молебного пения. В тюрьмах на это время оставались лишь те, относительно которых состоялись постановления: «держатъ неисходно без выпуску» (что, заметим кстати, далеко не всегда сообразовалось с важностью преступления).

Колокольцов, понятно, не думал, что в такие дни, перед самым праздником, магистрат

откроет решительные действия, и потому спокойно отправился в воеводскую канцелярию и так же беспечно оттуда вышел. Но на выходе был встречен отрядом из пяти балахонцев, под предводительством Щепетильникова, которые уже были в его квартире и теперь ко взятию его намеревались приложить усиленное старание. Застигнутый таким образом, его благородие сильно сбавил тон: ссылаясь на самонужнейшие дела по воеводской канцелярии, он самым учливым образом стал уверять, что ныне уже за наступлением праздничных дней тому делу производства чинить не можно, но что зато на 8-е число января имеет быть в присутствии магистрата неотменно.

Купеческий полицеймейстер на эти, многократно уже не сдержанные, обещания сдался. Подействовало ли на купца обаяние барской любезности, а может быть, он просто струсил вблизи воеводской канцелярии, команда которой нередко вступала с представителями магистрата в смертный бой и даже разбивала магистратские двери; как бы то ни было, но и на этот раз он отступил. Воевод-

ский товарищ избег «приводу», хотя и не без урону своей надменности, после любезно тонких отговорок на улице, при собрании народу немалого числа, сбежавшегося поглазеть на взятие купцами воеводского товарища. «За приведенными резоны, репортовал малодушный Щепетильников, я его благородия взять не отважился».

VII

По-видимому, воеводский товарищ Колокольцов поставлял свою честь в том, чтобы по векселям своим не платить и пренебречь магистратским судилищем. Иначе трудно объяснить, почему он решился так упорно выносить все последующее. Понятно, что ни 8 января, ни после он в магистрат не являлся, а так как Щепетильников, устыженный неудачею, теперь ходил около дому со своею командою, стараясь его улучшить всемерно, то Колокольцов прекратил ходить даже в присутствие. Между тем, подканцелярист Победимцов, тщательно порывшись в своем арсенале, из самой глубины черного шкапа извлек против Колокольцова грозное оружие, как кажется, давно уже не бывшее в употреб-

лении.

«Соборнаго уложения главы десятой в пункте третьем изображено: „Будет которой ответчик учнет у пристава укрыватися и во дворе у себя не учнет сказыватися, и пристава, взяв с собою товарищей, сторожить у двора ево день, и два, и три, доколь тот ответчик сам или человек ево или дворник со двора сойдет, и, того ответчика или человека его или дворника взяв, привести в приказ“».

На основании этого пункта, ныне извлеченного из пыльного забвения против необычно храброго противника, сформирован, под начальством Щепетильникова, в мае 1769 года, настоящий отряд из двенадцати балахонских «посадников» и купцов, которые, расположись у дома Колокольцова, непрерывно его стерегли, чиня денно и ночью засаду.

Дом превратился в осажденную крепость. Ни г. Колокольцов, ни его домашние не отваживались теперь выходить на улицу, где их ждали балахонцы со своим «третьим пунк-

том». Из купечества никто, конечно, также не осмеливался входить к осажденным, так как над своими-то гражданами у магистрата было достаточно власти. Квартира Колокольцова оказалась таким образом блокированной и, пожалуй, храбрый воеводский товарищ увидел бы себя вынужденным сдаться магистратской армии, если бы блокаду не нарушали то и дело солдаты воеводской канцелярии, которых это дружественное Колокольцову учреждение откомандировало на помощь и которые то и дело проходили в ворота и обратно, не обращая внимания на осаждающих. Так как это не были ни «люди» Колокольцова, ни его дворники, то, конечно, соборное уложение не уполномочивало Щепетильникова брать их и приводить в приказ.

VIII

Так прошло около месяца.

Тринадцатого июня того же 1769 года на базаре города Балахны учинился немалый крик и смятение. Дело в том, что предводитель магистратского отряда, оставив подчиненных в обычной засаде, отлучился для своих нужд и во время той отлучности ходил по

базару. В то же время из дома Колокольцова, обманув бдительность отряда, остававшегося без предводителя (и, конечно, не всегда сторожившего с одинаковым усердием), вышел для покупки солоду и соли дворовый человек Наум Козьмин. Последний, закупив припасы, хотел уже было отправляться обратно, не чая напасти и не подозревая, что купеческий полицеймейстер уже усмотрел его своим бдительным оком. Собрав наскоро летучий отряд из четырех балахонцев, Щепетильников обошел врага, окружил его и быстрым натиском взял его в плен вместе с солодом и солью.

Это была еще первая добыча магистрата. Понятно, что Наум Козьмин был встречен в магистрате с немалым торжеством и немедленно сдан за руки земской тюрьмы сторожам, для содержания в одной тюрьме без выпуска. Козьмин, так неожиданно попавший с базара за решетку, конечно, подчинился своей участи с тем фатализмом, с каким привык подчиняться подобным невздам русский человек, в особенности же русский человек доброго старого времени, когда, например, его, Козьмина, могли продать с публичного

торгу как движимое имущество. Очень может быть, что дело и получило бы этот натуральный по обстоятельствам исход и Козьмин пошел бы в продажу для уплаты Трофиму Иевлеву хотя бы одной только рекамбии, если бы противная сторона не изобрела такого способа, который заставил магистрат поскорее отказаться от своей добычи.

Попав за решетку, Козьмин мог бы, конечно, совершенно успокоиться, если бы не одно обстоятельство: на руках у него остались хозяйские солод и соль. Мысль, что его хозяйка тщетно ожидает теперь этих припасов, доставляла верному холопу великое огорчение, и поэтому, увидя в окно проходившего мимо балахонца посадского человека Михаила Оголихина, он подозвал его и поведал ему свое рабье горе.

Михайло Оголихин был именно такой человек, какого нужно было Козьмину в данную минуту; дело было не только в том, чтобы найти сочувствие к заточению хозяйского солода, нужна еще была храбрость, чтобы пойти против магистрата и проникнуть с вестью во враждебный лагерь. А к этому имен-

но, то есть к учинению магистрату всякой противности, был во всякое время охоч Михайло Оголихин.

У него с магистратом были старые и весьма неприятные счеты. Начиная с горькой жалобницы подканцеляриста Попова, которого Оголихин называл «здешняго града посадских людей разорителем», в архиве сохранилось немало дел, с перечислением многих того Оголихина великих продерзостей: однажды, во время собрания купечества, схватя составленный купечеством приговор, Оголихин его сверху донизу разодрал «и в том числе ея императорскаго величества в титуле букву (в) разодрал же». Такая продерзость в те времена «касалась уже важности» и потому Михаила Оголихина, по доношению магистрата, требовали для исследования в высшие команды. Чем кончилось это исследование — неизвестно. Известно только, что «знатный купец» в конце 1740-х годов, в описываемое время он уже был разорен, озлоблен и имел свое кормление от красильного мастерства; из-за этого мастерства, вдобавок, он вступал в неоднократные бои с городецкими и иными

окрестными крестьянами, которые тоже занимались, вопреки указам, красильным делом в городе Балахне... Понятно, что такой воинственный образ жизни еще более способствовал развитию строптивости и духа противления.

Когда Козьмин кликнул его в окошко, то Оголихин тотчас же взял у него солод и соль, отправился с ними к Колокольцову, бесстрашно прошел мимо стражи во двор и не преминул рассказать обо всем, постигшем верного холопа. После этого он, вдобавок, небрежа магистратским гневом, вернулся обратно и успокоил узника известием, что солод и соль попали, наконец, в хозяйские руки.

IX

А в доме Колокольцова закипела работа. Как некогда князь Курбский, хозяин знаменитого Васьки Шибанова, так теперь хозяева злополучного Козьмина гораздо больше думали о том, как бы покрепче насолить магистрату, чем об участи верного холопа. Из воеводской канцелярии был позван опытный пищик, который тотчас же сочинил, от имени

Марьи Дмитриевны Колокольной, весьма затейное явочное челобитье, присланное воеводою на другой день в магистрат.

«От брата-де родного Колокольной жены, прапорщика Козлова, отдан ей был на время крестьянин, который и находился при доме ея во услужении...»

Уже из этих первых слов бумаги, упавшей в магистрат, как разрывная бомба из осажденной крепости, — и бургомистр, и оба ратмана, и сам законник Победимцов тотчас же усмотрели, что они дали маху: захватили собственность прапорщика, совсем не причастного делу. Но дальше было нечто, от чего лица присутствующих вытянулись еще более.

«...А ныне, продолжала Марья Дмитриевна, со означенным человеком послано было собственных ея денег для розмену к здешнему купечеству на мелкия деньги пять десятирублевых имперялов, который-де (то есть Козьмин) и посейчас с теми деньгами в дом не бывал и где находитца, о том она, Колокольная, неизвестна». Коварный документ кончается невинною просьбою: «дабы о сыску оногo двороваго брата ея человека и о публи-

ковании о том всенародно в балахонский магистрат сообщить».

Получив такую неожиданную «промеморию», магистрат увидел, что дело его и на сей раз проиграно. Правда, — злополучный Козьмин, столь неблагодарно оклеветанный хозяйкою в похищении якобы знатной суммы, будучи того ж часу позван к допросу, просто-душно объяснил, что он подлинно дан госпоже своей от ее брата, «а на базар не для чего другого послан был, как для взятия солоду и от казенной продажи соли», после чего прилучился еще быть на базаре, как на него нагрянули Щепетильников стоварыщи и увели в магистрат.

Таким образом, показание Колокольцовой насчет имперялов не подтвердилось. Но магистрату было хорошо известно, что значит в таком случае показание холопа. При том же дальнейшие расспросы Козьмину будут производиться «по ведомству его, в воеводской канцелярии», а магистрату было также известно, какие показания можно порой добыть от человека при умелом «устрачивании», которое тогда еще было «за обычай». Понятно,

что в этом случае бедняге Козьмину не осталось бы ничего более, как показать, что-де «те монеты взяты у него при задержании того балахонского магистрата присутствующими». Правда, это была бы ложь... Но не от всех же можно ждать шибановской твердости, да к тому же интересы раба совпали бы в этом случае с интересами господина...

По всем этим соображениям, Козьмин тотчас же отправлен с розсыльщиком в воеводскую канцелярию, где и сдан под расписку...

Х

Бывают нравственные победы, которые меняют сразу взаимное отношение воюющих сторон. Такую именно победу одержал теперь титулярный советник Николай Потапович Колокольцов над купеческим магистратом. После этого эпизода действия магистрата идут нерешительно и вяло. Новая инструкция розсыльщикам, новые бумаги в воеводскую канцелярию, и из Нижнего новый «репремант»: «а ежели и затем произойдет упущение, то уже неотменно взыскано быть имеет с самих того магистрата присутствующих».

Однако до июля 1771 года деньги с воевод-

ского товарища оставались не взысканы. Дальше дело сильно попорчено сыростью и таким образом продолжение этой борьбы магистратского правосудия с советницкою надменностью погружено во мрак вечного забвения. Впрочем, одна, хотя и сильно истлевшая страница, кидает небольшой еще луч света. Тут видим мы воюющие стороны в следующем положении: правящий полицейскую должность с посадскими людьми вновь нерешительно подступают к дому... «но оного Колокольцова ворота содержатца завсегда заперты... Напоследок же, вышед из полат на крылец и паки не впуская их, балахонцев, на двор, ответствовал его благородие с немалым криком, что он в магистрат иттить не должен, и устрашивал их, балахонцев, бить дубьем. За каковыми его криком и устрачиванием ко взятию ево, Колокольцова, отважитца никак невозможно».

Ветхая страница рассыпается в руках, последний луч угасает и фигура дерзновенного воеводского товарища на крыльце, вместе с робкою кучкою защитников магистратского авторитета, тонут безвозвратно в тумане ми-

нувшего...

Мир твоим теням, доброе старое время!

1891

«Божий городок»*

Из дорожного альбома

I

Ранним летним утром с котомкой за плечами я вышел из Арзамаса...

На юго-восток от города передо мной расстилалась отлогая, зеленая гора. Белая церковка городского кладбища приветливо и кротко глядела из-за густо разросшихся над могилами деревьев, а в стороне от кладбища, по скату горы, кое-где изрытой ямами, белели несколько пятнышек... Подойдя поближе, я увидел четыре крохотных домика из старинного кирпича, с двухскатными крышами, сильно обомшелыми и поросшими лишаями... На верхушках странных, почти игрушечных хижинок стоят кресты, а в стены вделаны темные доски икон, на которых лики давно уже свеяны ветрами и смыты дождями...

Мне говорили в Арзамасе, что сравнительно еще недавно отлогость горы была густо покрыта этими странными домиками, точно целый город карликов раскинулся против настоящего города, с его огромным собором, стенами, колокольнями монастырей и куполами церквей... Народ звал это место «божиим городком», а теперь, когда городок постепенно исчез, — остатки зовет «боживми городами»...

Каждый год, в четверг седьмой недели после пасхи, духовенство отправляется на эту гору, и там, среди загадочных домиков, вьется в воздухе синий кадильный дым, разносится запах ладана и зауспокойное клирное пение: «Помяни, господи, убиенных рабов твоих и от неведомой смерти умерших, их же имена ты, господи, веси!..» О ком молятся, кому поют вечную память, чьи грешные души жадно внимают молебному пению, — об этом не знает ни вздыхающий кругом и молящийся народ, ни даже арзамасский клир, для которого эта молитва среди исчезающего «городка» есть исконный обычай, завещание седой старины.

А седая старина была печальна и покрыта

кровью...

Через Арзамас шел когда-то рубеж; город нес сторожевую службу... Любой вихрь, взметавший пыль в далеких вольных степях, уже вызывал тревогу и волнение. Одни смотрели на степь со страхом, другие — с смутными надеждами... И всякая искра, занесенная сюда волжским ветром, находила достаточно горючего материала — в насилии, в неправде, в порабощении и в тяжких страданиях... На этой почве и возник «божий город»...

Первый, кажется, положил ему основание в 1708 году Кондрашка Булавин, разославший с вольного Дона свои «прелестные письма». «Атаманы-молодцы, дорожные охотнички, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто похочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять по чисту полю, красно походить, сладко попить да поест, на добрых конях поездить, то приезжайте на черные вершины самарские...» Так писал крамольный атаман к донцам и на Украину, и в Сечь к запорожцам. А в «низовые и верховые города, начальным добрым людям,

также в села и деревни» летели с Дону другие речи. В длинных и деловитых, серьезно и с большим политическим смыслом составленных письмах излагались все притеснения помещиков и подьячих, вся волокита и неправда, от которых издавна стонала земля. И замечательно, что в этих письмах говорилось о том же, о чем говорили и многие царские указы... Хуже всего, конечно, было то, что все это была горькая правда... Только не суждено было атаманам, стоявшим за старину и налетавшим на добрых конях из окраинных степей, вывести на Руси злое семя!

А истомленная земля ждала и колыхалась... Пылали пожары, лилась кровь, чинилась жестокая народная расправа, а из Москвы двигались рати и слышалось грозное слово Петра: «Ходить по городам и деревням, которые пристают к воровству, и оные жечь без остатку, а людей рубить, а заводчиков на колеса и колья... Ибо сия сарынь, кроме жесточи, не может унята быть...»

И в жесточи, очевидно, недостатка не было, так что и сам грозный царь после усмирения пишет Долгорукому, чтобы он не мстил

за смерть убитого Булавиным брата, помня, что многие пристали к бунту по неразумию или от утеснений... Бунтовщиков свозили к Арзамасу. По дорогам стояли виселицы, колья и колеса, и город во время одной из подобных расправ, по словам очевидца-современника, приведенным у Соловьева, — походил на ад: более недели кругом стояли стоны нестерпимых мучений, и хищные птицы носились над местом казни...

А вслед за тем на горе забелели первые домики божьего городка...

Потом к костям булавинцев присоединились кости несчастных ссыльных стрельцов, что еще во времена Петра самовольно и в противность царскому указу покинули Великие Луки, и крепко за свою правду стояли против царского воеводы Шеина с большим полком, и бились огненным и рукопашным боем, чтобы грудью проложить себе путь в Москву, в стрелецкие слободы, ко дворам, к женам и детишкам. После упорного боя воевода одолел; и царскими послушниками наполнились арзамасские тюрьмы и караулы. Зачинщиков тогда же показали; но царь,

вернувшись из-за границы, остался недоволен слабостью и поноворкою Шеина. Из Москвы наехал в Арзамас царский стольник, и в городе не хватило для новых пыток и казней заплечных мастеров, которых стольник требовал нарочито из Москвы...

И к божьему городу прибавились новые дома...

Так, залитая кровью бунтов и казней, замирала детская наивная мечта народа о вольной жизни, связанная с крестом и бороною, с казацкими кругами, с смутными воспоминаниями о давно отживших формах... Замирала до новых судорожных вспышек, в ожидании великих дней свободы... А старое бесправие и неволя смыкались еще теснее, и под ними копилось и закипало опять вековое страдание... И память народа невольно возвращалась к тем, кто обещал свободу и кто запечатлел эти обещания и своей, и чужой кровью...

И после каждого движения, точно камни, выкидываемые на отмель бурным приливом, вырастали еще несколько «божиих домов» на скате арзамасской горы. Прибавилось их немало и после Пугачева... И кто-то тут долго

плакал, и припадал к земле, и орошал позорные могилы своими горячими, любящими слезами... Потом умирали и эти плакавшие люди; но народ все-таки поддерживал дома божьего городка, и чьи-то безвестные руки приносили сюда иконы... Ветер и солнце, дожди и бури стирали на иконах лики, оставляя одни темные доски, на которых ничего уже не было видно. Но над горой оставалось чувство народа, связанное с давно исчезнувшими из памяти событиями... чувство грустного недоумения, не смеющего произнести суд и предоставляющего этот суд богу... «Для души» люди поновляли развалившиеся крыши, приносили иконы; и до сих пор над горой звучит молитва о всех убиенных и неведомою смертью умерших, чьи имена ты, господи, веши и чьи дела истомленная земля отдает на суд небу...

II

Было тихое, ясное утро, когда я подходил к остаткам божьего городка. Какая-то арзамасская мещанка гнала корову, которую, повидимому, проискала всю ночь, и теперь машинально крестилась на крест одного из божьих

домов... Прошли мимо двое рабочих, с черными глазами, загорелыми лицами и резкими движениями... Они с любопытством посмотрели на мою странническую фигуру и остановились в раздумье, заметив мое внимание к гробницам... Они исконные арзамасцы, скорняки-кошатники; дело их идет плохо, хоть брось, и они думают, что когда-то в старинные времена было, пожалуй, лучше. О божем городке знают только, что здесь хоронят умерших «незапною или дурною смертью». Прежде домов было много больше...

Теперь их осталось только четыре. Три совсем крохотные, меньше человеческого роста, один значительно больше, что-то вроде часовенки с незапертой дверью, позволяющей войти внутрь. На пороге сидел старый дед, с посошком и котомкой, и перевязывал оборку лаптя.

— Здравствуй, дедушка.

— Здорово, сынок. Куда путь держишь?

— В Саров.

— Эвона — дорога-те! На мост, да на слободу.

— Знаю, дедушка. Я нарочно свернул — по-

глядеть на божии домаы.

— Погляди, что ж. И помолиться этто гоже. Божье место, угодное...

— А кто здесь похоронен, не знаешь ли?

— И-и, сынок... Лежит здесь народу... всякого звания... сила. Один Салтыков, помещик, сколько душ загубил... Не приведи господи! Бывало, — говорили старые люди, — едет купец от Макарья, доехал до Арзамасу — служит молебен. Теперь, бает, слава-те господи, почитай дома. А на заре выедет из городу неопасно, на мосту его барин Салтыков с челядью и прикончат... Кинут в Тёшу, а через день, через два всплывут тела, — людишки-те поймают и похоронят вот тут... А то и сами салтыковские, дурачки, сволокут ночным делом: лежите, мол, до суда господня...

Мне приходилось уже слышать фамилию этого Салтыкова, а старинные дела нижегородского архива хранят память о самых мрачных подвигах этого дворянского рода... Один из них известен и в истории Пугачевского бунта. Когда в народе пронеслась весть, что Петр Федорович объявился и идет на царство, салтыковские крепостные подумали, что те-

перь пришел уже конец злодействам и разбоям их барина. Собравшись миром, они захватили его, связали, положили в телегу и повезли в «царский лагерь». Но, — говорится в печатных известиях об этом эпизоде, — господь услышал молитву невинной жертвы, и, вместо полчищ самозванца, злодеи наткнулись на отряд Михельсона. Невинная жертва была тотчас же освобождена, а простодушные злодеи понесли должное наказание... И кости их присоединились, вероятно, к костям булавиццев и стрельцов и жертв того же Салтыкова. И все вместе лежат — до божьего суда над земными делами!..

— Да, вон она, слобода-те, — сказал дед, подымаясь на ноги и указывая рукой на Выездную слободу, курившуюся в дыму и в утреннем тумане за Тёшей. — Что станешь делать! Могутный барин был, видно, сильный...

— Так, по-вашему, с этих пор и дома стоят?

— Где с этих пор! Не-ет, много ранее, видно... Как Пугачев ходил, пожалуй, уже стояли.

— А кто такой Пугачев?

— Да ведь... кто знает, народ мы темный. Да и дело-то, слышь, давнее. Отец у меня со-

рок лет назад помер, а жил девяносто годов. Считай тепер, много ли годов тому... Отец-то еще, почитай, мальчиком малым был.

— Сто двадцать лет.

— То-то — сто двадцать, поболее, гляди. А что строгий был — это верно. Сейчас в деревню пришел, — подавай господ! И где которых ежели мужички скроют, — и-и! Не приведи бог. Лютой! И тоже почет любил. Это, родитель покойник сказывал, два села были рядом. Из одного-то — догадались миряне, икону подняли, да стречу ему и пошли. Ну, пожаловал тех, наградил и указ дал, стало быть, милостивой манифест. А наши, баэт, не догадались, дурачки, не вышли, так он, слышь, все село и спалил. Строгой был, строгий, нечего сказать, строгий...

Тут дед посмотрел на меня, на цепочку от моих часов, на записную книжку, в которую я захотел записать его слова — и сказал, снимая шапку:

— Прости Христа ради!

— Что ты это, дедушка?

— Темные мы, где нам знать... Может, что не так сказал... А что строгий был, это верно...

И порядок любил!

Кажется, почтенный старец опасался, как бы «господин» не осудил его за фамильярные отзывы о высокой особе Пугачева, любившего порядок и издававшего манифесты...

Мне удалось его успокоить, и мы опять завели беседу о божиих домах. Старик оказался очень сообщительным. Его маленькие живые глазки светились умом, а память хранила много любопытного. И он рассказал мне легенду, связанную с божиим городом и прекрасно выражающую смутное чувство, витающее над этим местом... Чувство прощающего и робкого недоумения, смутного вопроса и молитвы обо всех, кто теперь лежит здесь под землей, а когда-то жил и, может быть, заблуждался, и, может быть, понес должную казнь, а может быть, сложил свою голову за дело, которое следует считать святым и хорошим...

III

Было это во время Степана Тимофеевича Разина. Когда загредел Стенькин гром над широкою русскою землей, — пошалили, говорят, разинские работнички и в Арзамасе. Вы-

бегали они оттуда и дальше на север, загнездились было в Большом Мурашкине, ходили на Лысково и на Макарий. А потом по тем же следам ходили царские воеводы и чинили свою расправу, после расправы разинцев.

Коротки и кровавы были дни молодецкого разгула и мести, коротка и жестока была также и расплата. Настроили заплечные мастера целый лес столбов с перекладинами, и к вечеру народ глядел с горы на гору, как качались, рисуясь на алом небе, темные тела удалых молодцов-атаманов, да и своей арзамасской вольницы, приставшей к кровавому пиру... Видели все это арзамасские люди и колебались смущенною совестью. Вороны летали над угором; садилось за дальними полями кровавое солнце, пугливые сумерки крыли небо, ложились на землю... Кто же это висит там, на горе? Злодеи и напрасные душегубы, проливавшие неповинную кровь, или подлинные защитники народной воли, грозные мстители вековой неправды? Правда, казачья сабля плохо разбирала друзей и врагов, хмельной разгул вольной волюшки лил кровь, как вино; и об атамане Степане Тимо-

Феевиче тоже вспоминали, наверно, не в одной деревне: «Строгой был, строгой, нечего сказать, строгой!» Но его гром, как и настоящая гроза, все-таки чаще попадал в высокие хоромы, обходя низкие избы. И среди пролитой крови было не мало крови повинной. С другой стороны, в застенках лилась далеко не одна только виновная кровь, и тогдашняя расправа иной раз немногим отличалась от разбоя. Мудрено ли, что совесть народа колебалась и смущалась и что больше сожаления вызывал именно тот, кто более страдал в данное время?

И вот, — говорит арзамасское предание, — в эту самую ночь по большой саратовской дороге молодой арзамасский купец гнал во всю мочь усталого коня. Богатый купец, пожалуй, знал лучше других, кого ему следует жалеть и кого ненавидеть, и богатый обоз нелегко было провести без убытку в это беспокойное время. Но он бросил далеко на дороге обоз, товары и пожитки, вскинул пицаль за плечо и мчался один к Арзамасу, узнав от встречных беглецов, что в городе неладно, что в нем уже гуляют Стенькины неласковые ребята. А у

купца в городе старые отец с матерью да молодая любимая жена с первенцем сыном.

В темную полночь, на взмыленном коне выскочил молодец из лесу на поляну, в виду родимого города. Не видать уже над городом зарева пожаров, не слышно набата, город будто весь вымер, только в церквах кое-где робко теплятся огоньки, — знать, у мертвых тел, поставленных для отпевания...

И вдруг конь у купца захрапел и насторожился.

Было это на том самом месте, где теперь стоят божии дома. Видит купец, — стоит на горе странный лес, без листвы, без ветвей, и точно зрелые плоды — висят хорошие молодцы, и черные вороны тяжело машут крыльями и глядят молодцам в мертвые очи. Накипело у купца на сердце от неизвестности и горя, когда он мчался днем и ночью, сменяя уставших коней, а на душе черным камнем лежала кручина... Осадил он коня, привстал на стремях и изо всей силы хлестнул плетью ближайшее мертвое тело... Тело закачалось, лязгнула цепь, и вороны поднялись, тяжело взмахивая крыльями...

И говорит старое арзамасское, предание, что свершилось в ту минуту страшное чудо. Со всех виселиц, и с колес, и с окровавленных кольев черною сетью взвились вороны, как темная туча. Потом, лязгая цепями, сорвались казненные с петель и крючьев. Испуганный конь помчал молодца с отлогой горы, пролетел по лугам, перемахнул через ручей и, напрягая последние силы, принес в город... И все время, точно осенние листья в непогоду, вихрем неслись за ним тени казненных, и мертвые очи горели огнями, и руки, закованные в цепи, тянулись к нему с проклятьями, и мертвые голоса плакали, жаловались и проклинали.

Понял тогда купец, что не ему судить тех, кто стоит уже перед другим судом, слагая там и свои и чужие неправды, и свои и чужие обиды, и свою и чужую пролитую кровь. И дал он в ту страшную минуту крепкий обет: схоронить всех казненных в общей могиле, воздвигнуть над ними скудельницу и ежегодно дарить грешные души молебным пением...

С этих будто пор и повелись в Арзамасе божии дома. С этих пор, продолжая стародав-

ний обычай, поет над безвестными могилами клир, с этих пор не переводятся в божиих домах неведомо кем приносимые иконы.

IV

Мы вошли в часовню. Вдоль ее стен приделаны полки, а у восточной стены целый киот с распятием и иконами... Мрачные, темные лики, старые доски, усекновенные главы, распятия. Как будто смутное чувство простодушных приносителей этих икон подсказывает им этот подбор символов мучения, страдания и казней. Но особенно поразила меня одна, в которой, по странному вдохновению неведомого художника, сосредоточенно выразилось все значение этого печального места, проникнутого и печалью, и прощением, и надеждой. Икона, повидимому, не стара или подновлена и изображена у подножия распятия. Волею или бессознательно чья-то наивная кисть с грубоватою силою собрала в одно место орудия мучений и пыток. На полукруглом бугре темнеет отрубленная кисть руки с сжатыми пальцами. Большие гвозди лежат рядом с нею; молоток и клещи висят просто на воздухе. Затем обрывки цепи, позорный столб с

привязанными к нему пучками розог и плетью... все это рисуется на фоне бледных, неясно клубящихся туч. Но откуда-то с вышины уже блестит слабый луч, разорвавший облака, скользнувший среди туманов, как отблеск далекой надежды. И будто для того, чтобы яснее подчеркнуть свою мысль, художник нарисовал петуха, приветствующего свет. На вершине позорного столба вещая птица уже трепещет крыльями и с разинутым клювом, видимо, кличет зарю...

Тихо, в глубоком молчании мы вышли из часовни. И хотя в ней не было темно, но мне и — судя по облегченному вздоху моих собеседников, — не мне одному показалось, что из-за этой низкой дверки мы шагнули из глубокого мрака на свет ясного дня. Прямо передо мной маленькие крупчатки, точно живые, тихо махали своими изящными крыльями; церкви и монастыри Арзамаса, точно кружево, белели на соседней горе. Выездная слобода с напольною церковью красиво гляделись в Тёшу...

— Э-эх, ты, господи, батюшка! — глубоко и протяжно вздохнул один из двух субъектов,

работающих «по кошачьей части». Что он хотел сказать этим вздохом, — я не знаю. То ли, что и теперь им приходится трудно, хоть брось... Или то, что как ни трудно, а все-таки лучше жить нынешним днем, чем этой старинною, мрачною ночью... Мне казалось, что скорее — последнее.

Мы распрощались.

1894

Отголоски политических переворотов в уездном городе XVIII века*

Из балахонской старины

I

17 октября 1740 года умерла «блаженныя и вечныя славы достойныя памяти» императрица Анна Иоанновна. На престол вступил младенец государь Иоанн, во все концы России были посланы указы, и в числе прочих уездный город Балахонок тоже принял присягу Иоанну и регенту, пресветлейшему герцогу Курляндскому. Затем жизнь городка

потекла своим чередом. Балахонцы занимались своим делом, строили суда, производили на своем усолье варение соли немалого числа, которую отправляли на судах в разные города и села, судились в ратушах и у воевод, посягали в брак и замужество, плодились и умирали, мало тревожимые новыми политическими бурями, которые происходили вверху.

В течение кратковременного царствования Иоанна была выпущена монета и печатные листы с его именем и портретом, а может быть (точно не знаю), с именем и портретом регентши. От Балахны до Петербурга не близко, особенно если принять в соображение тогдашние пути сообщения и медленность торговых сношений. Монета нового образца едва ли успела, выйдя в Петербурге, достигнуть до Балахонска, как уже совершился при помощи лейб-кампанцев новый переворот, и во все концы России опять поскакали курьеры, «попы разных церквей» в Балахне со причетом пели благодарственные молебны, а посадские и другие разного звания вольные люди приносили новую присягу. И опять гор. Ба-

лахонск на берегу Волги зажил прежнюю свою жизнь, готовясь ж новой зимней выварке соли на варницах, сводя счеты по летним наемкам и становя суда на зимовки. Бургомистры и ратманы, подьячие, канцеляристы и пищики с шести часов утра собирались в присутствие, и в застенках от утренней зари раздавались стоны и записывались расспросные и пыточные речи...

Судьба брауншвейгской фамилии совершалась известной печальной чередой. Добродушная, по-тогдашнему, и счастливая Елизавета имела сначала намерение отпустить «фамилию» за границу, но ее запугали, и доброе побуждение осталось неосуществленным. Потом заговор Турчанинова и громкое дело Лопухиных вселили в Елизавету почти суеверный ужас перед именем Иванушки, и она ссылала «фамилию» все дальше и дальше. Сначала их поместили в Дюнамюнде, потом перевели в Ранненбург в 1744 и в том же году повезли в Архангельск. В октябре несчастная Анна Леопольдовна глядела на холодные льдины, угрюмо сшибавшиеся у беломорского берега и загородившие дорогу в Соловец-

кий монастырь, а затем, по представлению Корфа, фамилия оставлена в Холмогорах под строгим, мелочным, порой добродушным, порой бесчеловечным досмотром приставов. Корфа сменил Гурьев, Гурьева — капитан Вымдонский, последнего — Миллер, который писал, между прочим, своему начальнику: «г. капитан вам напишет, что я морю без кофею *известных персон*»... (Соловьев).

Пока, таким образом, для несчастной фамилии весь мир замкнулся тесным холмогорским горизонтом или даже стенами бывшего архиерейского дома, а вопрос о кофе отмечал в ту или другую сторону перемены в их политическом положении, — в военных кружках, привыкших смотреть на себя, как на творцов переворота, продолжало кое-где тлеть глухое брожение неудовлетворенных честолюбий, и имя бедного Иванушки от времени до времени пробегало, как искорка. За Турчаниновым последовал заговор Лопухиных, и Елизавета, испуганная, оскорбленная, как царица и как женщина, — проявила по отношению к замешанным несвойственную ей до тех пор жестокость. — Пытка, плеть, отрезание языка...

Красавицу Ягужинскую-Бестужеву, обнаженную до пояса, палач держал на себе за руки, и народ смотрел, как из-под плети брызжет кровь великосветской львицы...

Все это, разумеется, совершалось в центрах, у вершин политической жизни. Правда, и в остальной России, особенно на окраинах, среди казачества и вольницы уже и в то время вставали от времени до времени неясные еще, мимолетные призраки самозванства, которому суждено было впоследствии разразиться такой страшной грозой над всею Русью. Однако можно сказать с полной уверенностью, что имя Иоанна Антоновича из брауншвейгской фамилий играло здесь меньшую роль, чем другие. Тем не менее, было бы ошибкой думать, что «там, в глубине России», все эти перевороты проходили бесследно и что глухие городишки, а порой и села не имели своих жертв политических перемен и событий. Правда, ни Турчанинов, ни Лопухины не могли иметь в каком-нибудь гор. Балахонске ни сообщников, ни связей. Однако и в город Балахонск приходили манифесты от имени Иванушки и регентов и привозились мо-

неты, — которые потом отбирались[89]; и в гор. Балахонске давалась присяга, которая потом ломалась; и в городе Балахонске происходило известное движение совести, которое вызывали толки в убогих хижинах со слюдяными окнами, на барках, тихо плывущих по Волге, на усолье за вываркою соли... Приходили и в город Балахонск из Петербурга купецкие и торговые люди, подрядчики казенных работ или поставщики в петербургские магазины казенного провианта и соли, записные кирпичики и лопатники, которых наряжали и посылали на казенные работы. А через Нижний, через верховые и низовые города, где десятками работали балахонские посадские люди, тянулись команды солдат и офицеров, сопровождавших секретных колодников, с исполосованными спинами, клейменных, с урезанными языками... И за всем этим, точно невидимая зараза за поездом чумных мертвецов, тянулся целый хвост разговоров и суждений, простодушных и опасных, к которым тогдашнее петербургское правительство, по жестокой традиции конца удельного периода и татарщины, относилось необыкновенно

ревниво и чутко. А гербовые листы и монета, несмотря на публикации, продолжали тоже ползти по России все дальше и дальше, — и с каждым листом, с каждым рублем, отмеченным именем павшего правительства, связана была смертельная, роковая, чисто стихийная опасность. И кто знает, если сосчитать после любого переворота число его жертв в губернских, уездных и «правинциальных» городах, жертв бессознательных, простодушных, неведомых и не ведавших, за что именно они погибают, — то не померкнут ли перед этой необъятной массой разбитых живней, маленьких, незаметных и безвестных, яркие драмы более видных деятелей политической жизни, отмеченных историками.

II

Две из таких почти стихийных драм, служащих лишь запоздалым[90] отголоском в маленьком городе крупного политического переворота, уцелели случайно в делах балахонского городского магистрата, и теперь я предлагаю их вниманию читателя.

Как известно, в гор. Балахне еще в настоящем столетии действовали соляные варницы,

от которых теперь, на бывшем усолье, уцелела лишь одна варница да остатки нескольких рассольных труб, с высокими столбами, окранными железом и производящими странное впечатление среди пустыря, изрытого ямами и покрытого буграми... Говорят, выварка соли начата еще предприимчивыми новгородцами, поселившимися здесь после разгрома новгородского веча, и долгое время балахонское усолье играло видную роль в промышленной жизни Поволжья. Впоследствии пермская и эльтонская соль вытесняла балахонскую из более отдаленных мест, но ближайшие города и села: Юрьевец, Семенов, Лух, Галич получали соль исключительно из Балахны... У соляной продажи в этом городе сложилась целая своеобразная организация, состоявшая из соляного головы, целовальников и ларечных, по выбору из купечества городов Нижнего, Арзамаса, Юрьевца, которые, сменяя друг друга, жили в Балахне «по присяжной должности», принимали соль от промышленников в «важный анбар» и отпускали ее «в кулевою» торговцам и «в розничную продажу» — обывателям.

Доверие к личной честности было в доброе старое время очень незначительно и потому соляная торговля, составлявшая монополию правительства, обставлялась самыми строгими и мелочными правилами, почти обрядами. Между прочим, в каждом амбаре ставился запертый и запечатанный ящик, с небольшим отверстием, в которое ларечные и целовальники обязаны были опускать получаемые за соль деньги тотчас же, «без всякого времени продолжения, под страхом за неисполнение указного истязания». Такие же ящики давались тем из целовальников, которые отправлялись для соляной продажи в Городец и Семенов. Раз в месяц все они приводились в Балахну, где один из ратманов магистрата, обще с головой соляной продажи, снимал печати и производил «высыпку» денег, сверяя их с составляемой ежемесячно «высыпочной ведомостью», в которой голова стоварыщи писал, «коликое число надлежит за принятую соль в прошедшем месяце высыпать денежной казны».

3 октября 1751 года таким же порядком были представлены три денежных ящика, из ко-

их ратманом Рукавишниковым обще с головой Вольяшниковым и произведена «высыпка», которая, как значится в составленном по этому случаю протоколе, — с высыпочною ведомостью явилась во всем сходственна. Только у арзамасца Степана Павлова, продававшего соль в Городце, по рассмотрении денежной казны, явилась монета, которую ратман Рукавишников в своем донесении магистрату аттестует с зловещей краткостью: «в числе тысячи двенатцети рублев двенатцати копеек счестью явился *один рублевой манет известной персоны*». Хотя дальше в деле нигде нет указания на то, что это за персона, однако, кажется, нельзя сомневаться, что злополучный арзамасец принял от продавца и «без всякого времени промедления» опустил в ящик один из рублевиков, выпущенных в короткое царствование злополучного Иоанна Антоновича. И вот, нечаянно-негаданно, мрачная судьба царевича, точно зараза, через «рублевой манет» передается арзамасцу Степану Павлову и разбивает его жизнь.

Без всякого сомнения, среди членов магистрата, среди ларечных и целовальников, ви-

девших внезапное появление грозного «рублеваго манета», не было ни одного человека, который мог бы вывести из этого заключение, что арзамасец Степан Павлов в какой бы то ни было мере првчастен к заговору и желает восстановления брауншвейгской фамилии на российском престоле. И однако, от самых букв старинного дела, отмечающих появление «манета», повидимому, веет каким-то мистическим ужасом, и воображение невольно рисует оторопелость, испуг и пустоту, внезапно окружившую несчастного Павлова, который, быть может, мечтал уже о скором возвращении в дом свой, к жене и детям. Несмотря на то, что все, решительно все признавали его совершенно невинным, — все также смотрели на него, как на уличенного и приличившегося к «некоторой тайности», поступавшего отныне в распоряжение стихийной силы, состоявшей из бумажных указов, высших команд и из орудий «разспроса» под пристрастием... И всякий, вероятно, считал себя несчастным из-за того, что он еще недавно имел сношения с обреченным человеком — и таким образом сам рискует прили-

читься к тайности, жестокой, бессмысленной и бездушной, как стихия...

Степана Павлова она захватывает тотчас же руками людей, убежденных в его невинности. Магистрат составляет определение, коим прежде всего, для соблюдения ее величества казенного интересу, надлежит за «явльшийся рублевой манет» известной персоны взыскать с Павлова другую ходячую монету по силе указов. «А оного целовальника и тот манет при доношении отослать внижегородский губернский магистрат в немедленном времени», для чего он отдается магистратскому «рассыльщику» Федору Ряхину стоварыщем.

Все дело, из которого мы извлекаем этот эпизод, велось с какой-то торопливою краткостью, и поэтому в нем не сохранилось копии с инструкции, которою снабжены были Федор Ряхин стоварыщем, препровождавшие в Нижний-Новгород злополучного арзамасца. Однако из многих других дел того же рода мы легко можем восстановить эту инструкцию, которая стремилась внушить розсыльщикам понятие о важности возложенного на них поручения. «Понеже арзамасец а городецкой со-

ляной продажи целовальник Степан Павлов приличился к секретному делу, — того ради предписывается тебе Федору Ряхину стоварыщем учинить следующее: 1) взяв запечатанный пакет и при нем онаго Степана Павлова ехать вам в Нижний и представить оной пакет и показанного Павлова в губернский магистрат в самой скорости и в приеме требовать росписку; 2) будучи при той присяжной должности никому никаких обид и налогов ни под каким предлогом не чинить и взяткам не касатца под опасением жесточайшаго по указом истязания. 3) А ежели что при том исполнении в государственных делах подлежать будет тайности, оного отнюдь в партикулярных письмах не писать, ниже к тому, от кого отправлены, кроме настоящих релящей... А ежели в чем будет вашему делу от кого препятствие, то писать... токмо упоминая о врученном вам генерально...»

Интересно, что между появлением «манета» и отправлением Павлова в Нижний все-таки проходят три дня. Очень может быть, что в это время магистрат еще колебался и члены его совещались о том, — нельзя ли спа-

сти невинно погибающего человека, нельзя ли скрыть «явльшийся макет» и ограничиться заменой его другою ходячею монетою без огласки.

Но — таково уже свойство этих дел, что остановить их всякий «имеет опасность», так же как оставить в доме чумного больного. Магистрат, вероятно, чувствовал, что слух о «манете» уже разнесся и если бы члены присутствия оставили дело без последствий, «манет», как непохороненный мертвец, постучится в их собственные двери, потребует себе новые жертвы. И вот седьмого числа розсыльщик Федор Ряхин отдает Павлова в Нижнем губернского магистрата копеисту Луковникову под росписку. Губернский магистрат, в свою очередь, отправляет его в губернскую канцелярию, а через месяц в Балахне становятся известны и первые результаты дела. Оказалось, что в губернской канцелярии Степан Павлов «в приеме одного манета с патретом известной персоны допрашиван, токмо-де в *том умыслу от него никакова не оказалось*. Однако... по резолюции оной канцелярии ему, Павлову, за неосмотрительный при-

ем в казну показанного рублевика спатретом известной персоны в той канцелярии учинено наказание *бит плетьми* и по наказании одного же октября 28 дня прислан при промерии в нижегородский магистрат *по прежнему*. Нижегородский же магистрат, тоже по прежнему, посылает его к соляной продаже, продолжать опасное служение.

«По прежнему» — это значит без дальнейших последствий. «Бит в канцелярии» (а не на торгу) — это значило, что наказание не имело публичного характера, произведено, так сказать, келейно, не делало Павлова шельмованным, подозрительным, «публичным» человеком, которого нельзя было бы приставить к дальнейшему служению, а следовало сдать в рекруты или отослать за общество в крепостные работы. Таким образом, в этом удивительном постановлении, которое так поражает нас теперь при чтении этих старых страниц, следует видеть, пожалуй, черты известной снисходительности и даже можно думать, что в губернской канцелярии хотели спасти и выгородить арзамасца Павлова, — плетьми защитить его от худшей грозы выс-

ших команд, сохранить обществу человека для житья и служения по прежнему.

Но «по прежнему» арзамасцу Павлову быть уже не доводилось. Машина, беспощадная и ужасная, была уже в полном ходу, от губернской канцелярии и магистрата бумаги с изложением дела летели все выше, и чем дальше от живого человека, от знакомого арзамасца Павлова, еще недавно жившего, как и все, в среде своих ближних; — тем отвлеченнее и беспощаднее становились решения. Каждая инстанция в таких случаях смотрела только на указы и очищала себя на бумаге от «поноровки» и послабления, которые, по навивно сильному выражению тогдашних людей, — «могли быть причтены к безвинному нас присутствующих истязанию». И вот, по решению одной из таких инстанций, оказалось, что, выдрав плетью явно безвинного человека и отдав его в Балахну по прежнему, — губернская канцелярия поступила еще слабо и не по указам. Монетная контора 16 декабря требует, чтобы оного целовальника Павлова сыскать вторично, опять привезти в Нижний и здесь «отдать на знатныя поруки,

с росписками впредь, с поставкою до указа», так как монетная контора в свою очередь будет еще исследовать, и может быть расспрашивать под пристрастием, и может быть — еще бить плетьюми или кнутом...

Но арзамасец Павлов не стал дожидаться своей участи. Указ получен в Балахне 24 декабря, накануне рождества Христова и, может быть, пользуясь тем, что наступали неприсутственные дни, — магистрат не приступает к немедленному сыску. Справка от соляной продажи дается магистрату лишь в январе месяце, а в это время Вольяшников стоварыщи извещает, что «оной Павлов без ведома их сборщиков бежал из Балахны в дом свой, в город Арзамас, — и в том они сказали сущую правду под опасением законнаго истязания».

Дальше о Павлове ничего уже неизвестно. Бежал ли он в дом свой лишь затем, чтобы в последний раз обнять жену и детей и отдаться во власть бессмысленной и грозной судьбы; или, быть может, ушел совсем, отрекшись от семьи, куда-нибудь в украинные степи, где казаки охотно принимали беспаспортных с темным прошлым. Или присоединился на

Волге к какой-нибудь шайке воровских людей, с которыми стакався чинить воровства и пожоги, церковную татьбу и убивства, пока не был пойман командами и замучен палачами. Или, наконец, — дождался семидесятих годов, когда много без вины виноватых присоединялись к отчаянным людям и отводили свои душеньки, справляя свой пир, кровавый и короткий... Все это вопросы, на которые «дело о рублевом манете» не дает прямых ответов, предоставляя их воображению читателя...

III

Другое дело этого же рода, по-видимому, кончилось не так трагически, но зато начинается очень бурно. На усолье была своя церковь, — «Николая чудотворца, что в варницах», а в той церкви имелся «поп Василей Иванов», человек жизни непорядочной и по часту «обращавшийся в пьянстве». 27 августа 1752 года поп Василей, по-видимому, тоже находился «в пьянственном случае» и «в исходе последняго часа дня пришед ко двору балахонца посадскаго человека Костянкина Андреева Торговкина с рогатиною и притом его

Торговкина и жену ево Агафью Петрову дочь бранил непорядочною бранью и отбивал у избы его окна». Хозяин, Костянкин Торговкин, видя тое брань и окон отбивание, ко оному попу вышел на двор «и стал разговаривать». В результате этого «разговора» оказалось, что рогатина перешла из рук пастыря в руки его духовного чада. Надо думать, что при этом было и еще что-нибудь более для оного попа неприятное, хотя, по словам Торговкина, дело ограничилось тем, что поп Василей «сухватя ево Торговкина за ворот начал было бить, на что он Торговкин едва мог у него попа вырваться. И после того оной поп, еще бранясь всячески ж, пошел в дом свой, а он Торговкин взошел в свою избу».

Здесь, однако, победителя ждал неожиданный сюрприз: на лавке лежал какой-то полулист печатной, неизвестно откуда взявшийся, — «а в какой силе тот печатной поллиста обстоит» — того ни он, Торговкин, ни его семейные знать не могли, понеже все неграмотны. «Однако, признавает он, что тот полулист не иначе, только во время объявленного штурму в избное окно опустил реченный поп

Василей Иванов», — и уж, конечно, не для чего иного, как для причинения ему какого-либо вредительства...

Легко представить себе, что происходило дальше. В избу Торговкина входили соседи, стояли, качали головами, вздыхали, — а в какой силе оной полулист обстоит, — того, конечно, тоже не знали. Знали только, что если после штурму поп, человек грамотный и «знающий» — этот листок подкинул, то уже, конечно, в листе обстоит какая-нибудь особенная сила.

Как ее сделать безвредной, как отвести это попово «наслание»? Когда в поле, на полосе созревающего хлеба появляется неведомо кем сделанная «закрута», то над нею также стоят и качают головами жнецы, но разделать закруту может только человек, знающий «слово». Очевидно, такого знающего человека не было в тот вечер в избе Костянкина Торговкина. Иначе, он бы сказал, что ему, Торговкину, надлежит учинить в немедленном времени. А надлежало учинить следующее: бежать тотчас же во все лопатки в магистрат или, если присутствие кончилось, — к «правлению по-

лицейской должности», где обретались во всякое время выборные из купечества к тому правлению «полицыместер» и его команда, — и объявить извет о явльщемся полулисте прежде, чем поп в свою очередь добежит до воеводской канцелярии или до своего духовного правления. Ибо в соборном уложении главы 21 в статье 8 напечатано ясно: «которые люди приведут в губу татя или разбойника, а те разбойники или тати учнут на тех людей, которые их в губу приведут, говорить разбои или татьбу или иное воровство, — и тому не верить, чтобы всяким людям безстрашно было воров имать и в губу приводить».

Таким образом исход дела зависел от быстроты ног и своевременности заявления. Если бы Торговкин принес свой извет ранее, то Василей Иванов становился тем самым «вором», которого Торговкин привел в губу и коего изветам уже не надлежало верить; наоборот, если извет попа опередил бы заявление Торговкина, то уже никакие его свидетельства не имели силы, дабы тому попу и впредь таких воров имать и в губу приводить было бес-

страшно.

Константин Торговкин сделал большую неосторожность: лист, повидимому, ночевал у него в доме и только на следующее утро он его сволок в магистрат и объявил при словесном извете, сославшись на соседей... Магистрат оной извет принял и лист осмотрел. «Которой по усмотрению того магистрата оказался напечатанной *сыменем известной персоны*». Того же часу Торговкин отдан розсыльщику Макару Смолникову стоварыщи при запечатанном пакете и в крайней скорости отправлен в Нижний, откуда через две недели прислан к следствию в воеводскую канцелярию...

Из этого видно, что поп Василий, вероятно, донес о листе воеводе. Когда? Если того ж дня, — то надо думать, что спина Торговкина до конца его жизни носила следы плетей, как и спина арзамасца Степана Павлова. Из дела, которое было у меня в руках, — окончания не видно. Оно кончается только вызовом свидетелей и депутата от купечества в воеводскую канцелярию. Может быть, однако, на счастье Торговкина, и поп Василей, находившийся в

пьянственном случае, — не успел довести до конца своего вредительного умысла, а дойдя нетвердыми стопами до своего дому, завалился спать и принес извет на следующий день, одновременно с Торговкиным. Во всяком случае был ли Торговкин бит плетьюми, или не был, — но «публичным человеком» и он не сделался; это явствует из того обстоятельства, что через несколько лет он почтен был от балахонского купечества и посадских людей выборной должностью: в 1758 году мы встречаем его имя в разных делах, — в скромном, правда, звании магистратского розсыльщика, которому, почему-то, преимущественно перед другими, отдавались для погребения «неизвестно кому принадлежащая» мертвые тела, повсягодно находившиеся в разных города Балахнинска урочищах, в большом изобилии...

Что касается до другого действующего в этом эпизоде лица, то о нем имеются в дальнейших делах сведения более печального свойства. Поп Василей продолжал обращаться в повседневном пьянстве и однажды, отлучившись из дому вечером, домой на ночь не

вернулся. «Котораго попа Василья дочь его, а бываго посадскаго человека Мотохова вдова Параскева Иванова по улицам и в протчих местах искала напрасно. А на утро вблизи варницы директора Осокина называемой Со-болья, в варничном чану, усмотрила плавающую шляпу. И по признанию той шляпы с прилучавшимися тут балахонцами стали ево по па Василья в том чану искать, котораго багром едва и вытащить могли».

По этому поводу воеводская канцелярия опять вступила в переписку с магистратом: «от полицейской должности, — спрашивал воевода, — в ночные времена обходы бывають ли и для чего таковых непорядков не усмотрено и каких ради притчин находящиеся при варницах чаны, которые состоят самые опасные, — незасыпаны». Впрочем, по учинении надлежащего тому мертвому телу осмотра боевых знаков не явилось. «Кое и похоронено при церкви божии».

И может быть тот же Костянкин Торговкин помогал предавать земле мертвое тело своего бывшего врага и «обносителя».

Колечко*

Каждое поколение относится с сожалением или насмешкой к предшествовавшему.

Фр. Сарсэ.

В 1785 году балахонский мещанин, а серебряных дел мастер, Яснов сделал серебряное колечко. Колечко, надо думать, было сделано с изрядным мастерством, и, вероятно, Яснов имел основание гордиться своим изделием. По крайней мере и он и его сын впоследствии легко могли отличить это колечко, на чьей бы руке оно ни находилось. Однако цена колечку была, по нашему времени, очень невысокая — всего двадцать пять копеек. Как бы то ни было, в один злополучный день мастер Яснов сделал последний удар резца, почистил, оглядел и отдал колечко по принадлежности, не подозревая, что в этой небольшой вещице он выковал несчастье чьей-нибудь жизни.

А между тем колечку суждено было стать

злым талисманом, причинившим впоследствии много хлопот одним, много слез и горя другим.

Впрочем, вначале колечко не имело еще этой таинственной силы, и мы не имеем основания думать, чтобы, по выходе из рук старого Яснова, карьера серебряного колечка представляла что-либо выдающееся. Кто-то носил его, кто-то им щеголял и кто-то, наконец, самым прозаическим образом, снес его в заклад, — дворцово-зауольской волости крестьянской женке, вдове Фекле Ивановой Шумиловой, которая, в своем горьком сиротстве, занималась отдачею небольших денег в рост, под надежные залоги.

Так колечко лежало до времени в хорошей компании разных других предметов украшения и роскоши, коими прабабки нынешних балахонцев прельщали их же прадедушек. Тут были: и шляпка китаешная, и подзышка красная, и чернолапчатая, и кокошник штофный с золотыми галунами, и много других, тому подобных предметов, все той вдове от разных чинов балахонцев и балахонок отданных в минуту нужды под заклад...

Но вот, в одну темную ночь, к горькой вдове наведались неведомые воровские люди, которые, взломав железным ломом ее сундук, утащили оттуда закладное имущество, — и шляпку, и подзышку, и многое другое уволокли воровские люди темною ночью — конечно, не на собственную потребу. Через несколько дней все это очутилось в Нижнем на Почайне и разошлось по свету.

Пошло гулять и роковое колечко, к которому с этих пор прилипла некоторая зараза. Темная ночь, темная работа и руки воровских людей сообщили ему это свойство, заключенное, как таинственная сила, в немой и незримой угрозе, которую деда и отцы наши формулировали очень известной и не потерявшей еще свою силу поговоркой: «от тюрьмы, да от сумы не зарекайся».

Пройдите еще теперь по нижегородскому балчугу, где просвещенной муниципией нашего столетия для порядку выстроены шатры с разными краткими, но выразительными надписями, вроде «здесь обувают и одевают», — и посмотрите, сколько разного старья переходит тут из рук в руки. Знает ли покупа-

ющий, на ком в последний раз было одеяние, которое он с такою гордостью напялил за дешевую цену на свои плечи? Может быть, бывший владелец этого пиджака или этой фуражки уже лежит в сырой могиле, оставив своему неведомому преемнику зародыши своей смертельной болезни, — оспы, дифтерита, чахотки. И владелец, за самую дешевую цену приобретший одеяние, гордо уходит с толкучки, окруженный невидимым облаком смерти... Кто спрашивает об этом и какому русскому человеку внушите вы по этому поводу какие-либо опасения... В животе и смерти, — говорит русский человек, — бог волен. А прошлые века оставили нам и еще другую поговорку: от тюрьмы и сумы не зарекайся.

Кто мог подозревать, что перспектива тюрьмы, позора, горя и слез уже надвигается на сорокалетнюю вдовушку, балахонца посадского человека Чувакова бывшую женку, Наталью Яковлеву, которая, прибыв в Нижний для продажи собственной пестряди, называемой белоглазка, и толкаясь на базаре, остановила восхищенный взгляд на изящном колечке, выкованном Ясновым и теперь сверкав-

шим, между другими предметами, на лотке неведомой продавщицы. Выгодно продав пестрядь белоглазку, щеголиха-вдовушка купила колечко и тотчас же надела его на палец.

Таким образом, колечко, наделенное роковой силой талисмана, вновь вернулось во град Балахну, место своего рождения...

В начале августа, в светлый праздничный день, щеголиха-вдова отправилась, нарядившись предварительно как можно лучше, на обычное гулянье на «называемый городской вал».

Такой вал, наверное, есть и до сих пор или был в недавнее время в любом уездном городке Поволжья. В XVII веке, то есть лет за сто до описываемого события, в Балахне это был настоящий вал, грозно подступавший к самому берегу своими деревянными стенами с башнями, с воротами, со снарядами огненного боя, с караульными, зорко следившими по течению реки, не идет ли татарин, воровской казак или иной неведомый воровской человек на струге, барке или какой лодке. Балахна, как о ней говорит бурлацкая песня, — «стоит,

полы распахни» на самом берегу, плоском и незащищенном. А в те времена стоять так просто на берегу проезжей реки — было опасно.

В половине прошлого века, когда смута междоусобицы уже забывалась, когда татарину постепенно запирали выход с его острова, и давно уже истлели кости удальцов разинской вольницы, — приволжские городки забыли крепкую предосторожность: башни и бойницы, деревянного дела, не поддерживались более, стены растасканы на обывательскую потребу по бревнышку, на валах порастала трава, и степной ветер полыхал ее и выметал пыль. В семидесятых годах, впрочем, не один уже степной ветер, но и ураган Емельки Пугачева свободно врывался, перешагивая рвы и валы таких крепостей.

Как бы то ни было, в половине столетия, вместо грозных валов, имелась уже «называемая городская осыпь», а к восьмидесятым годам рачением купеческого общества осыпь выровнена, через рвы кинуты мостки, посажены молодые деревца, и по праздникам на них сходились балахонские щеголи и щеголихи себя показать и людей посмотреть.

Туда же направилась и сорокалетняя вдовушка.

Что было здесь, по какому случаю встретились на валу вдова Чувакова и молодой мещанин Яснов, сын мастера, выковавшего колечко, что говорил последний, что отвечала ему вдова, — это, конечно, останется тайной, так как магистратские документы не входят в такие нежные подробности. Известно только, что рука вдовушки очутилась в руке молодого посадского ловеласа, что вдова ее у него вырвала, однако не настолько скоро, чтобы Яснов не мог усмотреть на ее пальце хорошо знакомого ему отцовской работы серебряного колечка.

К числу свойств, приписываемых людям доброго старого времени, несомненно, нужно отнести младенческую непосредственность чувства, которое выражалось последовательно и полно. Любовь быстро направлялась к своей конечной цели и, встречая препятствие, тотчас же переходила во враждебные действия. Не этим ли нужно объяснить то обстоятельство, что разговор вдовы с мещанином Ясновым закончился с его стороны зага-

дочным советом, угрозой: «дабы она то колечко берегла и не потеряла».

Можно предполагать, что талисман, уже начавший проявлять свое таинственное значение, жег с этих пор палец вдовы, однако, боясь худшего, «она то кольцо, не чиня никакого укрывательства», хранила дома, хотя на пальцы более уже не надевала.

Что было потом? Угрозы, то, что мы называем ныне «шантаж», может быть успешный, потом сплетни балахнинских кумушек, потом, может быть, чья-нибудь ревность и, наконец, — жена пономаря Преображенской, что на Нижнем посаде, церкви — доводит о колечке до сведения городнической канцелярии.

Десятого августа вдовушку привели к допросу, к городничему Лаврову, который потребовал прежде всего, дабы она то свое покупное кольцо «очистила» (указанием на продавца).

Вдова пыталась было «очистить», но только затянула дело. Оное кольцо купила, ходя в Нижнем по рынку, у немолодых лет того города женщины, которая сказала, что «купи у ме-

ня колечко».

— А она сама купила у кого?

— Оная якобы купила у некоего из бегов собою являвшегося балахонца, имя ему Иван.

«Очистка» была, конечно, ненадежная. Тем не менее, городничий, поступая точно по регламентам и уложению, во-первых, посылает Чувакову под караулом к нижегородскому коменданту. Тот снабжает ее от себя солдатами и шлет под караулом же на рынок, к церкви Иоанна Предтечи, что на Нижнем посаде. Здесь бедная вдовица, сторя со стыда, сопровождаемая солдатами, ходит меж народом, с тоской выглядывая в снующей толпе ту немолдых лет женщину, которая несколько месяцев назад соблазнила ее на покупку рокового колечка. В толпе, конечно, над вдовой острят и смеются, а в тюрмах и кордегардиях... легко представить, что пришлось вынести в тюрмах и кордегардиях женщине, привлекавшей еще взгляды ловеласов на городском валу города Балахны...

Само собой понятно, что оной женки Наталья Чувакова не сыскала, и таким образом первая очистка кончилась неудачно. На нее

ушло, однако, двенадцать дней, и только 22 августа Чувакова, как посадская вдова, препровождена городничим Лавровым «по ведомству» в городской магистрат.

Магистрат опять на точном основании уложения приступает ко второму приему очистки. Позора, испуга и слез, причиненных роковым колечком, оказалось еще для его окончательной очистки недостаточно, и сфера действия этого двадцатипятикопеечного талисмана расширяется: «приписных по явке из бегов всех имяны Иванов сыскав, обстоятельно расспросить», а Чувакова пока опять отослана к Лаврову для содержания под стражей.

Только десять лет прошло с того времени, как над Русью пронеслось ураганом пугачевское движение. Взметнувшись легким снежным облачком из-под копыт первого пугачевского отряда у Бударинского форпоста, — оно затем набралось в грозовую тучу, нависшую вплоть и над нижегородским краем, отделявшим ее от Москвы. До Балахны не доходил ни один пугачевский отряд, и городовому магистрату не пришлось ведать ни одного дела,

непосредственно касавшегося великого бунта. Но зато, если бунт не бывал в Балахне, то Балахна, в лице своих граждан, весьма бывала в бунте. В тех же делах, откуда мы почерпнули эти строки о злключении бедной вдовицы, есть несколько рассказов нескольких балахонцев-судопромышленников о том, как с их судов с криками «ура» скопом бегали рабочие люди, уходя в сборище того государственного злодея и самозванца Емельки Пугачева.

После того, как виселицами, колесами и топором окончательно искоренена «злодейская смута», как официально давно уже царствовал мир и в Петербурге начинали забывать о недавней опасности, пошатнувшаяся «земля» долго еще колебалась и стонала. Правительство видело себя вынужденным издавать указ за указом, коими беглые разного звания люди, избегшие колес, виселиц и топоров и скрывавшиеся, как волки, в низовых плавнях на Дону, в степях и лесах, — призывались возвращаться по домам и приписываться к обществам. При этом записывании происходили разные замешательства, беспо-

рядки и смута. То какой-нибудь помещик ловил на улице беглого своего мужичонку, который оказывался уже не его крепостным, а именитым купцом, приписанным по Всемилоствивейшему манифесту и для него уже недоступным; то опять свободного человека отдавали будто бы «по прежнему», — к какому-нибудь владельцу. До какой степени обширно было это улегавшееся еще через десять лет движение, видно из того, что двадцатипятикопеечное колечко в Балахне призвало таких явившихся только в последнее время из бегов и притом имяны Иванов, приписанных в купечество, целых восемь человек.

Угрюмые, озлобленные, скрывающие про себя тайну своей жизни за целый десяток лет, — Иваны явились перед магистратом и, конечно, ни в чем не признались, — причем их обязали вновь подпискою о явке в магистрат, когда потребны будут... Быть может, не один после этого опять поглядел в лес, вспомнив о голодной воле в низовых местах и на плавнях...

Затем собрано все мещанское общество и произведен был «повальный обыск». Обще-

ство единогласно рекомендовало вдовицу, что она есть поведения доброго и доныне ни в каких подозрениях и пороках не находилась.

Теперь магистрат нашел, что, наконец, все меры для очистки приняты и можно уже приступить к «решительному постановлению».

Пятнадцатого сентября состоялось решение: «оную женку Чувакову по оказательству у нее вышеописанного из прежде пограбленных пожитков перстня и за неочисткой, у кого оной подлинно куплен — отослать в приказ общественного призрения, для зарабатывания того перстня упоминаемой цены 25 коп. в пользу рабочего дому со определенными процентами».

Надо заметить, что прошлое столетие не знало еще приговоров к тюремному заключению в нашем смысле. В тюрьмах томились сотни и тысячи людей, целые годы, даже десятки лет; это были должники, пока не уплатят долгов, воры, разбойники, беглые матросы, солдаты и драгуны, нарушители казенного Ее Величества интересу, — пока не получат должного по законам истязания в виде пле-

тей, батожья или кнута. Дело Чуваковой — первое, в котором работу и заключение в рабочем доме мы встретили в виде наказания в практике балахонских судов. Нет сомнения, что многим приверженцам строгости, сторонникам старого (до введения положения о губерниях) порядка — казалось тогда, что Чувакова понесла еще слишком легкое наказание, что нравы рушатся и «строгости не стало». Не надо забывать, однако, что если нам теперь кажется наивно-жестоким весь этот процесс из-за двадцатипятикопеечного колечка, потребовавший столько бумаги, чернил, слез и горя, — то, без сомнения, и на просвещенном облике нашей современности будущее столетие прочитает тоже не мало наивной жестокости и бесполезного мучительства.

Вскоре, тринадцатого сентября балахонской штатной команды поручик Иштиряков донес рапортом городничему, что содержащаяся в тюрьме под стражею от балахонского магистрата колодница, мещанская вдова Наталья Чувакова... оказалась в тягчайшей болезни, почему и отправить оную никак не можно.

Лукерья Петрова Сорокина, сердобольная балахонская мещанка, взяла злополучную вдовицу под расписку из магистрата к себе в дом для излечения, — после чего — опять тюрьма и рабочий дом...

Тринадцатого октября Чувакова возвращена из приказа общественного призрения (в Нижнем-Новгороде), с сообщением, что оные двадцать пять копеек с узаконенными процентами отработала.

Вот во что обошелся перстенок сорокалетней щеголихе-вдовишке.

А само колечко? О нем ничего в деле не упомянуто, но по тому, что мы знаем из других многих дел, легко догадаться, что к крестьянке Антоновой оно едва ли попало. Надо думать, что оно украсило палец какого-либо «пищика», канцеляриста, повытчика, или одной из их возлюбленных. Тем более, что теперь колечко было уже «очищено» слезами и страданием вдовицы, — да вдобавок пищики и канцеляристы не боялись его таинственной силы, как врачи не боятся заразы.

«Каждое поколение относится с сожалением или насмешкой к предшествующим». Нам

и смешна и жалка вся эта кутерьма, окружившая ничего не стоившее колечко слезами и позором заведомо невинного человека. Но... придут другие поколения, прочитают наши дела — и сколько еще ненужного формализма, сколько еще лишнего горя и слез откроют они под формами нашей собственной жизни!

1896

Пугачевская легенда на Урале*

Одна выписка из следствия оренбургской секретной комиссии об Емельяне Пугачеве начинается так: «Место, где сей изверг на свет произник, есть казачья малороссийская Зимовейская станица; рожден и воспитан, по видимому его злодеянию, так сказать, адским млеком от казака той станицы Ивана Михайлова Пугачева жены Анны Михайловой».

Все современные официальные характеристики Пугачева составлялись в том же канцелярски-проклинательном стиле и рисуют перед нами не реального человека, а какое-то невероятное чудовище, воспитанное именно «адским млеком» и чуть не буквально злопы-

хающее пламенем.

Этот тон установился надолго в официальной переписке.

Известно, как в то время относились ко всякого рода титулам, в которых даже подскоблить описку считалось преступлением. У Пугачева тоже был свой официальный титул: «Известный государственный вор, изверг, злодей и самозванец Емелька Пугачев». Красноречивые люди, обладавшие даром слова и хорошо владевшие пером, ухитрились разукрасить этот титул разными, еще более выразительными надстройками и прибавлениями. Но уже меньше этого сказать [было] неприлично, а пожалуй, даже неблагоприятно и опасно.

Литература не отставала от официального тона. Тогдашнее «образованное» общество, состоявшее из дворян и чиновников, чувствовало, конечно, что вся сила народного движения направлялась именно против него, и понятно, в каком виде представлялся ему человек, олицетворявший страшную опасность. «Ты подлый, дерзкий человек, — восклицал в пиитическом рвении Сумароков при изве-

стии о поимке Пугачева, —

*Незапно коего природа
Низвергла на блаженный век
Ко бедству многого народа:
Забыв и правду и себя,
И только сатану любя,
О боге мыслил без боязни...»*

«Сей варвар, — говорит тот же поэт в другом стихотворении:

*...не щадил ни возраста, ни пола,
Пес тако бешеный, что встретит,
то грызет,
Подобно так на луг из блаτισстого дола
Дракон шипя ползет.»*

За это, разумеется, и «казни нет ему достойные на свете», «то мало, чтоб его сожечь» и т. д. Чувства современников, конечно, легко объяснимы. К несчастью для последующей истории, первоначальное следствие о Пугачеве попало в руки ничтожного и совершенно бездарного человека, Павла Потемкина, который, по-видимому, прилагал все старания к тому, чтобы первоначальный облик изверга, воспитанного «адским млеком», как-нибудь

не исказился реальными чертами. А так как в его распоряжении находились милостиво предоставленные ему великой Екатериной застенки и пытка, то понятно, что весь материал следствия сложился в этом предвзятом направлении: лубочный, одноцветный образ закреплялся вынужденными показаниями, а действительный облик живого человека утопал под суздальской мазней застеночных протоколов. Бездарность этого «троюродного братца» всесильного временщика была так велика, что даже чисто фактические подробности важнейших эпизодов предшествовавшей жизни Пугачева (например, его поездки на Терек, где, по-видимому, он тоже пытался поднять смуту) стали известны из позднейших случайных находок в провинциальных архивах[91]. Павел Потемкин старался лишь о том, чтобы по возможности сгустить «адское млеко» и сохранить «сатанинский облик».

Нужно сказать, что задача была выполнена с большим успехом. Тотчас по усмирении бунта военный диктатор Панин, облеченный неограниченной властью, приказал расставить по дорогам у населенных мест по одной

виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания «за ребро» (!) не только бунтовщиков, но и всех, «кто будет одного злодея самозванца Емельку Пугачева признавать и произносить настоящим, как он назывался (т. е. Петром III)». А кто не «задержит и не представит по начальству таковых производителей, тех селения все без изъятия (!) возрастные мужики... будут присланными командами переказнены мучительнейшими смертями, а жены и дети их отосланы в тягчайшие работы».

Совершенно понятно, какая гроза нависла после этого над всякими рассказами о Пугачеве, когда вдоль дорог стояли виселицы, колеса и глаголи с крючьями, по селам ходили команды, а в народе шныряли доносчики. Все, не отмеченное официально принятым тоном, все даже просто нейтральные рассказы становились опасны. Устное предание о событиях, связанных с именем Пугачева, разделилось: часть ушла в глубь народной памяти, подальше от начальства и господ, облекаясь постепенно мглою суеверия и невежества, другая, признанная и, так сказать, официальная,

складывалась в мрачную аляповатую и тоже однообразную легенду. Настоящий же облик загадочного человека, первоначальные пружины движения и многие чисто фактические его подробности исчезли, быть может, навсегда, в тумане прошлого. «Все еще начало выдумки сей, — писала Панину Екатерина, — остается закрытым». Остается оно неясным и до настоящего времени. Фактическая история бунта с внешней стороны разработана обстоятельно и подробно, но главный его герой остается загадкой. Первоначальный испуг «общества» наложил свою печать и на последующие взгляды, и на историю...

Как истинно-гениальный художник, Пушкин сумел отрешиться от шаблона своего времени настолько, что в его романе Пугачев, хотя и проходящий на втором плане, является совершенно живым человеком. Посылая свою историю Пугачевского бунта Денису Давыдову, поэт писал, между прочим:

*Вот мой Пугач. При первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой.
В передовом твоём отряде*

Урядник был бы он лихой.

Между этим образом и не только сумароковским извергом, возлюбившим сатану, но даже и Пугачевым позднейших изображений (напр. в «Черном годе» Данилевского) — расстояние огромное. Пушкинский плутоватый и ловкий казак, немного разбойник в песенном стиле (вспомним его разговор с Гриневым об орле и вороне) — не лишенный движений благодарности и даже великодушия, — настоящее живое лицо, полное жизни и художественной правды. Однако, возникает большое затруднение всякий раз, когда приходится этого «лихого урядника» выдвинуть на первый план огромного исторического движения. Уже Погодин в свое время обращался к Пушкину с целым рядом вопросов, не разрешенных, по его мнению, «Историей Пугачевского бунта». Многие из этих вопросов, несмотря на очень ценные последующие труды историков, ждут еще своего разрешения и в наши дни. И главный из них — это загадочная личность, стоявшая в центре движения и давшая ему свое имя. Историкам мешает груда фальсифицированного сознательно и бес-

сознательно следственного материала. Художественная же литература наша после Пушкина сделала даже шаг назад в понимании этой крупной и во всяком случае интересной исторической личности. От «лихого урядника» и плутоватого казака мы подвинулись в направлении «адского млека» и лубочного злодея. И можно сказать без преувеличения, что в нашей писаной и печатной истории, в самом центре не очень удаленного от нас и в высшей степени интересного периода стоит какой-то сфинкс, человек — без лица.

Нельзя сказать того же о Пугачеве народных преданий, которые почти угасли уже во всей остальной России, но чрезвычайно живо сохранились еще на Урале, по крайней мере, в старшем казачьем поколении. Здесь ни строгие указы, ни глаголи и крючья Панина не успели вытравить из народной памяти образ «набеглого» царя, оставшийся в ней неприкосновенным, в том самом, — правда, довольно фантастическом, виде, в каком этот «царь» явился впервые из загадочной степной дали среди разбитого, задавленного, оскорбленного и глубоко униженного стар-

шинской стороной рядового казачества.

Попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения, — было одной из целей моей поездки на Урал в 1900 году. Меня предупреждали, что при замкнутости казаков и недоверии их ко всякому «иногороднему», в особенности же наезжему из России, — задача эта трудно осуществима. И, действительно, однажды мне пришлось наткнуться на довольно комичную неудачу.

От одного из жителей Круглоозерной станции (Свистуна), старого и уважаемого казака Фил. Сидоровича Ковалева, я узнал, что в Уральске, в куренях, вблизи церкви живет внук Никифора Петровича Кузнецова (родного племянника Устиньи Петровны), Наторий (Енаторий) Фелисатович Кузнецов, человек грамотный и любознательный, сделавший будто бы какие-то записи со слов деда, любителя и хранителя преданий кузнецовского рода. Рассказами этого деда, Никифора Кузнецо-

ва, уже пользовался известный уральский писатель Йосаф Игн. Железнов, но мне было все-таки любопытно повидать его внука, живого преемника этого предания.

Я разыскал его действительно за собором, в куренях, в старом, недавно обгоревшем домике. Однако, когда я объяснил ему цель своего прихода и даже сослался на указание Ф. С. Ковалева — Наторий Кузнецов только насутился.

— Ничего я не могу вам сказать. Приемный дедушка верно что рассказывал... Ну, только я не могу.

— Почему же?

— Это есть речи политические...

Я искренно удивился.

— Позвольте, Наторий Фелисатович. Да ведь дедушка ваш рассказывал Железнову, и Железнов это напечатал. Однако никакой беды из этого для вашего дедушки не вышло.

— Железнов писал. Верно. Ну, только дедушка сказал ему может быть, десятую часть...

Чтобы сломить это недоверие, я раскрыл нарочно захваченную с собой книгу Железно-

ва и стал читать записанный автором рассказ Никифора Кузнецова. Наторий слушал и одобрительно кивал головой, вставляя свои замечания. Я уже стал надеяться, что лед будет сломан, но в это время с порога избышки (наш разговор происходил на дворе) поднялась жена Кузнецова, смуглая казачка с черными решительными глазами.

— Молчи, Наторий, — сказала она зловеще. — Кабы одна голова была... а то у тебя семейство.

На руках у нее заплакал грудной ребенок, и Наторий сразу осекся.

— Нет, невозможно, — сказал он, — речи политические... Когда бы меня уже не трясли...

— То есть как же это «трясли»?.. И за что?

— А вот за это самое, — за Пугачева...

— Что вы говорите! Кому теперь нужно.

— Видно, что нужно... Видите, как это дело было.

— Молчи, Наторий, — опять сказала казачка.

— Нет, что ж, это можно, ничего. Видите. Значит, еду я как-то по железной дороге до

Переметной. В вагоне были еще разные народы, вроде купцов. Стали вот этак же промежду себя говорить: один, например, говорит: «царь был настоящий, то есть, как выражал о себе, то была настоящая правда»... Ну, другой ему напротив: «вот, говорит, у Железнова писано: признается так, что донской казак». И про дедушку мово помянул. Я, как был тут же, и говорю: «Железнову, значит, мой дедушка рассказывал, ну не все. Ежели бы все, говорю, обсказал, то и Железнов написал бы другое». Говорим этак-то, а тут кондуктор. Знакомый был. Дернул меня за рукав, отвел в сторонку и говорит: «Ты, говорит, Наторий Фелисатов, не моги эти слова выражать». — «А что, мол?» — «Да так, не выражай этих речей. Речи, слышь, политические». Ну, я послушался. Только вдруг на одной станции — жандармы. Заперли вагон, никому чтобы не выходить, и говорят: «Кто здесь выражал политические речи?» Вот оно и дело-то... Договорились...

— Что ж, наверное, ничего никому не сделали.

— То-то: они, значит, купцы, говорят: «мы вот по книжке. Господин Железнов писал,

офицер. Извольте посмотреть». Ну, а я, значит, спасибо кондуктору, в стороне. Только страхом отделался. А кабы я все-то выразил...

— Вот и теперь молчи, — отрезала жена.

— И то молчу.

Я был у него два раза. Оба раза он очень охотно разговаривал о своем дедушке, о прежнем жительстве Кузнецовых, об их родстве и при этом косвенно сообщил мне очень много любопытного и в бытовом и в историческом отношении. Но, как только разговор задевал прямее запретную тему, казачка опять пронизывала его своими черными глазами, и он прикусывал язык.

— Не могу, политические речи, — повторял он упорно. — Кабы не трясли...

Впрочем, расстались мы с этим представителем «царицына рода» дружески, и я даже думаю, что едва ли он мог сообщить мне что-нибудь более характерное, чем этот маленький эпизод из нашей живой современности.

В других местах, особенно во время своей поездки по станицам, я был более счастлив. Престарелые казаки более храбры, чем молодежь, и более охотно делились своими сведе-

выражал сожаление, что не доживет до 1875 года, когда, по общему убеждению, печать тайны с пугачевского дела должна быть снята в тогда должно было обнаружиться, что Яик вообще и семьи Шелудяковых в частности служили правому делу. Говорят, Пушкин, в свой приезд и кратковременное пребывание в Уральске, — показывал, современникам бунта портрет настоящего Петра Федоровича, голштинская физиономия которого, как известно, нимало не походила на казацкий облик Пугачева. Однако теперь я слышал из нескольких уст, будто в этом портрете казаки признали как раз того самого человека, который был у них на Яике. Вообще, при указании на решительное отрицание историей всякой возможности этого тождества, даже у интеллигентных казаков вы встретите выражение колебания и скептицизма.

Нужно, впрочем, признаться, что, как уже сказано выше; писаная история страдает большими недомолвками, неполнотой, а иногда и прямо противоречиями. А главное — она оставляет центральную фигуру человека «без лица». С этим народное воображение не

может, конечно, примириться. Ему, понятно, чужда историческая критика, но зато полуфантастический образ, рисуемый народным преданием, отличается замечательной полнотой и яркостью. Это живой человек со всеми достоинствами и недостатками реальной личности и, если к этим реальным чертам примешивается порой элемент мистический и таинственный, то это касается лишь его царского звания. Петр Федорович казачьих легенд — настоящий человек, с плотью и кровью, кипящий желаниями и страстями; царь Петр III — окружен нимбом таинственности и роковых, не вполне естественных влияний.

Причины его низвержения с престола рисуются с особенным реализмом. Казачье предание представляет Петра III широкой натурой, гулякой и неверным мужем. Поведение его из тех, которые приходится оправдывать известной поговоркой: быль молодцу не укор. Екатерина, наоборот, в это время изображается хотя и довольно строптивой, но все же верной женой, старающейся унять мужа. На этой почве разыгрывается катастрофа. Однажды пришел иностранный корабль, и Петр Федо-

рович отправился на него, да и загулял с дворянской девицей Воронцовой. Указание этого имени, совпадающее с исторической действительностью, показывает, как широко, в сущности, распространялись в те времена разные придворные «комеражи». «Ведь от нас, — говорил Железнову казак Бакирев, — испокон веку кажинный год ездили казаки в Москву и в Питер с царским кусом... Так как же не знать. Шила в мешке не утаишь...» Шпионы донесли царице, что царь проклажается с Воронцовой. Той, как жене, это показалось обидно, она не стерпела и побежала туда сама. Пришла и говорит: «Не пора ли домой?» Но загулявший муж грубо прогнал ее: «Пошла сама домой, куда цела». Тогда оскорбленная Екатерина пригласила своих приверженцев, подняла образа и объявила себя царицей. Когда загулявший царь, с похмельем в победной головушке, решил, наконец, на третью или четвертую ночь, вернуться домой, — он нашел ворота запертыми, а часовой объявил, что царя нет, а есть царица. Он сунулся было в Кронштадт (опять черта историческая), но и там его не пустили. Тогда, страшась враждеб-

ных бояр, Петр Федорович решил скрыться...

Тут уж личность Петра Федоровича исчезает в тумане, а над царем водворяется мистическая власть высшей силы, какого-то таинственного предопределения. Оказывается, что где-то было положено испокон веков, что царственному внуку Петра Великого предстоит познать много горя и страдать, как простому изгнаннику, гонимому и преследуемому в течение пятнадцати (по другим вариантам двенадцати) лет. Объявиться он должен был не ранее этого срока. Но царственный скиталец, узнавший на себе самом все страдания народа и всю неправду властей, попав вдобавок на Яик, в то время действительно «терпевший великую изневагу», стонавший под давлением вопиющей неправды и страшных репрессий, после дела Траубенберга, — не выдержал и, подчинившись опять, хотя и в другом уже направлении, своей бурной натуре, нарушил веления судьбы и объявился ранее.

Это нарушение веления высшей воли, вызванное состраданием и нестерпимой жалостью к измученному народу, является в преданиях тем трагическим двигателем, кото-

рый определил судьбу движения. Все было за Пугачева, но выиграть свое дело он не мог именно потому, что начал не в срок. И он знал это. Чрезвычайно интересно, что семейное предание Кузнецовых связывает самую женитьбу набеглого царя с этим трагическим сознанием. В записанных Железновым рассказах женитьба эта мотивируется различными соображениями: во-первых, царям закон не писан; во-вторых, и закон позволяет жениться после семилетней разлуки; в-третьих, Екатерина явилась его гонительницей; в-четвертых, наконец, в это время на Яике ходили (верные, но запоздалые) слухи о намерении Екатерины выйти за Орлова. Но упомянутый выше Енаторий Кузнецов, среди своей сдержанной беседы, сообщил мне, что и Пугачев, и даже Устинья хорошо знали роковое значение этой свадьбы. Когда Пугачев стал явно выражать свои намерения относительно сватовства, то Устинья, веселая, разбитная и хорошая песенница, сложила будто бы песню, в которой очень смело говорила о муже, сватающемся от живой жены. Пугачев отвел ее в сторону и сказал: «Пусть лучше одна моя го-

лова пропадет, не чем пропадать всей России. Вот теперь идут из Питера ко мне войска и генералы; если ко мне пристанут, — тогда вся Россия запарится, дым станет столбом по всему свету. А когда я женюсь на казачке, — войска ко мне не пристанут, судьба моя кончится и Россия успокоится». Повторение этого же трагического мотива я слышал и в других местах на Урале. Таким образом, — царь-странник, невольно нарушивший веления судьбы, покорно шел ей навстречу, а Устя шла навстречу его воле...

Публичная казнь Пугачева в Москве (10 янв. 1775 г.) в присутствии сотен тысяч народа нисколько не поколебала этой веры. Наоборот, нужно сказать, что некоторые обстоятельства этой казни сопровождалась как раз теми неясностями мотивов и странностями, о которых я говорил выше и которые очень на руку стройному народному преданию. По сентенции, утвержденной Екатериной, Пугачев подлежал четвертованию. Сначала ему должны были отрубить руки и ноги и тогда уже голову. Однако, известно, что это не было выполнено. По прочтении приговора и исполне-

ния формальностей, палач схватил Пугачева сзади, его повалили и прежде всего отрубили голову. После этого среди водворившейся тишины слышался голос экзекутора, упрекавшего палача и грозившего ему самому казнью за нарушение приговора[92]. Этот неоспоримый факт, установленный и русскими и иностранными свидетельствами, служил предметом удивленных толков. Г-жа Бильке, восторженная поклонница и корреспондентка Екатерины, прочитав об этом в иностранных газетах, высказала в ближайшем письме предположение, что это было сделано, «согласно гуманной воле Императрицы, а не по ошибке палача». Екатерина охотно пошла навстречу такому толкованию своей европейской поклонницы. — «Сказать вам правду, — писала она, — вы верно отгадали относительно промаха палача при казни Пугачева: я думаю, что генерал-прокурор и полицеймейстер помогли случиться этому промаху, потому что, когда первый уезжал из Петербурга, я сказала ему шутя: „никогда не попадайтесь мне на глаза, если вы допустите малейшее мнение, что заставили *кого бы то*

ни было претерпеть мучения, и я вижу, что он принял это к сведению“»[93].

Позволительно, однако, думать, что это объяснение не вполне точно. Что перед отъездом Вяземского у царицы были с ним разговоры, это, конечно, естественно; едва ли только они велись шутя. Что факт резкого нарушения приговора не мог объясняться также простой ошибкой палача, — в этом сомневаться едва ли возможно. Однако, если бы имелось в виду не допустить излишних страданий *кого бы то ни было*, — то, во-первых, у Екатерины было для этого прямое средство — в смягчении всех казней, и тогда гуманность коснулась бы не одного Пугачева. Между тем, в тот же день и на том же месте казнены другие пугачевские сообщники, и никто не упоминает о смягчении также и казни, напр., Перфильева. Едва ли логично предполагать, что гуманность Екатерины коснулась одного лишь главного виновника и обошла второстепенных. А затем об этом, конечно, не мог бы не знать экзекутор, своим окриком по адресу палача только подчеркнувший отступление от приговора, которое без этого могло бы

пройти менее замеченным.

Как бы то ни было, этот странный эпизод не только явился загадочным для сотен тысяч зрителей, собравшихся в день казни на Болоте, но остается не вполне разъясненным и для истории. К этому следует только прибавить, что среди многотысячной толпы войск и народа стояла также и Зимовая яицкая станица, состоявшая из «верных», то есть старшинской стороны казаков, которые, даже сражаясь с Пугачевым, по большей части все-таки считали его настоящим царем, воюющим против царицы... И, возвратясь на Яик, казаки рассказали о странном эпизоде казни.

Легенда прекрасно воспользовалась этою загадкой. Она не знает недоговоренностей и противоречий. Она цельна, стройна, часто очень фантастична, порой нелепа, но совершенно последовательна и логична.

В казнь Пугачева уральское войско не поверило. Царя казнить нельзя. Человек, которого Болотов описывает на эшафоте «совершенно несоответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг», а скорее походившим «на какого-нибудь маркитантишку

или харчевника плюгавого», — по мнению казаков и был совсем не тем, кого войско видело на коне и который одним своим появлением расстраивал ряды противников. Это было, по словам легенды, подставное лицо, какой-то заурядный преступник. И, когда он хотел будто бы сказать, что умирает вместо настоящего царя, — ему поторопились отрубить голову...

К этому присоединился новый факт, исторически верный и поразивший воображение народа, а именно скоропостижная смерть Мартемьяна Бородина...

Мартемьян Бородин — самая видная фигура из казачья противников Пугачева, игравший огромную, почти определяющую роль в допугачевском брожении на Урале, и прямая антитеза Пугачева в глазах «войска». Богач, захвативший неизмеримые пространства «общей» степи, владелец крепостных на вольных казачьих землях, насильник, грабитель, человек с железной волей, бурным темпераментом и в то же время хитрый дипломат, умевший задаривать и задабривать петербургское начальство, — он был душой нена-

вистной казакам старшинской партии, которая перед появлением Пугачева даже носила название «бородинской». Против него и его действий были направлены даже личные указы Екатерины, но он умел обратить их в ничто, искусно вызывая волнения, после которых оказывались виновны его противники. Можно предположить с большой долей вероятности, что, не будь на Яике Мартемьяна Бородина, не было бы и убийства Траубенберга, предшествовавшего пугачевщине, не было бы, может быть, и Пугачева... Но, как это часто бывает, Мартемьян, истинный виновник, вызвавший в войске общее недовольство и справедливый гнев, которые повели к вспышке, — потом борьбой с вызванным им же движением не только «заслужил» свои воровства и тяжкие вины, но и явился в глазах правительства в ореоле преданности и самоотвержения. В борьбе с Пугачевым для Мартемьяна шла речь о собственной голове, над которой тяготели обвинения и проклятия всего войска, но Мартемьян очень ловко выставил эту вражду к нему войска, как свои заслуги перед престолом. При самом появлении Пугачева

Мартемьян понял опасность прежде всего для себя лично, — и кинулся киргизской степью в Оренбург... Впоследствии, когда Пугачев был уже посажен в железную клетку, екатерининские генералы знали, что Мартемьян будет лучшим его сторожем. И, действительно, Мартемьяну было поручено сопровождать пленника в Москву...[94]

Казачьи предания приводят много подробностей этого пути. Прежде всего, за городским валом и башней по казанскому тракту, родня Бородина вышла, по обычаю, провожать его в дорогу. Стали пить водку и наливку. Пугач выглянул из клетки и сказал: «Мартемьян Михайлович! Поднеси-ка и мне». Но Мартемьян грубо отказал. Пугачев побледнел от оскорбления и говорит: «Хорошо же! Ты хочешь видеть мою смерть. Не удастся. Я скорее твою увижу». Немного погодя, один из старшин, Михайлов, подошел к нему и поднес ему из своего стакана. Пугачев выпил и сказал: «Спасибо, дружище. Не забуду я тебя. Запомните, что я скажу, — сказал Пугач всем тут бывшим: — отныне род Михайлов возвысится, а род Бородина падет»[95].

Дорогой Пугач тоже предостерегал Бородину и говорил ему с усмешкой: «Мартемьян Михайлович, одумайся, куда едешь, зачем?.. Эй, Мартемьян Михайлович. Поверни-ка оглобли назад, пока время есть...»

Престарелый казак Требухинской станции, Ананий Иванович Хохлачев, с глубоким, убеждением подтверждая мне все записанное от разных лиц Железновым, прибавил к этому еще несколько эпизодов, слышанных, по его словам, от самих участников или от ближайших родственников. Между прочим, с Мартемьяном Бородиным, в качестве ординарца, ехал его любимец, молодой казак Михайло Тужилкин. Однажды, где-то на привале, во время роздыха, суровый атаман заставил Тужилкина искать у себя в голове. Находя эту минуту подходящей для интимного разговора, Тужилкин спросил:

— Скажите, Мартемьян Михайлович, кого мы это везем: царя или самозванца?

— Царя, Мишенька, — ответил будто бы Мартемьян.

Тужилкин пришел в ужас.

— Что же мы это делаем! — воскликнул он.

— Да что же делать-то было... Все равно ни его, ни наша сила не взяла бы, — ответил Бородин.

В Сакмарской крепости, куда будто бы прибыл поезд с Пугачевым в клетке, — навстречу им попался фельдъегерь из Петербурга[96]. Подойдя к клетке и увидя там Пугачева, фельдъегерь затрепетал и всплеснул руками (Ананий Иванович очень драматично и картинно изобразил ужас фельдъегеря и его жесты).

— Б-боже ты мой, что такое исделали! — закричал он, — отомкните, сейчас отомкните!.. Что ж теперь будет?..

Этот ужас объяснялся, разумеется, тем, что офицер узнал в клетке царя... Потом, выйдя с Бородиным на крепостной вал, тот же фельдъегерь долго уговаривал его распустить казаков и «просто» ехать с Пугачевым в Петербург, к царице. В этом наивном предложении отражается указанная уже выше черта яицких легенд о «набеглом царе». Судьба его, как царя, уже была решена, дело его проиграно, он нарушил веления рока, и царство оставалось за Екатериной. Но особа его была свя-

ценна, и притом он оставался мужем царицы и отцом царевича, наследника...

Бородин не послушался, и за это его действительно постигла казнь, как и предсказывал Пугач. Судьба покарала Петра Федоровича, нарушившего ее веления, но та же судьба не могла обойти и человека, посягнувшего на достоинство «царя» и вёзшего его в клетке, как зверя. О самой смерти Мартемьяна Бородина рассказывают различно, но большая часть преданий приписывает ее Павлу Петровичу[97]. Когда Мартемьян явился во дворец к наследнику, — рассказывал мне Ананий Иванович Хохлачев, — тот и говорит ему:

— Что тебе было, атаман господин, моего папу не принять? Ежели бы ты принял, то были бы теперь в Рассее папа мой, да я, да ты третий. Ну, а теперь, атаман господин, не взыщи.

И ударили в большой колокол. Зимовая яицкая станица стоит на площади у дворца, ждет своего походного атамана, но его все нет. И вдруг слышат: звонят в большой колокол, как на помин... Вышел на крыльцо адъютант и говорит казакам: «Нет вашего атамана».

на. Помер атаман в одночасье. Поезжайте себе с богом».

Самый род смерти изображается тоже различно. В рассказах казаков-домоседов, не бывавших в столицах, говорится, будто Павел Петрович, разгневавшись, схватил дверную «запирку» (деревянный засов, которым задвигаются ворота) и ударил ею Бородина по голове. По другим вариантам, казнь была еще жесточе, — вплоть до сдираания кожи с живого. Здесь, очевидно, играла уже творческую роль глубокая ненависть тогдашнего войска к Мартемьяну. Наконец, некоторые предания приписывают гибель Бородина самой Екатерине, которая не могла простить грубого обращения с ее мужем. «Собрался Мартемьян Михайлович ехать из Питера (гласит одно предание, записанное Железновым) и пошел проститься с государыней, а денщику велел исподволь укладываться. Вдруг прибежал на квартиру испуганный, бледный, словно кто гнался за ним. „Беги скорей за подводами, едем“. Дорогой Мартемьян все кричал ямщику: погоняй! Проехали сколько-то станций, Мартемьян говорит ямщику по-киргизски:

— Какое, братец, я чудо видел... Стою у ма-тушки царицы в опочивальне, рассказываю ей, как мы сражались супротив злодея Амельки. А он, Пугач-то, вдруг из-за ширмы как выскочит, словно зверь лютый, да как ринется на меня с кулаками, я индо обмер... Теперь, братец, вижу, что дал маху: не ездить бы мне совсем сюда. Бог бы с ними... Хоша и публиковали, что он Амелька Пугачев, а выходит — вот он какой Пугач...

Не успел он досказать, как сзади нагоняет их фельдъегерь и требует Мартемьяна опять к царице».

Другой вариант рисует этот же эпизод с еще более реальными подробностями. Пугач лежит в опочивальне за белыми кисейными занавесками, — «похоже, только что вышел из бани: волосы мокры, а лицо красно. У ног его, на стуле сидит царевич, а у окна царица. И все плачут, платочками слезы утирают. А у притолоки, словно вестовой солдат, стоит Мартемьян Михайлович, — стоит и дрожит, словно на морозе». (Железнов.)

Ананий Иванович Хохлачев прибавляет к этому, будто вдова Бородина получила соб-

ственноручное письмо Екатерины и два платья бархатные: одно зеленое, другое черное. «А в письме было написано, что во твоём, дескать, горе я повинна, я грешница...» И сватья Анания Ивановича, жившая там же, сама видела и письмо и платья...

Надо заметить, что ни точная дата, ни даже год смерти Мартемьяна Бородина неизвестны, и это событие тоже покрыто какой-то неопределенностью. Железнов сомневается, что Бородин сопровождал Пугачева, как в этом уверяют казачьи предания. Он относит смерть Бородина к апрелю 1775 года на том основании, что в мае был назначен новый войсковой старшина Акутин. Но в данном случае ошибается Железнов, а предание право. Во-первых, Бородин не был войсковым, а только походным атаманом, но Пугачева сопровождал несомненно, и есть большое вероятие, что умер он во время этой поездки. В делах уральского войскового архива я нашел указание, что тысяча рублей, назначенная в награду Бородину, получена в Оренбурге, по доверенности вдовы Бородина, пятидесятилетним Григорием Телновым (о чем последовал

указ оренбургской губерн. канцелярии от 28-го ноября 1774 г.). Затем никаких упоминаний о Мартемьяне Бородине мне в делах уже не попадалось до августа 1775 г., когда в одном из прошений совершенно случайно упоминается об умершем майоре Бородине. Этот глухой и неопределенный промежуток производит странное впечатление после того, как прежде имя деятельного старшины попадалось на всяком шагу... Нет сомнения, что «вины» М. Бородина перед правительством были громадны. Екатерина писала указы, посылала генералов для прекращения злоупотреблений, но старшинская партия, душой которой был Бородин, задаривала генералов и превращала веления царицы в ничто, пока это не вызвало бунта и кровавого усмирения, подготовившего почву для пугачевщины. Эти злоупотребления и бессилия власти войско объясняло тем, что на престоле не настоящий царь, а женщина... И когда появился царь, войско встретило его с восторгом.

Вообще же пугачевское движение представляется мне по своей психологической основе одним из самых верноподданнических

движений русского народа. Конечно, в самом зародыше его таился (и то довольно незаметно) сознательный обман. Когда в таинственном купце, одетом в плохой рубахе и простых портах, приходилось признать царя и объявить об этом войску, — то казак Мясников, пожав плечами, сказал: «Ладно. Мы из грязи сделаем князя». Но это думали далеко не все даже из первых участников. Когда же Пугачев, одетый в царскую одежду (кафтан подарил киргизский хан), на отличном коне, с двумя знаменами и отрядом выехал к форпостам, — тогда ему навстречу устремились искренняя вера и искреннее чувство, которые сопровождали его все время до плахи.

Замечательно при этом, что образ Екатерины (как известно, ненавистный и до сих пор народу в крестьянской России) уральское предание окружает тоже какой-то почтительностью и мягкостью. Она была женщина, и это был ее недостаток на престоле. «Мы государыни не злословим, — говорили на собрании башкиры. — Она правосудна, но правосудие от нее не отошло и к нам не пришло». То же могли, конечно, сказать и казаки, депута-

ты которых не раз возвращались из Петербурга, напрасно обнадеженные самой Екатериной. Но это относилось к царице и к делам правления. Лично же предание относится к Екатерине довольно мягко. Оскорбленная, как женщина и жена, она чувствует понятное негодование и решается на переворот. Но вместе с тем она не может простить грубого обращения с мужем и, когда, после стольких приключений, он возвращается, — она укладывает его в постель и плачет об его страданиях. Отношения ее к Устинье Кузнецовой (в действительности несимпатичные и жестокие: бедная Устя была пожизненно заключена в крепость) в предании казаков тоже отмечены великодушием и женственной добротой. Екатерина вызывает Устю в Петербург и обходится с ней очень ласково. Эта тема — встреча двух жен якобы одного и того же бедного мужа — разрабатывается подробно и охотно во многих рассказах, записанных Железновым. Я тоже слышал ее из уст Анания Ивановича и отчасти Натория Кузнецова. Во всех рассказах упоминается одна черта: когда Устю, вместе с ее сестрой, привезли во дво-

рец, Екатерина велела выводить к ней разных лиц и все спрашивала: не этот ли твой обрученник. Устя все отвечала отрицательно. Наконец вывели Пугача, и она кинулась ему на шею. — Ну, — сказала Екатерина, — попрощайся с ним, более никогда вы не увидите. — Пугача увели, а Усте Екатерина отвела дворец на Васильевском острове, где она жила долго и где у нее бывали нередко уральцы, приезжавшие в столицу.

Мне приходится еще отметить один цикл этих преданий, показывающий, какую страстную любовь питал Яик к образу своего «набеглого царя», стоившего ему столько слез, горя и крови. Известно, что страстная любовь не мирится с фактом смерти любимого человека. И Пугачев, пойманный и даже казненный, все еще мелькал на Яике и являлся своим приверженцам то в степях, то в самом городе.

Эти предания о странствующем и вновь преследуемом Пугачеве уже совершенно фантастичны, но им нельзя отказать в своеобразной поэзии, полной тоски и грусти. Один из этих рассказов (записанный со слов старого илецкого казака С. В. Крылова, ныне, в 1900 г.,

живущего в Уральске) застаёт Пугачева скитающимся по Общему Сырту (после бегства из Берды). Пугачев с небольшим отрядом едет по степи и наезжает на большой камень. Приказав казакам стреножить лошадей и ждать его, Пугачев подходит к камню и падает на него с горькими слезами. Камень подымается, и Пугачев сходит под землю. Через некоторое время он выходит и зовет за собой казаков. В подземелье их встречает величественная женщина, которая приветствует казаков и предлагает им подкрепить свои силы. Для этого у нее есть лишь небольшая краюшка хлеба, но, когда она начинает ее резать, хлеба не убывает. Пугачев зовет ее теткой, и она в разговоре упрекает его, что он не дождался назначенного для испытания срока и, объявившись ранее, — вдобавок женился. Странная женщина, неведомо какими путями перенесенная в Яицкие степи и вдобавок под землю, — была Елизавета Петровна. Попрощавшись с теткой, Пугач опять поскакал со своими спутниками в степь навстречу таинственной судьбе...

Вечером в тот самый день, как увезли Пу-

гача из Яицкого городка, — говорит другое предание, записанное Железновым, — Кузнецовы — его родня — сидели за ужином. Вдруг: отворились двери и входит купец (известно, что и в первый раз Пугачев появился на Яике в виде купца). — «Хлеб-соль», — сказал он, войдя, и все Кузнецовы вздрогнули и ложки у них: выпали из рук («это, значит, он был, по голосу узнали»). — «Не бойтесь, это я, — говорит купец. — Пришел вас успокоить... Я по милости божией не пропаду. Прощайте, живите подобру-поздорову». Сказал и был таков. Выбежали Кузнецовы на улицу, а его и след простыл, только колокольчик прозвенел...

В тот же вечер, часами двумя ранее, тот же купец был даже у атамана. И опять его сначала не узнали, а когда узнал другой купец, пришедший к атаману, то опять все так оторопели, что таинственный посетитель успел скрыться... Только опять колокольчик прозвенел по дороге к Чувашскому умету...

Эта вера в свое время была так сильна, что в бумагах войскового архива мне попадались дела, возникавшие именно на этой почве. Так, старшинская жена Прасковья Иванаева,

бывшая кухаркой у «царицы Устиньи» и стряпавшая во «дворце» для Пугачева, два раза была бита плетью за то, что не верила в окончательное поражение «царя» и, при всякой ссоре с торжествующей «старшинской партией» (а старуха, повидимому, была нрава строптивого), «говорила о самозванце для общества непристойное и богопротивное» и даже грозила новым его прибытием, «о чем якобы в то время славилось». Известно, наконец, что, вскоре по усмирении, начальство было встревожено появлением якобы вновь Пугачева, под именем Метлы или Заметайла. Но это оказался простой разбойник, жалкая пародия, в которой не было ничего, что бы могло действительно расшевелить усталое народное чувство.

Таковы эти легенды, еще живые, но уже начинающие бледнеть в народной памяти на Урале. Мне они показались интересными. Все они отмечены глубокой верой в истинность царского достоинства Пугачева, и личность, которую они рисуют, очень далека от действительной и несомненной личности ничтожного Петра III. Казачий Петр Феодорович

нимало не похож на немца (хотя в некоторых рассказах и упоминается, что он был немец). Бурный, легкомысленный, несдержанный, он оскорбляет Екатерину, законную жену, за что вынужден странствовать и нести наказание. Очищенный этим искупительным периодом, он остается таким же несдержанным в своей страстной жалости к народу и нарушает веление судьбы (или «старых писаний»), являясь ранее назначенного срока. Затем он опять дает волю страстной натуре и женится на Устинье. От этого дело его гибнет. И, однако, борьба с ним и особенно оскорбление его личности является оскорблением мистически суеверного народного представления об истинном царе, и главный виновник этого преступления несет должное наказание... Для Яика это было только роковое столкновение двух представителей власти, трагически разделившейся, но одинаково имевшей за себя большие основания... Царица победила благодаря тому, что пылкий царь нарушил веления рока...

Да, этот образ был только тень гонимого царя. Но тень эта потрясла Россию... Степное

мареве, привидение — и целый ряд завоеванных крепостей и выигранных сражений... Для этого недостаточно было чьего-нибудь адского коварства и крамолы. Для этого нужно было глубокое страдание и вера... И она была, правда, вся проникнутая невежеством и политическим суеверием, которые, к сожалению, долго еще жили в темных массах, как живут и теперь эти фантастические легенды на Урале.

1901

Полтавские празднества*

I

Скромный губернский город Полтава, расположенный среди степей Украины, готовится стать центром шумных официальных торжеств. В течение трех дней 27, 28 и 29 июня старого стиля здесь будут праздновать двухсотлетнюю годовщину знаменитой Полтавской победы, одержанной Петром Великим над шведскими войсками и Карлом XII...

Для России начало войны шло при обстоятельствах чрезвычайно неблагоприятных:

неустроенные финансы, плохо организованная армия, слабые зародыши флота, глухое противудействие партии старины начаткам новой культуры и прогресса... Между тем судьба дала Петру могучего противника в лице юного шведского короля Карла XII. Вначале беспечный, самовольный юноша, застигнутый грозной коалицией северных держав (Дания, Саксония, Польша и Россия) среди не всегда невинных забав и развлечений, — Карл внезапно очнулся, как лев, разбуженный от сна и расправляющий когти. Внезапно высадившись в Зеландии, он принудил датского короля отступить от союза и внес войну в пределы Польши и Саксонии. На Россию он смотрел с пренебрежением и лишь временами поворачивался в ее сторону, чтобы, так сказать, мимоходом нанести удар львиной лапы. Так, в ноябре 1700 года русские, осаждавшие Нарву, неожиданно увидели перед собою Карла среди страшной метели и к утру уже понесли жестокое поражение.

Петр терпеливо переносил удары, как неизбежность, и пользовался поражением, как уроками несколько дорогого, но зато пре-

восходного учителя. В то же время он производил в стране реформы, заводил школы, строил корабли. В 1703 году, взяв шведский форт Ниен-Шанц, на устье Невы, у взморья, Петр заложил основание Петербургу. В польско-саксонских делах Карл XII тоже все более чувствовал растущее влияние противника.

Все это заставило его решительно повернуть свои никем еще не побежденные военные силы лицом к России. Оставив Польшу на попечении своего ставленника, короля Лещинского, Карл XII (14 сентября 1708 года) переступил границу и двинулся на Украину.

Выбор именно этого театра будущей войны обуславливался многими причинами. Украина, или иначе Малороссия, лежала на грани «диких полей», отделявших Россию и Польшу от татарского Крыма и Турции. Это положение буфера между четырьмя державами выработало особый национальный характер украинца — свободолюбивый и воинственный, а также особую политику, кидавшую Украину попеременно под покровительство то одного, то другого из враждовавших между собою соседей. В 1654 году, при отце

Петра, царе Алексее, — после жестокой войны с Польшей, Украина отдалась под покровительство единой России... Национально-украинская партия тайла планы како-го-нибудь нового союза с прежними противниками против новых покровителей. Во главе этой партии в то время стоял хитрый малороссийский гетман Иван Степанович Мазепа. Появление на близком горизонте непобедимого шведского героя как будто благоприятствовало мечтам националистов, и Мазепа вступил с Карлом в тайные переговоры. Он манил его перспективой восстания Украины и нашествием на Россию крымской орды и турок... С беспечностью гения, верящего в свою звезду, Карл переступил польско-русскую границу и погрузился в степи Малороссии, как впоследствии Наполеон — в бесконечные снежные равнины Великой России. Оба помнили лишь прежние легкие победы, не предчувствуя, что звезде их суждено закатиться — для одного среди цветущих степей, для другого в снежных сугробах...

Уже в начале кампании русские нанесли у местечка Лесного значительное поражение

большому шведскому корпусу под начальством Левенгаупта. Петр радостно отметил эту первую победу своих войск над «регулярным строем» сильного противника, и Карлу пришлось сознаться, что русские, повидимому, научаются воевать. Это уже были не прежние его противники под Нарвой. Русский народ, пробужденный от векового сна, оказался способным учеником. Тем не менее Карл все еще недостаточно оценил противника и решительно двинулся в глубь гетманской Украины. Он надеялся на турок, на татар и прежде всего на Мазепу, которому все еще удавалось обманывать бдительность Петра I и сохранять его полное доверие.

II

Здесь, на фоне мировых событий, с историческими фактами причудливо сплетается личная драма.

Своеобразная фигура гетмана Мазепы, вдохновившая Пушкина и Байрона, до известной степени знакома широким кругам европейской читающей публики. Воспитанный при польском дворе, он уже в юности потерпел крушение на романической почве. Рас-

сказ Байрона о том, как ревнивый польский дворянин привязал счастливого любовника своей жены к спине дикого скакуна и погнал в степь на произвол судьбы, встречается у нескольких польских мемуаристов. Едва ли верно, что именно эта дикая скачка занесла Мазепу к украинским казакам (он был природный украинец), но несомненно, этот случай мог изменить направление его карьеры. К описываемому времени он уже был властительным гетманом, вассалом Петра.

Повидимому, романическим мотивам суждено было вообще играть видную роль в жизни гетмана, и его националистские планы чуть не потерпели крушение в самом начале из-за того, что к нему, седому старику, убежала из родительского дома молоденькая девушка, дочь казацкого полковника Кочубея. Мстя за это бесчестие, Кочубей послал Петру донос, в котором разоблачал планы Мазепы, своего недавнего приятеля.

Этот любовный эпизод, послуживший центром превосходной поэмы Пушкина «Полтава», — совершенно достоверен. Историк Костомаров приводит даже переписку старого

любовника с юной красавицей, которая была его крестницей: «Моя сердечно-любимая... Поклон шлю вашей милости, а при поклоне посылаю вашей милости подарок книжечку и обручик диамантовый... Затем целую коралловые уста, беленькие ручки, и все члены беленького твоего тела, моя миленькая...» И т. д. Таким образом, любовь молоденькой Кочубевны к седому старцу является одним из парадоксов женского сердца, скрепленным историей. Правда, историк-реалист Костомаров оборвал несколько лепестков у этого поэтического букета. Героиню звали не Марией, как у Пушкина, а более вульгарным именем Матрены. Она была действительно красавица, но Костомаров считает ее чуть не психопаткой. Тем не менее этим ироническим усмешкам точной и суховатой Клио не удалось вполне рассеять ореол, которым окружен этот романтический фрагмент, зарисовавшийся на трагическом фоне событий. Как известно, царь не поверил доносу Кочубея. Нужно сказать, что взаимные доносы были обычным явлением в среде казачьих нотаблей. Несколько прежних доносов были проверены и оказа-

лись ложными. Петру надоела эта игра. Он предал Кочубея и его сообщника Искру суду. Суд присудил их к смертной казни. Исполнение было поручено украинским властям, то есть тому же Мазепе... Гетман не пытался смягчить участь недавнего друга, и старый Кочубей с Искрой были всенародно обезглавлены 14 июля 1708 года.

А 25 октября Мазепа скинул маску и открыто перешел на сторону шведов. Впрочем, ни украинский народ, ни казаки не последовали его примеру...

Мы не будем описывать подробностей зимней кампании 1708 года, в течение которой русские только изнуряли шведов партизанскими набегами. В апреле 1709 шведы осадили Полтаву, чтобы приобрести в ее крепости операционную базу. Тогда и русская армия стала стягиваться на помощь осажденным, и наконец явился Петр, занятый в то время постройкой кораблей и укреплений Таганрога. Близилась генеральная битва...

За несколько дней до нее (17 июня) Карл с Левенгауптом ездили на заре невдалеке от полтавских укреплений по берегу реки Ворск-

лы, и случайная пуля ранила короля в подошву ноги. Вследствие этого он отдал общую команду генералу Реншельду. Русские превосходили шведов числом и качеством артиллерии. Шведская армия имела преимущество в дисциплине, военном опыте и привычке к победам. Карл не сомневался в победе. 26 июня он приглашал своих генералов завтра обедать в царском шатре и назначил [генерала] Алексея Спаре «московским губернатором». Приказ Петра по армии был составлен с тем торжественным лаконизмом, в котором как будто звучит уже не индивидуальное красноречие, а могучий голос событий. «О Петре же ведайте, — так кончалось это обращение, — что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в благоденствии и славе». Почти всю ночь на 27 июня совершалось передвижение войск на темных равнинах. Через два часа по восходе солнца Карл бросил свои полки на русские редуты. Около 8 ч. утра бой кипел уже с полною силой. Карл двигался впереди своих колонн в кресле-качалке, которую везли две лошади и окружали двадцать четыре драбанта. Лошади вскоре были убиты,

но фигура короля опять поднялась над полем битвы на плечах солдат. Другое ядро разбило кресло. Карл XII опять упал и поднялся еще раз. Петр лично повел полки в наиболее угрожаемое место и удержал бегство дрогнувших русских. Пуля пробила его шляпу, другая ударилась в широкий металлический крест, бывший у него на груди... Еще до заката солнца победа решительно склонилась на сторону русских. Шведы дрогнули. Увидя это бегство, Карл лишился чувств от раны и гнева. Его посадили на лошадь и вывезли из битвы, а затем повезли вниз по реке Ворскле к Днепру, куда последовали и разбитые войска. Мазепа поскакал тем же путем. Этот побег старого гетмана с молодым шведским героем вдохновил Байрона. Им начинается его поэма «Мазепа»...

Дальнейшее известно. Карл XII переправился через Днепр у Переволочны и, раненый, в коляске, пустился степями в турецкие владения к Бендерам. Приют в Турции превратился в род плена. Когда он кончился, звезда Карла мелькнула еще на короткое время и закатилась. Швеция отошла в ряд второ-

степенных держав (отчего, впрочем, едва ли особенно пострадал честный шведский народ). А звезда Петра и России ярко засияла на политическом небосклоне Европы. Реляции об исходе борьбы, глухо кипевшей в дальних степях, разнесли известие о новой планете повсюду, где интересовались политической астрономией. К счастливому победителю устремились поздравления, восторги, надежды, расчеты, предложения новых комбинаций, что в совокупности и называется международным влиянием. Удельный вес России внезапно поднялся, и, что, быть может, важнее, — в глазах самих русских Полтавская победа явилась оправданием нового курса...

III

Вот краткий очерк истории и национального значения той даты, которую Россия собирается праздновать 27 июня (старого стиля). Такие праздники полезны, как повод для того, чтобы оглянуться на пройденный путь и наметить линию, идущую от прошлого к будущему.

Победа на заре обновления — вот основная черта исторического события 1709 года. В

1909 году Россия подходит к нему после тяжких поражений на полях Манчжурии, которые завершили тридцатилетний период политического и гражданского застоя. Такова основная черта предстоящего юбилея.

С тех пор прошло два столетия. Россия Петра и Екатерины совершала свое движение в сторону европейской культуры... Но на этом творческие силы самодержавия как будто истощились, и официальная Россия в течение трех десятилетий только и делала, что пыталась остановить политическое развитие страны. И это понятно: у истории есть своя неодолимая логика, и русская жизнь стоит перед неизбежным заключением из петровских предпосылок. Этот вывод — упразднение абсолютного строя, который стоит последним барьером на пути, открытом реформами великого преобразователя.

Это сознание, недавно еще звучавшее даже в словах царского манифеста, — теперь разделило всю страну глубокой вертикальной чертой. По одну сторону стоит Россия «благонадежная», по другую «крамольная». Благонадежная это та, на которую абсолю-

тистская бюрократия имеет основания возлагать свои благие надежды. То есть, это партия старины. Крамольно все, что стремится к реформе.

Праздник Петра и победы русского обновления находится в руках «благонадежной России», бронированной исключительными законами и усиленными охранами. В ту самую минуту, когда я в Полтаве пишу эти строки, туда слетаются уже первые предвестники «национального торжества»: многочисленные кадры тайной и явной полиции. И большинство жителей спрашивают с невольной тревогой: что подарят им и русскому народу эти уже близкие дни: репрессии? тюрьмы? административные высылки? быть может погром? Или петицию «истинно русских людей» об уничтожении последних остатков злополучной российской конституции?..

Очень вероятно, что опасения преувеличены. Говорят, что официальное участие в торжествах союза русского народа, ввиду последних скандальных разоблачений, — устранимо. Говорят также, что представителям «объединенного союза дворян» едва ли удастся

выдать свои вожделения за голос всего народа. Говорят, что все обойдется прилично.

Но... уже наличность таких толков и таких опасений подчеркивает парадоксальный характер якобы общенародного празднества...

В эти дни, когда тысячи людей, по официальным полномочиям, сойдутся на полях, облитых русскою и шведскою кровью, — в воображении невольно встает величаво-суровый образ Петра. И если бы, окруженная тенью своих сподвижников, эта великая тень действительно посетила эти места, — какое странное зрелище представилось бы их бесплотному взору: их праздник захвачен людьми прошлого, духовными детьми изуверов, проклинавших начало великих реформ, которые создали то, что мы называем русской нацией... А где же духовные дети реформы?..

Они — в каторгах, в тюрьмах, в ссылке, по северным окраинам. В лучшем случае — под строжайшим наблюдением явной и тайной полиции...

А официальные, признанные патриоты, в лице объединенного союза дворян и союза русского народа, готовятся на том месте, где

впервые победило еще юное русское обновление, — подавать потомку Петра петиции о возвращении вспять начатой политической реформы.

Петровские реформы и Полтавская победа... Политический застой и позор тяжких поражений на полях Манчжурии... Вот что лицом к лицу встречается на расстоянии двух веков, на полях Полтавской битвы...

1909

Комментарии

Памяти Белинского*

Впервые напечатано в пятой книге журнала «Русское богатство» за 1898 г. В Полное собрание сочинений В. Г. Короленко 1914 года эта статья не вошла.

В 1898 году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти великого революционного демократа и критика В. Г. Белинского. В связи с этим и была написана статья Короленко, направленная против либерально-буржуазных исследователей, отрицавших самостоятельное значение философских и литературных взглядов Белинского.

«Нет, весь я не умру» — слова из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник».

*Братья-писатели, в вашей судьбе
Что-то лежит роковое... —*

у Н. А. Некрасова в стихотворении «В больнице»:

*Братья-писатели! В нашей судьбе
Что-то лежит роковое...*

Дон Карлос, маркиз Поза — действующие

лица драмы Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский»; *Мария Стюарт* — героиня одноименной трагедии Шиллера.

*Не генерала строгого
И не милорда глупого, —
Белинского и Гоголя
С базара понесет —*

у Н. А. Некрасова во II главе поэмы «Кому на Руси жить хорошо» первая строчка этого четверостишия иная: «Когда мужик не Блюхера...»

...не зарастет народная тропа — слова из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник».

О Глебе Ивановиче Успенском. Черты из личных воспоминаний*

Впервые напечатано в пятой книге журнала «Русское богатство» за 1902 год. Статья появилась как отклик на смерть Г. И. Успенского.

В. Г. Короленко познакомился с Г. И. Успенским в марте 1887 года. В дневнике Короленко 9 марта этого года отмечено: «Познакомился в Петербурге с Гл<ебом> Ив<ановичем>. Впечатление от личности замечательно хоро-

шее». Переписка между писателями началась несколько раньше их личного знакомства.

По неоднократному признанию Короленко, Г. И. Успенский сыграл значительную роль в его литературной судьбе. Под влиянием творчества Успенского Короленко написал один из своих первых очерков — «Ненасущий город». В «Истории моего современника» Короленко вспоминает, что в 1880 году «...написал очерк „Ненасущий город“, в котором, сильно подражая Успенскому, описывал Глазов». Рассказ «Чудная», написанный Короленко в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме, был передан через Н. Ф. Анненского Г. И. Успенскому, который пытался напечатать его, но этому воспрепятствовала цензура. Успенский сумел лишь передать автору одобрительный отзыв. В 1888 году, вспоминая этот эпизод, Короленко писал Успенскому: «Я никогда Вам не говорил о том, как я Вас люблю, потому что говорить об этом трудно; а написать все-таки легче. Когда-то, еще в Якутской области, я тоже, еще не зная Вас лично, — получил от Вас (хотя и не непосредственно) несколько слов, которые меня ободрили. Это

был Ваш отзыв о моем рассказике „Чудная“, который как-то попал Вам в руки. Я тогда как раз решил, что из моих попыток ничего не выйдет, и хотя писал по временам, повинуюсь внутреннему побуждению, но сам не придавал своей работе значения и смотрел на нее, как на дилетантские шалости. В это время, через третьи руки мне пишут, что Гл. Ив. Успенский читал где-то в кружке мою „Чудную“ и просит передать автору, чтобы он продолжал. Я по несколько раз снимал с полки в своей юрте это письмо и перечитывал эти строки, и мое воображение оживлялось. Когда я задумал и писал „Сон Макара“, то Ваш хороший отзыв все мелькал у меня в уме».

После смерти Успенского Короленко задумал издание сборника в его память, хотел написать биографию умершего писателя, собирал материалы, но недостаток данных помешал исполнить этот замысел. К осуществлению этих планов относятся и настоящие воспоминания, в которых ярко и выпукло нарисована фигура Г. И. Успенского.

...«когда не требует поэта к священной жертве Аполлон» — у А. С. Пушкина в стихо-

творении «Поэт»: «...Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон».

«*Власть земли*» — цикл очерков Г. Успенского, впервые напечатан в журнале «Отечественные записки» (1882, No№ 1, 2, 4).

...я получил от него... несколько слов приветия и одобрения по поводу моих первых литературных опытов — здесь имеется в виду одобрительный отзыв Г. И. Успенского на рассказ «Чудная».

«*Будка*» — первое произведение Г. И. Успенского, напечатанное в журнале «Отечественные записки» (1868, № 4).

«*Разорение*» — под этим заголовком были напечатаны три повести Г. И. Успенского, написанные в 1868, 1869 и 1871 годах.

«*Преступление и наказание*» — роман Ф. М. Достоевского, напечатанный в 1866 году.

Ломброзо Чезаре (1836–1909) — итальянский буржуазный антрополог и криминалист, основатель антропологической школы уголовного права, рассматривающей преступление не как явление социального порядка, а как биологическое явление, утверждая, что преступления совершаются теми или иными

людьми лишь в силу свойственных им анатомических, физиологических и психологических особенностей.

Немезида — в греческой мифологии богиня возмездия.

...и «живые цифры» — речь идет о цикле очерков Г. И. Успенского «Живые цифры», опубликованном в журнале «Северный Вестник» за 1888 год. В этот цикл входили: «„Четверть“ лошади», «Квитанция», «Дополнение к рассказу „Квитанция“» и «Ноль-целых!».

Воспоминания о Чернышевском*

Написаны в 1889–1890 годах. По цензурным условиям публикация воспоминаний была невозможна, однако они широко распространились в рукописных списках. В 1894 году без ведома автора воспоминания были напечатаны в Лондоне. В России они были опубликованы лишь в 1904 году в одиннадцатой книге журнала «Русское богатство» за 1904 год.

Для свидания с Н. Г. Чернышевским Короленко в августе 1889 года специально приезжал в Саратов. Как пишет Короленко, Черны-

шевский принял его «очень радушно, даже сердечно», и они «долго беседовали, перебирая старину» (из письма к П. С. Ивановской от 5 апреля 1890 г.). Чернышевский высоко ценил Короленко за смелый публичный протест против самодержавного строя, за яркий художественный талант публициста и писателя. «Это большой талант, это тургеневский талант», — говорил о нем Чернышевский. Внимание великого революционного демократа было еще в 1885 году привлечено рассказом Короленко «Сон Макара». «Н. Г. высказал удивление той верности, с которой так мастерски нарисован... якут, что написать так мог только талантливый человек, хорошо изучивший быт и душу якутов», — писал один из астраханских знакомых Чернышевского (К. Ерымовский. Чернышевский в Астрахани. 1952 г.).

Бесспорно влияние Чернышевского на развитие мировоззрения и литературно-эстетических взглядов Короленко. Однако в воспоминаниях Короленко о Чернышевском отразилась известная недооценка колоссального значения личности Чернышевского и само-

стоятельности его философских взглядов «Чернышевский, — писал В. И. Ленин, — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников» (Ленин. Соч., т. 14, стр. 346).

Опьяненный захватывающим, одуряющим потоком событий... только что начавшейся реформы — здесь Короленко ошибочно освещает отношение Н. Г. Чернышевского к реформе 1861 года. Чернышевский, как указывал В. И. Ленин, прекрасно понимал «всю узость, все убожество пресловутой „крестьянской реформы“, весь ее крепостнический характер» (Ленин. Соч., т. 17, стр. 96).

«*Большой процесс*» — «процесс 193-х» по делу о «революционной пропаганде в империи». В течение трех лет, пока велось следствие, число обвиняемых, арестованных по этому делу, доходило до 2 тысяч человек. Дело разбиралось в Сенате с 18 октября 1877 по 23 января 1878 года.

«Каракозовцы» — осужденные по делу Каракозова (1840–1866), покушавшегося на жизнь Александра II в апреле 1866 года.

Дело о воскресных школах — в 1862 году воскресные школы были закрыты властями и создано судебное дело о распространении революционных идей среди учеников воскресных школ. Участники этого движения были приговорены к каторге, замененной ссылкой.

Стихи Некрасова Муравьеву — Короленко повторяет распространенное в ту пору ошибочное мнение о принадлежности поэту ходившей в списках «Оды Муравьеву».

С Николаем Гавриловичем... я давно уже был знаком через брата. — В 1887 году Чернышевский познакомился с младшим братом Короленко, Илларионом Галактионовичем. Во время служебных посещений Астрахани И. Г. Короленко сблизился с Чернышевским, по поручению последнего составлял указатель ко «Всеобщей истории» Вебера. От Иллариона Галактионовича Чернышевский узнал о десятилетней ссылке В. Г. Короленко.

Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) — выдающийся естествоиспытатель

тель, основатель геохимии и биогеохимии; будучи в области естественно-научных исследований стихийным материалистом, высказывал иногда идеалистические взгляды.

«Гражданская казнь Чернышевского»*

Написано в 1904 году, напечатано впервые в сборнике статей В. Г. Короленко «Отошедшие» в 1908 году, окончательную обработку получило во втором издании этого сборника в 1910 году. Вошло в Полное собрание сочинений В. Г. Короленко 1914 года.

Лев Николаевич Толстой. Статья первая*

Впервые напечатано в восьмой книге журнала «Русское богатство» за 1908 год. Написано к 80-летию со дня рождения Л. Н. Толстого. В конспективной форме основные положения этой статьи записаны в дневнике В. Г. Короленко 4 июля 1887 года.

Данная статья, как и другие помещаемые здесь статьи о Л. Н. Толстом, являются итогом длительных наблюдений и размышлений Короленко над творчеством и личностью Толстого. В этих статьях отразилось преклонение

писателя перед Толстым как великим художником. Короленко глубоко и тонко раскрыл реалистическое содержание художественного творчества Толстого, но решительно осудил толстовские идеи непротивления злу насиле- ем.

Интересные и ценные статьи Короленко не лишены, однако, отдельных ошибок в определении подлинной классовой природы творчества Толстого. Короленко ошибочно сравнивает проповедь Толстого с морально-этическими идеалами «первых веков христианства». Толстой, как известно, был выразителем настроений миллионов русского крестьянства. «Великое народное море, — писал Ленин, — взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого» (Ленин. Соч., т. 16, стр. 323).

*С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат? —*

из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840)

Сколько их, куда их гонят?

Что фальшиво так поют? —

из стихотворения А. С. Пушкина «Бесы» (1830). Эти строки у Пушкина читаются так:

*Сколько их? куда их гонят?
Что так жалобно поют?*

Генри Джордж (1839–1897) — американский буржуазный экономист; известен своей книгой «Прогресс и бедность», в которой выступил против теории перенаселения Мальтуса. Средство радикального избавления от бедности Джордж видел в национализации земли буржуазным государством или во введении высокого земельного налога на частную земельную собственность.

Его простые слова на азбучную тему о смертной казни опять потрясают людские сердца. — Имеется в виду статья Толстого «Не могу молчать» (1908), написанная в связи с казнью двадцати крестьян.

Около двадцати лет назад я, еще молодым человеком... первый раз посетил Толстого. — Короленко познакомился с Толстым в феврале 1886 года, когда он пришел с Н. Н. Златовратским в московский дом Толстого просить

его принять участие в литературном сборнике журнала «Русская мысль».

Лев Николаевич Толстой. Статья вторая*

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости» 1908 г. № 199.

Великий пилигрим (Три встречи с Л. Н. Толстым)*

Воспоминания были начаты в декабре 1910 года как отклик на смерть Л. Н. Толстого. При жизни автора не были опубликованы.

Журнал «Вперед» — орган народников, выходивший в 1873–1877 годы под редакцией П. Лаврова сначала в Цюрихе, затем в Лондоне. *Г-н Б.* — Бибиков Алексей Алексеевич (1837–1914), бывший политический ссыльный по делу Каракозова; *А-ев* — Алексеев Василий Иванович (1848–1919) — домашний учитель сына Л. Н. Толстого. *Кривенко* Сергей Николаевич (1847–1907) — либерально-народнический публицист. Работал в «Отечественных записках», а затем в «Русском богатстве» и «Новом слове». В своих публицистических выступлениях вел резкую полемику против

марксизма.

Каторжанина К-а. — Очевидно, Ковалик Сергей Филиппович (1846–1926).

У-ская — Успенская Александра Ивановна, вдова нечаевца Петра Гавриловича Успенского.

Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) — публицист, умеренный либерал, одно время работал в журнале «Русская мысль».

Пругавин Виктор Степанович (1858–1896) — земский статистик, в своих статьях и научных работах выступал убежденным защитником общинного крестьянского землевладения.

Златовратский Николай Николаевич (1845–1911) — писатель народнического направления.

О-в — Озмидов Николай Лукич (1844–1908), одно время был близок к Л. Н. Толстому.

...станешь описывать, как некий Остап играет на глупой бандуре... — Намек на рассказ Короленко «Лес шумит», героем которого является крепостной крестьянин Опанас.

Разговор с Толстым. Максимализм и государственность*

Статья представляет собой отрывок из очерков «Земли! Земли! (Мысли, воспоминания, картины)», написанных Короленко в 1917–1919 годах и опубликованных после смерти автора в журнале «Голос минувшего», кн. 1 и 2 за 1922 год.

Разговор с Толстым состоялся в мае 1902 года, когда Короленко приезжал в Крым для свидания с А. П. Чеховым. Аграрные волнения, о которых Короленко беседовал с Толстым, происходили весной 1902 года в Полтавской и Харьковской губерниях и были подавлены с большой жестокостью (см. об этом: В. Г. Короленко, Дневник, т. IV, Госиздат Украины, 1928).

В ноябре 1920 года Короленко в статье «К десятилетию смерти Л. Н. Толстого», упоминающая о свидании с Толстым в Крыму, писал: «Начинавшаяся тогда революционная борьба, в которой принимали уже значительное участие рабочие и народ, заставила дрогнуть интеллигентскую душу Толстого, и он невольно выражал сочувствие фактам борьбы и даже

борьбы насилием».

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — ярый реакционер; будучи министром внутренних дел и шефом жандармов, вел беспощадную борьбу с рабочим и студенческим движением, с голодающим крестьянством и земством. Убит революционером С. В. Балмашевым в 1902 году.

Лауниц (Фон-дер-Лауниц) Василий Федорович (1855–1906) — генерал, тамбовский губернатор, в начале 1906 года — петербургский градоначальник. Убит 21 декабря 1906 года эсером Кудрявцевым.

В письме, которое Толстой послал Николаю II. — Письмо датировано 16 января 1902 года, опубликовано в 73 томе полного академического собрания сочинений Л. Н. Толстого, Гослитиздат, 1954.

Умер*

Впервые напечатано в газете «Речь» № 307, 8 ноября 1910 г. Написано в день получения Короленко известия о смерти Л. Н. Толстого.

Ангел Иванович Богданович. Черты из

ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ*

Впервые опубликовано в сб.: Богданович А. И. Годы перелома. 1895–1906. Изд. «Мир Божий», 1908.

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ-идеалист.

Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ-идеалист, выдвинувший идею культа «сверхчеловека».

Захарьин Г. А. (1829–1897) — известный русский врач-клиницист.

Трагедия великого юмориста. Несколько мыслей о Гоголе*

Впервые напечатано в четвертой и пятой книгах журнала «Русское богатство» за 1909 год под заглавием «Трагедия писателя». Написано в связи со столетием со дня рождения Н. В. Гоголя.

Статья Короленко полемично направлена против реакционной критики, искажавшей подлинный облик великого реалиста. Представляет большой интерес анализ Короленко второй части «Мертвых душ». Вслед за Белинским и Чернышевским Короленко показыва-

ет, как побеждает реализм в незавершенной части гоголевской поэмы. Короленко сумел вслед за революционно-демократической критикой вскрыть объективное значение деятельности Гоголя.

Гоголь принадлежит к числу тех великих писателей, которые оказали огромное влияние и на творчество самого В. Г. Короленко. Это особенно сказалось в тех произведениях Короленко, в которых он разрабатывал украинские темы («Иом-Кипур» и другие рассказы).

Троцинский Дмитрий Прокофьевич (1754–1829) — родственник Гоголя, в прошлом вельможа; по выходе в отставку жил в имении Кибинцах, где Гоголь в детстве и юности неоднократно гостил у него. Троцинский и в отставке сохранил большие связи и влияние.

Воейков Александр Федорович (1778–1839) — журналист, переводчик, поэт. *Фактор* — управляющий технической частью типографии.

Мольер (Жан Батист Поклен, 1622–1673) — великий французский драматург.

Фильдинг Генри (1707–1754) — выдающийся

ся английский писатель реалистической школы.

Белинский первый применил — речь идет о статье Белинского «О русской повести и повестях Гоголя» (1835), в которой дана была характеристика гоголевского творчества.

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — критик, историк, редактор реакционного журнала «Москвитянин».

Анненков Павел Васильевич (1812–1887) — критик, мемуарист, редактор сочинений Пушкина. Известны его «Литературные воспоминания» о людях 30-40-х годов, с которыми он был близок (Гоголь, Белинский, Герцен, Тургенев и др.).

«Молва» — еженедельная газета, выходившая с 1831 по 1836 год в качестве приложения к журналу «Телескоп».

Данилевский Александр Семенович (1809–1888) — один из самых близких друзей Гоголя с детских лет.

Письмо к «одному литератору» — речь идет о письме Гоголя к Пушкину по поводу первого представления «Ревизора».

Куликовский (Овсянико-Куликовский)

Дмитрий Николаевич (1853–1920) — литературовед и лингвист.

Князь Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) — поэт и критик, один из ближайших друзей А. С. Пушкина.

Репнины — семья князя Николая Григорьевича Репнина-Волконского (1778–1845), бывшего малороссийского генерал-губернатора, а затем члена Государственного совета, с дочерью которого, Варварой Николаевной, Гоголь был в дружеских отношениях.

Языков Николай Михайлович (1803–1846) — один из поэтов пушкинской плеяды. В последние годы своей жизни перешел на сторону реакции, примкнув к правому крылу славянофилов.

Плетнев Петр Александрович (1792–1865) — писатель и критик, один из близких друзей А. С. Пушкина. С 1838 по 1846 год был редактором-издателем «Современника».

Одоевский Владимир Федорович (1803–1869) — писатель и музыкальный деятель, (У Короленко его отчество указано ошибочно.)

Балабина Мария Петровна (1820–1901) — ученица Гоголя, бывшего по рекомендации Плетнева одно время домашним учителем в семье Балабиных. Гоголь сблизился с Балабиными и впоследствии называл эту семью «единственной в мире по доброте». В переписке с М. П. Балабиной состоял по 1844 год.

Тургенев позволил себе в печатном некрологе — некролог о Гоголе, написанный Тургеневым и запрещенный в Петербурге цензурой. За опубликование его в Москве Тургенев был выслан в его орловское имение.

Биографы Белинского отмечают следующий характерный эпизод. — Этот эпизод рассказан в XXV главе «Былого, и Дум» Герцена.

Всеволод Михайлович Гаршин. Литературный портрет*

Впервые напечатано в 1910 году в томе IV «Истории Русской литературы XIX века», под редакцией Д. Н. Овсяннико-Куликовского.

Гаршин, его личность и творчество привлекали постоянное внимание Короленко. В свою очередь, Гаршин одним из первых приветствовал появление В. Г. Короленко в лите-

ратуре. В одном из своих писем 1886 года Гаршин писал: «Я ставлю его ужасно высоко и люблю нежно его творчество. Это еще одна розовая полоска на небе; взойдет солнце еще нам неизвестное, и всякие натурализмы, боборыкизмы и прочая чепуха сгинет».

Феллах — турецкий крестьянин.

Агасфер — легендарный образ человека, осужденного всю жизнь скитаться по земле, не находя себе пристанища.

Герд Александр Яковлевич (1841–1888) — педагог, основоположник передовой русской методики естествознания.

Редедя — персонаж из «Современной идиллии» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Злобою сердце питаться устало

—
*Много в ней правды, но радости
мало* —

несколько неточно приведены строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Саша»

Шарлотта Корде — жирондистка; в 1793 году была казнена за убийство Марата — одного из виднейших вождей французской революции.

*И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди. —*

строки из стихотворения Н. А. Некрасова
«Когда из мрака заблужденья...»

«Ты сам свой высший суд» — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту».

*...Чьи работают грубые руки.
Предоставив почтительно
нам... —*

несколько неточно приведенные строки
из стихотворения Н. А. Некрасова «Ночь.
Успели мы всем насладиться».

Кассандра — в древнегреческой мифологии дочь троянского царя Приама, зловещая прорицательница.

Фаусек Виктор Андреевич (1861–1910) — зоолог, профессор Петербургского университета, педагог.

Бернар Клод (1813–1878) — французский естествоиспытатель и физиолог; открыл существование сосудо-двигательных функций нервной системы.

...говорит он в своей статье — статья Г. И. Успенского, из которой Короленко приводит

выдержку, называется «Смерть В. М. Гаршина».

Памяти замечательного русского человека*

Статья напечатана 30 августа 1911 года в газете «Русские ведомости», № 199, и более не публиковалась.

Василий Семенович Ивановский (см. примечания к шестому тому настоящего собрания сочинений, стр. 315) был типичным представителем революционного поколения 70-х годов. Короленко познакомился с ним в 1893 году, когда на обратном пути из Америки побывал в Добрудже (Румыния). Во время своих последующих поездок в Румынию Короленко всегда виделся с ним. В последний раз встреча произошла летом 1911 года, незадолго до смерти Ивановского.

Черты характера В. С. Ивановского отразились в образе доктора Александра Петровича в очерках Короленко «Наши на Дунае» (см. четвертый том настоящего собрания сочинений).

В дневнике Короленко 4 сентября 1904 года

записано о «докторе Петре» (Ивановском): «Он не мастер на обобщения; редко принимает участие в отвлеченных спорах, но живет цельно, т. е. согласно со своим характером и взглядами. Он врач бедных, философ, живет изо дня в день без денег, всюду любим, со всеми обращается просто».

В. С. Ивановский был близким другом руководителя рабочего движения Румынии Доброджану Гереа. В 1905 году принимал деятельное участие в помощи матросам, участникам восстания на черноморском броненосце «Князь Потемкин-Таврический» (13–24 июня 1905 года), после того как матросы сошли на берег в румынском порту Констанце и частично расселились в Румынии. 14 ноября 1905 года Ивановский писал Короленко о своем горячем желании приехать в Россию и невозможности сделать это, потому что на его попечении находятся потемкиицы. Поездку на родину Ивановский так и не осуществил.

14/27 августа Доброджану Гереа сообщал Короленко: «Одиннадцатого августа в 11 часов утра умер наш бедный Петро. Хоть все мы

этого ожидали, хоть в последнее время в близкой развязке не могло уж быть никакого сомнения, но все-таки и теперь, после похорон, все еще не верится, — слишком много в нем было жизни, и какой оригинальной и хорошей жизни... Похоронили мы его гражданскими похоронами — без попов, он всегда был против похорон с религиозными обрядами... Так и закончилась жизнь человека, да еще такого крупного человека... Мне теперь немного тяжело писать, ведь мы здесь, в Румынии, слишком тридцать лет жили вместе и страдали вместе с Петром».

В письме от 7/20 октября того же года Доброджану Гереа писал Короленко о переводе его статьи «Памяти замечательного русского человека» на румынский язык и о том большом впечатлении, какое она произвела, появившись в румынской печати.

Некрасовцы — донские казаки-раскольники, выселившиеся под предводительством атамана Игната Некрасы в Турцию при Петре I, после Булавинского восстания. Расселились они частью у устьев Дуная, частью в Малой Азии.

И. А. Гончаров и «молодое поколение»*

Впервые напечатано в шестой книге журнала «Русское богатство» за 1912 год. В статье, написанной к столетию со дня рождения И. А. Гончарова, основное внимание Короленко сосредоточено на образе нигилиста Марка Волохова, в котором отразились слабые стороны мировоззрения Гончарова. Содержащая в себе целый ряд тонких и верных наблюдений, статья Короленко о Гончарове, однако, не дает всестороннего анализа произведений Гончарова и не раскрывает всего общественного и художественного значения его творчества.

Третий элемент. Памяти Николая Федоровича Анненского*

Статья написана к первой годовщине смерти Н. Ф. Анненского, напечатана в журнале «Русское богатство» за 1913 год, кн. 7, а затем после некоторой переработки (включена во второй том полного собрания сочинений В. Г. Короленко, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Николай Федорович Анненский (1843–1912) — известный статистик, журна-

лист и общественный деятель, был близким другом Короленко и товарищем по общественной, журнальной и литературной работе.

Ранние годы Анненского прошли в Омске. После окончания Петербургского университета по юридическому и историко-филологическому факультетам он поступил в 1867 году на службу в Государственный контроль, а в 1873 году перешел в статистический отдел министерства путей сообщения. Был близок с кружками революционной молодежи, неоднократно подвергался обыскам и арестам. В 1880 году Анненский был выслан в административном порядке в Сибирь, откуда в 1883 году переехал в Казань, под надзор полиции, и заведывал там земской статистикой. В 1887 году после окончания срока ссылки переселился в Нижний-Новгород, где жил до 1895 года. В Нижнем-Новгороде Анненский стоял во главе земского статистического бюро и сделал его образцовой школой земской статистики. В 1895 году он переехал в Петербург и вступил в редакцию журнала «Русское богатство», где работал до самой смерти. В Петер-

бурге Анненский участвовал во многих литературных и общественных организациях. Полиция пристально следила за его деятельностью, и дважды, в 1901 и 1904 годах, его выслали из Петербурга (в Финляндию и Ревель).

Н. Ф. Анненскому принадлежат журнальные статьи по экономическим вопросам и статистике, отличающиеся большой точностью и широтой сведений. На статистические данные Анненского ссылался В. И. Ленин в своих работах «Развитие капитализма в России», «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов», «Аграрный вопрос в России к концу XIX века».

Знавшие Анненского единодушно отмечают его выдающийся ум, образованность, редкое остроумие. Его блестящие афоризмы передавались из уст в уста. А. М. Горький в статье «Н. Ф. Анненский» вспоминает о них и дает несколько выразительных штрихов личности Анненского.

Впервые Короленко, еще будучи студентом, увидел Анненского на одном из собраний Общества трезвых философов, кружка, группировавшегося вокруг «Отечественных

записок», в Петербурге во второй половине 70-х годов. «Впоследствии, — писал он в статье „О Николае Федоровиче Анненском“, — судьба столкнула нас ближе, и мне на долю досталось редкое счастье многолетнего общения, общей работы и дружбы этого обаятельного человека».

Личное знакомство Короленко с Анненским произошло в 1880 году в общей камере вышневолоцкой политической тюрьмы (см. «Историю моего современника», кн. III, ч. II, гл. I). Встретившись затем в Нижнем-Новгороде, Короленко и Анненский вскоре оказались в центре нижегородской общественной жизни и борьбы, объединив вокруг себя прогрессивную и оппозиционно настроенную интеллигенцию. С этого времени началась их дружба и совместная деятельность. С 1892 года они стали вдвоем писать журнальные статьи, которые печатались сначала в «Русской мысли» за подписью «Провинциальный наблюдатель», а затем в «Русском богатстве» в отделе «Случайные заметки» под псевдонимом О. Б. А.

У Короленко и Анненского было намере-

ние написать совместно книгу о нижегородском периоде их жизни, назвав ее «Десять лет в провинции». Этот план остался неосуществленным; имеется лишь отрывок (две главы), в котором Короленко описал свой проезд в Нижний-Новгород (напечатан в т. XV посмертного собрания сочинений В. Г. Короленко, Госиздат Украины, 1923).

С 1896 года Анненский и Короленко были членами редакционной коллегии журнала «Русское богатство». Несмотря на переезд Короленко в Полтаву в 1900 году, постоянное общение их не нарушалось, так как Короленко часто и на длительное время приезжал в Петербург по делам журнала. Между Короленко и Анненским велась оживленная переписка. В архиве Короленко имеется большое количество писем Анненского к Короленко. Архив Анненского не сохранился, и лишь несколько писем Короленко к нему осталось в виде копий в копировальной книге писателя. В 1901 и 1909 годах Анненский приезжал к Короленко в Полтаву.

Статья «Третий элемент» отражает один из напряженных моментов борьбы между про-

грессивной частью нижегородской интеллигенции и крепостнически настроенным дворянством, которое всячески старалось скрыть голод в Нижегородской губернии и препятствовало оказанию помощи голодающим. В этой борьбе деятельное участие принимал Короленко, и статья «Третий элемент» существенно дополняет сведения о нижегородском периоде жизни писателя.

О Щедрине*

Впервые напечатано по черновой рукописи в посмертном Собрании сочинений В. Г. Короленко, Госиздат Украины, т. XXIV, 1928 год. Можно предполагать, что статья была написана в связи со смертью Салтыкова в 1889 году.

Щедрин является одним из любимых писателей В. Г. Короленко. В «Истории моего современника», вспоминая о своих юношеских годах, Короленко писал: «Когда же после Тургенева и других русских писателей, я прочел Диккенса и „Историю одного города“ Щедрина, — мне показалось, что юмористическая манера должна как раз охватить и внешние

явления окружающей жизни, и их внутренний характер. Чиновников, учителей... я стал переживать то в диккенсовских, то в щедринских персонажах». Под прямым влиянием Салтыкова-Щедрина Короленко написал, сказку «Стой, солнце, и не движись, луна» (1899).

В письме к В. А. Гольцеву 11 марта 1894 года Короленко писал: «Подсчитайте ту огромную массу новых мыслей и чувств (нового отношения человека к миру), которую в свое время привел в движение Щедрин...» В помещаемой здесь статье Короленко, правильно говоря о значении демократической интеллигенции, оставляет в тени основную проблему творчества Щедрина — проблему судеб народных масс.

...примкнул... к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции — имеется в виду кружок М. В. Буташевича-Петрашевского.

...не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блина и в особенности Жорж-Занда. — Луи-Филипп — король Франции после Июльской революции

1830 года — был свергнут с престола революционными событиями 1848 года. Франсуа Гизо — политический деятель и историк — с воцарением Луи-Филиппа стал его ближайшим помощником, главой правительства Июльской монархии. Луи-Филиппу и Гизо — как символам реакции — Щедрин противопоставляет имена французских социалистов.

Дюшатель Шарль — ярый реакционер, министр внутренних дел в кабинете Гизо 1847–1848 годов. *Тьер Луи Адольф* — французский политический деятель, злейший враг демократии и рабочего класса, кровавый палач Парижской Коммуны 1871 года.

Дубельт Л. В. — жандармский генерал, начальник III отделения.

Одилон Барро — лидер парламентской буржуазной оппозиции в период Июльской монархии; в последние минуты господства этого режима безуспешно пытался спасти трон Луи-Филиппа.

Две картины*

Статья впервые напечатана в «Русских ведомостях» за 1887 год, № 102, и затем включе-

на в пятый том полного собрания сочинений В. Г. Короленко, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г., где дата ее ошибочно указана — 1889 г.

Сопоставляя картину Поленова «Христос и грешница» с картиной Сурикова «Боярыня Морозова», Короленко попутно выражает свои взгляды на реализм и романтизм в искусстве. Этот вопрос интересовал писателя на протяжении всей его литературной деятельности. Короленко писал польскому писателю В. С. Козловскому, переводчику его рассказа «Море» («Мгновение»), 19 сентября 1887 года: «В одной из своих заметок („О двух картинах“, „Русск. ведомости“) — я отчасти тронул этот вопрос. В черновой рукописи у меня он был затронут гораздо больше, но я исключил эти строки, отложив их до другого времени. Там я высказал только, что современные реалисты забывают, что реализм есть лишь условие художественности, условие, соответствующее современному вкусу, но что он не может служить целью сам по себе и всей художественности не исчерпывает. Романтизм в свое время тоже был условием, и если напрасно натурализм в своей заносчивости целиком топчет

его в грязь, то с другой стороны, то, что прошло — прошло, и романтизму целиком не воскреснуть. Мне кажется, что новое направление, которому суждено заменить крайности реализма, — будет синтезом того и другого».

Художник В. Д. Поленов выражал большое удовлетворение отзывом Короленко о его картине (по словам художника, никто другой так глубоко не понял его замысла) и в благодарность прислал ему гравюру этой картины с собственноручной надписью.

В. Г. Короленко сам хорошо рисовал, о чем свидетельствуют его многочисленные зарисовки в альбомах и записных книжках, часть которых публикуется в настоящем издании. Интерес писателя к изобразительному искусству проявлялся в том, что он посещал столичные и провинциальные художественные выставки, знакомился с искусством тех стран, где ему приходилось бывать. В 1893 году Короленко побывал на всемирной выставке в Чикаго, где особое внимание уделил отделу живописи. В дневниках и письмах писателя того времени даны выразительные характе-

ристики произведений русских и иностранных художников, отмечены особенности искусства разных стран, имеются высказывания об импрессионизме. С чувством гордости за русское искусство Короленко отмечал успех на выставке картин Репина, Семирадского, Айвазовского. «Я пока занимаюсь только картинами, — писал он матери 21 августа 1893 года, — так как это случай единственный в жизни — увидеть все искусства сведенными на очную ставку. К чести нашей нужно сказать, что Россия, если не по количеству, то по качеству картин занимает, по общему признанию, одно из видных мест».

Взгляды Короленко на цели и задачи изобразительного искусства выразились в статье «Нижегородская художественная выставка» («Русские ведомости» 1886 г., No№ 105, 108, 114), статье «Суммистские ребусы» (помещена в настоящем томе), в рассказе «Художник Алымов» (см. том третий настоящего собрания сочинений).

Короленко был против сухих и мертвых шаблонов академического искусства, против искажения действительности в погоне за

внешней красотью, против декадентства. Он требовал искусства реалистического и идейно насыщенного. «Содержанием вообще во всех картинах должно быть по-нашему, во-первых, „художественная правда“, а в картинах сложных (не портретах) еще их „идея“», — писал Короленко в статье «Нижегородская художественная выставка». Короленко указывал местным художникам на необходимость совершенствовать технику, брать сюжеты с натуры, больше внимания уделять исследованию местной природы, типов, бытовых сцен, чтобы приблизить искусство к жизни и возбуждать у зрителя чувство любви к родному краю.

Саддукеи — одно из древнееврейских религиозных направлений, к которому принадлежали преимущественно аристократические священнические роды. Саддукеи держались буквы библейских законов, не допуская никакого послабления в них и безоговорочно отвергая всякие позднейшие толкования.

«*Боян же, брате, аще кому хотяше песнь творити...*» и т. д. — Несколько неточно переданы строки из «Слова о полку Игореве».

Я. Конторович. — Средневековые процессы о ведьмах*

Рецензия впервые напечатана в журнале «Русское богатство» за 1896 год, кн. 5, в отделе «Новые книги» и без изменений включена автором в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Житейский задачник для детей. — Мандрыки*

Рецензия впервые напечатана в журнале «Русское богатство» за 1897 год, кн. 10, в отделе «Новые книги» и без изменений включена автором в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

А. Серафимович — Очерки и рассказы*

Впервые напечатано в шестой книге журнала «Русское богатство» за 1901 год.

Знакомство В. Г. Короленко с А. С. Серафимовичем состоялось в конце 90-х годов, но переписка между ними относится к более раннему периоду. В 1890 году Короленко вместе с Г. И. Успенским хлопотал об издании расска-

зов Серафимовича. Рецензия Короленко — один из первых печатных критических откликов на рассказы Серафимовича. Об отношении А. С. Серафимовича к В. Г. Короленко и о той положительной роли, которую он сыграл в его литературной судьбе, Серафимович неоднократно говорит в примечаниях к своему Собранию сочинений (Гослитиздат. 1949).

Станислав Пшибышевский. — Homo sapiens*

Рецензия впервые напечатана в журнале «Русское богатство» за 1904 год, кн. 9, в отделе «Новые книги» и с небольшими изменениями включена автором в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Станислав Пшибышевский (1868–1927) — польский писатель, начавший писать на немецком языке и введивший немецкий модернизм в польскую литературу. Для творчества Пшибышевского характерно сильное влияние философии Ницше, болезненный эротизм и псевдореволюционность. Относительная известность Пшибышевского в начале его творчества под конец жизни писателя

сошла на нет.

В. П. Буренин. — Театр*

Рецензия впервые напечатана в журнале «Русское богатство» за 1904 год, кн. I, в отделе «Новые книги» и без изменений включена автором в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — поэт, драматург и публицист. До 70-х годов фельетоны Буренина имели налет либерализма, направлены были иногда против консервативной печати. В это время Буренин сотрудничал в «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Библиотеке для чтения». После 70-х годов Буренин резко изменил свою позицию, вошел в состав редакции «Нового времени», и с 80-х годов его творчество было целиком отдано борьбе против прогрессивных элементов в литературе и общественной жизни России.

Буренину принадлежат «Литературные очерки» (газета «Новое время» 20 июля 1879 года № 1217), в которых он подверг грубой критике первое художественное произведе-

ние В. Г. Короленко «Эпизоды из жизни искателя», напечатанное в журнале «Слово», кн. 7, за 1879 год. Свою статью Буренин использовал для нападок на революционно настроенную молодежь 70-х годов.

В письме к матери и сестрам от 30 июля 1879 года Короленко, находившийся тогда в административной ссылке в г. Глазове, Вятской губернии, писал: «Вчера прочитал в Новом времени рецензию Буренина... Правду сказать, меня она задела так мало, что, право, мне самому удивительно».

В том же письме Владимир Галактионович просил прислать ему оттиск рассказа «Эпизоды из жизни искателя» для сличения отдельных мест с рецензией Буренина, чтобы не приходилось «...недоумевать, откуда Буренин выдернул такие выражения, каких у меня вовсе не было. Якуб превращен в лакея, являются какие-то „стихотворения, смягченные (!) цифрами“ и т. д., которых совершенно нет в моей статье». По признанию Короленко, его интересовал не столько сам отзыв о его рассказе, «...сколько та сторона, которая так безобразно развернулась в рецензии Буренина».

Здесь писатель имел в виду клеветнические и враждебные высказывания критика о передовой молодежи.

Георгий Чулков. — «Тайга»*

Рецензия впервые напечатана в журнале «Русское богатство» за 1907 год, кн. 5, в отделе «Новые книги» и без изменений включена автором в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г. Здесь печатается с небольшими авторскими поправками, сделанными на тексте в издании А. Ф. Маркса.

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) — писатель и критик. Его творчество находилось под сильным влиянием символизма и импрессионизма.

Северные сборники*

Рецензия впервые напечатана в журнале «Русское богатство» за 1908 год, кн. 10, в отделе «Новые книги» без подписи, затем с небольшими авторскими изменениями вошла в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Стереотипное в жизни русского писателя

Статья впервые напечатана в газете «Киевские вести» за 1909 год № 6. Без изменений вошла в пятый том полного собрания сочинений В. Г. Короленко, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (1841–1908) — русский писатель, автор рассказов, повестей и романов. Из последних наибольшей известностью пользовался исторический роман «Пугачевцы».

Старец Федор Кузьмич*

Статья впервые напечатана под заглавием «Герой повести Л. Н. Толстого» в журнале «Русское богатство» за 1912 год, кн. 2, и с небольшими изменениями включена автором в пятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Рассказ Л. Н. Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» был прислан в редакцию «Русского богатства» А. М. Хирьяковым, одним из редакторов-распорядителей посмертных изданий Л. Н. Толстого. Королен-

ко писал А. М. Хирьякову 23 января 1912 года: «По совещанию с товарищами мы решили рассказ о Федоре Кузьмиче напечатать с некоторыми сокращениями (в пределах крайней необходимости). И я, и мои товарищи очень признательны за предложение нам этого рассказа». Далее Короленко высказывал предположение, что, прежде чем журнал будет полностью напечатан и дойдет до читателей, «...петербургские газеты, при той свободе перепечаток, которая установлена относительно произведений Льва Николаевича, разнесут эту статью во все концы России». В том же письме он уподоблял роль журнала роли «...того библейского хлебодара, который нес на голове корзину с хлебами, и их быстро расклевали птицы. А он впоследствии был вдобавок казнен... Последнего, надеюсь, не случится». В заключение письма Короленко еще раз благодарил друзей Толстого за то, что в журнал был прислан «этот замечательный отрывок», и выражал надежду провести его через «цензурные теснины». В ответном письме от 26 января 1912 года А. М. Хирьяков писал: «Хотелось видеть произведение Льва Н-

ча, которое ему было дорого, в наиболее приятном ему журнале... Ваше сравнение с хлебодаром замечательно верно. Но будем надеяться, что конец будет иной».

Произведение Л. Н. Толстого, появившееся в кн. 2 «Русского богатства», вызвало конфискацию этого номера журнала, а Короленко, как его редактор, был предан суду. Таким образом сравнение с библейским хлебодаром оправдалось почти в полной мере.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — обер-прокурор Синода.

Шильдер Николай Карлович (1842–1902) — русский историк, директор петербургской публичной библиотеки, автор четырехтомного исследования «Император Александр I, его жизнь и царствование».

Процесс редактора «Русского богатства»*

Статья впервые напечатана в журнале «Русское богатство» за 1912 год, кн. 12, под заглавием «Процесс „Русского богатства“». Для полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г., автор изменил заглавие статьи, подверг существенной переработке начало,

включил текст обвинительного акта, несколько изменил изложение речи обвинителя.

Суммистские ребусы*

Заметка была напечатана 25 февраля 1916 года в газете «Полтавский день» № 865 за подписью «W». Таким псевдонимом Короленко пользовался иногда для своих газетных и журнальных статей.

В письме к дочери Короленко писал: «Вчера мы сделали большую экскурсию на выставку некоего „суммиста“ Подгаевского. Чушь и вздор даже не любопытный, но... производит свою долю шарлатанского шума... „Полтавский день“ поддался на удочку приятельской рекламы и напечатал вздорную статью». В следующем письме тому же адресату от 10 марта 1916 года Короленко сообщал: «Вчера послал вам „Полтавский день“ с фельетоном „Суммистские ребусы“. Это *le dernier cri* (последний крик — *франц.*) новаторских глупостей. Глупее, кажется, и не бывало... Фельетон этот — моя первая проба пера после болезни. Пока только пустяки и могу

писать». Несмотря на такой отзыв о своей статье, Короленко считал ее удавшейся, впоследствии сделал в ней небольшие поправки и в 1918 году включил в дополнительный, десятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса. Этот том в свет не вышел, и «Суммистские ребусы» более в печати не появлялись.

Печатается заметка в настоящем издании по последней авторской редакции.

Котляревский и Мазепа*

Статья была напечатана в журнале «Русские записки» за 1916 год, кн. 10, в отделе «Случайные заметки» с большими цензурными купюрами и более в печати не появлялась. Печатается здесь по сохранившемуся в архиве писателя типографскому оттиску, в котором все вычеркнутые цензурой места восстановлены автором от руки.

Цензурой было вычеркнуто: на стр. 376–377 — от слов: «Мы лучше создадим новый признак неблагонадежности» до конца абзаца; в следующем абзаце вычеркнуты фразы: «Разумеется, жалоба ничего уже попра-

вить не могла: делегаты разъехались, увозя с собой неумную мораль печального праздника» и «Бывают такие яркие нелепости, которые могут сколько угодно стать фактами, но санкционировать их правовым актом все-таки невозможно»; в этом абзаце вычеркнуто также от слов: «Но... если иным нелепостям трудно придать разумную правовую формулировку» до конца абзаца, причем вместо этого вычерка имеется лишь фраза: «Сенатский указ был оглашен в газетах, и о нем стало широко известно во всей России»; в следующем абзаце вычеркнуто от слов: «С теми же чувствами горечи и осуждения» до конца абзаца; следующий абзац заканчивался словами: «Превосходная тема для фантастической поэмы», все же остальное до конца статьи цензурой было вычеркнуто.

С Украиной Короленко был связан долгими годами жизни: в Житомире и Ровно прошли детские и школьные годы писателя, последние двадцать лет он провел в Полтаве. Украинская тема нашла широкое отражение в творчестве Короленко, в таких произведениях, как «История моего современника»,

«Слепой музыкант», «Лес шумит», «В дурном обществе», «Судный день» и др.

Украинский язык, устное народное творчество и украинская литература были хорошо известны Короленко. В «Истории моего современника» он говорит о своем большом интересе к произведениям Т. Г. Шевченко в юношеские годы: «Пытаюсь восстановить впечатление, которое молодежь моего поколения получила из своего тогдашнего (правда, неполного) знакомства с самыми распространёнными произведениями Шевченко... Это были любовь и восхищение».

В Полтаве Короленко познакомился с классиком украинской литературы Панасом Мирным (псевдоним Рудченко Афанасия Яковлевича); на открытии памятника И. П. Котляревскому в 1903 году состоялось знакомство с М. М. Коцюбинским, и с тех пор между писателями завязалась переписка. В личной библиотеке Короленко сохранилось несколько книг украинского драматурга И. Тобилевича (Карпенко-Карого) с дарственными надписями.

Короленко горячо негодовал против пре-

следования украинского языка и украинской литературы при самодержавии, как это видно из статьи «Котляревский и Мазепа». Пути развития украинской культуры он видел в ее тесной связи и взаимодействии с русской культурой. В письме от 8 сентября 1918 года педагогическому совету открывавшейся в Полтаве новой гимназии Короленко писал: «...Наряду с освободившейся украинской пусть процветает и свободная русская школа, как проявление двух тесно связанных и родственных культур, которым предстоит много великой и благодарной работы. Поле просвещения широко. На нем много места для всех».

Отношение Короленко к украинскому национализму было отрицательным. На упреки украинских националистов Короленко отвечал: «Известным сторонам украинского движения я искренне сочувствую, и, конечно, далек от того, чтобы всю современную украинскую литературу обвинить в ненавистническом национализме или приписывать ей огулом исторический романтизм...

Недавно в „Раде“ была статья, вызванная моей „Историей моего современника“. Автор

говорит о каком-то „отречении от национальности“ и притом еще „в сторону наименьшего сопротивления“. Это значит, что автор читал „Историю“ и не захотел увидеть главного: три племенных чувства парализовали друг друга и в конце концов не было ни одного. Потом пришла русская литература и взяла растущую душу себе. Чем? Великороссиянством? Какие пустяки! Нет, именно тем, что влекло в 70-е годы юные кадры и кавказской и украинской молодежи в общерусское движение: широкой демократичностью, отсутствием национализма, широкими формами свободы. „Сторона наименьшего сопротивления“ для меня лично оказалась только Вяткой, Пермью, Якутской областью... Но для других, уже чистейших украинцев, как Лизогубы, Лозинские, Попки — „сторона наименьшего сопротивления“ оказалась виселицей или каторгой. Дело не в том, почему некоторые *енки* пишут „по российскому“. Иначе не умеют, — вот и все. А вот вопрос: почему целое поколение шло в общерусское движение, которое требовало и давало простор молодому самоотвержению вне национальных рамок, которые

поэтому и отрицались...» (Из письма Короленко к Х. Д. Алчевской 20 мая 1908 года.)

Мымрецов — персонаж из очерка Г. И. Успенского «Будка».

К истории отживших учреждений*

На последней странице рукописи имеется пометка автора: «Начато и кончено 4 дек. 1891 г.». Впервые очерк напечатан в 1892 году в журнале «Русская старина», кн. 5, и без изменений введен автором в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

«Божий городок»*

Очерк впервые опубликован в 1894 году в «Русских ведомостях», № 215, вошел в восьмой том полного собрания сочинений В. Г. Короленко, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

Короленко в письме к В. И. Иксуль от 9 октября 1900 года писал об очерке «Божий городок», что «...это очерк полуэтнографический (из моих скитаний по нижегородским палестинам), а не чисто беллетристический». В очерке отразились впечатления от поездки

Короленко в Арзамас, которую он совершил в июне 1890 года, а также работа писателя над архивными материалами в Нижегородской ученой архивной комиссии. В дорожном альбоме писателя, относящемся к 1890 году, сохранились рисунки внешнего вида «божиих домиков» и их внутреннего убранства.

Булавин Кондратий Афанасьевич (род. около 1660 г., умер в 1708 г.) — казачий сотник, руководитель антифеодального крестьянско-казацкого восстания 1707–1708 годов, охватившего южную часть России от Днепра до Волги, вспыхнувшего в ответ на попытку Петра I вернуть с Дона беглых людей, скрывавшихся от непомерных царских налогов и гнета крепостничества.

Отголоски политических переворотов в уездном городе XVIII века*

Очерк явился результатом переработки Короленко своего доклада «Дело о слове и деле государевом в городе Балахне», прочитанного на заседании Нижегородской архивной комиссии 11 апреля 1889 года. Впервые напечатан в «Нижегородском листке», 1895 г.,

№ 303, затем включен автором в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

...с именем и портретом регентши. — Объявленный манифестом от 18 октября 1740 года регентом до наступления совершеннолетия взошедшего на российский престол Иоанна герцог курляндский Бирон был 18 ноября 1740 года свергнут Минихом. Тогда же регентство перешло к Анне Леопольдовне, которая оставалась регентшей до 25 декабря 1741 года.

Колечко*

Очерк был напечатан в газете «Нижегородский листок» № 63 от 5 марта 1896 года. В основу его положены подлинные документы Балахнинского городского магистрата, над описью которых Короленко работал, состоя членом Нижегородской ученой архивной комиссии.

Балчуг — торг, базар. *Пестрядь*, называемая *белоглазка* — самая простая, грубая пеньковая ткань в редких полосках.

Вскоре, тринадцатого сентября... поручик Иштиряков донес... — Здесь явная неточность

в датах, так как не мог Иштиряков 13 сентября сообщить о невозможности отправить арестованную вдову Чувакову в приказ общественного призрения, если решение об этом, как указано в очерке, было принято 15 сентября.

...к крестьянке Антоновой оно едва ли попало. — Здесь описка автора: не к Антоновой, а Шумиловой.

Пугачевская легенда на Урале*

Очерк написан осенью 1900 года и включен писателем в виде отдельной главы в очерки «У казаков», переданные для печати в журнал «Русское богатство». Когда очерки были уже набраны, автор забрал «Пугачевскую легенду» обратно, предполагая, возможно, использовать ее в повести «Набеглый царь», из эпохи пугачевского движения, над которой он тогда работал. Однако повесть эту Короленко не написал, и «Пугачевская легенда» при жизни писателя так и не была опубликована. Впервые она напечатана уже после его смерти, в 1922 году, в десятой книге журнала «Голос минувшего».

По поводу «Пугачевской легенды» Короленько 26 октября 1900 года писал Н. Ф. Анненскому, что она «составляет лучшую и самую интересную главу из написанного до сих пор (речь идет об очерках „У казаков“. — *Ред.*). Материалом для нее послужили отчасти печатные работы казака Железнова, отчасти же собранные мною от старых казаков предания и частью — войсковой архив. Интересно, что в то время как „печатный“ исторический Пугачев до сих пор остается человеком „без лица“, Пугачев легенды — лицо живое, с чертами необыкновенно яркими и прямо-таки реальными, образ цельный, наделенный и недостатками человека и полумифическим величием „царя“. Меня самого поразило это, когда я собрал воедино все эти рассказы...»

Полтавские празднества*

Статья написана в 1909 году, в связи с двухсотлетием Полтавской битвы, по просьбе редакции венской газеты «Neue Freie Presse», где она и была напечатана. В царской России эта статья по цензурным условиям появиться в печати не могла. В настоящем издании пе-

печатается по однотомнику «В. Г. Короленко. Избранные произведения», Гослитгиздат, 1948 г.

Зеландия — самый большой из островов Дании, представляющий важнейшую часть страны. Здесь находится столица Дании Копенгаген.

Клио — в древнегреческой мифологии муза, покровительница истории.

Драбанты — телохранители.

Примечания

1

Моя статья писана в начале 90-х годов.

[^^^]

Станислав Рыхлинский, умерший в Иркутске
в 1904 году.

[^^^]

В. Я. Богучарский в «Мире божием» (янв. 1905) высказывает весьма вероятное предположение, что речь идет о другом стихотворении Некрасова, а именно о стихах в честь Комиссарова-Костромского, напечатанных в апрельской книжке «Современника» 1866 года.

[^^^]

4

В письме ко мне, вызванном первым изданием этой книги, Герман Александрович Лопатин говорит, что «об этой привычке Чернышевского мистифицировать собеседника и защищать вначале совсем *не свое* мнение» ему рассказывал в Сибири А. П. Шапов.

[^^^]

По поводу передачи этой «повести» я должен сделать существенную оговорку. Записки Шаганова я читал еще в Якутской области в 1884 году. Кроме того, я встречался и лично с Шагановым и с другими бывшими товарищами Чернышевского по каторге (Странден, Юрасов, Загибалов, Николай Васильев, поляк Станислав Рыхлинский и др.), от которых тоже слышал рассказы о совместной с ним жизни. Настоящие мои воспоминания написаны в 1889 году, то есть спустя 4–5 лет по выезде из Якутской области. В недавнее время вышли самые записки Шаганова в издании Э. Пекарского, а также «Личные воспоминания» Николаева. В обоих изданиях излагаемое мною произведение Чернышевского называется не повестью, а драмой («Другим нельзя») и по внешнему содержанию значительно отличается от моего варианта. В том же виде, т. е. в форме драмы, оно появилось в X томе собр. соч. Ч-го. Таким образом, я должен бы изменить свое изложение соответственно с этими точными указаниями. Но меня останавлива-

ет то обстоятельство, что в моей памяти остались очень ясно не только общая идея, но и некоторые детали «повести». Особенно отчетливо я помню указание на жизнь в Англии, на суд и защитительную речь... Эти подробности не могли, очевидно, попасть в мое изложение случайно, как простые неточности памяти. Нельзя ли допустить, что было два варианта. Чернышевский мог сначала кому-нибудь *читать* ненаписанную *повесть*, которую затем написал уже в форме *драмы*. В надежде содействовать разъяснению этого вопроса и отсылая интересующегося читателя к указанным печатным источникам, я решил все-таки оставить и свой вариант, отмечая связанные с ним сомнения.

[^^^]

6

Венский дает следующую приблизительную схему: расстояние публики от эшафота было сажень восемь или девять, а «толщина кольца не менее одной сажени».

[^^^]

Писано в 1904 г.

[^^^]

«Разгром» (фр.). — Ред.

[^^^]

Это писано в 1908 г. Чрезвычайно интересно проследить, как в последние годы жизни еще раз менялись некоторые взгляды Толстого. Символически — картина выдержана до конца. Смерть застала великого искателя в пути...

[^^^]

Буквально (фр.) — *Ред.*

[^^^]

Впоследствии писали, что сочинение этой молитвы, ходившей по рукам в известных кругах, приписывалось Иоанну Кронштадтскому неправильно.

[^^^]

«Война и мир», 7-е полное издание соч., т. VIII,
стр. 170.

[^^^]

П. Е. Щеголев, «Отец Гоголя» («Историч.
вестн.», февр. 1902).

[^^^]

Письма Н. В. Гоголя. Ред. В. И. Шенрока, I, 89.

[^^^]

«Издателем» в то время называли автора издаваемой книги.

[^^^]

Сочинения Н. В. Гоголя под ред. Тихонравова,
т. I, 114–115.

[^^^]

Эту истинно роковую странность отметил еще Белинский в статье о «Переписке с друзьями».

[^^^]

Письма, т. II, 111 и 100 (последнее к С. Т. Аксакову).

[^^^]

1837 г. Письмо Прокоповичу.

[^^^]

А. С. Данилевскому, 16 мая 1838 г. Г. Баженов отмечает здесь определенный симптом, называемый в медицине неврастенической каской.

[^^^]

Письма Гоголя. Ред. В. И. Шенрока. II, 148.

[^^^]

Письма, т. II, 111.

[^^^]

Письма, т. II, 117, 118 (*курсив мой*).

[^^^]

lb., 131.

[^^^]

lb., 110, 111.

[^^^]

ль., 168. Письмо написано в мае, когда «Мертвые души» вышли уже из печати.

[^^^]

Стр. 169.

[^^^]

Письма, т. II, стр. 97–99.

[^^^]

Письмо к П. А. Плетневу, 7 янв. 1842 г. См.
«Письма Н. В. Гоголя», II, 136–138.

[^^^]

Письма, II, 134, 135.

[^^^]

М. Балабиной, стр. 147, 148.

[^^^]

ЯЗЫКОВУ, 161.

[^^^]

lb., 140.

[^^^]

Письма, II, 151, 152. 20 В. Г. Короленко, т. 3 609

[^^^]

В. И. Шенрок, «Материалы к биографии Гоголя», т. IV, стр. 189 и примечание.

[^^^]

Сочинения, V, 267.

[^^^]

Соч., V, 171.

[^^^]

Соч., V, 160, 161.

[^^^]

Соч., V, 156.

[^^^]

Сочинения Белинского: «Народ и царь» («Оч.
Бородинского сражения Ф. И. Глинки») и «Бо-
родинская годовщина».

[^^^]

Сочин., IV, 447.

[^^^]

IV, стр. 550. Эта замечательная фраза сохраняется в обеих сохранившихся редакциях.

[^^^]

Материалы, IV, 177.

[^^^]

«Вестник Европы», март 1891 г.

[^^^]

«Нужно проездиться по России». Соч., т. V, 110, 111.

[^^^]

Лит. сборник «Красный цветок». Сообщение С.
А. Венгерова.

[^^^]

Первой ночи (*лат.*). — *Ред.*

[^^^]

Сборник «Памяти Гаршина». Ст. Я. В. Абрамова. 21-643

[^^^]

Речь, очевидно, идет об объявлении войны Турции Сербией 20 июня 1876 года.

[^^^]

Сборник «Красный цветок». «Дебюты В. М. Гаршина».

[^^^]

«Рассказы». Изд. 11. Стр. 26.

[^^^]

Сборник «Красный цветок», стр. 26.

[^^^]

Рассказ написан в 1882 году, через год с небольшим после смерти Александра II. Проводят параллель с соответствующей сценой из «Войны и мира», но и здесь психологический фон глубоко отличен от того, на каком рисуются эпизоды толстовской эпопеи.

[^^^]

«В память Гаршина», стр. 60.

[^^^]

Из «Дневника читателя». Перепечатано в «Сборнике в память Гаршина».

[^^^]

Сборник «Красный цветок», стр. 14.

[^^^]

«В память Гаршина», стр. 96 и 97.

[^^^]

«В память Гаршина», стр. 40. Письмо датировано 1 мая 1885 г.

[^^^]

«В память Гаршина», стр. 56.

[^^^]

Эти черты — точное воспроизведение фигуры ярошенковского «Кочегара».

[^^^]

«Мозги у меня так положительно устроены, что Гартман не соблазнит», — писал он одному из друзей (Сбор. «Пам. Гаршина», 14).

[^^^]

«Пам. Гаршина», стр. 46.

[^^^]

«Памяти Гарш.», стр. 50.

[^^^]

Старший брат Гаршина окончил самоубийством в юношеском возрасте.

[^^^]

Слова в кавычках взяты из статьи Г. И. Успенского.

[^^^]

«Пам. Гаршина», стр. 128.

[^^^]

Сборник «Пам. Гаршина», стр. 92.

[^^^]

Рассказы, стр. 292.

[^^^]

Это писано до выхода посмертной третьей книжки сочинений Гаршина.

[^^^]

Приношу благодарность незнакомой читательнице, внесшей некоторые поправки в мои цитаты, сделанные в первоначальной редакции этой статьи, — на память и не совсем точно.

[^^^]

Безличное большинство.

[^^^]

Величайшая ересь — не верить в колдовство.

[^^^]

В соответствии *(франц.)*.

[^^^]

Убеждения (*лат.*).

[^^^]

Неистовый Роланд (*итал.*).

[^^^]

«Р. старина», март 1872.

[^^^]

«Р. вед.» 1889 г., № 99.

[^^^]

«Русская стар.», янв., февр., март 1892 г. Справка из экспед. о ссыльных в гор. Томске.

[^^^]

Вел. кн. Николай Михайлович: «Легенда о кончине императора Александра 1-го». «Историч. вестник», июль 1907 г.

[^^^]

«Легенда о кончине императора Александра
1-го».

[^^^]

После работы вел. князя Николая Михайловича появилось исследование о том же предмете кн. В. В. Барятинского. Автор исследования разрешает историческую загадку в положительном смысле. По его мнению, Федор Кузьмич был действительно император Александр I. Историческая критика довольно единодушно признает аргументацию автора неубедительной.

[^^^]

Что он не хотел взойти на трон, обагренный кровью своего отца (*франц.*).

[^^^]

Очерк этот составлен на основании подлинных дел бывшего балахонского городского магистрата.

[^^^]

В магистратах подьячие и канцеляристы выбирались купечеством.

[^^^]

Вексельного устава пункт 38.

[^^^]

Вексельный устав издан в 1729 году, то есть после смерти Петра. Однако, как и многие меры того времени, начало свое он получил при Петре.

[^^^]

Дубровин. Пугачев и его время, III, 324.

[^^^]

Дубровин. Пугачев и его время, III, 191.

[^^^]

Полное Собр. Законов 1745 г., № 9192 и 9197 об отобрании указов, в правление герцога Курляндского и принцессы Брауншвейг-Люнебургской изданных, и о хранении их за печатью в Тайной канцелярии.

[^^^]

За первое десятилетие по вступлении Елизаветы Петровны на престол в нашем архиве дел не сохранилось.

[^^^]

Один из современников в письме к самому Павлу Потемкину указывал, что даже после побега из казанской тюрьмы до появления Пугачева на Яике остается непрослеженной значительная часть походов самозванца.

[^^^]

Un d'entre-eux [т. е. один из ближайших зрителей], que je crois avoir été un des juges censura à haute voix le bourreau de sa méprise («Один из них, я полагаю — один из судей, бранил громким голосом палача за его ошибку», — корреспонденция очевидца в «Утрехтской газете» 3 марта 1775 г. Чт. в О-ве Ист. и др.). Болотов называет этого чиновника экзекутором.

[^^^]

Сборник Историч. о-ва, XXVII, 32. Курсив в цитате мой.

[^^^]

«По преданиям казаков, — говорит Железнов (III, 203), — Бородин был в числе конвойных Пугачева, но по некоторым данным, до меня дошедшим, я заключаю, что он не конвоировал Пугачева, а приехал в Петербург уже в ноябре или даже в декабре 1774». Это не верно. В числе выписок, сделанных мною из войскового архива, есть выписка из Указа Гл. Кригс-Комиссариата из конторы г-ну премьер-майору Бородину от 22 дек. 1774 г., в котором приводится расчет денег, следующих «за проезд с Вами от войска Яицкого с рыбою також и для препровождения злодея Пугачева в Москву, находящейся в команде Вашей лехкой станции» (всего жалов., прогон., а также на ковши и сабли 633 р.). Таким образом, очевидно, в этом отношении казачье предание не ошибается, и Пугачева сопровождал в Москву Мартемьян Бородин.

[^^^]

Железнов, т. III, стр. 205. Предсказание не вполне оправдалось. Сын Мартемьяна Бородин был войсковым атаманом. Впрочем, умер он бездетным, и теперь прямых потомков Мартемьяна нет.

[^^^]

Интересно, что, по казачьим преданиям, Пугачева везли, по-видимому, через Оренбург. Иначе поезд не мог бы попасть на Сакмару.

[^^^]

Всю дорогу Мартемьян перекорялся с Пугачом и попрекали друг друга. Мартемьян грозил ему царицей, а Пугач ему наследником. «Дай срок, — говорил Мартемьян, — доехать до царицы: задаст она тебе баню, до новых венков не забудешь». А Пугач ему: «Дай срок доехать до царевича Павла Петровича. Задаст он тебе такого жару, что небо с овчинку покажется». (Железнов.)

[^^^]